

НОВОБИТ  
МИР

НОВОБИТ МИР

1961

5



1961

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 5

Май, 1961 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР И ПРАВИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА	3
В ЭТИ ДНИ. Константин Симонов. Самый первый.— Го Мо-жо. Гимн кос- мическому кораблю «Восток». Перевел с китайского К. Гусев.— Ми- хаил Дудин. Нет смелости границ.— Ахмад Абд Ар-Рахман. В этот день. Перевели с арабского Н. Ицков и Ю. Сваричовский.— Ольга Берггольц. Возвращение.— Николай Зиновьев. Берег мироздания.— Вера Инбер. Навек!	5
ВАСИЛИЙ СУББОТИН — Весной сорок пятого	10
В. ЛИПАТОВ — Стрежень, повесть. Окончание	31
А. ГЛЕБОВ — Правдоха, рассказ	75
М. КОРШУНОВ.— Я слушаю детство, рассказ	100
<i>К столетию со дня рождения Рабиндраната Тагора</i>	
РАБИНДРАНАТ ТАГОР — Мои песни, стихи. Перевел с бенгали А. Гор- бовский	106
РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Лино Новас Каль- во. Плохой человек.— Рамон Рубин. Разбойники.— Эдуардо Ариас Суарес. Гуардиан и я. Перевела с испанского Р. Сашина	108
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
Ю. КОРОЛЬКОВ — В Германии через десять лет	127
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
Б. РАХМАНИН — Поле деятельности	156
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Г. БОРИСОВСКИЙ — Архитектура и технический прогресс	168
И. ЗЫКОВ — Зеленый пояс (Из книги о лесах). Окончание	180
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ — О соразмерности и сообразности (Главы из будущей книги)	198
(См. на обороте)	

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
В. ЛАКШИН — Спор с ветхой мудростью	224
<i>К 150-летию со дня рождения В. Г. Белинского</i>	
Ю. МАНН — Поэзия критической мысли	230
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Э. Кузьмина. Строгая доброта.— Н. Пияшев. Ценное издание и его недостатки.— Н. Дикушина. Книга о дружбе.— А. Липелис. Плоды учености.— А. Белкин. Судьба Войнич и ее книги.— И. Соловьева. «Простая пьеса» Жана Ануйя.	246
<i>Политика и наука</i>	
А. Хавин. Зеркало технической революции.— М. Цунц. Новое о «Молодой гвардии» — А. Черняк, кандидат исторических наук. Воспоминания старейшины советских физиков.— В. Молчанов. Шарпевильская бойня и ее последствия.— В. Цветов. Захватчики на Окинаве.	266
<b>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</b>	
В. Константинов — Первая русская песня в Японии	279
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

---

---

---

# К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

*К народам и правительствам всех стран!  
Ко всему прогрессивному человечеству!*

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС,  
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Свершилось великое событие. Впервые в истории человек осуществил полет в космос.

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту поднялся в космос и, совершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на священную землю нашей Родины — Страны Советов.

Первый человек, проникший в космос, — советский человек, гражданин Союза Советских Социалистических Республик!

Это — беспрецедентная победа человека над силами природы, величайшее завоевание науки и техники, торжество человеческого разума. Положено начало полетам человека в космическое пространство.

В этом подвиге, который войдет в века, воплощены гений советского народа, могучая сила социализма.

С чувством большой радости и законной гордости Центральный Комитет Коммунистической партии, Президиум Верховного Совета СССР и Советское правительство отмечают, что эту новую эру в прогрессивном развитии человечества открыла наша страна — страна победившего социализма.

В прошлом отсталая царская Россия не могла и мечтать о свершении таких подвигов в борьбе за прогресс, о соревновании с более развитыми в технико-экономическом отношении странами.

Волею рабочего класса, волею народа, вдохновляемых партией коммунистов во главе с Лениным, наша страна превратилась в могущественную социалистическую державу, достигла невиданных высот в развитии науки и техники.

Когда рабочий класс в Октябре 1917 года взял власть в свои руки, многие, даже честные люди, сомневались в том, сможет ли он управлять страной, сохранить хотя бы достигнутый уровень развития экономики, науки и техники.

И вот теперь перед всем миром рабочий класс, советское колхозное крестьянство, советская интеллигенция, весь советский народ демонстрируют небывалую победу науки и техники. Наша страна опередила все другие государства мира и первой проложила путь в космос.

Советский Союз первым запустил межконтинентальную баллистическую ракету, первым послал искусственный спутник Земли, первым направил космический корабль на Луну, создал первый искусственный спутник Солнца, осуществил полет космического корабля в направлении к планете Венера. Один за другим советские корабли-спутники с живыми существами на борту совершали полеты в космос и возвращались на Землю.

Венцом наших побед в освоении космоса явился триумфальный полет советского человека на космическом корабле вокруг Земли.

Честь и слава рабочему классу, советскому крестьянству, советской интеллигенции, всему советскому народу!

Честь и слава советским ученым, инженерам и техникам — создателям космического корабля!

Честь и слава первому космонавту — товарищу Гагарину Юрию Алексеевичу — пионеру освоения космоса!

Нам, советским людям, строящим коммунизм, выпала честь первыми проникнуть в космос. Победы в освоении космоса мы считаем не только достижением нашего народа, но и всего человечества. Мы с радостью ставим их на службу всем народам, во имя прогресса, счастья и блага всех людей на Земле. Наши достижения и открытия мы ставим не на службу войне, а на службу миру и безопасности народов.

Развитие науки и техники открывает безграничные возможности для овладения силами природы и использования их на благо человека, для этого прежде всего надо обеспечить мир.

В этот торжественный день мы вновь обращаемся к народам и правительствам всех стран с призывным словом о мире.

Пусть все люди, независимо от рас и наций, цвета кожи, от вероисповедания и социальной принадлежности, приложат все силы, чтобы обеспечить прочный мир во всем мире. Положим конец гонке вооружений! Осуществим всеобщее и полное разоружение под строгим международным контролем! Это будет решающий вклад в священное дело защиты мира.

Славная победа нашей Родины вдохновляет всех советских людей на новые подвиги в строительстве коммунизма!

Вперед, к новым победам во имя мира, прогресса и счастья человечества!

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК**

Москва, Кремль. 12 апреля 1961 года.

---

---

# В ЭТИ ДНИ

★

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

## *Самый первый*

Рассвет. Еще не знаем ничего.  
Обычные «Последние известия»...  
А он уже летит через созвездия.  
Земля проснется с именем его.

«Широка страна моя родная...» —  
Знакомый голос первых позывных.  
Мы наши сводки начинали с них,  
И я недаром это вспоминаю.

Не попросив подмог ни у кого,  
Сама восстав из пепла войн и праха,  
Моя страна, не знающая страха,  
Шлет ныне в космос сына своего.

Мы помним все. Ничто не позабыто.  
Но мы за мир; всерьез! для всех! навек!  
И, выведен на мирную орбиту,  
С природой в бой идет наш человек.

Волнение бьет, как молоток по нервам;  
Не каждому такое по плечу:  
Встать и пойти в атаку самым первым!  
Искать других сравнений не хочу.

«Правда», четверг, 13 апреля 1961 года.

★

ГО МО-ЖО

## *Гимн космическому кораблю „Восток“*

Корабль «Восток» в космической дали,  
И над Вселенной солнце светит ало.  
Поют, ликуют люди всей Земли,  
На всей планете вдруг светлее стало.

Почти пять тонн — громада корабля  
Несется по космической орбите.

И вот — посадка. Добрый день, Земля!  
Гагарин — жив и невредим, смотрите!

Так, славься, человечества весна,  
И этот день и подвиг дерзновенный,  
И мощь социализма, что видна  
Далеким звездам в глубине Вселенной!

*Перевел с китайского К. Гусев.*

«Правда», пятница, 14 апреля 1961 года.

★

## МИХАИЛ ДУДИН

### *Нет смелости границ*

О Родина! Ты смотришь в небо смело,  
Ты рвешься к звездам, обгоняя птиц.  
Нет разуму свободному предела,  
И смелости высокой нет границ.  
Что скорость птиц! — Ты ловишь скорость света,  
Опережая музыки полет.  
И в космосе не синяя комета —  
Людское сердце бьется и поет.  
Счастливый путь! Мы люди, а не боги,  
Но мы умеем делать чудеса,  
Прокладывая первые дороги  
С родной Земли в немые небеса.  
Твой гордый сын, отваги полный,  
первым  
Пронес наш алый стяг  
в межзвездной мгле,  
Он совершил свой подвиг  
беспримерный  
Как сын Земли для счастья  
на Земле.

Ленинград.

«Комсомольская правда», четверг, 13 апреля 1961 года.

★

## АХМАД АБД АР-РАХМАН

Суданский поэт

### *В этот день*

Я — гость-африканец в стране Советов.  
Здесь древние сказки становятся былью —  
Из космоса шлет на Землю вести  
советский летчик  
с русской фамилией!  
Вот он летит по трассе намеченной,  
с улыбкой на путь взирая Млечный,—





Отвечает: нормально,  
 бывало трудней.  
 В темный посланный мир  
 небывало бесстрашной странюю,  
 Со звездю испытанной,  
 неугасимой навек,  
 С нашей выстраданной,  
 с нашей ленинской,  
 с нашей земною  
 Он вернулся, наш мальчик.  
 Вернулся от звезд человек.

Ленинград.

«Известия», четверг, 13 марта 1961 года.

★

### НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

Ученик 8-го класса школы № 142 г. Москвы

#### *Берег мирозданья*

Нам небесные карты  
 Суждено начертить.  
 Три минуты до старта...  
 Этот миг не забыть.

Где-то в звездной пучине  
 Незнакомое ждет,  
 Бесконечное в синем  
 Нас манит и зовет.

Будем мы непременно  
 Там, у моря «Мечты»,  
 Говорить со Вселенной,  
 Словно с другом на «ты».

Ведь не снилось Копернику,  
 Что потомки его  
 Землю сделают берегом  
 Мирозданья всего.

«Известия», четверг, 13 апреля 1961 года.

★

### ВЕРА ИНБЕР

#### *Навек!*

Как рвался к небу человек!  
 Какие прилагал усилия!  
 Все снова пробовал он крылья,  
 Но поражений не избег.

Подняться крылья не могли.  
Природа словно говорила:  
«Я создала тебя бескрылым,  
Не полетишь ты, сын Земли».

Но сын не покорился. Нет.  
Не будут никогда забыты  
История его попыток  
И перечень его побед.

Тиски земного притяженья  
Земля должна была разжать.  
Великолепного движенья  
Она не в силах задержать.

Срок наступил. Победоносно  
Сбылась древнейшая мечта.  
Полетов человека в космос  
Отныне эра начата.

По всем материкам и странам  
В жизнь человечества навек  
Колумбом звездных океанов  
Вошел советский человек.

«Правда», пятница, 14 апреля 1961 года.



---

ВАСИЛИЙ СУББОТИН

★

## ВЕСНОЙ СОРОК ПЯТОГО

### *Трофеи*

**П**оговаривали, как много все мы привезли с войны. Когда нас об этом спрашивали и мы отвечали, некоторые впервые, может быть, позавидовали и пожалели, что не они, а мы были на фронте.

Да, кое-что с войны мы действительно привезли. Послушайте вот...

А впрочем, чтобы долго не томить, скажу сразу, что я привез ящик из-под мин. Тяжелый зарядный ящик из рифленой, негнушейся жести. Но и не только его, я чуть еще не привез и чемодан один, фибровый...

Я уже не вспомню теперь точно, где это происходило, в каком городке, помню, что в Померании, вскоре после того, как мы перешли границу. Батальон — кажется, это был батальон Хачатурова — расположился на ночлег в центре города.

Солдаты двух рот спали в комнате. Даже в двух комнатах. Они были несколько темноваты. Окна их уходили наполовину в землю, да и на окнах к тому же решетки. И все же это был сухой, отапливаемый подвал, и потому в нем было хорошо.

Бойцы пришли сюда, чтобы переночевать. Они пришли поздно, укладывались в полутьме; лампочка светила еле-еле, она была подвешена под самым потолком и закрыта проволочной сеткой. Спали на каких-то тюках. Утром увидели, что это — деньги. Немецкие марки в крупных купюрах. Их небольшие, туго запечатанные и перевязанные пачки штабелями стояли вдоль стены. Солдаты соорудили из них в темноте что-то вроде топчанов. Так и спали на дорогах этих, жестких постелях. Здесь же, в подвале, для них отыскивались подушки: кошелки с металлической разменной — латунной и серебряной — монетой...

Да, это был именно хачатуровский батальон. Все постепенно начинаешь вспоминать... Теперь я вспоминаю даже, что, именно разыскивая Хачатурова, я и зашел в подвал, в котором солдаты спали на бумагах немецкого казначейства — тюках с марками и мешках со звонкой монетой.

Помню еще — один солдат жаловался, что ему ничего не досталось, и он, стянув с полки брезентовый тяжелый мешок, положил его под голову. Мешок был набит продолговатыми, какими-то — на ощупь — гладкими предметами. Солдат говорил, что, проспав на этом ночь, он почувствовал, что свернул себе шею.

Твердые, продолговатые, эти проклинаемые бойцом предметы я увидел в тот же день... Тогда же, по всей вероятности, встретил я подполковника — нашего начподива. Никак только не могу восстановить в памяти, когда — раньше, чем я вошел в подвал, или позднее. Впрочем, это не так важно. Возможно, что он и сам приехал к нам. Он не очень

любил общаться с нашим братом газетчиком, но изредка все-таки в редакцию заезжал. Как видно, считал своим долгом.

Когда я, проходя, встретил его на крыльце, он достал из кармана какой-то желтоватый брусок. Брусок, который держал подполковник, был сантиметров десяти длиной, напоминал детскую шоколадку. Он даже сплюснут был с одного боку. Подполковник дал эту шоколадку мне, и я ее чуть не уронил. Таким тяжелым показался мне этот брусок и так меня тяжесть его удивила, что, думается, именно потому и запомнил я этот золотой слиток и наш разговор с начальником политотдела. Он сказал, помню, что едет доложить в верхах, сообщить о том, что найдено в подвалах дома, в расположении дивизии...

И вот еще почему история с золотыми слитками у меня сохранилась в памяти; с того самого дня стал я обладателем чемодана, с которым потом долго не расставался. Я им обзавелся в том же здании немецкого рейхсбанка.

Я должен объяснить, почему я его взял, этот чемодан. Дело в том — тут я буду по возможности кратким, — что у меня к тому времени уже накопилось много записных книжек, тетрадей-дневников и блокнотов. Их я делал сам — из бумаги, на которой печаталась наша газета. Чистой мне не давали (экономили), а с оттиском уже — пробным, после правки, так что блокноты эти с оборотной стороны были с печатным текстом. Требовалось их много, стоило мне пойти в подразделение, как я целиком исписывал весь блокнот.

Особенно же, и больше всего, дорожил я небольшими, разными по формату книжечками, в которые я заносил первые строки стихов, образ или любопытный солдатский разговор. Я так боялся потерять свои записные книжки, что повсюду таскал их с собой. Мой большой планшет, благодаря хлопотам одного участливого старшины сшитый для меня в том же хачатуровском батальоне, был уродливо раздут. Ничего уже в него не лезло.

А в редакционной машине, под старой наборной кассой, не менее ценимые, чем все мои трудно достававшиеся записи в корреспондентских блокнотах, спрятаны были номера газеты, которую мы выпускали.

Так вот и скопилось у меня постепенно целое хозяйство, и пора было собрать его в одно место... Давно уж требовался ящик или чемодан. И хотя это слово «чемодан» для самого меня звучало немного смешно и даже дико — война и вдруг чемодан, — но он-то больше всего и подошел бы.

Именно чемодан и увидел я, когда зашел в подвал, к бойцам комбата Хачатурова...

Он был небольшой, скорее даже маленький, фибровый, плоский и прочный. Фибра была крепка, как кость. Как раз то, что нужно мне.

Чемодан мне сразу понравился. Услышавший про то солдат тут же открыл его — я увидел, когда поднялась крышка, знакомые уже мне желтые бруски, один такой я сегодня держал в руке. Боец, с трудом приподняв чемодан, вытряхнул золото куда-то в угол...

Странно, что теперь, просмотрев свои записи, свой дневник и блокноты, для которых и понадобился он мне, я не нашел никаких упоминаний ни об этом чемодане, ни даже о золоте и банковской кладовой. Видимо, и это естественно, я тогда не придал всем этим вещам никакого значения...

Он хорошо мне послужил, этот чемодан, врученный солдатом.

Принеся его к себе в редакцию, я сложил в него свои записи, уже рассыпающиеся листки блокнотов и все мною сохраненные номера дивизионки.

Потом мы брали Берлин. Ушли на Эльбу. Блокнотов и бумаг у меня

прибавилось. К тому же я полностью тогда подобрал нашу дивизионку — номер за номером, за все полтора года. (Кажется, она только у меня и сохранилась, наша боевая, скромной и славной нашей дивизии газета.) Чемодан мой теперь для меня был уже мал. Вдобавок очень скоро, из-за частых переездов, он совсем развалился... Ящик из-под немецких мин, подобранный мной на берлинских окраинах, в траншее, в котором я и привез домой свои бумаги, был гораздо крепче, надежнее моего фибрового, взятого в банке. Вскоре я его, золотой тот чемодан, бросил где-то по дороге...

Тогда я не думал, что спустя много лет я сам с некоторым удивлением буду писать обо всем — об этом чемодане, из которого мы вытряхнули слитки золота, и о подвалах, где мы спали, подложив под головы тяжелые пачки банкнот.

И, конечно, я не думал, что это нечто такое, о чем будет стоить рассказывать. А написал вот и, по правде сказать, боюсь, что мне не поверят.

Вот я раскрываю его, этот ящик из-под мин... Видите, что в нем: это все мои записные книжки и мои корреспондентские, самодельные те блокноты. А это наша дивизионка, здесь полный — может, единственный — комплект ее... Вот что я привез с войны. Немало — уверяю вас...

### *„Опустите оружие!“*

Не здесь, вероятно, и не сейчас я должен рассказывать о том, как в прошлом году, в апреле, один за другим приехали они в Москву. Разумеется, не все, а несколько человек — те, что получили звание Героев. Хотя это и была интереснейшая встреча, более подробно я расскажу о ней как-нибудь потом.

Все собрались теперь, и все увиделись друг с другом, и постаревшие и каждый на свой лад изменившиеся... И генерал Шатилов — комдив наш — Василий Митрофанович, совсем уже сделавшийся седовласым, и самый молодой, но такой уже тоже немолодой Егоров, он мастером на заводе, худой, в синей фуражечке. И Зинченко — командир полка, теперь в отставке, но приехавший в полной форме, парадный и довольный. Приехал и Неустроев — тоже подтянутый, какой-то весь строгий и вроде бы вдруг, по этому случаю, помолодевший, и теперь — опять военный, только с погонами другого цвета. Подполковник.

Бурные были дни. Сначала целую неделю съезжались. Целую неделю встречали друг друга. Потом пришли в музей и, притихнув, стояли у знамени, где бойкая экскурсоводка объясняла им, как они брали рейхстаг, и, стоя с указкой перед посетителями, заученно и небрежно показывала то на экспонаты, то на них и путала их фамилии. Но все были настроены миролюбиво и не обижались.

Много дней осматривали Москву и снимались — на это ушло много времени — в документальном фильме, где Давыдов все с таким же добрым своим, спокойным, но болезненным и неузнаваемо пополневшим лицом, с ружьем за спиной — в сибирской тайге — шел на охоту. Снимали это в Переделкине, где еще лежал снег... У знамени же произошла встреча с четверкой молоденьких солдат, они — после того как их сорок девять дней мотало и трепало в океане — вернулись на родную землю, и их в это самое время тоже встретила Москва. В фильме, когда его показали еще в черновом виде, всего более удивили их старые кадры Салют на крыше рейхстага... Были они помоложе тогда. Ровно на пятнадцать лет.

Все жили в гостинице, но почти каждый вечер заезжал кто-нибудь ко мне. Моя школьница дочка с удивлением видела, что к нам, на тринадцатый этаж, шумно вваливаются те, кого она «учит» сейчас по истории СССР.

Потом наступили дни разъездов, и стали провожать друг друга. Генерал отбыл раньше всех, ему далеко было ехать — на Дальний Восток. Неустроев вдруг тоже почему-то заторопился и уехал сразу за генералом.

Сьянов зашел ко мне еще раз, в последний день, перед тем как завтра ему улететь в свою Алма-Ату. Его ждали. Он и теперь был на торговой работе — заместителем в облпотребсоюзе. Мы засиделись, и он у меня остался ночевать.

О таких солдатах, как Илья Сьянов — к концу войны они встречались все реже, — говорили, что они у нас еще «с основания дивизии». Сам он уроженец Кустаная, а именно там была сформирована наша 150-я дивизия. В отличие от многих он был тогда уже немолод. Еще в тридцатых годах учился на рабфаке, в Совпартшколе. До начала войны Илья Яковлевич Сьянов работал бухгалтером.

В день штурма рейхстага парторгу роты старшему сержанту Сьянову пришлось принять на себя командование ротой. Это произошло утром в «доме Гимmlера». Как раз когда солдаты, расстреливаемые с верхних этажей, не смели поднять головы на площади перед рейхстагом, Сьянов в этот момент из госпиталя пришел в свой батальон...

Сьянов — мы уже легли — говорил мне о том же: о дне тридцатого апреля, о той минуте, когда через проломленную дверь его рота ворвалась в рейхстаг; в незнакомом, в забаррикадированном наглухо здании в течение полутора суток им пришлось вести бой.

Это очень интересно — как об одном и том же говорят разные люди. Вся картина от этого выявляется необычайно правдиво.

Илья лежал на раскладушке. Он разделся и был в нижней рубашке. Я лег на диванчике. Его раскладушка была поставлена у одной стены комнаты, мой диванчик — у другой. Через полуоткрытую форточку до нас доносился гул еще не затихшей Москвы.

По усвоенной мной привычке самый важный вопрос задавать в конце, я, когда мне показалось, что мы исчерпали все главные темы, попросил его рассказать, как он ходил на последние переговоры к немцам, как это было все...

У меня от тех дней, как указание на этот случай, осталась записанной одна сказанная лейтенантом Берестом фраза: «Переговоры с ними вел уже сержант Сьянов». Только эта фраза. Ни одной подробности, ни одного слова больше. Но странно не это. Запись могла быть и короткой, сделанной только для памяти. Но в том-то и дело, что, когда огромные, бесконечно длинные колонны пленных, выводимых из города, шли по белым бетонированным магистралям и уже показались на окраинах Берлина, я в это самое время беседовал со Сьяновым; он рассказывал мне о своих бойцах, «отличившихся», как говорили тогда, в последних боях. (Обо всем и обо всех у меня подробно записано.) Но ничего в моей записной книжке нет ни о переговорах его, ни о нем самом.

Никто тогда в суматохе его об этом не спрашивал, никто в те дни не интересовался, как он — один! — ходил разговаривать со всей зангнанной в тоннели метро и в подземелья немецкой группировкой.

Я взялся написать эти несколько страничек, рассказать все, что теперь, через столько лет, я услышал.

Собственно, рассказывать будет он.

Я передаю этот рассказ дословно, ничего в нем не меняя, так, как я его записал.

«Мой ротный КП был на ящиках, возле колонн посреди центрального зала. Справа от меня — основной вход в подвалы. Отсюда, от колонн, хороший обзор.

Было уже за полночь с первого на второе мая. К этому времени мы в основном закончили освоение рейхстага, заняли все вплоть до третьего этажа. Пожар еще не утих. В подвалах были немцы.

Около двух часов Неустроев сказал мне, чтобы я передавал свой участок лейтенантам Антонову и Грибову, а сам шел отдыхать... Антонов — молодой, с ним мы воевали раньше; он в Германии в первый раз попал в бой.

Я ввел их в обстановку. Мы обошли весь рейхстаг. Показал им входы в подземелья, комнаты, откуда шла стрельба... Обстрел с флангов еще продолжался.

К этому времени еще не выгорели потолки, дубовая облицовка обваливалась кусками угля.

Около трех часов ночи я пошел ужинать. Стояло все, вплоть до вина... Хотя площадь еще простреливалась, но нам уже все могли принести.

Старшина Мальцев доложил мне, что рота построена. Из восьмидесяти трех человек (столько дали мне в «доме Гиммлера») осталось двадцать шесть. Так как были моменты, когда мы не могли вытаскивать раненых, то раненые, которые сами не передвигались, сгорели. Поэтому убитых у нас оказалось больше, чем раненых. Люди исчезли, и я их больше не встретил. Я увидел, что Якимовича, Гусева, Ищанова нет. И очень многих новых. Больше половины моей роты составляло пополнение, я ведь не успел с ними даже познакомиться.

Вид у людей был жуткий. Обгоревшие, в крови, в саже, в кровоподтеках; шинели отваливались кусками, подметки у всех прогорели, из сапог торчали пальцы и ключья портянок. Я сам хотел полой вытереть лицо, а пола поползла, затрещала.

Взгляд волчий, с оглядкой, люди не остыли после азарта боя. Молчат, но все же, что бы ни было, а теперь уже конец — подошли свежие подразделения, нас сменяли. И это все чувствовали.

Я вывел людей из здания. Тут же у входа мы уснули. В рейхстаге — дым, а тут ветерок. Я приказал ложиться за колоннами, к стене, чтобы в случае обстрела не задело.

Вдруг меня будят, трясет кто-то. Я вскочил, хотел крикнуть: «Рота, к бою!», но связной зажал мне рот, сказал, что просят меня одного на НП. Было это часа в четыре. Так что спал я только час... Тут, на площади, еще был слышен треск, стрельба с флангов, а в рейхстаге, в здании, когда я вошел, было теперь тихо.

Захожу в комнату налево. Комнатушка маленькая, такая вот, как ваша, а народу много. Человек двадцать офицеров. И уже, вижу, какие-то новые люди. Гусев среди них и Прелов. Он мне улыбнулся. «В чем дело?» — спросил я. Гусев, наш начальник штаба, сказал: «Приодеть тебя хотим». Ординарец комбата, смотрю, подает мне новую шинель и сапоги. Я не понял, к чему это.

Майор Соколовский, помню, даже пошутил, что женить меня не собираются, — задание есть.

Соколовский сказал: немецкое командование запросило по радио парламентаров для переговоров о капитуляции группы немецких войск в Берлине. Они просили прислать им парламентаря в звании генерала. Но мы, сказал Соколовский, не находим пока нужным. Посылаем вас. Постарайтесь уложиться в обусловленное время.

Гусев мне сказал: посылаем с вами переводчика (его фамилия была Дужинский, Виктор Бориславович, по званию старший сержант) и еще

одного сопровождающего, связного. С четырех до шести утра прекращаются военные действия. Будут вестись переговоры. Порядок, сказал он, следующий: сопровождающий несет белый флаг (флаг уже был заготовлен). «А вот тебе, — сказал Гусев и протянул мне большой электрический фонарь, — будешь освещать флаг». Переводчик должен был всю дорогу громко повторять на русском и немецком языках: «Русским и немецким солдатам не стрелять — идут парламентареры».

В комнате, кроме Гусева и Соколовского, были офицеры нашего полка, — вы их всех знаете, — Матвеев, Крылов, Прелов, Неустроев и, кажется, Казаков, может быть, и Беляев — уже не помню.

«Какие предьявить условия?» — спросил я.

«Безоговорочная капитуляция. Безоговорочная капитуляция на основе решений Ялтинской конференции. Офицеры могут оставить при себе холодное оружие».

Я еще спросил, какой порядок капитуляции. «Пусть выходят строем с белыми освещенными флагами».

Я быстро переобулся, новую шинель надел, умылся. На грудь этот фонарь повесил. Сопровождающему бойцу — фамилию его я не помню — дали белый флаг на коротком древке. Нам пожали руки, и мы вышли из главного входа.

Вышли на площадь. Вернее, не на площадь, а сразу от главного входа повернули влево, к Бранденбургским воротам. Была по радио договоренность с немцами, что там, у входа в метро, они будут встречать парламентареров. Слева шел сопровождающий с флагом, справа — переводчик, он повторял: «Идут парламентареры». Только боец поднял белый флаг и я осветил его, как сразу застрочил пулемет. Но пули пролетели выше нас и попали в стену. Мы повалились на землю и вернулись обратно. Но идти все-таки надо было. Посоветовавшись между собой, решили обойти здание с северной стороны. Там проходила выложенная кирпичом траншея, и мы спрыгнули в нее и пошли по ней. Почти вплотную у стены, в немецких траншеях, теперь располагалась наша пехота.

Отсюда, из траншеи, я разглядел горящий город. Это страшная картина, когда горит такой огромный город...

В траншеях были наши солдаты, наверно из 171-й дивизии. Они шумели: «Захватите Гитлера, Геббельса...» Сопровождающий солдат чего-то обещал им. Впереди видны были поваленные трамваи, подбитые танки. Мы шли, и переводчик кричал: «Русским и немецким солдатам не стрелять! Идут парламентареры...»

Но траншеи кончились. Возле метро видна была группа — человек пятнадцать. Мы еще не дошли до них, — нам крикнули по-русски: «Остановитесь!» Мы стали. Они сделали несколько шагов нам навстречу. Я крикнул: «Опустите оружие!» Мы автоматы не поднимали, а немец шел с парабеллумом в руке. Он тут же опустил его и сказал, что и мы должны все свое оружие оставить у входа: «Парламентареры не ходят вооруженные».

Рядом стоял сгоревший танк. Мы сложили на гусеницу автоматы и гранаты, я снял свой парабеллум. Застегнули пояса. Немцы продолжали все это время стоять на некотором расстоянии. Потом подошли, и старший из офицеров сказал: «Идемте за нами!»

Мы спустились. Трое пошли впереди нас, остальные сзади. Метро было битком набито. Шедшие впереди немцы все время повторяли: «Дайте дорогу... Дайте дорогу...» Тут был всякий народ — и военный и гражданский. Много было раненых. Двое, хорошо одетые, пробиваясь к нам, говорили: «Мы русские, угнанные...» Но мне не верилось, не такой у них был вид.



Мы прошли километра два с половиной. Нам встречались очень неприятные лица, они довольно злобно глядели на нас и на тех, кто нас сопровождал. Но общее настроение, видимо, было другим. Все время к нам присоединялись новые люди. Среди примкнувших были и полковники и даже два генерала... Шли, соблюдая субординацию. Генералы (каждый со своим переводчиком) шли рядом с нами.

Рельсов там почему-то не было. Свет горел, но слабый, были в тоннеле и темные, еле освещенные промежутки. Чем дальше мы шли, тем становилось свободнее, только нас окружала плотная группа. О званиях наших даже не спрашивали. И по всему было видно, что нас ждали, ждал офицерский состав с переводчиками. Каждый старался с нами заговорить. Спрашивали, что будет после капитуляции. Будут ли расстреливать. Они считали, что их сейчас же расстреляют...

Я сказал о наших условиях. Я сказал, от себя, что, если они честно капитулируют, всем дадут возможность вернуться домой. На этом вопросе мы покрутились в разных вариантах. Потом спрашивали, где их будут собирать. Один из немцев спросил: «Кто здесь есть, кто ваши командиры?» Я назвал. Я постарался назвать им побольше, чтоб внушительнее было. Всех, кто на память пришел, — маршалов Жукова, Рокоссовского, Конева, генералов назвал — Берзарина, Шатилова... Негоду назвал генералом и даже нашего Зинченко — тоже генералом. Переверткина назвал, сказал, что армия — Кузнецова, Кузнецов здесь...

Мы подошли к какой-то станции метро. Справа была дверь в тоннель. Тут нас и остановили.

Вниз, в подземелье, спустились оба генерала.

Кто-то из немцев спросил: «А Сталин тоже здесь?» Я сказал: «Сам Сталин здесь». Это произвело, кажется, большое впечатление, все заговорили, задвигались, передавали друг другу то, что я сказал.

«А генерал Чуйков с вами?» — спросил один из них. Я засмеялся: «Вы что, сталинградскую кашу ели?» Он тоже рассмеялся. «Нет, — сказал он, — нас отозвали за неделю оттуда, поэтому я и уцелел...»

Мы стояли возле двери. Тут было много охраны. При входе стояли два рослых солдата — часовые. Нас по-прежнему плотно окружали немцы — офицеры и солдаты. Я все время следил за выражением их лиц. Между тем прошло пять и десять минут, а генералы не возвращались. Те, что стояли у входа, были, как мы поняли, просто парадные часовые, а не охрана. Один из солдат сказал, помню, что еще в Сталинграде надо было вести переговоры.

А мы волнуемся, особенно мой сопровождающий, он меня в бок все подталкивал.

Наконец выходят генералы, дверь оставляют открытой. Один из них что-то сказал. Переводчик перевел мне: «Нашего командования нет. Нам не известно, где они находятся». Мой сопровождающий меня толкает в бок: проведи, мол, нас.

Я разозлился.

(Потом говорили, что командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг и комендант Берлина, не дождавшись представителя нашего командования и опасаясь эсэсовцев, сами отправились в штаб Чуйкова договариваться о капитуляции.)

Спрашиваю их:

«В чем дело? Ваши командиры просили прислать парламентаров и сами же исчезли...» Они растерянно отвечают, что никого нет. Я говорю: «Что это — игра?» Я, когда говорю, жестикулирую. Они подумали, протягиваю руку, и сразу же ко мне потянулись с десятком портсигаров. Но

я достал у себя из кармана ихнюю же, немецкую, сигаретку. Переводчик их зажег спичку.

«Что,—спрашиваю,—игра это? Вряд ли вы что-нибудь выиграете...» Один из солдат, стоявших на часах, сказал: «Вы можете зайти, заходите, смотрите, никого нет».

Офицеры стояли в стороне, о чем-то тихо говорили.

Я подошел к ним, сказал: «Хорошо, вы не знаете, где командование. Но вы — командиры, если вы хотите сдаваться, выходите сами со своими частями». Но мне ответили, что они не имеют права этого делать без приказа.

Сначала, в первую минуту, когда мы увидели, что разговора, к которому мы приготовились, не будет, нам стало не по себе. Я думал: а что, если все это — уловка, ведь так и было накануне, когда в подвалы под рейхстаг ходил Берест,—попытка оттянуть время, собрать последние силы и прорвать окружение.

Я заявил, что уйду, и потребовал сопровождающего. «Раз вы не можете и не хотите капитулировать, дайте нам провозятых». Немцы между собой о чем-то спорили. Наконец один из генералов приказал проводить нас. «Вас будут сопровождать двое».

Мы повернулись и пошли назад... Я все смотрел на часы, мы боялись пропустить время. Стрелка часов подходила к шести. Надо было торопиться. Мы пошли быстрее. Немцы — они всей группой все еще шли за нами — стали отставать, у них опять завязался свой разговор. Обратный путь показался еще длиннее. «Скоро ли выход?» — спрашиваю. Говорят, скоро. Было уже без трех минут шесть. Кругом была уже прежняя теснота, весь тоннель забит — видно, мы и в самом деле приближались к выходу из метро. Вдруг послышался крик: «Остановитесь! Стойте!» Солдаты загородили нам дорогу. Мы стали — сейчас получим пулю в затылок! Но к нам уже подбегали несколько офицеров, а за ними шли и те два генерала. Второпях они объяснили, что со своими частями сложат оружие. Я сказал, что они должны оставить оружие на месте и с белыми флагами выходить на площадь и ждать...

«Одних нас расстреляют,—сказал кто-то.—Мы просим подождать нас, мы пойдем вместе с вами».

По тоннелям раздались крики, послышалась команда, какой-то лягз и несколько пистолетных выстрелов. Кто-то стрелялся.

На бетонированный пол стали складывать оружие.

Надо было ждать, а время выходило.

Было минут семь седьмого, когда мы поднялись наверх. За нами шла колонна. Так, в сопровождении длинной колонны, мы вышли из метро. Часы показывали двенадцать минут седьмого. И вот тут-то еще раз ударила чья-то самоходка. Началась паника... Стрельба сейчас же прекратилась.

Нас ждали Гусев и Соколовский. Гусев казался очень взволнованным, он сказал, что боялся за нас, думал, что с нами расправились.

Когда показалась колонна и самоходка по ней ударила, получилась заминка. Мы, сопровождающие нас немцы и шедший рядом генерал забежали в рейхстаг, с другой его стороны. Остальных немцев постепенно стали выводить на площадь. Они выходили через разные выходы. Те офицеры, которые вместе с нами заскочили в рейхстаг, говорили мне, что Гитлер и Геббельс покончили с собой.

Позднее стали выходить и немцы из рейхстагских подвалов. Раненых тут же увозили в госпитали...

Немцы сдавались по всему Берлину».

## Мой гид

### 1

Война еще не кончилась, хотя в Берлине она уже потухла.

Я решил весь этот день посвятить осмотру тех мест, о которых я пока не имел никакого представления. Мне хотелось познакомиться с центральным, как я предполагал, районом, который я совершенно не знал, как не знал его и никто из нас, поскольку этот район был по другую сторону рейхстага.

Я вышел из главного его входа и через две-три минуты стоял уже у Бранденбургских ворот. Они почти примыкали к рейхстагу.

Здесь, под аркой, ее колоннадой, было сумрачно и прохладно. Проезды — широченнейшие дороги между колоннами — были заложены кирпичом, и разобрать его еще не успели. Только боковые узкие проходы оставались незабаррикадованными. Поверху, через весь фронтон, — какая-то наполовину обитая или обвалившаяся лепная неразборчивая надпись... Ворота велики, громоздки. Мне они показались кособокими. Возможно, так это и было... От прямых попаданий.

Я уже намеревался идти дальше, чтобы выйти на улицу, лежащую передо мной, но тут неожиданно вдруг начался дождь. Начался сразу и как-то ни с того ни с сего, как это бывает только в такой весенний, солнечный день. Майский день! Крупный, частый, благоухающий ливень.

Лучшего места спрятаться от дождя, чем под этой аркой, нигде не было. Ни одна капля не залетала сюда, под тяжелые своды. Я стоял и смотрел на обливаемый потоками дождя город, на мрачные остовы выгоревших и разрушенных домов — скоро они совсем скрылись за сеткой дождя, — на взорванные мостовые и не сразу заметил стоявшего рядом, прислонившегося к колонне солдата. Он стоял, как видно, еще до того, как я сюда пришел. С карабином у плеча. Усатый, уже пожилой... В порыжелой измятой ушанке... Хотя ушанки вроде бы давно уже сняли. Берлин «брали» уже в пилотках.

Я заговорил с ним и тут же, по привычке, свойственной, наверно, лишь очень молодым газетчикам, записал в блокнот: «Рядовой Андрюшин, Кирилл Егорович». Боец не удивился нисколько, что я записываю его фамилию. Он отнесся к этому, как к делу обычному. Или старался показать мне, что для него это так.

После первых фраз, которыми мы обменялись, короткого разговора, когда выясняется, кто из какой части и откуда родом, я, делаясь своими наблюдениями, заметил, что эти самые Бранденбургские ворота, под которыми мы укрываемся, сделаны ни более и ни менее, как на ширину всей улицы. Солдат согласился со мной и сказал, что в Берлине ему уже приходилось бывать. Я, помнится, удивился, но в следующую минуту подумал, что, наверно, он из тех солдат, которые были в плену и освобождены нами здесь, в Германии, в последние недели войны. Но, оказывается, нет... Тогда, может, еще в империалистическую он побывал здесь в плену? Мой собеседник мотает головой. Он был тут еще до первой мировой! В 1912 году... С экскурсией. Приезжал вместе с воспитанниками Императорского лицея в Петербурге. Нет, сам он не был воспитанником. И лекций он тоже в лицее не читал. Был служителем... Помнит, проезжали под этими воротами... Я вижу, он оглядывает мощные опорные стены и тяжелый свод. Он узнает и не узнает теперь все это...

Пока мы стояли с ним так и под захлебывающийся говор дождя вели свой разговор, мы не заметили, что в том же полете арки, за спиной у

нас, собрались другие солдаты, так же, как и мы, прячущиеся от дождя. Они уже успели вымокнуть. Все были уже без оружия, в обмотках и в обычных — выгоревших, выцветших пилотках. Но все с веточками сирени в руках. Свежей, только что наломанной...

В тот год вообще было много сирени. Но больше всего ее было в Берлине. Она заглушила все дома, скверы... Лезла из-под развалин, вывороченных и наваленных на нее плит, из-под горящихся холмов штукатурки. Удивительная была сирень. И удивительная была весна!..

И мы — грубые мужчины, — солдаты, обстрелянные люди, — казалось, что мы в этом понимали! — ходили взволнованные по городу, и в руках у нас была сирень. И пахла она тем сильнее и, может быть, потому еще так памятна, что не выветрились еще на улицах запахи пороха и дыма. И не только пороха и гари...

Разрушенный город — и сирень!

Дождь тем временем перестал... Солдагы с веточками сирени в руках ушли, как только увидели, что он стихает.

Вода, хлеставшая потоком, быстро сошла. Опять выглянуло солнце.

## 2

Кирилл Егорович ведет меня широкой, прямой улицей. Вся она не то дымится, не то парит... Это и есть Унтер ден Линден.

Я впервые здесь — за Бранденбургскими воротами. Здесь держались последние гитлеровцы, отсюда — из-за Бранденбургских — они стреляли, когда уже взят был рейхстаг.

Конечно, мне повезло, что я встретился с солдатом, который впервые побывал в Берлине гораздо раньше нас. В моей экскурсии по городу я чувствую себя увереннее, чем если бы я шел один или с кем-нибудь из своих товарищей. Ведь теперь, после боя, чужой разрушенный город в своем «мирном виде» стал как бы еще непонятней. Не скоро и не сразу разберешься, где тут что надо искать... Во время боя есть участок полка или батальон. Вот и пробирайся из одного тебе известного пункта в другой. Район Вайсензее и Моабита, через который мы наступали и в котором мы действовали, был уже в какой-то мере нам знаком. Настолько хотя бы, что могли в нем ориентироваться. Но теперь бои закончились. Сдались самые последние, в одиночку спротивлявшиеся автоматчики. Можно идти свободно куда хочешь. И тут-то мы почувствовали, какое не простое дело ходить по громадному, везде одинаково разрушенному городу, когда у тебя нет ни плана, ни карты, когда не знаешь ни основных магистралей, ни принципов планировки... Одним словом, именно это я хочу сказать: под пулями и снарядами ориентировались мы лучше, чем теперь, когда стало тихо.

Вот почему я так смело шел с Кириллом Егоровичем, так обрадовался встрече с ним: он здесь бывал, он знает...

Кое-где над крышами, у карнизов разрушенных и сожженных зданий, — скульптуры. Прямо над черными стенами. Целые, нетронутые... Бронза от времени покрылась окисью, и статуи стали зелеными. Совсем как стеклянные, только что не просвечивают. Тем более странно их видеть на этой улице.

Я послушно иду за моим спутником и провожатым. Иду и не перестаю удивляться про себя, что мне попался такой необычный солдат. Небось он тут один такой, на весь Берлин один.

Старик что-то мне показывает. Он уже вошел в свою роль экскурсовода. Но мало что уцелело. Перед нами кварталы кирпича, щебня,

камня. Мой гид оживился, когда увидел богатое, пышно украшенное здание в сплошных горельефах, в орнаменте. Кирилл Егорович помнит его еще с тех лет. Через решетки на окнах мы заглядываем внутрь первого этажа, вернее полуподвала. Сколько оружия! И пушки, и мортиры, и мушкеты. Всех, наверно, времен и веков. Здесь — арсенал. Что-то вроде музея военной истории.

И опять зияющие окна, обитые углы... И опять бронза, покрытая окисью. Опять пустыри и руины, руины и пустыри.

Раньше все выглядело здесь по-другому.

Как это все выглядело раньше, я уже знал по немецким открыткам, и, когда Кирилл Егорович рассказывал, я хорошо представлял себе эту Унтер ден Линден. Проходя под той же аркой, по всей этой широкой парадной улице — под грохот барабана — шли колонны... Солдаты, которые лежат на полях Подмосковья. Солдаты, вылезшие из подвалов рейхстага... Кирилл Егорович рассказывает свое, но тоже о марширующих колоннах. На флангах — офицеры в островерхих вильгельмовских касках, грозно распушившие усы. На конях. И впереди — барабанщики... Потом шли другие и — резало глаза от сверкания касок и штыков — орали «Хорст Вессель»... И вдоль всей улицы, и над липками — белыми раструбами факелы. И орлы — на длинных шестах. Орлы и факелы. На руках у чиновников, сидящих в машине, на зеркальных дверях магазина, на столбе с факелом, на всем — свастика.

По этой же улице только вчера мы выводили их длинные колонны.

Переходим небольшую и грязную Шпрее — пожалуй, одна она не разбита и не изуродована — и попадаем на Люстгартен. Но сначала Андрюшин ведет меня к Королевскому дворцу, и тут мы наталкиваемся на какое-то сооружение. Из металла... Что-то странное. Похоже на танк, но таких мы не встречали. Высоченнейшая машина. Нечто подобное я видел только в детстве, на картинке. Была такая картина — я видел ее в календаре: врангелевский танк, приминающий частокол загражденный, и красноармейские цепи, поднимающиеся из траншей. Кирилл Егорович картины этой не помнит, а я ее помню...

Кто-то нам говорит, что это английский танк. Мы не верим, конечно. Английские танки мы знаем! Они небольшие, невысокие. Они у нас были... Но нам объясняют, что это английский танк времен первой мировой войны... Ах, вот что! Те самые!

Кирилл Егорович ведет меня по набережной. На исполински огромном битюге сидит такой же огромный мужчина в каске. Фридрих Вильгельм. Кайзер. Я решил, что это самый большой из всех существующих на свете памятников. С пристройками он занимает целый квартал...

У его подножия и вблизи, повсюду, положив головы на обмытые и согретье уже солнцем ступени, спят солдаты. Один, услышав наши гулкие шаги, приподнялся, поглядел на нас и перелез в холодок, туда, где еще была тень. На нем грязные обмотки. Щеки обросли густой серой щетиной. Сначала надо отоспаться.

На самых нижних ступенях пьедестала — фигура женщины. Германия. Мы с Кириллом Егоровичем подошли к ней близко. Ее специально сделали такой, чтобы вы себя чувствовали маленькими... И до колен ее не дотянуться.

Старый солдат, бывший служитель Императорского лицея Кирилл Егорович, открывая мне двери Берлина, ведет меня дальше, мимо бронзовой статуи — со шпагой, но без головы, — к другим памятникам. Мы чувствуем себя подавленными их размерами. Меня еще вчера, когда я

был в Тиргартене, среди поваленных деревьев, сожженных крупповских танков, поразила своей величиной статуя Победы. Кирилл Егорович, улыбаясь в желтые, прокуренные, как у всякого солдата, усы, говорит мне, что бойцы золоченую эту статую зовут «Баба с крыльями»...

## 3

Я сейчас не могу объяснить, как случилось, что я не только не держал в голове, но совсем забыл об имперской канцелярии. Не думаю, чтобы меня это не интересовало. Я, вероятно, считал, что это не для всех доступно...

Но, может быть, дело было проще. Ведь я полностью на этот день доверился Кириллу Егоровичу, решив с самого начала не отставать от него. Ни о какой канцелярии, построенной Гитлером сразу после прихода к власти, Кирилл Егорович ничего не знал и не слышал. Надо сказать и вот еще что: Кирилл Егорович, который сначала так хорошо исполнял свою роль экскурсовода, очень скоро примолк. И я понимаю это. Прошло много времени, как был он здесь. И получилось так, что вскоре не он уже, а я вел его туда, куда хотел. Конечно, я шел вслепую, меня влекло одно только любопытство.

Все-таки старик кое-что мне показал, мы обходили с ним полгорода и теперь возвращались обратно по той же Унтер ден Линден, но по другой стороне. Бранденбургские ворота были недалеко, когда я заметил боковую неширокую улочку. Мне хотелось посмотреть еще что-нибудь. Я повернул в нее, Кирилл Егорович послушно пошел за мной. Мы обогнули осыпавшийся угол дома и прочли на случайно сохранившейся табличке: «Вильгельмштрассе».

Я долго напрягал память, пока понял, почему и в связи с чем я много раз слышал это название. Мы уже шли вдоль высокой глухой розовой стены. После Унтер ден Линден эта улица казалась совсем узенькой. Кирилл Егорович молча шел за мной, не понимая, почему мы пошли сюда, а не вернулись к рейхстагу.

Я увидел уже узкий дверной проем. На стене, высоко над входом, как бы вырезанным в стене, — клювастый алюминиевый орел с распахнутыми крыльями. Его зацепило снарядом, и он был полуоторван. В цепких своих лапах орел держал земной шар, который уже оплетала свастика. Я потом еще раз увидел эту птицу, но уже не на фронте берлинской имперской канцелярии, а в нашем советском музее, в Москве. В том же музее, куда было привезено Знамя Победы, которое наша Идрицкая дивизия ставила на рейхстаге. Его внесли в музей и установили в самом большом зале. И чтобы сохранить навечно, укрыли стеклом, в пирамиде... Как хранят оружие. А этот сбитый с рейхсканцелярии и уже привезенный в Москву исковерканный имперский орел был брошен к подножию пирамиды, где стоит наш флаг.

Ступеней никаких не было. Ход прямо с тротуара. Несмело шагнули мы с тротуара в проем. Мы думали, конечно, что нас не пропустят, что нам придется сразу же повернуть обратно. Но нас никто не остановил. Здесь никого не было... Никто уже не интересовался местом, где находился Гитлер.

Перед нами замкнутый, прямоугольный каменный забетонированный двор. Под ногами — бетон, да и стены тоже бетонные. Так мне запомнилось. Солнце стояло высоко, и здесь было жарко. Все было здесь прямое, квадратное и невысокое, наполовину как бы ушедшее в землю.

Увидав, что нас никто не задерживает, мы решили с Кириллом Егоровичем, что должны идти дальше. В другом конце двора мы увидели

у подъезда обгоревший броневик. На минуту остановились, стараясь понять, почему сожженная и разбитая машина стоит у подъезда внутри двора и как вообще сюда попал броневик.

Потом мы шли по длинному полуосвещенному коридору. Куда-то поворачивали и опять шли по коридору, но уже по другому. Хотя я не помню, был ли там кто-нибудь, но, вероятно, кто-то нам все-таки показывал, как идти, иначе мы бы ничего не нашли.

Когда мы вошли в кабинет, мы в первое мгновение ничего не могли разглядеть. Над головой была дыра, было небо и солнце. От света, который бил через пролом в потолке, все казалось как бы во тьме.

Пол был завален поломанной мебелью и бумагами. Все было знакомо перемешано со штукатуркой и обвалившимися перекрытиями. Окна были тут с двух сторон; второе окно — рядом с письменным столом, большое, почти во всю стену. Но теперь, когда потолок был обрушен и проломлен, эти окна как бы уже не светили. Кабинет Гитлера, следовало бы говорить — бывший кабинет, был гигантским, но на кабинет он уже не походил. Одни шкафы у стены остались непрокинутыми. В них были какие-то книги. Кирилл Егорович дал мне одну, другую. Они оказались с надписями. От авторов... Целая библиотека. Взятая мной наугад в том же шкафу книга была Геббельса и тоже с автографом.

Еще вчера, проходя по рейхстагу, я услышал в коридоре: «Колченого не нашли?» — «Нашли. Говорят, в тюрьму повезли».

Сначала его держали у Негоды, в палатке со льдом. Потом перевезли в Моабит, на КП нашего корпуса... Его нашли здесь же, на Вильгельмштрассе.

Обгорел он сильно. Из одежды на нем был один только галстук. Остальное — коричневая рубашка и клочки коричневого пиджака — лежало рядом. На кармане пиджака — значок фашистской партии... Пистолет положен тут же, у виска.

Лицо тоже обуглилось. С одной стороны меньше. Узнать было можно. Нога вывернута.

На голой шее — коричневый галстук. Затянут, как удавка. Под самое горло. Настолько туго, что даже развязать не могли.

Чтобы подойти к окну, мы обошли поваленное кресло, и тут я увидел, что наступил на еще одну — валяющуюся в мусоре и затоптанную уже книгу. Мы оба ее впервые увидели. Та же книга — уже не преподнесенная, а самого Гитлера — была в шкафах, что стояли вдоль стены. Его книжонка была тут во многих изданиях — и все в одинаково черных переплетах.

Но больше всего поражали люстры. Их было две. Нигде потом я таких не видел. Эти люстры — по ним можно уже судить о размерах помещения — не висели над головой, они стояли. Одна была до самого потолка, другая лишь немного не доставала. Обе крепились на полу...

А гигантский тот глобус, о котором все тогда говорили, которым Гитлер столь долгод вертел здесь, повален был и валялся в углу, не сразу мы его разглядели под рухнувшей на него штукатуркой... Он был уже совершенно расплюсчен.

Мы сидели в разгроханном тяжелыми снарядами кабинете Гитлера, у разбитого, высаженного разрывами окна, смотрели на виднеющуюся вдали колонну — статую Победы, — и я рассказывал Кириллу Егоровичу

о том, как Гитлер приходил к власти, о кровавом фашистском разгуле и о поджоге рейхстага.

Отсюда нам была видна башня рейхстага и почти весь его большой, решетчатый купол. Здесь, в этом по-современному построенном дворце, где мы сидели и отдыхали сейчас, Гитлер и распоряжался и жил, а там, в рейхстаге, произносил свои речи. Напрямую тут было близко, хотя напрямую хода не было... Даже высокие деревья парка Тиргартен мы видели. И, конечно, колонну Победы — ее отовсюду видно. Кирилл Егорович спрашивал меня об этом памятнике, но, к сожалению, я мало что мог ему сказать. Я знал только, что колонна эта считается памятником 1870 года, что она установлена в честь победы над Францией. Больше ничего я не мог прибавить к этой справке, хотя старый солдат живо интересовался фактами истории.

Я не мог тогда сообщить Кириллу Егоровичу одного эпизода, так как узнал это позднее — от Сьянова, когда тот в прошлом году приехал в Москву. После войны Сьянов был главным в военном земледельческом хозяйстве, которое было у нас на Эльбе. (Сейчас это передовое народное имение «Шванеберг».) Немка-переводчица, окончившая русскую гимназию в Риге, вместе с мужем в тридцатых годах работавшая на нашей Магнитке, рассказывала Сьянову, как Гитлер, продиктовав в компьенском вагончике свои условия, возвращался назад из захваченного Парижа. Он ехал через всю Германию, стоя, в открытой машине, под фейерверк и под рев эсэсовцев и бюргеров, вышедших к дорогам. И когда он ехал, угодившей в него ракетой ему обожгло лицо.

Он — захотев увеличить монумент в Тиргартене — заказал в Швеции необходимый для этого камень. Сьянов понял так, что предполагалось расширить пьедестал и, сделав выше колонну, поднять статую, высечь новые барельефы, изображающие победы гитлеровского оружия. Но скорей всего Гитлер, собираясь поставить памятник своей победе над Францией, хотел «повторить» старый памятник, так, чтобы рядом с новым колоссом прежний казался бы маленьким. Он это задумал, когда с обожженной физиономией ехал по дороге Париж — Берлин.

Заказанные для памятника плиты, по словам переводчицы, были уже привезены и сложены в Тиргартене. Эти плиты, заготовленные Гитлером для своей колонны,годились, как я думаю, когда сооружался в Берлине памятник советскому солдату. Под ногами этого нашего солдата, поставленного в Трептов-парке, — плоские, из твердой горной породы ступени-плиты.

Да, я не рассказал всего этого Кириллу Егоровичу, когда мы сидели в канцелярии Гитлера, у вырванного вместе с рамами окна его кабинета. Но этого не рассказал бы тогда и Сьянов. Он в то время, наверно, еще спал, приткнувшись где-нибудь в подвале под рейхстагом.

Другой вход, к которому мы подошли, выводил в сквер, вернее в небольшой парк, прилегающий к имперской канцелярии. Деревья в сквере, как и всюду в Берлине, иссечены осколками. В воронках и ямах какие-то рваные и скомканные, вымокшие бумажки.

Мы увидели в парке двух мужчин в штатском, по виду журналистов. У них на груди, словно бинокли, болтались фотоаппараты... Они что-то искали между деревьями.

Ведь и англичане, когда они пришли сюда, да и потом еще, через два месяца, — я видел это, приехав в Берлин, — так же кружа возле имперской канцелярии и ковыряя тросточками землю, разыскивали Гитлера... Почему-то нас, тех, кто видел обгоревшие трупы многих высокопоставленных подручных фюрера, гораздо меньше интересовало, где он сам. Мы знали и были убеждены, что и он не ушел.



Возвращались мы прежним путем — через кабинет, полутемным коридором. В дверях уже Кирилл Егорович меня окликнул, и я взглянул на стену, на которую он мне показывал. И не поверил своим глазам. Подошел к другой стене. Стены были золоченые. Отстававшая позолота слезала слоями.

У нас в Сибири, в домах побогаче, так вот покрывали печки-голландки. Полукруглые, обитые железом печки... Печь красят черной краской и «дуют» на нее золотым порошком. Так она в этих золотых яблоках и стоит...

Мы опять вышли в тот подъезд, в тот же внутренний двор. Сейчас тут было несколько наших офицеров. Такие же, как и мы, экскурсанты-одиночки. Кто-то показал нам подземный ход в самом углу двора. Спуск в бункер... Так ни разу и не вылез Гитлер из своего убежища, пока мы штурмовали Берлин. И только чтобы сжечь его труп, его вытащили наверх. Вот здесь, на этих цементных плитах, запорошенных пеплом архивных бумаг, он — вытасенный охранниками на поверхность — лежал с пробитым лбом, отваливающейся челюстью... Здесь вот он и лежал. Как скорпион, укусивший себя...

Надо было спуститься вниз, в этот бункер, но Кирилл Егорович торопился, ему уже пора было возвращаться, и он боялся своего старшины. Мне же не хотелось отставать от Кирилла Егоровича...

Перед тем как уйти, мы узнали все-таки кое-что о броневике, который стоял у стены. Он, этот теперь разбитый и обгоревший броневик, был личный, Гитлера. Он так и стоял всегда здесь... Гитлер держал его на всякий случай поближе к подъезду.

Миновав темный проем, мы опять попали на Вильгельмштрассе. Почти у самого входа в имперскую канцелярию стояла большая очередь... Немцы делили убитую лошадь.

Мы вышли на Унтер ден Линден, и мой старик, бывший служитель Императорского лицея, опять оживился, понемногу возвращаясь к сегодняшней своей роли. Он снова вел меня по Берлину и таким тоном давал объяснения, что, казалось, был не в Берлине, а в лицее и, раскрывая двери, говорил: «А вот здесь кабинет ректора, а направо — актовый зал».

Спасибо тебе, старина, ты много показал мне в этот день...

Солнце уже садилось, заходило за молчаливые, мертвые дома, когда мы подошли к рейхстагу.

У главного входа стоял наш часовой. Он о чём-то разговаривал с двумя гражданскими немцами. Как я понял, они просили часового пропустить их в рейхстаг, где они ни разу не бывали...

Здесь, у дверей рейхстага, я и расстался с ним — моим гидом, советским солдатом Кириллом Андрушиным.

---

### *Недолгая стоянка*

Я хожу сейчас с палкой — после того как упал и пролежал много дней, мне уже трудно было бы обходиться без нее... Палку мне купила жена. Она выбрала как раз ту, которую продащица не советовала брать. Хорошая, прочная и легкая палка, с суком возле рукоятки.

Сейчас я хожу, постукивая палкой по московским обледеневшим тротуарам, что не помешало мне все-таки совсем недавно еще раз крепко упасть и, после уже, несколько раз опасно поскользнуться.

Давно уж я не пользовался такого рода подпоркой. Это случилось со мной второй раз, и это вторая моя палка.

Когда я лежал в госпитале в Германии, лежал я — война была уже позади — довольно долго, так вот там, после того как мне разрешили ходить и даже совершать прогулки в город, я тоже ходил с палкой. Палку я захватил с собой в госпиталь, когда меня увозили... Не потому, что я был уже настолько предусмотрителен. Скорей потому, что ничего, никакого другого хозяйства у меня не было. А палка как-никак вроде бы имущество, даже если это обычная, ничего собой не представляющая, простая палка.

По окончании берлинских боев мы прожили в Берлине не более недели. Ночью, неожиданно,— в армии и особенно на войне (впрочем, война кончилась) всегда все делается «по тревоге» и неожиданно,— мы должны были срочно собраться и уехать. Нам не сразу стало понятно, чем вызвана эта спешка. Потом мы узнали, что утром сюда должны были прийти англичане и район, который мы занимали, должен стать их зоной... Мы плохо еще себе представляли этот раздел, и его цели и его смысл, и нам, солдатам, не было понятно, почему должны мы отдать большую часть города — того города, который брали мы и столь трудно и такой большой кровью.

Оказалось — нам сначала этого не сказали,— мы не только уезжали из района, в котором мы жили, но и вообще покидали Берлин. В городе оставалась отныне одна только берзаринская армия.

Грузились мы в потемках, кое-как. Как попало кидали мы в нашу машину небогатое редакционное хозяйство. Так же, торопясь, комом, как придется, всунули туда свои вещевые мешки и свои шинели, влезли сами и тронулись... Многие, наверно, знают, что представляет собой редакционная полуторка. В ее кузове поставлен крытый, из досок сколоченный ящик. Вот такой тесный, разошедшийся ящик был и у нашей редакции. Мы втискивались в него все, сколько нас было, и когда наш шофер, Митя, приперев за нами легонькую фанерную дверь, поднимал борт и закрывал его, мы оставались в полной темноте. Так в глухой этой клетушке и сидели мы друг на друге, как в курятнике, пока не приезжали на новое место и тот же Митя не открывал и не выпускал нас.

Так мы ехали-путешествовали и теперь. Ехали всю ночь, ехали и утром, и днем, и в полдень только прибыли в небольшой, невзрачный городок — Гросшённебек. Но и тут, едва мы остановились и едва Митя нас выпустил, едва мы распрямили затекшие спины, нам снова надо было лезть в нашу «душегубку», в «Майданек», как мы тихонько про себя называли свою полуторку, этот насквозь прокопченный, душный ящик.

Опять всем своим табором мы в него влезли и двинулись дальше...

Сразу за городом начался лес. В шелку между досок можно было его видеть.

Мы ехали еще довольно долго. И когда наконец мы вылезли из нашего шарабана, вокруг все еще был лес. Вернее сказать — бор, почти такой, как у нас на Туре, в Сибири, там, где я рос. Ровный, прямой сосняк. Только у дороги, и с той и с другой стороны от нее, немецкий этот бор был огорожен густой, высокой проволочной сетью.

Я еще плохо разглядел, где мы находимся, а уже надо было разгружаться. Машина наша стояла вблизи дома, у крыльца, рядом проходила дорога. Кто-то принялся выбрасывать вещи, мы их стали вносить в дом. Было непонятно, что это за дом, спросить было некого. По-видимому, какая-то лесная дача.

Мне отвели (кажется, это так говорится) комнату на втором этаже.

Я в нее втащил свой железный увесистый чемодан, набитый записными книжками и номерами нашей дивизионки, и стал понемногу располагаться.

Окно в комнате было двойное, широкое, оно тоже выходило в лес. Сама же комната была невелика и кем-то уже захламлена: пол был весь завален фотоснимками и иллюстрированными журналами. Я позвал Митю и, показав на пол и на бумаги, попросил вынести все это. Митя — поесть ему, как всегда, было некогда — дожевывал хлебную корку. Он выслушал меня и, прежде чем скрыться за дверью, кивнул, что означало — он все сделает, когда освободится.

Между стеной и дверью стоял в комнате большой, громоздкий шкаф. Было куда повесить шинель и китель. Но шкаф, как я тотчас убедился, был занят. В нем висело много всякого платья и одежды. Все не новое, не парадное — ношеное: мундиры без погон, охотничьи костюмы и — больше всего — штаны и куртки. Отделанные шнуром полувоенные куртки; домашние и охотничьи...

Я открыл боковые ящики, чтобы сбросить туда всю эту чужую одежду. Когда я снимал куртки, я обратил внимание на то, какие они большие, широкие. Ну просто широченнейшие — в одну такую куртку явно можно было всадить четырех еще таких лейтенантов, как я.

Рассовав весь этот хлам по ящикам, я повесил на освободившееся место свой выгоревший, потрепанный китель; он по наследству перешел мне от одного офицера, когда мы были еще на Калининщине. И шинельку рядом повесил. Шинель у меня была новая, недавно только полученная; я ее еще мало носил и не успел еще перешить...

Тут же в шкафу, в темном углу — я ее не сразу разглядел, — стояла эта палка. Деревянная трость, средней толщины, с гнутой ручкой. Редкость небольшая... Похожие палки нам уже встречались.

Сидеть долго в комнате я не мог: хотелось выйти во двор, подышать воздухом и оглядеться. Я взял палку, примерил, по руке ли она мне, и с ней спустился вниз.

На крыльце и возле машины никого не было. Наши, по-видимому, устранивались. Дом оказался таким большим, что каждому досталось по комнате. Последнее время мы привыкли располагаться с удобствами. Не то, что раньше, когда мы были в России или в Польше, где мы шли по выжженным местам. Здесь была Германия. Немцы своего не жгли. Там, на тех дальних старых своих дорогах, если мы, становясь на ночлег, ютились в одной комнате, все были рады — все-таки не под открытым небом. Теперь даже наш печатник — он к тому же ведал у нас снабжением — требовал для себя комнату... Что говорить, было приятно спать по-барски, на мягкой постели, одному... И мы, во время войны окончив училища, только теперь почувствовали себя офицерами. И это тоже было приятно. И я тоже, как другие, говорил: «Митя, подай, Митя, принеси...»

Я вышел на крыльцо, постоял; потом, отойдя от дома шагов двадцать, поднялся на невысокий пологий холм; с той, с другой стороны его начинался лес. Место здесь было низкое и лес смешанный: береза шла пополам с мелкорослой сосной. Зато и справа, и слева, и по другую сторону дома — отсюда я все хорошо видел — стоял настоящий сосновый, черный сосновый бор...

Было по-лесному и так еще непривычно для меня тихо. Первая узнаваемая мною после войны тишина. Мне показалось даже, что это все оттого, что я просто давно не бывал в лесу. Но потом я понял: дело было вовсе не в этом. И я, если уже на то пошло, не только рос, но и воевал в лесах. На Калининщине я помню один лес, где у нас проходила оборона. Странная немного оборона. Траншей не рыли. Их нельзя было рыть,

сразу они наполнялись водой. Вместо траншей устраивали высокие завалы из бревен, за которыми мы укрывались... Были у нас лесные стоянки и в латышском крае. Да и в Польше, куда нас потом перекинули, и в самой Германии, когда мы вступили в нее, мы, случалось, попадали вот в такие же тихие леса. Наконец, совсем еще недавно, какой-нибудь месяц назад, на Одере, мы стояли в большом, прямо-таки бескрайнем каком-то сосновом лесу, и я, добираясь до соседнего городка, все время через лес, по дороге проехал километров двадцать... Так что в лесах я не только был, я, можно сказать, не вылезал из них. Дело не в том, что я попал в лес, а что кончилась война. В совершенно особой этой тишине. И просто в том, что это была первая после войны встреча с природой.

Поэтому мы теперь все замечали, все как-то по-особому внимательно разглядывали — и стволы деревьев, неровные, с угольно-черной, словно обгоревшей корой, и капельки смолы, светившиеся от солнечного лучика, попавшего на них.

Под ногами сквозь прелые листья выбивалась редкая еще, молодая зеленеющая травка. Я стоял на бугре и подставлял спину под солнце. Не хотелось ни о чем думать. Сказывалось напряжение последних сложных и мучительно тяжелых берлинских дней, и усталость, сковывающая все тело, тоже начинала сказываться.

Я рассеянно ковырял тростью землю, ворошил прелые, уже начинающие высыхать листики, потом стал разглядывать самую трость и небольшие, величиной в среднюю почтовую марку, серебряные или посеребренные пластинки на ней. Пластинки были набиты по всей палке, снизу доверху — от ручки до острого наконечника. Я насчитал их одиннадцать или двенадцать штук. Так же не спеша и просто-напросто от нечего делать я стал разглядывать эти пластинки и то, что на них было вычеканено. На первой — какой-то древний замок, на второй — красивая вилла. «Богатый хозяин был», — подумал я и все так же не спеша и без особого интереса стал изучать другие рисунки.

По тропинке, через пригорок, на котором я стоял, прошел старик. Как видно, он жил в том же доме. Я теперь думаю, что он был в нем за сторожа. Проходя по тропинке, он как-то искоса поглядел на меня и на палку в моих руках и, изо всех сил стараясь держаться прямо, на ходу о чем-то заговорив, подошел ко мне.

Я протянул ему трость и, показывая на серебряные пластинки, спросил о них. Он посмотрел на монограммы — вернее, все-таки не монограммы, а просто гравированные пластинки, — отыскивая какую-то одну среди них, ведя рукой по всей трости; наконец остановился на той, что была в середине, показал на нее. Я не понял его. Тогда он потыкал пальцем в пластинку, а потом тем же пальцем показал на дом, перед которым мы стояли. Я взгляделся в то, что было выгравировано на пластинке, и увидел, что на ней как раз и изображен этот лесной дом.

Мне это показалось занятным, и я, стараясь сбросить с себя сковавшее меня оцепенение, власть тишины, солнца, всего этого неожиданного дня, спросил у старика, который еще не ушел, что это за палка.

— Шеф, — сказал он кратко. И посмотрел на меня, недоумевая, как видно, что я этого не знаю.

— Кто?

Он удивился опять и тому, что я этого не знал, и что, когда он сказал, я не понял его и снова спрашиваю. Он мне ответил, что хозяин этой палки — Герман Геринг.

Я мигом вспомнил о костюмах и куртках, висевших у меня в комнате, и только теперь все понял. Все здесь, как я узнал от старика — хотя он и говорил на каком-то малопонятном немецком языке, — принадлежало Герингу, это были его охотничьи уголья, его поместья.

Эти земли, этот лес-парк, Геринг получил в тридцать четвертом году после неудачного своего выступления в Лейпциге на процессе по делу о поджоге рейхстага.

Насколько это лесное охотничье хозяйство, которое Геринг — как лицо потерпевшее — получил в награду, было огромно, я понял только через некоторое время. Весь этот нетронутый лесной массив — границы его так и остались для меня невыясненными — был поделен на секции. (Вот откуда проволочные сетки!) В каждой такой огороженной секции содержались разных видов звери. Их тут было много.

Я поднялся к себе в комнату. Бумаги и журналы, валявшиеся на полу, Митя еще не успел убрать. Я поднял один журнал, полистал, потом взял другой. Журналы, все номера, которые мне попадались, были юбилейные, целиком посвященные Герингу. На всех снимках его грузная туша, его круто согнутая шея... И на фотографиях, которые тут валялись, на небольших домашних, любительских снимках, — тоже он. Он — с генералами, он — с семьей. На одном снимке, который я выудил из этого вороха, я увидел знакомую уже теперь мне местность, узнал просиженный редким леском пригорок и темный, плотный хвойный лес вдалеке. С холма, именно с того, на котором я стоял, спускается большая группа военных. Среди них и Геринг.

Я взял себе этот плохонький, любительский снимок — из-за пейзажа, в напоминание об одном из мест, где мы останавливались.

Тот же голый лесок вдаль, тот же холм. Геринг и его генералы выходят из леса, направляются к дому.

Вот идут они, люди вермахта. Почему они здесь, в этом тихом заповедном лесу? Какие тайные планы они обсуждали? Неужели тишина и лесная эта мирная глушь нужна и для таких дел...

Целый поток догадок возникает у меня, когда я гляжу теперь на этот снимок, на этих людей, из которых, судя по нарукавной нашивке, самый младший здесь — адъютант. Но и он тоже генерал.

Они идут, о чем-то совещаясь. Их много. Все рослые, сильные, самоуверенные... Здесь вот, в таких укрытых от глаз местах, они и собирались, перед тем как они на нас бросились...

Геринг впереди, шинель на нем длинная, с большими белыми отворотами. Он нагнул голову. Глядит в землю. В другой руке у него палка, на которую он тяжело опирается. Пухлая, белая, крепкая еще рука сжимает гнутую рукоять палки. Острый конец ее ушел в землю. Подожди-ка, а что за палка? Но вот они, пластинки, все, сколько их есть... Это она как раз, эта палка, которую я поставил у двери.

Снимок у меня сохранился и сейчас. Не только, оказывается, у Геринга эти белые отвороты. Но и еще у четверых. Вот этот — худой, высокий, с длинной шеей и сухим лицом — кажется, Кейтель... И он был повешен. Но кто-то из этих надменных, холодных господ и сейчас еще жив и на Рейне где-нибудь учит других, тех, что помоложе, — готовит поднять оружие.

Лесок вдаль — голый, снегу уже нет, но и травы тоже нет. На обороте снимка — надпись. Снято в марте тридцать шестого года, в воскресенье. Перечислены фамилии...

Я распахнул окно. Пока я разглядывал снимки и журналы, я не заметил, как стемнело. Откуда-то из-за сосен, снизу, напознал туман, стало прохладно.

На другой день я пошел в батальоны. Они оказались близко — на противоположной стороне озера.

А озеро было совсем рядом, тихое, синее. Только подобраться к берегу было трудно. Старые, обомшевшие деревья, крепкие, тесно сплетенные, подступили к воде. Настоящее лесное озеро.

На сухом ровном берегу, среди гулких медных сосен, солдаты нестроевского батальона — а это был его батальон — натягивали палатки, посыпали песком дорожки. Чуть подальше, в глубине леса, из плащ-палаток устраивалась кабина. Баня! А в котлах, тоже поставленных между деревьями, грелась вода, и старшина выдавал бойцам чистое белье. Я долго шел так, поднимая веревки или подлезая под них, безошибочно угадывая, где какой взвод, какая рота стоит. На веревках висело солдатское обмундирование: брюки, пилютки, портянки. Все было так, как где-нибудь в военных лагерях под Горьким... Солдаты — те самые, что еще неделю назад были в бою, — отмывались и подшивали подворотнички. Писали письма. О рейхстаге, который они все брали, они не вспоминали. Война уже как бы отходила в прошлое. Завтра, прямо с утра, начинались дни мирной учебы... Офицеры в этот день слушали лекцию об итогах войны, перспективах будущего мира.

И действительно, назавтра на асфальте дороги, в том же лесу, недалеко от палаток, бойцы занимались строевой подготовкой и, вспоминая строевые песни, пели: «Стоим на страже, всегда, всегда...»

Но сегодня солдаты еще подшивали подворотнички, стирали погоны. Из госпиталей в этот день вернулись несколько человек, из тех, кого ранило под рейхстагом.

Я сделал какие-то записи, но не был уверен, что они пригодятся, что я смогу сочинить в очередной номер какие-либо заметки из того, что мне удалось записать...

Я потихоньку пошел по краю озера и в лесу неожиданно натолкнулся еще на один дом — богатый, каменный. Перед ним на низких постаментах, по обеим сторонам входа, поставлены были точенные из черного камня фигуры охотничьих собак.

Мне хотелось рассмотреть дом, вернее даже замок, интересно было бы и узнать, кому он принадлежал, но я не спросил, я очень спешил, мне нужно было сдавать материал о боевой учебе в мирных условиях.

А через день, под вечер, я отправился в наш политотдел. Мне показали, как туда идти. Все вокруг того же озера. Только в другом направлении. Я прошел совсем немного и на поляне увидел еще один дом. («Да их тут целая гроздь!») Дом — он тоже назывался «охотничьим» — был покрыт камышом, толстым, полтораметровым слоем (имитация древней германской хижины, крытой соломой). Но поглядели бы вы на эту хижину, особенно внутри.

Кому она принадлежала — этого также никто толком не знал. И только после, много лет спустя, я узнал, что все эти дома, сколько их было здесь, — и на берегу озера и в лесу — принадлежали одному человеку — Герингу. Мы же по наивности думали, что если тот дом, в котором мы находились сами, принадлежал Герингу, то другие уже не могли принадлежать ему, а кому-то другому... Когда среди солдат об этом заходила речь, они говорили: «Геббельса!» Почему-то самый роскошный, самый красивый особняк всегда у них принадлежал Геббельсу... Так что я уже и не спрашивал, мне это было заранее известно.

В доме под камышовой крышей разместился не только политотдел, но и штаб дивизии. Внизу, в большом зале, где окно было во всю стену, прилетевший из Москвы скульптор Першудчев лепил нашего солдата Мишу Егорова, ставившего знамя на рейхстаге. Он должен был лепить также и комдива Шатилова... Сам генерал отдыхал наверху, в спальне жены Геринга. Ее портрет, написанный со спины, еще оставался висеть, но уже не в спальне — генерал считал неприличным держать у себя портрет обнаженной женщины, — а в коридорчике, через который в дом этот входили.

Здесь же, в «мастерской», я разглядел и небольшую, пока в глине, скульптуру — очень удачно вылепленного Покрышкина, который получил при взятии Берлина свою третью Золотую Звезду. Скульптура эта мне понравилась. Одной рукой, в перчатке, летчик показывал, как летел он, другой — как летел противник... Фигурка стояла в уголке, на столике. Видимо, скульптор возил ее с собой, продолжая работать над ней.

Мы мало прожили в этом тихом, уединенном месте. Помню только, что я успел съездить в Гросшённебек. Город отстоял от нас — от озера и от охотничьего дома — на десять километров. Но дорога, что вела через лес, была такой прямой, ровной, что город виден был — там, в конце этой длинной просеки. Как в перевернутом бинокле.

Отсюда, с лесного озера, мы скоро уехали на другое, на Берлинерзее, в городок Ной-Руппин. Там-то мне и пришлось надолго лечь в госпиталь.

А палка? Палку — в госпитале первое время мне легче было с ней ходить, — уезжая из Германии, я увез с собой. В Ялте, в санатории, я оставил ее на вешалке и забыл о ней. Вспомнил только к вечеру, но, когда я за ней пришел, ее уже не было. Кто-то «прихватил» ее, эту старую палку. Может, для того, чтобы, прогуливаясь, сбивать ею кипарисовые шишки.



---

---

В. ЛИПАТОВ

★

## СТРЕЖЕНЬ

Повесть \*

### Глава четвертая

1

**Д**ядя Истигней, Степка и Наталья возвращаются с работы. Позади, независимо помахивая сумочкой, идет Виктория Перельгина. Степка вышагивает рядом со стариком, жметя к нему, чтобы не идти с Натальей. Делает он это потому, что позади Виктория.

После ссоры с Викторией Степке уже не так просто с Натальей. Лопнула, порвалась нить дружбы, связывавшая их с детских лет. Нет ее больше, этой нити.

Встречаясь с Натальей, Степка теперь замыкается, неловко молчит, смотрит в землю: Наталья видит перемену и тоже держится скованно. Сегодня утром она ушла одна, не дождав, как обычно, Степку у ворот. А он? Он как будто даже обрадовался, что она ушла одна.

Сейчас, пройдя немного, Наталья останавливается, прощается, говорит, что ей нужно зайти к одной знакомой.

— До свидания,— отвечает дядя Истигней.

Степка понимает, что никуда Наталье заходить не надо, что она просто не выдерживает его напряженного молчания, шагов Виктории за спиной.

Прощавшись с Натальей, дядя Истигней замедляет шаг, ждет, чтобы догнала Виктория. Девушка подходит к ним, улыбается.

— Быстро вы ходите!

— Привычка,— отвечает дядя Истигней, пропуская Викторию меж собой и Степкой.

Они идут рядом. Иногда Степка прикасается локтем к руке Виктории. Изредка поглядывая на них, дядя Истигней молчит...

За день береговая трава посерела, съежилась, листья подорожника, наоборот, посвежели, глянцевиито блестят. Если сорвать лист подорожника, из стебелька покажется несколько крепких нитей, которые можно завязать узелком. Степка нагибается, срывает лист, зубами тянет из него нити. Солнце еще ярится над кедровником, а над Обью уже висит неровный прозрачный месяц, похожий на лицо в профиль,— есть нос, глаз, ухо.

— Мне — направо. До свидания,— говорит Виктория.

— До свидания!

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.



Дядя Истигней и Степка шагают дальше. Старик хмурится, курит самокрутку. В волосах у него нет ни единой сединки, а вот брови — широкие, густые — сплошь белы. Сейчас они сердито сдвинуты в одну линию.

— Поругались? — не поворачиваясь к Степке, спрашивает он.

— Поругались, дядя Истигней, — признается Степка.

Он рос на глазах дяди Истигнея, дружившего с его отцом. В годы войны дядя Истигней, первым вернувшись с фронта, сначала зашел не в свой дом, а к Верхоланцевым, так как Лука Лукич тогда лежал в новосибирском госпитале. Привез он Степке и его братишкам кирзовые сапоги, полный чемодан снеди — свиную тушенку, консервы, сахар, банки с кофе; подарил Степке, которому тогда было пять лет, забавную игрушку — мотоцикл, выбрасывающий на ходу снопы искр из выхлопной трубы. Степка до сих пор помнит, как от этой игрушки сладко пахло краской. Было и такое: поймав Степку однажды на чужом огороде, дядя Истигней сначала будто удивился, что Степке не хватает своих огурцов, потом сгреб его в охапку, прочно зажал коленями и, приговаривая, что воровать стыдно, выдрал широким ремнем. Степка выл как можно громче, царапался, кричал, а когда порка закончилась, заявил:

— Вы не можете чужих детей бить! Своих нету, так он, черт сопатый, на чужих...

В тот же вечер отец хлестнул Степку по загривку.

— Ты чего это Истигней чертом сопатым прозываешь, а? Хочешь, чтобы я еще прибавил?

— Пусть не дерется! — заныл Степка.

— А ты добавь ему, отец, добавь, — посоветовала мать.

С тех пор Степка понял, что дядя Истигней имеет на него какое-то особое право, и побаивался его не меньше, чем отца.

Степка откровенно рассказывает ему о своей ссоре с Викторией. Дядя Истигней внимательно слушает.

— Так, — говорит он, когда Степка заканчивает. — Понятно! Ревнует, значит, к Наталье, а?

— Ревнует!.. А еще, что я невод запутал!

— Да, дела — табак! — сдержанно улыбается старик. — Плохи твои дела, парниша.

— Плохи, — говорит Степка, — не знаю, что делать, дядя Истигней.

— Тяжелый случай, — серьезно замечает старик. — Тут я тебе, парниша, помочь не могу, не спец я в этом... Тебе бы хорошо поговорить с Натальей, — вдруг каким-то другим тоном предлагает он.

— О чем? — удивленно спрашивает Степка.

— Я, парниша, в этих делах не спец. — Дядя Истигней хитренько прищуривается. — Может, Наталья-то и поможет. Скажи ей, что, дескать, ревнуют меня, подозревают, наклеп делают. Так прямо и скажи, а она пусть пойдет к этой... ну, как ее?

— Виктория... Перельгина...

— Во-во! К этой самой Перельгиной, и скажет, что у меня, дескать, со Степкой ничего нет. Бери своего, дескать, Степушку! Ты, парниша, так и сделай. Чай Наталья не влюблена в тебя, а?

— Вы вот тоже... скажете!

— Во-во! Коль она не влюблена в тебя, что ей стоит так сказать, а?

— Вы, дядя Истигней, шутите, — отворачиваясь от старика, говорит Степка.

— А ты не обижайся, — чуть жестковато отвечает дядя Истигней. — Ты глаза разуй. Ты на человека смотри, а на блеск... На блеск пусть дурак смотрит!

— А ну вас, дядя Истигней! — злится Степка. — Я думал по-хорошему поговорить, а вы...

— Не груби, Степан, нехорошо! — резко перебивает его старик. — Ты старайся мои слова понять. Советы давать опасно, вдруг ошибусь, что потом делать прикажешь? Я сам, Степка, не все еще понимаю!

Дядя Истигней полуобнимает парня, говорит ласково:

— Ничего, парниша, ничего... В старое время говорили: перемелется — мука будет! Не горюй, Степан! Мы еще с тобой таких дел на земле понаделаем, что ай да люли! Ты думаешь, я с тобой сегодня зря разговариваю? Думаешь, спроста? Нет, парниша, у меня прицел есть. Прицел, парниша! А ну, присядь на лавочку, как мы с твоим батком делаем. Посидим рядком, поговорим ладком. Ну, садись! — говорит он, подходя к ближайшей скамейке. — Садись, садись, нечего губы оттопыривать! Не чужой я тебе, Степка, обижаться на меня грех.

Сердась на старика, Степка садится боком на край лавочки. Старик сам придвигается к парню.

— Эх, Степка, Степка! То смутишься, то покраснеешь, то надуешься, как мышь на крупу, то еще что... Нет в тебе прямой линии, — говорит он.

— Будто у вас прямая линия, — бурчит Степка. — У вас — прямая?.. То хитреньким прикинетесь, то простачком, то не разберешь еще кем... Знаю вас!

— Ай-ай! — деланно огорчается дядя Истигней. — Проник ты в меня, проник! Тебе, конечно, и карты в руки. Человек ты с образованием, грамотный, начитанный. Сам бог умудрил, ничего не скажешь!

— Вот вы опять! — басит Степка.

— Да по нужде я, парень, по принуждению! Сам себе не рад, что сую нос в любую дырку, — покладисто соглашается старик. — Верно тетка Анисья говорит, что я каждой дыре затычка. Верно, парень! Против правды не попрешь, куда там! Я думаю, что от старости это у меня, от суетности стариковской. А за примерами ходить далеко не надо. Вот взял себе в голову, что надо бы Ульяна Тихого от водки отнять, как сосунка от груди. Забил себе в голову, а сделать ничего не могу!

— Почему? — сумрачно спрашивает Степка.

— Образования не хватает, — печально объясняет дядя Истигней. — Не умею по-ученому, по-грамотному разговаривать. А будь бы это, ведь помог бы Ульяну. Помог!

— При чем тут образование...

— Ты, Степушка, меня уж, пожалуйста, не перебивай, а не то я и последние слова растеряю...

Степка криво улыбается — опять начал старик свои штучки!

— Будь бы грамотней, ученей, умеи бы с умными людьми речи держать, — грустным, проникающим в душу голосом продолжает старик, — пошел бы я на пароход «Рабочий», нашел бы капитана, да и сказал бы ему... Эх, и сказал бы я ему, коли бы разные ученые да иностранные слова знал! Сказал бы: ах ты, такой-сякой, немазанный, почто ты это человека с парохода выгнал да обратно не берешь? Так бы и сказал ему, что негоже человеку без Оби мучиться, коли он ее, матушку, любит. Вот бы что я сказал ему, да не могу — образования не хватает.

— Дядя Истигней! Дядя Истигней! — захлебывается от восторга Степка. — Это же идея! Дядя Истигней! — Он глядит на часы, хватает старика руками. — Через два часа «Рабочий» приходит!

— Надо, парень, переодеться, — говорит старик, улыбаясь в сторонку. — Ты лучший костюм надрючь да и приходи на бережок... Добро?

— Добро! — орет Степка, позабывший обо всем...

...Через полтора часа дядя Истигней и Степка встречаются у карташевского дебаркадера.

На старике серый бостонский костюм, кремовая рубашка, галстук. Дядя Истигней чисто выбрит, лохматые белые брови расчесаны.

— Ого-го! — восклицает Степка, пораженный праздничным нарядом старика.

Старик предостерегающе кашляет, чтобы парень перестал восторгаться им на глазах у людей.

Пароход пришвартовывается к деревянному борту дебаркадера.

Степка любит встречать пароходы. Ему нравятся веселая суতোлка, бегодня, шипение пара, запах краски и тепло, которым дышит пристающее судно; ему любо смотреть, как важно разгуливает по палубе первый помощник капитана, снимает перчатки — с каждого пальца поочередно, — бросает их небрежно в рубку и, не помотрев на пассажиров, спускается вниз.

Из открытого пролета течет толпа, карташевские пассажиры лезут навстречу ей, и вахтенный матрос кричит: «Куда прете? Стой!»

— Пошли! — торопит дядя Истигней.

— Не пустят, — шепчет Степка, но дядя Истигней решительно проталкивается вперед, раздвигает плечом толпу, тащит Степку за руку.

Вахтенный матрос, распахивая руки, преграждает им путь. Старик глядит на него нахмуренным, начальственным взглядом.

— Ну! — приказывает он.

Это почему-то заставляет матроса отступить. Дядя Истигней, мотнув головой в сторону Степки, произносит:

— Пропустить! Со мной!

Оказавшись в пролете, Степка свистит от восторга: «Это да! Ну и старик!» Он быстро идет за ним. Вот и капитанская каюта — блестящая табличка, ковер у порога, тишина; полная кастелянша почтительно говорит дяде Истигнею:

— Капитан у себя.

Голос из капитанской каюты приглашает:

— Войдите!

Они входят в каюту, тесно забитую мебелью, застланную коврами, пропахшую краской и одеколоном; на переборке висит огромный барометр, часы, две картины, написанные маслом и изображающие: одна — шторм на Черном море, вторая — пароход «Рабочий» на Оби. Капитан в белом кителе сидит в глубоком кресле. Тугой подбородок до блеска выбрит, губы вытянуты в прямую линию, глаза светлые, льдистые.

— Садитесь! Чем могу быть полезен?

Степка и дядя Истигней заранее договорились, что разговор с капитаном начнет Степка, что он, не горячась, спокойно, обстоятельно, расскажет о Тихом, попросит капитана разобраться в деле Ульяна. Разговор должен быть культурным, вежливым.

— Слушаю, товарищи, — говорит капитан, осматривая посетителей: Степку — быстро, бегло, дядю Истигнею — внимательно. Вероятно, капитану ясно, зачем пришли они на пароход и почему молодой человек мнется, не знает, с чего начать. На многих обских пристанях приходят к нему парни, клянутся, что не могут жить без реки и по этой причине готовы на любую работу — хоть грузчиком, хоть кочегаром, но лишь бы на пароход... Старик в дорогом костюме, наверное, пенсионер, которому пришло в голову, что у молодого человека талант речника, и он, пенсионер, будет с великой энергией напирать на капитана, услышав отказ, пообещает пожаловаться в высокие инстанции. — Слушаю, товарищи, — нетерпеливо повторяет капитан.

— Мы пришли, чтобы... — начинает Степка и останавливается. За двадцать лет жизни он не видел таких строгих и надменных людей, как капитан «Рабочего». — Мы пришли...

— В этом я не сомневаюсь,— сухо замечает капитан, потеряв интерес к Степке. Он поворачивается к дяде Истигней.— Слушаю вас.

Дядя Истигней поднимается, протягивает капитану руку.

— Позвольте представиться. Мурзин.

— Маслов. Чем могу быть полезен?

Старый рыбак подчеркнуто официален. Его белые брови запятыми подняты над высоким лбом, их разделяет глубокая вертикальная складка.

— Скажите, товарищ Маслов, где теперь капитан Спородолов? — спрашивает дядя Истигней.

— Бывший капитан «Рабочего» Спородолов на пенсии.

— Ясно!

Дядя Истигней не торопится. Он выдерживает паузу, и эта пауза придает последовавшим за ней словам особую вескость.

— Знаете, капитан, раньше ваш пароход назывался «Купец». Мне было чуть больше двадцати, когда мы его переименовывали в «Рабочий».

— Я слышал об этом,— отвечает капитан. Вероятно, он уже окончательно утвердился в мысли, что широколобый старик — пенсионер. Они, эти пенсионеры, любят по каждому поводу вспоминать о прошлом. Этот, наверное, был красногвардейцем, воевал вместе со Щетинкиным.— Простите, товарищ Мурзин, но пароход... пароход стоит полчаса.

— Вполне достаточно, товарищ Маслов, вполне,— сдержанно произносит дядя Истигней.— Мы не задержим вас. Дело вот в чем... Два года назад на вашем пароходе,— он как-то особенно подчеркивает слово «вашем»,— на вашем пароходе работал штурвальным Ульян Васильевич Тихий. Вы знаете его?

— Слышал,— отвечает капитан.

— Ульян Васильевич теперь работает в Карташеве, на стрелевом песке. После того как боцман вашего парохода дал ложные показания, товарищ Тихий был списан с судна, попал в тюрьму, стал много пить. Об этом вы тоже слышали?

— Почему вы уверены, что боцман дал ложное показание? — спрашивает капитан.— Одним словом, что вы хотите от меня?

Капитан сердится, потому что дядя Истигней говорит с ним ледяным тоном, с явным подозрением, что капитан ничего не слышал и не хочет слышать об Ульяне Тихом.

— Что мы хотим? — кричит Степка, соскакивая с дивана.— Что мы хотим?

Степка в восторге, что дядя Истигней говорит с капитаном строго, внушительно. «Вот какие мы!» — думает он и уже несколько не боится надменного капитана. Его обдаёт жаркая волна решимости; он бросает шляпу, зажатую в пальцах, говорит громко, горячо:

— Что мы хотим? Да как вы не понимаете! Ульян пьёт, мучится оттого, что у него отняли любимое дело. Он такой человек, что не может жить без реки! Если бы видели, как Ульян смотрит на пароходы, вы бы не спрашивали, что мы от вас хотим.— Степке не хватает воздуха.— Вы думаете, зря дядя Истигней сказал про «Купца»? Это раньше были такие порядки, что человека можно было выгнать и забыть о нем. А теперь не так! Вон ракету запустили, человек скоро полетит на Марс, а вы... вот что вы делаете!

— Молодой человек! — Капитан грозно поднимается.

Дядя Истигней приходит Степке на помощь. Он мягко обращается к капитану:

— Мой товарищ, конечно, перехватил, но в основном он прав. Может, потолкуем спокойно. Как говорят, по душам, а, капитан? Ульян —

великолепный штурвальный. В ваших интересах вернуть его на пароход. А?

— Отлично! — решительно говорит капитан, ткнув пальцем в сторону Степки. — Только, пожалуйста, велите успокоиться этому молодому человеку.

## 2

Степка бежит, подпрыгивая.

Он бежит к Виктории. Улыбается. Напеваёт. Шляпа лихо сбита на ухо. Ему хочется кричать от радости.

Ах, какие они молодцы! Как хорошо, что пошли на пароход, поговорили с капитаном, потом с первым помощником, потом с товарищами Ульяна. Ах, какие молодцы! А дядя Истигней, дядя Истигней! Вот это старик! Как умно и смело вел он себя, как разговаривал! И его, Степку, он назвал: «Мой товарищ». Он так и сказал: «Мой товарищ, конечно, перехватил лишку, но в основном он прав». Это после того, как Степка все высказал капитану.

Речники обещали приехать к рыбакам, поговорить с Ульяном, поставить вопрос перед пароходством о возвращении его на «Рабочий». Оказалось, что капитан только прикидывается важным, недоступным, а на самом деле он простой, хороший!

Счастливо улыбаясь, Степка мчится к Виктории.

После того как он побывал на пароходе, поговорил с речниками, ему показалось диким, что они с Викторией могли поссориться. Разве могут они быть в ссоре, когда в груди не вмещается радость, а голова, как от вина, кружится от солнца, воздуха. Не может быть этого! Ссора — пустяк, недоразумение, глупая ошибка. Не может быть ее сейчас, когда Ульян вот-вот вернется на пароход, наденет белый китель, выйдет на палубу. Как они могли поссориться! Вот смех-то! Он ведь любит ее, такую, какая она есть, — принципиальную, гордую, стремительную и, конечно, добрую, хорошую. Хотела же она помочь ему поступить в институт. Она хорошая — иначе быть не может! Все люди хорошие, и всех их он, Степка, любит! Ульяна — за то, что он несчастный; Григория Пцхлаву — за то, что он всю маленькую, тоненькую жену носит на руках; Витальку Анисимова Степка любит за то, что он старается походить во всем на дядю Истигнея. Он любит и тетку Анисью, которая угощает его шаньгами и молоком, и Стрельникова, который лучше всех на Оби ставит стрежовой невод.

Ох и пустяковина же их ссора! Смех!

Степке кажется, что примирение произойдет просто, быстро, — он постучится, войдет в дом Перельгиных, увидит отца Виктории, поговорит с ним, пошутит; затем Григорий Иванович скажет: «Степан, не делайте такой вид, что вы пришли ко мне!» — и позовет Викторию. Она выйдет, пригласит его в свою комнату, и там Степка скажет ей: «Пустяки все это, Виктория! Ты же знаешь, что я люблю только тебя!» Она тоже улыбнется и скажет, что все это действительно пустяки и она тоже любит его...

Степка вихрем взлетает на высокое крыльцо перельгинского дома, передохнув, стучится в дверь. Сначала — тишина; Степка не дышит, ждет, затем слышит быстрые, легкие шаги. Сердце его замирает — Виктория! Дверь резко открывается.

— Вик... — начинает Степка и останавливается: это не Виктория, а Полина Васильевна. Здрóрово, выходит, похожи они, коли даже походка одинаковая. — Добрый день, Полина Васильевна, — заминаясь, здороваётся Степка. — Я пришел... я пришел к Виктории.

Полина Васильевна отвечает не сразу, словно ждет, что Степка еще что-то скажет. Но он молчит, переступая с ноги на ногу.

— Я к Виктории,— наконец повторяет Степка.

— Очень жаль, но ее нет дома.

— Вот беда! — огорченно говорит Степка.— Я думал... Ладно, Полина Васильевна, вы извините за беспокойство, а я похожу по улице, погуляю. Может быть, встречу ее.

— Пожалуйста,— отвечает Полина Васильевна, так и не выходя из темноты.

Гремит шеколда, раздается скрип, потом удаляющийся шарк войлочных туфель. Степка спускается с крыльца. Только теперь он замечает, что, собственно, никакого солнца уже нет, оно запряталось, и над Карташевым стынет довольно поздний холодный августовский вечер. Степке становится зябко, он сует руки в карманы.

За околицей заунывно лают собаки. Наверное, лают на выщербленный месяц. По переулку бесшумной тенью проходит человек, останавливается, смотрит на Степку и уходит. Брошенный им взгляд полон для Степки непонятной тревоги. Степка пробирается переулком, раздумывает, куда ему идти — направо или налево. «Буду ждать,— решает Степка.— Буду ждать хоть до утра! Мы не можем ссориться!» Он поворачивает назад, потихоньку бредет переулком с левой стороны перелыгинского дома. Сюда выходит одно окошко комнаты Виктории. Оно проливает в садик желтый, переливающийся на деревьях свет; на окошке желтые тюлевые занавески. Облокотившись на ограду, Степка смотрит на яркое окошко. Из садика пахнет смородиновыми листьями и малиной. И вот по изломанному желтому квадрату на деревьях пробегает быстрая, летучая тень, и Степка видит в окне силуэт Виктории, к которому приближается второй силуэт — мать.

Степка крепко зажмуривает глаза, пятится, у него больно ударяет в грудь сердце. Степке уже не зябко, а по-настоящему холодно, но щеки горят, точно ему дали пощечину.

— Дела как сажа... — зажмурившись, произносит Степка и бросается прочь от палисадника.

## 3

— Мама, кто приходил?

Полина Васильевна подходит к дочери, мягко обнимает, целует в висок. Они похожи, только Виктория чуточку стремительней, чуточку тоньше, и лицо ее с глубоко вырезанными, раздувающимися ноздрями много строже, чем у матери.

Поцеловав дочь, Полина Васильевна, не отпуская ее, пробегает взглядом по лицу Виктории. Хороша! Густой румянец, свежая кожа, фигура тонкая, гибкая, грудь высокая; очень хорош у нее нос — тонкий, с горбинкой, как у Григория, хотя Виктория мало похожа на отца. Хороша дочь, и говорить нечего!

А ведь Полине Васильевне поначалу было страшно: узнав о том, что не способна больше иметь детей, она мучилась, боялась, что из Виктории вырастет белоручка, неженка, эгоистка. Обладая твердым и решительным характером, Полина Васильевна заставляла себя быть с дочерью непреклонно строгой — не прощала лени, расхлябанности, требовала от Виктории во много раз больше, чем от других учеников. До шестнадцати лет не баловала ее нарядными платьями. Отец Виктории, Григорий Иванович, слишком мягкий, покладистый человек, и Полина Васильевна радовалась тому, что он, вечно занятый книгами, не вмешивается в воспитание дочери.

Да, в большой строгости воспитывала она дочь. Учила ее быть беспощадной к самой себе, вырабатывала волю, характер, заставляла по многу раз переделывать домашние задания, убирать и без того чистые комнаты, стирать для себя белье и платья, научила готовить обед, вышивать, ухаживать за садом. Когда Виктория была маленькой, она сама зазывала к ней в гости сверстниц-подруг, но с каждым годом подруг у Виктории становилось меньше, так как распорядок дня делался все строже: учеба, работа по дому, чтение. Книги для дочери Полина Васильевна выбирала сама.

Виктория училась хорошо, однако по литературе получала не больше четверки: учитель считал ее сочинения суховатыми и рассудочными. Полина Васильевна без особого беспокойства разделяла его мнение — да, в сочинениях не было душевных слов, зато она находила в них ум, знание дела.

Виктория вела большую общественную работу. Ее выбрали членом учкома, она много времени отдавала выпуску стенной газеты, отлично стреляла из мелкокалиберной винтовки, была второразрядницей по прыжкам в длину.

Уже в восьмом классе Виктория выделялась своей требовательностью, своим твердым характером. Она терпеть не могла расхлябанных, недисциплинированных ребят, презирала их.

В девятом классе Виктория стала совсем взрослой. Мать тогда назначили директором школы, и она стала меньше заниматься дочерью — была вполне спокойна за нее, и в кругу учителей уже поговаривали, что не страшно иметь и одного ребенка, если воспитывать его как следует. После десятилетки Виктория, не колеблясь, пошла работать на промысел, сказав Полине Васильевне, что в Карташеве выбирать не из чего, а два года отработать надо, и она постарается перед поступлением в институт хорошо проявить себя на производстве. Полина Васильевна не могла скрыть своей гордости за дочь: уж ей-то было известно, как порой трудно, с какими терзаниями идут на производство молодые люди. У ее дочери ни терзаний, ни разочарования не было. Не колебалась Виктория и при выборе профессии, еще в шестом классе решив: станет врачом. Станет потому, что врачи нужны, необходимы, что они делают большое дело. И она уверенно шла к институту.

До сего дня у Полины Васильевны не было причин для беспокойства о дочери. Внимательно оглядев ее и порадовавшись, что она так красива, Полина Васильевна еще раз нежно прижала дочь к себе.

— Кто же приходил, мамочка? — спросила Виктория.

Полина Васильевна отпустила дочь, показав рукой на стул.

— Садись, поговорим, Виктория.

— Я слушаю, мамуся!

— Приходил Верхованцев. Я сказала ему, что тебя нет дома.

— Но я же дома! — Виктория глядит на мать широко открытыми глазами. — Выходит... Выходит, ты солгала! А ведь сама меня учила никогда не лгать. Что с тобой, мамочка?

— Ты же сказала, что не хочешь больше видеть его.

— Да, но нужно было бы сказать об этом Верхованцеву прямо. Как ты могла поступить так, мамочка?

— У меня не хватило духу! — откровенно сознается Полина Васильевна, наблюдая за дочерью. — Потом... потом я думаю, что проступок Степана не так уж страшен, как тебе кажется. Мне думается, что он искренний и честный парень.

— Мама, между нами все кончено! — говорит Виктория, покачивая ногой и глядя на носок туфли. — Все кончено!

Полина Васильевна молчит. Да, дочь резка, определенна, решительна — Полина Васильевна сама воспитывала в ней это. Ей, Полине Васильевне, больше всего неприятны люди, в которых нет определенности. Она всегда говорила, что человек прежде всего должен быть четким, определенным. И у человека должна быть воля; вот это, пожалуй, главное. Сильная воля.

Полина Васильевна предполагает, что Верховланцеву не хватает выработанной упражнениями воли. Случай со стрежевым неводом, странные, в общем-то, отношения с этой Колотовкиной, сегодняшний приход к Виктории — все это немного настораживает. Ей хотелось бы, чтобы будущий муж дочери был более волевым, более сдержанным. Она не одобряет поступка Верховланцева, прибежавшего к Виктории мириться. Степану надо было бы проявить выдержку, добиться, чтобы Виктория поняла ошибку и сама бы пришла мириться. Мужчиной надо быть!

Но Полина Васильевна понимает, конечно, что в отношениях Верховланцева и Колотовкиной нет ничего обидного для дочери, и она уверена, что Степан искренне и горячо любит Викторию, — и вообще он неплохой парень. Недаром учителя ее школы хорошо отзываются о нем, а преподаватель литературы говорит, что у Степана чистая, возвышенная душа. Это тот самый преподаватель, который считает суховатыми сочинения Виктории.

— Ты все хорошо обдумала, Виктория? — спрашивает Полина Васильевна, обнимая рукой дочь. — В твоём возрасте иногда нужно менять решения.

— Я стараюсь не менять своих решений, — прищуриваясь, отвечает дочь. — Ты сама меня учила этому.

— Да, учила... — отвечает Полина Васильевна. — Но мне кажется, что эти... отношения с Колотовкиной — мелочь. Они дружны с детства, соседи. Об этом стоит подумать, Виктория!

— Мама, ты учила меня быть твердой!

— Да, да... — машинально произносит Полина Васильевна.

Да, она учила... А все-таки Степан ей нравится — о его семье в поселке стзываются тепло, уважительно; сам Лука Лукич Верховланцев — один из тех людей, мнение которых дорого для нее.

Только сейчас Полина Васильевна понимает, что, открыв дверь Степану, она немного оробела. Пригласить юношу в дом она не могла потому, что боялась — Виктория наговорит бог знает что, а сказать, что дочь не хочет видеть Степана, у нее и на самом деле не хватило духа. Поэтому Полине Васильевне сейчас неловко и перед дочерью и перед собой за эту невольную ложь.

— Ты хорошо все обдумала, дочь? — спрашивает она.

— Да! — твердо отвечает Виктория. — Давай говорить начистоту, мама!

— А как же еще?! — удивляется Полина Васильевна. — Разве мы с тобой говорим не откровенно?

— Откровенно, мама! — успокаивает ее Виктория, поправляя оборки халата — приглаживает их пальцами, чтобы не топорщились. — Мы с тобой говорим откровенно, но ведь есть такие вещи, о которых даже между матерью и дочерью откровенно говорить не принято.

— Например? — скрывая беспокойство, спрашивает Полина Васильевна. — Я не знаю таких вещей! Ты имеешь в виду любовь, отношения между девушкой и юношей?

— Нет, мама, это тебя может не беспокоить. Я имею в виду другое.

— Что же, Виктория? Говори!

— Хорошо, я буду говорить, — спокойно отвечает дочь, не замечая



волнения матери, напуганной тем, что есть, оказывается, вещи, о которых Виктория думала, но не говорила ей.— Вот я работаю учетчицей. Так?

— Конечно, так,— говорит Полина Васильевна.

— Я понимаю, что правительство поступило правильно, когда приняло решение воспитывать молодых людей в труде. У нас много еще белоручек. Но мне думается, что не всем это необходимо. Я бы, например, могла сразу пойти в институт и стать врачом. Ты же знаешь, я не белоручка. Так?

— Ну, так... Говори, говори!

— Но я вынуждена работать. Я понимаю, что это формально, но работаю, чтобы выполнить эту формальность. Ты понимаешь, я должна работать, чтобы не отделяться от других. Ты понимаешь меня?

— Говори дальше,— тихо просит Полина Васильевна.

— Я работаю для того, чтобы стать врачом. Глупо! Смешно! Но формально необходимо. Вот ты обвиняешь меня в том, что я строга со Степаном. Говоря откровенно, он мне нравится. Он добрый, бесхитростный и сильный парень, но у него нет цели в жизни. Однажды я решила, что могу помочь ему стать человеком, стану заниматься с ним, работать. Он поступит в институт, станет человеком. Потом я увидела, что он не имеет воли, недисциплинирован, в общем, тот человек, который не может быть моим спутником. Может случиться, что Степан на всю жизнь останется рыбаком. А ведь ты сама меня учила, что человек должен стремиться к большому. Ты сама меня учила этому!— повторяет Виктория, наклонясь к матери, которая отчего-то старательно прячет глаза.— Что с тобой, мамочка?

— Ничего! Продолжай!— твердо говорит Полина Васильевна, поднимая голову.

— Я все сказала, мама! Это лето многому научило меня. Признаться, я побаивалась, что на первых порах растеряюсь, но мои страхи были напрасны. Я могу работать, общаться с людьми. Я не хвастаюсь, если говорю, что у меня есть и воля, и настойчивость, и знание людей... Там, на песке, есть пьяница Тихий, так он побаивается меня.

— Почему побаивается?

— Я не либеральничаю с ним, как другие.. Ты, мама, ведь тоже умеешь быть решительной. Ты у меня молодец! Потому и школа считается лучшей в районе.

— Что ты знаешь о моей школе?— восклицает Полина Васильевна.— Что ты знаешь о ней?

— Все знаю, мамочка!

Она знает все! А вот Полина Васильевна, оказывается, плохо знает дочь. То, что она наговорила сейчас, до того неожиданно и невозможно, что у Полины Васильевны начинает покалывать в сердце, кружится голова... Она, Виктория, выполняет формальность, она работает, только чтобы не отличаться от других, и она, Виктория, понимает, что говорит, коли предупредила, что об этом не принято говорить откровенно.

— Что с тобой, мама?— с беспокойством спрашивает дочь.— Ты побледнела! Мама, что случилось?

— Мне больно!— берясь за сердце, говорит Полина Васильевна.— Мне больно.

Ей действительно больно. Она поднимается. Виктория испуганно вскакивает, обхватывает ее рукой.

— Мамочка, мне страшно!

— Сейчас пройдет, все пройдет...— отвечает Полина Васильевна, отводя руки дочери.— Прости, я выйду на минуточку.

Она выходит из комнаты. Побледневшая Виктория смотрит вслед матери, затем суматошно бросается к домашней аптечке, вынимает пузырьки, пакетики, вату, бинты. Она ищет валидол, который давно уж не принимала мать. Руки Виктории дрожат.

А в соседнюю комнату, где Григорий Иванович лежит на диване с книгой и уютно светит лампа, входит Полина Васильевна.

— Григорий, Григорий,— шепчет она.— С нашей дочерью неладно. Брось книгу, Григорий!

## 4

Маслянисто-черная, течет Обь. Тихо падают августовские звезды. Обь подмигивает небу глазками разноцветных бакенов. Редко-редко раздается тяжелый, бухающий удар — река подмывает берег, и падают в воду глыбы земли: Обь выпрямляет свой путь на север.

Река как будто спит, но это только кажется — она несет на себе горы леса, пароходы, лодки, обласки. Она и ночью работает. А вот Карташево спит — в деревне ни огонька, ни движения, ни звука; уставшие за день собаки угомонились, забрались в конуры. Спят.

На берегу слышен негромкий звяк железа, приглушенные голоса, чертыхания Семена Кружилина. Глеет потухающий костер. Идет четвертый час ночи, но дядя Истигней, Семен, Степка и Ульян все еще взяты возле выборочной машины — устанавливают редуктор. Третью ночь берутся, так как дело не ладится: то лопнет шестерня, то заест передача, то Семен предложит новый тип сочленения.

Семен — главнокомандующий. На дядю Истигнею покрикивает, Степку ругает последними словами, на Ульяна не кричит, но ворчит изрядно. Все они, по его словам, пентюхи, не умеют обращаться с механизмами, неловки. Они не возражают, а дядя Истигней даже иногда обращается к Семену на «вы» и часто уважительно говорит: «Прокурор!» Семен всем находит работу, он терпеть не может, когда кто-нибудь из помошников лентяйничает, и тотчас же приказывает: «Подержи трубу!», хотя труба может еще полчаса лежать на песке.

Ульяна Тихого затащил на песок дядя Истигней — пришел в общежитие, посидел, поболтал о том о сем, наконец сказал, что опыт Ульяна в пароходном деле может пригодиться при установке редуктора. Степка Верхоланцев приехал сам. Настроение у Степки отвратительное. Держит в руках железную трубу, глядит на Семена, а сам видит окошко с занавеской, быстрю тень Виктории. Он заново переживает унижение, тоску, до сих пор хранит такое чувство, точно только что услышал, как лучший, дорогой друг исподтишка говорил о нем гадости.

— Степка! — злится Семен.— Держи трубу на уровне отверстия! Не тычь пальцем — оборвешь кожу!

Степка старается не тыкать пальцем, держать трубу на уровне отверстия, но не понимает, зачем это нужно и почему он оборвет кожу на пальце.

— Теперь держи ниже уровня отверстия! Ну вот так! Тяни!

Степка тянет и срывает кожу с большого пальца. Боясь, чтобы Семен не заметил, прячет палец за спину.

— Ну вот хорошо! — удовлетворяется Семен и тем же тоном предлагает Степке: — Перевяжи палец-то! Экой ты неловкий!

«Вправду неловкий, невезучий,— думает Степка, перетягивая палец платком.— Не дается мне жизнь. Все-то у меня, не как у людей...» Ему вспоминаются насмешливые слова Натальи: «Эх, Степан, коли не помрешь, много горяхватишь!»

— Не спи! — прикрикивает Семен.

— Я... не сплю,— вздрагивает Степка.

Семен подтачивает, подравнивает металл. Степка любуется Семеном, завидует: уж он-то обязательно поступит в институт, добьется своего, станет инженером. Не то, что он, Степка. Эх, дела как сажа бела! Семен еще вечером удивил Степку: подошел к бригадиру Стрельникову, без всякого почтения, без уважительности потребовал: «Съездите в район, Николай Михайлович. Завтра надо привезти вот такую шестерню. Да вы не на меня, вы в чертеж смотрите!» Стрельников, взглянув в чертеж, пообещал: «Привезу, привезу!» И немедленно уехал в район. Вот он какой, Семен Кружилин! Деловой, башковитый. Эх, дела как сажа...

— Следующий этап — приклепывание кожуха, — объявляет Семен. — Дядя Истигней, подбросьте в костер дров. Темно!

Золотые искорки зигзагами уносятся в черное небо. Чем ярче разгорается костер, тем темнее становится ночь, таинственной звон волны. Бескрайней, громадной кажется загустевшая Обь, на которую от костра падает алый мечущийся свет. И все гремит металл, и все ворчит Семен, и все тоскует поникший Степка Верхоланцев.

— Готово! — наконец говорит Семен, вытирая руки паклей. — Дождаться Стрельникова — и можно пробовать. Как, дядя Истигней?

— Ничего не получится! — Старик сладко зевает.

— Конечно. — кивает Семен. — Я поплю немного, — добавляет он, взглянув на восток. — Домой ведь не поедем, дядя Истигней? — Семен расстилает фуфайку, ложится и сразу же засыпает. Костер обливает его теплом.

Над Обью начинается рассвет. Большая, горбатая посередине река медленно светлеет, уже видна тоненькая, прозрачная паутина тумана на воде. Веет свежестью, йодом, ранний баклан висит в небе. Лунная полоса сереет, исчезает, точно под водой кто-то выключает лампочки.

— Степан, иди в землянку, ложись, — предлагает дядя Истигней. — Отдохни!

Степка послушно уходит. Дядя Истигней, посидев немного рядом с Ульяном, предлагает и ему:

— Давай, парниша, ополоснем щеки, да и пойдем на покой. Как ты мыслишь, а?

— Поспать неплохо...

Они подходят к воде, которая кажется холодной, пронизывающей; хочется сжаться, спрятать руки на груди, сказать: «Брр!», но когда дядя Истигней и Ульянов погружают руки в воду, то оказывается, что вода сейчас теплее остывшего за ночь воздуха. С кромки берега Обь выглядит еще величественнее.

— Какая ты важная! — говорит дядя Истигней реке, держа в сдвинутых ладонях горсть воды. Его лицо становится задумчивым.

Все, что нужно для жизни, дала дяде Истигнею Обь и все возьмет, когда оркестр карташевского клуба сыграет для него последний марш на теплой земле — похоронный. На взгорке, над Обью, будет лежать дядя Истигней, там, где лежит отец, дед и прадед. С горушки видно реку, тальники за ней, взлобок излучины и черту флага над промыслом. С горушки виден и осокорь, которому столько же лет, сколько дяде Истигнею, а ведь он, осокорь, уже подался вершиной, сбросил с нее листья, словно полысел, и только внизу зеленый.

Обь переводится на русский как «отец». «батюшка». Такой и была всегда река для Евстигнея Мурзина. Трехлетним ребенком окупился в нее Истигнешка, хватил вдосталь воды, захлебнулся, заорал благим матом, но, испуганный зычным криком отца, заворочил ножонками,

забарахтался и не то что поплыл, а просто повис в воде, впервые испытал восхитительное чувство легкости. С тех пор и подружился он с рекой и нашел на ней все, что нужно человеку под солнцем: работу, жену, дом, место под березами, на взгорке, куда проводят его в последний путь. **О**дного не дала ему **Обь** — детей.

Расставаясь с **Обью**, бросал в воду медяки, хотя суеверным не был. А бросал потому, что так делали отец и дед, и, по рассказам, прадед — смелой жизни человек, убежавший в далекие времена на **Обь** от дикого барина и оставивший ему памятку: красного петуха.

Никто не знает, что дядя **Истигней** разговаривает с **Обью**, как с живым существом. Засыпая в землянке под Москвой и **Ржевом**, под **Курским** и в **Германии**, часто вспоминал о ней, шептал неслышно: «Как ты там? Что с тобой?» Думал ласково. «Наверное, протоптала дорожку за седым осокорем и теперь карчей не оберешься. Придется выбирать. Упорная ты река — и говорить нечего!»

Вернувшись в **Карташево**, израненный и больной, остановился на берегу, сдернул пропотевшую пилотку, поздоровался с **Обью**: «Здравствуй! Вот какая ты! Молодец! Ну, берись за дело: лечить меня надо, голубушка. На ноги ставить!» И чуть было не заплакал — так истосковался по вольному воздуху, по легкому для глаза простору реки.

Через три месяца поправился. Раны затянулись, перестал хромать, и лишь одно не могла вылечить **Обь** — по-прежнему часто, нервно моргал. Все три месяца провел на реке — готовил невода, сколачивал бригаду, возвращал к жизни **Карташевский** **стрежевой** песок, который в годы войны пришел в запустение...

— Вот она какая! — говорит дядя **Истигней** **Ульяну**, держа в горсти обскую воду. Потом припадает к ней носом, губами, всем лицом и... морщится. Он чувствует запах серы, мазута и еще чего-то неприятного. А может быть, дяде **Истигней** это просто кажется, так как он знает, что на притоке **Оби** — **Томи** стоит **Кемеровский** коксохимический завод, который спускает в воду отходы производства.

— Сволочи! — ругается он.

**Кемеровский** коксохим — враг старика. Никогда, ни к кому в жизни он не испытывал такой жгучей и стойкой ненависти, как к **Кемеровскому** коксохиму, который из года в год выбрасывает в реку гадость. От нее гибнут мальки, у осетров опадают жабры, тяжело дышит нельма.

— Жив не буду, а коксохим приберу к рукам! — как-то пообещал **Луке** **Лукичу** дядя **Истигней**, скрыв от него, что три письма в **Москву** в различные учреждения и существовавшие тогда министерства ничего радостного не принесли. — Жив не буду!

Но вот до сих пор жив, а коксохим по-прежнему травит воду. Злит-ся старик, критикует бесхозяйственность и ротозейство, а имя директора **Кемеровского** завода услышать не может без того, чтобы не выругаться.

— Травят! — зло говорит дядя **Истигней**, с отвращением выливая воду из пригоршни. — Чувствуешь, **Ульян**?

— Вроде нет...

— Принохайся, парниша! Ты же человек наш, речной, ты должен учуять!

**Ульян** нюхает — прикикает губами и лицом к воде, пьет, и ему кажется, что от воды действительно нехорошо пахнет.

— Кажется, пахнет, — говорит он.

— Сволочи! — ругается дядя **Истигней**. — Я на них управу найду. До самого доберусь! Так говоришь, чувствуешь примесь, а?

— Чувствую, дядя **Истигней**, — отвечает **Ульян**.

— Значит, не пропили еще нюх! — вдруг резко и сердито говорит старик. — А ведь от водки обоняние пропадает... А ну, погляди на меня! — приказывает он.

Ульян вскидывается, снизу вверх смотрит на дядю Истигнея.

— Глаза у тебя ясные, хорошие, без солнышка вижу, а что ты выкидываешь? Почему пьешь? Тебе что, жизнь не мила, а?.. Давно собираюсь с тобой поговорить. Ты такое слово — воля — знаешь? Стой, не перебивай... Я буду говорить! Не знаешь ты этого слова, только слышал о нем. Бороться надо за себя, за жизнь. Ну был сволочной капитан, ну боцман попался подлец, а разве люди таковы? Смотри, как Наталья с тобой возится. Отвечай, все ли люди на капитанский аршин?

— Я...

— Не перебивай! Сам буду говорить! Жизнь перед тобой, Ульян! Работа, друзья. Какое право ты имеешь хлестать водку? Отвечай!

— Я...

— Молчи! Ничего ты не можешь ответить! Я отвечу! Бесхарактерен ты, а ведь людям нужен. Кто был лучшим штурвальным на Оби? Ульян Тихий. Кто пять лет назад бросился в воду за ребенком? Ульян Тихий. Кто все деньги отдал обворованной на пароходе старушке? Ульян Тихий. Не перебивай — все про тебя знаю. Какое право ты имеешь водку пить, а?

— Я... — в третий раз пытается вставить Ульян, но старик и на этот раз не позволяет; поднявшись, оборачивается к восходящему солнцу, не мигая, смотрит на него, торжественно говорит:

— День начинается! Гляди, солнце всходит! Старею, чувствительный стал, что ли, но мне каждый раз, когда всходит солнце, хочется прыгать, как мальчишке. Сто лет хочется жить. А ты... Да милый ты мой человек... ты водку пьешь! — Дядя Истигней на секунду останавливается и другим голосом — чуть шутливым — заканчивает: — Да не гляди ты на меня такими страшными глазами. Я бы и сейчас заплясал, как Степка Верхоланцев, если бы ты не смотрел так.

Он делает еще паузу, потом предлагает:

— Давай-ка, парниша, придремнем полчаса. Добро?

— Добро! — отвечает Ульян. Больше он не пытается ничего сказать.

## 5

Кажется, что утром Обь течет быстрее.

Утром на Оби чаще, чем ночью, отплывают от пристаней юркие катера, нащупывают путь в узкие протоки пароходы, сотни лодок и обломков наискосок пересекают реку; стремительно режут воду белые, как чайки, катера начальников сплавных участков, директоров сплавконтор и леспромхозов. С утра у Оби прибавляется работы. От Новосибирского порта до Ледовитого океана река сгоняет пелену тумана, гасит предохраняющие глазки бакенов, насквозь просветливается, и теперь капитаны видят опасные пески перекатов. Утром Обь кормит изголодавшуюся за ночь рыбу. По утрам с ведрами на коромыслах спускаются к ней женщины, низко кланяются реке, зачерпывая воду. Обь готова работать, дышать, греться на солнце, поить прибрежные поймы влагой, чтобы набирала силу отавы, которые в нарымских местах вырастают такими, что хоть снова начинать сенокос.

Катер «Чудесный», разноокрашенный, длинный, как торпеда, бесшумно мчится по застекленевшей глади. На носу катера, повернувшись лицом к ветру, стоит Виктория Перелыгина. Она отлично выпалась, утром сделала зарядку, окатилась с ног до головы холодной водой.

Виктория ощущает свежесть, бодрость, ей радостно и легко, у нее в это утро прекрасное, безоблачное настроение, хотя иногда острой иголкой покалывает воспоминание о том, как Полина Васильевна побледнела и, пошатываясь, вышла из комнаты.

Не бережет себя мама: много работает, ест не вовремя, мало спит. С этим надо кончать! Вчера мама о чем-то долго разговаривала с отцом, их голоса раздавались до полуночи. Виктории показалось, что Полина Васильевна в чем-то обвиняла Григория Ивановича. Он тихонько кашлял, басил, видимо, оправдывался. Она, Виктория, очень любит отца, но должна признаться, что он довольно-таки нерешительный, неопределенный человек. Если говорить откровенно, то и Полина Васильевна не слишком последовательна; никто, конечно, не отнимает у нее достоинств — она энергична, обладает волей, целеустремленна, но порой противоречит сама себе. Зачем нужно было вчера врать Верхоланцеву? Нехорошо! Если говорить откровенно, то нужно признать, что она, Виктория, решительней и тверже матери.

Виктория готова сто раз повторять — с Верхоланцевым покончено. Он не тот человек, который может быть ее спутником, с которым бы она могла пройти по жизненному пути рука об руку, разделяя трудности и радости, достижения и неудачи. «Мы люди разных жизненных целей», — говорит себе Виктория и радуется, что все эти приходящие ей на ум слова отлично определяют ее отношение к Степану. Нет, примирения не будет! Мир не кончается промыслом — у нее, у Виктории Перельгиной, будет другая жизнь, иные друзья и, конечно, найдется человек, которого она полюбит по-настоящему.

Спрыгнув с катера, Виктория спешит в землянку, чтобы переодеться. На ее пути, под навесом, сидит лохматый, бледный, усталый Степка. Она предупредительно, даже весело, здоровается с ним, а Степка смущается, краснеет и, не зная, куда деть руки, черными от мазута пальцами тербит пуговку пиджака. Вчера, наверное, долго ждал ее, ходил по улице, переживал. Ну зачем матери нужно было лгать? Если бы она сказала правду, сейчас во всем была бы легкая ясность. Ну разве есть у Верхоланцева характер? Он такой растерзанный, бледный, измятый, что кажется — не спал всю ночь. Зачем все это? Она сегодня же поговорит с ним, объяснится.

Напевая, Виктория натягивает брезентовую куртку, резиновые сапоги. Четко постукивая каблуками, выходит из землянки, деловито развертывает тетрадь с записями, приложив руку к бровям, оглядывает небо, плес, катер. День обещает быть отличным. Рыбаки, торопясь, расходятся по местам.

После того как Виктория раскритиковала порядки на промысле, дядя Истигней первое притонение начинает ровно в половине восьмого. Критика подействовала — это хорошо! Это приятно Виктории. Вот и сейчас, поглядев на старый осокорь, дядя Истигней машет рукой: «Начали!» Но сам почему-то не садится в завозню, хотя всегда самостоятельно начинает первое притонение. Вероятно, что-то произошло. Не садится в завозню и Наталья — вместе с Ульяном несет тяжелый березовый кол. Улян торопливо, взволнованно что-то говорит ей, она кивает головой, посмеивается.

Так и не поняв, что случилось, Виктория садится под навес, раскрывает тетрадь, чтобы проверить вчерашние записи. Повариха тетка Анисья озабоченно возится у плиты. Она повязана платочком, шея обмотана шарфом, а поверх платочка — еще одна большая пуховая шаль. Таким образом, голова тетки Анисьи укутана по-зимнему, а вот на теле только ситцевое платыйшко с короткими рукавами, из которых высовываются диковинно толстые руки — красные и крепкие, как наждак.

— Ничего не жрут, одежонку поизорвали, ночами шарашатся,— монотонно бормочет повариха, со злостью бросая в чугуны очищенные картофелины.— Ну ладно! Пушай эти мальчишонки, то есть Семка со Степкой, а старый-то пес, Истигней-то, куды лезет? Вот что спрашиваю: куды старый черт, мигун, куды лезет? Надьсь мне говорит, черт меченый, ты, говорит, Анисья, не сплетничала бы, а! Ты, говорит, как телефонный аппарат, тебя, говорит, даже крутить не надо... Ну ладно, погоди! Я тебя сегодня накормлю: самый что ни на есть плохущий кусмень положу... Чтобы потоньшал, окаянный! Забудешь, черт, небось про телефоны. Ладно!

Кидая в таз картофелины, тетка Анисья так размахивается, словно бросает гранаты. Из котла поднимаются высокие столбы воды с мелко нарезанной морковкой и укропом.

— Что творится! Наташили железы, ночи не спят... Вчера, это, осталась после работы котлы почистить, гляжу, а они — нате вам — приезжают! Железину с собой приташили и говорят: шла бы, Анисья, отдыхала, нам некогда. А утром хватилась, нет кочерги! Я туды, я сюды, а этот варнак, Семка то есть, хохочет. Из твоей кочерги, говорит, винты сделали... Дураки, говорю, срамцы! Раньше этот невод проклятуший лошадьями таскали и ничего, а нонче машиной, а вам, говорю, мало. Снять бы штаны, говорю, да по мягкой части орясиной, что потолше. Ишь что задумали — скорость увеличивать! Сами из сил выбиваются, Ульяшка Тихий от водки да от кола ног не таскает, а им все мало. Скорость им понадобилось увеличивать! А все кто — язва эта, Истигней окаянный. Ты, говорит, как телефон...

— Увеличить скорость?... Как — увеличить скорость? — спрашивает повариху Виктория, уловившая только последние слова женщины.— О чем вы говорите?

— Да об Истигнее! О нем! Скорость невода, старый черт, увеличивает!

— Как увеличивает?

— Обыкновенно! А ты, поли, не знаешь? — подозрительно спрашивает тетка Анисья, переставая чистить картошку.— Неужто не знаешь? — повторяет она, поняв вдруг, что Виктория действительно ничего не знает о ночных безобразиях. Это приводит стряпуху в крайний восторг. Всплеснув ладонями, она захлебывается от желания немедленно выложить все.— Как не знаешь? — поражается тетка Анисья.— Ну и чудо! Ну, девка, тут рассказывать, тут рассказывать — с ума сойдешь!

От восторга тетка Анисья взвизгивает и подбоченивается.

— Слушай, девка, вникай! Все обскажу, все выложу, как на тарелочке... Вот, значит, Семка, варнак этот, придумал железину, от которой машина быстрее вертится. Ну ладно, придумал — и к Степке... Они с ним дружки, водой не разольешь... Значит, приходит, это, Семка к Степке, железину с собой, конечно, притащил, вот, говорит, смотри! Степка, это, посмотрел. Хорошо, говорит, правильно, молодец, говорит, пусть себе лежит. Вот железина лежит, полеживает, и тут, конечно, претса Истигней. Без него, старого черта, ничего не обойдется! Он везде успевает... Вот приходит Истигней, конечно, поглядел на железину, шибко обрадовался. Хорошо, говорит, молодец! За такую штуку, говорит, из Москвы выйдет тебе не меньше как премия...

Сказав о премии, тетка Анисья внезапно замирает и бледнеет. Не смотря на то, что премию она сама выдумала по ходу рассказа, сейчас, как бы осененная догадкой, пораженная, она вытягивает шею.

— Ах, ах! — удивляется она.— Ну, девка, теперь все понятно! Истигней-то ведь на премию обрадовался! Дай, думает, пристегнуться к мальчишонкам, может и мне премия выйдет. Ах ты мать честная! А я-то

гадаю, чего он ночами шастает? Ну ловкач, ну холера старая!.. Вечером побегу к его старухе, все обскажу, все разъясню. Вот, скажу, где он ночами пропадает. Ах, ах... Стой, девка, ты куда... Стой, обскажу дальше...

Виктория спешит к дяде Истигней, который на корточках сидит возле выборочной машины и гаечным ключом подвертывает винт. Он один, так как Семен и Степка ушли на замет.

— Евстигней Петрович! — громко обращается Виктория. — Оказывается, вы собираетесь увеличить скорость невода?

— Да. А что? — Он привстает. — Такая мысль у нас есть.

— Почему я ничего не знаю об этом? — вскидывая голову, сухо спрашивает Виктория.

Дядя Истигней старательно разыгрывает удивление — чаще, чем обычно, моргает, разводит руками; сейчас он такой простоватый, наивный, непонимающий, что его даже жалко немножечко. Старик, видимо, удивлен, что Перелыгина не знает об их решении увеличить скорость невода, огорчен этим.

— Неужто не сказали? — изумляется он. — Ишь ты беда! Как же так? Никто и ни словечка, а?

— Никто ничего не говорил! — отрезает Виктория.

— Ай-ай! Безобразие! — искренне сочувствует дядя Истигней. — Это они так заработались, так захлопотались, что и забыли предупредить. Это не иначе, как так... Ах, ах! Одно не разумею: что Степушка-то думал, почто он-то не рассказал, а? — спрашивает дядя Истигней, поднимаясь с корточек и невинно глядя на девушку.

— Мы с ним поссорились, — неожиданно для себя самой откровенно отвечает Виктория.

— Ай-ай! — поражается старик. — Как же так? На одном песке робите, с одного котла сдаете. Как же так? — еще больше удивляется он, но потом мгновенно становится серьезным, берет Викторию за руку, проникновенно продолжает: — Зачем ссориться! Не надо! — И, словно поняв вдруг все, наклоняется к ней. — Понимаю теперь, что делается! Понимаю, почему тебе не сказали про скорость-то!

— Почему?

— Все понимаю! Ты присядь-ка, поговорим. Вон на корягу и садись...

Дядя Истигней лезет в карман за кисетом, достает его, неторопливо проделывает все те несколько забавные операции, которые нужны ему для закуривания.

— Это хорошо, что тебя за живое взяло, — говорит он, искоса наблюдая за девушкой. — В коллективе все должно быть общее.

— Евстигней Петрович, я жду ответа... Почему мне не сказали?

— А ты не спеши, не торопись. Дело серьезное! — отвечает старик. — Мне понятно, почему тебе не сказали. Смотри, какая картина: со Степкой ты поругалась — он не скажет, Семен Кружилин не скажет тоже — он Степкин друг, да и настоящий друг. Ульян Тихий тебя боится, ты не любишь тебя — строга ты с ним очень... Наталья тоже не скажет, ты к ней относишься свысока. Григорий Пцхлава за Ульяна горой. Значит, и он к тебе большой дружбы не чувствует. Ну, а я? Я человек молчаливый, неразговорчивый, опять же боюсь, что редуктор не пойдет... Ну, а...

— Товарищ Мурзин, я не нуждаюсь в ваших оценках... — побледнев, говорит Виктория.

Дядя Истигней холодно перебивает ее:

— Прошу выслушать до конца.

Виктория, уже повернувшись, чтобы уйти, останавливается,



— Что еще? Я жду.

— Отменно. Да ты присядь! Вот так... Люди мы свои, делить нам нечего. Хочу, чтобы поняла ты нас, рыбаков. Народ мы дружный, спокойный, доброжелательный,— говорит дядя Истигней.— Подумай, не уходишь ли в сторону от людей? Ты умный, начитанный, крепкий человек, а путаешь, петляешь. Подумай, помозгуй,— еще ласковее говорит он, кладя руку на обшлаг ее спецовки.— Тебе в жизнь идти, Виктория, тебе много надо думать...

— Я ничего не сделала плохого коллективу,— говорит Виктория.— Что мне надо еще делать?

— А коллективу плохое трудно сделать. Одному, двум, ну от силы трем — можно. Потом раскусят, поймут и... ничего плохого уже не сделаешь! Ты, Виктория, думай о другом — не строга ли слишком с людьми, не высока ли в самомнении?

— Евстигней Петрович, вы знаете, я хорошо работаю, изучила дело. Ну что еще надо? Мои отношения со Степаном — личное,— уже спокойно говорит Виктория.— Что я должна еще делать, Евстигней Петрович?

— Не о деле речь,— говорит старик.— Об отношении к людям.

— Ну, знаете, я не умею дипломатничать. Я к себе отношусь так же строго, как к другим.

С катера доносится зычный крик Стрельникова: «Подхватывай!» Дядя Истигней бросается к берегу, чтобы принять крыло невода.

Рыбаки возбуждены. «Чудесный» еще движется, мотор дорабатывает последние такты, а Семен уже прыгает в воду, по пояс погрузившись в нее, бежит на берег, подлетев к выборочной машине, гремит рычагами, что-то подкручивает, подвинчивает, орет дяде Истигней: «Живее! Не тяните!» Когда крыло зацеплено, а Ульянов подает знак, что тоже готов, бригадир торопливо поднимает на блоке бело-голубой флаг Карташевского свежевого песка, и дядя Истигней приглушенно говорит: «Добро!» Семен мягко прикасается пальцами к заводной белой кнопке.

Мотор сначала медленно, потом все быстрее и быстрее передает обороты валу выборочного круга; затем Семен прикасается пальцем еще к какой-то кнопке, раздается чавканье хорошо пригнанного металла, вступает в действие вал ускорения, и все видят, как на самодельном счетчике Семена появляется цифра, показывающая, что обороты вала увеличены в полтора раза.

Невод струится из воды ровно, прямо, поплавки не утопают, как предполагал дядя Истигней. Это значит, что невод идет правильно. В линии поплавков, идущих к берегу, пропадает пунктирность, от скорости они сливаются в сплошную линию.

Но дядя Истигней делзет вид, что он все-таки чем-то недоволен.

— Дальше пойдет хуже! — говорит он.— В конце может заесть.

— Вполне! — соглашается Семен.

Однако ничего не заедает — невод идет по-прежнему ровно, быстро, мотор работает легко и четко. Не заедает! Коловщик Ульянов Тихий движется по песку много быстрее, чем обычно, но ему не тяжело — он свеж, ибо уже несколько дней не пил водки, да и Наталья ему помогает.

Петля невода суживается, Семен, улыбнувшись, сбавляет газ. Он сообразил, что с увеличением скорости увеличивается инерция и машине после первого трудного рывка работать легче. Он, собственно, предполагал это.

— Пошла! — ревет берег.

Рыбаки единым духом выбрасывают на берег шевелящуюся мотню, вперед пробивается деловая тетка Анисья, прицеливается опытным глазом на осетров, выбирает на вареве; дядя Истигней говорит: «Чахоточные осетры»; Виталий, подражая старику, заявляет: «Пустяковина»,— и уж тогда на главное место выдвигается Виктория Перелыгина — приемщица рыбы. В общем, происходит все то, что происходит обычно, только на этот раз притонение завершено в полтора раза быстрее. Необычно и другое: Степка Верхоланцев на этот раз не кричит свое восторженное «Ого-го!».

— Выгадали порядочно! — говорит дядя Истигней Семену, посмотрев на часы.

## 6

Если судить по тому, как Стрельников входит в кабинет директора рыбозавода, то Карташевский стрежевой песок не просто рыбацкий поселок, а великая держава, и он, Николай Михайлович, ее полномочный и доверенный представитель. Шустрая секретарша вскакивает, преграждает ему дорогу, но он молча, не поворачивая головы, отодвигает ее в сторону, широко распахивает дверь и оказывается перед лицом всего заседающего в кабинете рыбозаводского начальства.

— Мое почтение! — величественно раскланивается Стрельников. То, что в кабинете собралось все начальство, нисколько не смущает его, наоборот, радует, дипломатические разговоры вести удобнее.

— Здравствуйте, товарищ Стрельников! — Директор протягивает руку бригадиру.

Николай Михайлович неторопливо подходит к нему, здоровается, затем испытующе оглядывает собравшихся, чтобы решить, кому еще нужно пожать руку и в какой последовательности. Он здоровается с главным инженером, с главным бухгалтером, с начальником планового отдела, начальником консервного цеха, а напоследок небрежно, нехотя пожимает тоненькие пальцы рыбозаводского снабженца — остроносого, белолицего человека в сильных очках.

— Григорию Аристарховичу, так сказать, привет! — многозначительно произносит Стрельников. — Чую, опять гриппом болеете?

— Я ничем не болею! — отвечает снабженец и, морщась, трясет рукой, которую Стрельников чересчур крепко стиснул.

— Вечно вы... — сердится он.

Но Николай Михайлович уже не обращает на него внимания. Вновь расцветая дипломатической улыбкой, он ищет местечко, чтобы присесть, и наконец устраивается рядом с директором рыбозавода, в глубоком кресле, на котором обычно сидит заместитель директора, находящийся сейчас в командировке. Над Николаем Михайловичем фикус, сбоку — небольшой селектор, позади — несгораемый шкаф. В кабинете есть все, что должно быть в кабинете директора рыбозавода: столы, установленные буквой Т, промятый диван, модель катера на тумбочке, малиновая ковровая дорожка, затоптанная, усеянная окурками.

— Я, кажись, помешал? — невинно спрашивает Николай Михайлович, обращаясь к директору и вынимая из кармана пачку «Казбека», только что купленную в ларьке сельпо.

— Ничего, ничего... — чуть улыбнувшись, отвечает директор и переглядывается с главным инженером.

Если бы Стрельников в этот момент не был занят распечатыванием пачки, если бы он не разрезал толстым ногтем наклейку на папиросной коробке, он прочитал бы в их взглядах: «Гляди, как форсит Стрельников! Как набивает себе цену!» Но Николай Михайлович занят папиросами и потому ничего не замечает. Раскрыв пачку, он протягивает ее

директору, потом главному инженеру, потом остальным, в той последовательности, в которой пожимал руки.

Николай Михайлович Стрельников относится к тем бригадирам, которые считают, что рыбозаводское начальство, конечно, необходимо, что сам по себе рыбозавод — дело хорошее, нужное, так как иначе рыбаки не знали бы, что делать с уловом, но начальство это не должно вмешиваться в дела бригад, так как ничего хорошего, путного это вмешательство дать не может. Роль рыбозаводов, по мнению Николая Михайловича, должна быть сведена к снабжению — завод обязан давать рыбакам невода, спецовки, сапоги, поплавки, грузила, ремонтировать катер, выборочную машину, платить зарплату, а к большим праздникам выдавать премии. Рыбозаводское начальство должно быть щедрым, великодушным, а бригадир должен настойчиво требовать с него все необходимые для рыбаков материальные блага. Такова точка зрения Николая Михайловича, и он не собирается ее менять. Думая так, Николай Михайлович гордится своей бригадирской должностью. Приезжая в районный центр, он свысока поглядывает на жителей райцентра, на рыбозаводское начальство, так как полагает, что там, на промысле, делается то главное дело, для которого, собственно, существует и рыбозаводское начальство и районный центр.

И бригадира карташевцев встречают в райцентре с уважением. Коли он остается тут на ночь, ему отводят лучшую комнату в гостинице. Его уважают именно потому, что он бригадир рыбаков Карташевского стрелевого песка, которые пользуются славой лучшей бригады в районе. Обласканный теплыми лучами славы, Николай Михайлович проникается сознанием своей значительности и, вернувшись из района, не сразу освобождается от напущенной на себя важности, а начальственно щурится и покрикивает на рыбаков. Но через несколько дней это проходит. Он становится таким, каким есть на самом деле,— простым, душевным и веселым человеком, который отлично ставит стрелевой невод. Если бы он совсем перестал ездить в район... Но ему полагается ездить в районный центр, и он ездит, и вот сегодня приехал снова... Посиживая в глубоком кресле, он курит дорогую папиросу, снисходительно поглядывая на снабженца. На директорском столе, придавленный тяжелым пресс-папье, лежит чертеж кружилинского редуктора, который прислал два дня назад с оказией дядя Истигней. На уголке ватмана рукой директора начертано: «Отлично! Внедрять!»

— Что же, поздравлять вас надо! — весело говорит директор, поднимаясь, чтобы еще раз пожать руку Стрельникову.— Большое дело сделали, товарищи. От души поздравляю! На днях к вам выезжают представители райкома и рыбозавода, чтобы перенять опыт. Хорошее дело сделали!

Директор выходит из-за стола, задумчиво прохаживается по ковровой дорожке, потом останавливается против Стрельникова.

— Хронометраж делали? — спрашивает он.

— Хронометраж нам ни к чему! Хронометраж пусть рыбозаводское начальство делает,— небрежно бросает Стрельников, но тут же громко, внушительно добавляет: — Вопрос не в хронометраже, вопрос в том, что мы выгадали три притонения. Вот в чем важный вопрос! — ликующе заключает он.

Директор снова переглядывается с главным инженером, снова обменивается с ним сдержанной улыбкой: «Эх, как заливает! Молодец! Посмотрим, что дальше будет. Посмотрим».

— Да к нам уже и корреспондент приезжал! — вдруг громко говорит Стрельников.— Приезжал!

- Кто приезжал?
- Корреспондент областной газеты.
- Ну и что?

Стрельников отвечает не сразу — сперва многозначительно взгляды-вает на снабженца, потом старательно тушит папиросу в пепельнице на столе директора, поднявшись для этого с кресла. Потушив, разваливается, кладет ногу на ногу.

— Одобрил! — коротко, энергично говорит Стрельников. — Сказал, что мы правильно поставили вопрос. Однако сделал ряд замечаний...

Директор возвращается за стол, садится, отодвинув чертеж редуктора, наклоняется в сторону Николая Михайловича. Настораживается и снабженец. В комнате наступает тишина; главный инженер с веселой усмешкой откидывается на спинку продавленного дивана.

— Какие же замечания? — спрашивает директор. — Что-то мне не приходилось слышать, чтобы корреспонденты делали замечания.

— Смотря какой корреспондент! — Стрельников улыбается, делая рукой мимолетный жест, означающий, что он, Стрельников, понимает необычность замечания корреспондента, но оно, замечание, было, и ничего нельзя с этим поделать: факт свершился. — Смотря какой корреспондент! А этот многие вопросы заострил. Многие.

— Например? — добивается вдруг повеселевший директор.

— Да, много заострил, много, — говорит Стрельников. — Я только главный вопрос помню. Товарищ корреспондент указал, что поставит вопрос перед областными организациями, чтобы нам, как инициаторам, выделили новый невод... Посмотрел, это, на запасной, на старый невод. головой, это, покачал и говорит: «Стыдно, товарищи инициаторы, работать таким старьем!» Заострите, говорит, об этом вопрос в районе, а я поставлю в области.

— Ну, я не поверю этому! — восклицает снабженец.

— Вы не поверите, другие поверят! — говорит Стрельников, обращаясь к директору.

Директор улыбается, трет руку об руку, укоризненно качает головой, как бы осуждая снабженца за то, что тот отказывается верить Стрельникову.

— Значит, в области будет ставить вопрос? — задумчиво спрашивает директор.

— В области.

— Новый невод?

— Новый. Категорически новый!

— Понятно! А вы, значит, ставите вопрос перед нами?

— Ставлю. Как мы инициаторы, так сказать, движения...

— Понятно, понятно, — перебивает директор, озабоченно поджимая губы, и обращается к снабженцу: — Георгий Аристархович, вы не помните, когда карташевцы получали невод?

— В позапрошлом году... Как это, помню ли? Интересный вопрос!

— Да бросьте, бросьте, не обижайтесь! — говорит директор. — В позапрошлом году, в позапрошлом году... — несколько раз повторяет он, словно никак не может уловить смысл этих слов, понять, плохо это или хорошо, что карташевцы получили невод в позапрошлом году. Ему, видимо, трудно решить вопрос о неводе, и потому он тянет время. Стрельников, понимая его растерянность, радостно думает о том, что поставил директора в тяжелое положение: отказать в просьбе инициаторам — это не баран начхал! Тот же райком партии за это по головке не погладит. Дать новый невод — тоже нелегко. В общем, положение пиковое!

В напряженном молчании проходит, наверное, минута. Затем директор решительно выпрямляется, твердо говорит:

— Придется дать невод. Новый!

— Петр Ильич! — Снабженец испуганно поднимает руки, но поздно — Стрельников, резко вскочив, уже пожимает руку директора, трясет ее с чувством горячей признательности.

— Спасибо! Спасибо!

— Да, придется дать невод, — продолжает директор, обращаясь к снабженцу. — Георгий Аристархович, на будущий год, в августе, выдайте карташевцам новый невод.

— Как... на будущий год? — заикнувшись, оторопело спрашивает Стрельников. — Почему в августе?

И директор весело отвечает:

— В августе потому, что именно тогда вам полагается получать новый невод! У вас еще есть вопросы к дирекции рыбозавода, товарищ Стрельников?

Через полчаса Николай Михайлович, раздосадованный, обиженный, шагает по главной улице районного центра. Многие прохожие узнают его, раскланиваются, он отвечает коротким, внушительным кивком головы. Стрельников старается идти медленно. Он закладывает руки за спину, вздернув голову, распахивает пиджак, чтобы была видна дорогая рубаха из крепдешина. Идет седьмой час, кончается рабочий день, и на главной улице райцентра шумно. Знакомые встречаются чаще, Стрельников то и дело раскланивается, иногда останавливается, чтобы перекинуться с кем-нибудь словечком. Проходит минут десять, и он уже забывает о неводе. В общем-то, он доволен прошедшим днем, так как в технабе раздобыл грузила новой конструкции, бочку автола, профилированное железо, заказанное для чего-то Семеном, выпросил на складе сто метров осветительного провода.

Важно оглядевшись, Николай Михайлович входит в чайную, застывает на пороге, чтобы знакомые официантки могли его приметить. И они его мгновенно замечают. Одна бросается к двери, расплывается в улыбке, всплескивает руками, как бы пораженная тем, что Николай Михайлович наконец-то пожаловал к ним.

— Проходите, проходите, товарищ Стрельников! — Она склоняется перед ним — представителем великой карташевской державы.

— Шампанского! — мимоходом бросает Стрельников буфетчице. — Желательно полусухого... Бутылку!

## Глава пятая

### 1

С утра идет мелкий, частый дождь, Обь накрыта плотным туманом. Холодно и мерзко, как бывает в Нарыме в конце августа и начале сентября, коли выпадает дождливая погода. Из дома выходить не хочется; грязь страшная — ноги вязнут по щиколотку. На деревьях сидят мокрые вороны, повернувшись головами к ветру, чтобы обтекали перья, скучают.

Почтальон дядя Миша завернулся в плащ, на голове зимняя шапка из кожи, на ногах резиновые сапоги. Ему наплевать на дождь. Дядя Миша — косоглазый, однорукый. Газеты он разносит очень рано, часов в пять, так как «Шевченко» пришел еще вечером. По карташевскому обычаю, дядя Миша заталкивает газеты под крыльцо. Для этого ему приходится заходить в ограды, там сидят злые псы, но на почтальона они не лают: привыкли.

Виктория Перельгина в это утро просыпается в шесть часов. Впрочем, она всегда просыпается в шесть, хотя будильника у нее нет, — ее заставляет просыпаться чей-то бодрый, веселый голос. Он, этот голос, с

вечера засыпает в ее ушах, так как, укладываясь спать, она приказывает себе: «Встать в шесть!» И утром голос просыпается секундой раньше ее. И так, начинается нсвйй день! Работа, вечерние занятия, чтение. Еще один день, приближающий ее к иной, большой жизни, к институту, к новым друзьям, к жизни, полной радости, счастья. Она решительно сбрасывает одеяло, вскакивает, надевает спортивные брюки, тапочки, выбегает на улицу. Дождь, холод, ветер! Ей становится зябко, разогревшаяся в постели кожа покрывается пупырышками. Виктория съезживается, но мгновенно преодолевает слабость, прижав руки к бедрам, бежит по двору, по травянистой дорожке. Потом четко, красиво выполняет гимнастические упражнения.

У нее гибкое тело спортсменки, под тонкой кожей шевелятся твердые мускулы. Она перемахивает через скакалку. Еще раз, еще! Затем снова бегом. Сбросив спортивные брюки, оставшись в трусиках и лифчике, Виктория окатывается ледяной водой. Окатившись, подбегает к крыльцу, достает газеты.

Виктория с раннего детства помогает матери по хозяйству. Вернувшись в дом, она зажигает керосинку, ставит молоко, режет хлеб, сыр, колбасу. Приготавливает лук, который в семействе Перелыгиных считается профилактическим средством против болезней. Виктории приятно, что мать может еще поспать: ей надо отдохнуть перед длинным учебным годом. И потом этот последний сердечный припадок...

Виктория — хорошая дочь.

Пока закипает молоко, Виктория просматривает областную газету. Ей легко следить за событиями, она всегда в курсе дела... На Кубе неспокойно, Фидель Кастро выступил по радио, американцы кричат об усиливающемся влиянии коммунизма. Отличные дела творятся в Африке! Колониальные империи рушатся — так и должно быть! Прочитав четвертую страницу, Виктория разворачивает внутренние полосы. Вот как! Статья о грубых нарушениях производственной дисциплины на одном из заводов областного города. Пожалуй, стоит прочесть, так как насчет дисциплины и у них в бригаде не все ладно... В одной из бригад сборщиков участились случаи прогулов. Дело в том, что мастер плохо организывает производственный процесс. Токарь Свириденко вышел на работу в нетрезвом состоянии. Безобразие... Ульянов Тихий сейчас не пьет, да надолго ли?

Виктории вспоминается последний разговор с дядей Истигнеем. Ульянов боится ее! Товарищ Мурзин, вероятно, ошибается — Ульянов не боится ее, а знает, что Виктория непримирима к нарушению трудовой дисциплины. Непонятный человек, этот старый рыбак Мурзин. Всю жизнь работает, накопил большой опыт, но даже не стал бригадиром. Не поймешь, какой он — плохой или хороший? Последний раз говорил с ней ласково, мягко, просил подумать. А что подумать? Она ничего плохого не сделала...

Работать всю жизнь! Даже мысль об этом Виктории страшна. Она понимает, конечно, что кто-то должен работать там, кто-то должен ловить рыбу, но мысль о том, что всю жизнь можно провести в Карташеве, ужасна. Виктория не может и предположить, что ей... «Об этом лучше не думать!» — решает она, поеживаясь. Она будет сутками работать, не спать, но своего добьется — станет человеком. Обязательно! Ее жизнь должна быть красивой, полной, не такой, как жизнь в Карташеве, и люди вокруг нее будут другими. Степка не ее герой. Нет, нет!

Просматривая третью полосу, Виктория натывается на небольшую заметку под названием «В полтора раза быстрее». Заголовок не привлекает внимания, но что-то останавливает взгляд на этой заметке. Сначала она не понимает что, а потом видит какое-то знакомое сочетание букв.

Она читает: «В. Перелыгина...» Не может быть! Но тут же четко написано: «Н. Колотовкина, В. Перелыгина, Г. Пцхлава, В. Анисимов и другие». Что это значит?

Виктория торопливо прочитывает всю заметку. В ней говорится о том, что рыбаки Карташевского стрежевого песка увеличили скорость выборки невода. В конце заметки сообщается: «В модернизации оборудования активное участие принимали рыбаки Е. Мурзин, С. Кружилин, С. Верхоланцев, Н. Колотовкина, В. Перелыгина, Г. Пцхлава, В. Анисимов и другие».

Виктория стремительно поднимается со стула.

— Нет! Не может быть! — восклицает она.

Виктория возмущена: «Неправда это! Я не принимала участия! Ложь это! Выдумка!» Она снова хватается газету, снова прочитывает: «Н. Колотовкина, В. Перелыгина...» Ее фамилия стоит после фамилии этой самой Колотовкиной, которая к ней, к Виктории, относится насмешливо, обидно-снижительно, после этой грубой, нахальной Колотовкиной.

— Безобразие! — гневно произносит Виктория, бросая газету.

Ей вдруг приходит мысль, что упоминание ее фамилии вызвано тем разговором с Мурзиным, когда она расспрашивала его о редукторе, обиженная, что ей не сказали о нем. Старик Мурзин, наверное, подумал, что она, Виктория, болезненно переживает, что ее обошли, и поэтому решил назвать ее фамилию. Дескать, гляди, Перелыгина, какие мы великодушные, справедливые! Она не хочет быть объектом жалости. Да, да, жалости! Может быть, старик говорил с ней ласково именно потому, что пожалел ее. Значит, они пожалели ее за то, что она могла быть обойденной в заметке, может быть, даже подумали о том, что упоминание в заметке могло быть полезным для Виктории при поступлении в институт. Она обойдется без подачек, ей не нужна жалость — все, чего она добьется в жизни, будет результатом ее собственного труда, она сама возьмет от жизни все, что положено взять. Без подачек, без унижения.

— Доброе утро, дочь! — появляясь в дверях, говорит Полина Васильевна. Она сладко, тягуче зеваает, пошатываясь, проходит, садится, сонным голосом спрашивает: — Молоко готово? Ты у меня молодцом, Виктория. Что новенького в газете?

— Мама! — Виктория взволнованно подбегает к ней. — Мама, случилось неприятное!

— Ну что может случиться в шесть часов утра? Уплыло молоко? — Полина Васильевна зевает и одновременно улыбается.

— Мама, мне не до шуток. На, читай! — Виктория протягивает матери газету. — Я отчеркнула, где читать!

На газете видна глубокая вдавленка, которую Виктория прочертила острым, злым ногтем. Полина Васильевна читает отмеченный абзац, стряхивает сон, бодро восклицает: «Молодцы!» Затем читает всю заметку.

— Хвалю, дочь! — весело говорит она. — Шутка ли — почин областного масштаба!

— Это неправда, мама! — отрезает Виктория. — Я не принимала участия в модернизации!

— Почему не принимала? Тут же ясно написано...

— Это ложь!

Полина Васильевна кладет газету на стол, разглаживает рукой, приказывает:

— Расскажи!

Виктория садится и рассказывает все, начиная с выступления, когда она обвинила рыбаков в недисциплинированности, и кончая разговором

с Мурзиным. Потом она говорит о том, что записка обидела ее, что она не нуждается в подачках. Слушая ее, Полина Васильевна смотрит на газету, ей неприятно смотреть на дочь, у которой от гнева раздуваются ноздри.

— Я не понимаю, что хочет от меня Мурзин? — кричит Виктория. — Это дело с заметкой я так не оставлю! Мне не нужна жалость! Ты сама меня учила быть гордой!

— Понятно, — говорит Полина Васильевна. Что она еще может сказать, если Виктория ей на каждом шагу говорит: «Ты сама меня учила этому!» Да, сама! Учила быть непреклонной, решительной, гордой; боялась, что вырастет неженка, наследная принцесса, и, видимо, где-то в чем-то ошиблась.

Как это случилось, что Виктория все, перенятое от матери, так извратила: решительность у нее стала упрямством, гордость — стремлением встать над окружающими, определенность характера — прямолинейностью его?

— Вот что я скажу, Виктория! — тоскливо говорит Полина Васильевна. — Ты во всем права и... ни в чем не права! Во всем, что ты делаешь, нет главного — души. Это как в зеркале — отражение в нем похоже на отражение живого человека, но это только отражение.

— В чем я не права? — перебивает мать Виктория. — Ты изволь сформулировать конкретно! Меня не устраивают аллегорические формулировки. Ты скажи, в чем, и я решу — соглашаться или нет!

Полина Васильевна тяжело вздыхает. Все, чему она учила дочь на основе своего жизненного опыта, Виктория приняла как железное правило поступать без раздумья так-то и так-то в таком-то и в таком-то случае.

— Да пойми, что ты не права! — умоляет дочь Полина Васильевна. — Нельзя так относиться к людям!

— Как относиться? Что я сделала им плохого? — злится Виктория. Она впервые в жизни так сердито, резко разговаривает с матерью.

— Виктория, помнись! — вскрикивает Полина Васильевна. — Как ты разговариваешь!

— В принципиальных вопросах я не могу уступать даже тебе! — отвечает Виктория. Она стоит перед матерью прямо, гордо выпрямившись, ноздри ее маленького красивого носа раздуваются. — Это было бы предательством по отношению к самой себе!

— Виктория! — ужасается мать. — Ты можешь говорить со мной иным тоном?

— О принципиальном — не могу!

Полина Васильевна не знает, что делать: ей еще ни разу в жизни не приходилось спорить с дочерью. Сегодня дочь впервые повышает на нее голос, и мать обезоружена этим; не кричать же тоже! Полина Васильевна торопливо встает, выбегает из кухни. Через мгновение она возвращается, и удивленная Виктория видит в ее руках старую кожаную куртку, которая вот уже много лет висит в гардеробе вместе с новыми платьями матери и единственным костюмом Григория Ивановича. Виктория знает — в этой куртке мать ходила еще тогда, когда Виктории не было на свете, а мать была комсомолкой. Она бегала в этой куртке на собрания, на курсы ликвидации неграмотности.

— Виктория! — говорит Полина Васильевна. — Вот эту куртку я носила, когда была моложе тебя. У меня была тогда мечта, чтобы люди научились читать. Я шла к ним с любовью и радостью.

— Я знаю, мама, — спокойно отвечает Виктория. — Тогда были героические времена. Но ведь это романтика!

— Что значит — романтика! Неужели ты думаешь...



— Времена романтики прошли.— Виктория едва приметно улыбается.— Прости, мама, но это смешно — специально бегать за курткой, чтобы показать ее мне. Что с тобой? Ты всегда была такая строгая, решительная, непримиримая!

Куртка в руках Полины Васильевны обвисает; она медленно садится, замолкает. Проходит несколько длинных минут, потом Виктория нежно обнимает мать за плечи, заглядывает в лицо.

— Я не хотела тебя обидеть, мама! В наше время есть романтика космоса, техники, а той, твоей романтики...

Полина Васильевна перебивает:

— Довольно, Виктория! Ты лжешь! Слова тебе не принадлежат — они чужие!

— Мама!

— Довольно! — Полина Васильевна бьет рукой по столу.— Довольно!

— Не кричи на меня! — Виктория опять подымает голос.— Я не позволю!

## 2

Степка выходит из дома и свистит — вот это да! На улице творится неопишное: дождь, ветер. Тучи несутся низко над головой, в них ни одного просвета, точно скатали грязную шерсть и закрыли ею небо. Степка отходит от дома на сто метров и опять свистит — ни дома, ни оградки уже не видно. Туман.

— Здорово, Степан! — слышится из дождя голос Натальи Колотовкиной.— Сколько времени? Не опаздываем?

— Без пятнадцати семь...

Раньше Наталья еще издали протягивала Степану руку, он крепко пожимал, улыбался, был рад. Сегодня Наталья руку не протягивает, а только кивает — коротко, печально. Они идут вместе, но не рядом, как обычно, а метрах в двух друг от друга. Они — Наталья и Степан — одинакового роста, широкоплечи, похожи манерой держаться, похожи походкой. Они похожи так, как ходят друг на друга муж и жена, прожившие много лет вместе.

— Плохая рыбалка будет! — наконец говорит Наталья. В зубах у нее шевелится былинка.— Раньше, рассказывали, в дождь не рыбачили.

— Да,— отвечает Степка.— Да!..

До яра они идут молча, торопливо, не глядя друг на друга. На крутизне останавливаются, заглядывают вниз — там плавают клочья сизого тумана, клубятся, сталкиваясь, наползают на яр.

— Я во сне видел такой же туман,— говорит Степка.

— Какой? — оживает Наталья.

— Черный да страшный-страшный! Как будто лечу на землю, а она покрыта туманом. Мне страшно: а вдруг ее нет, земли. Я ведь издалека лечу...

— Откуда, Степа? — спрашивает Наталья.

— Вроде с другой планеты... Тебе не снится такое?

Она по-ребячьи машет головой — сверху вниз,— заглядывает ему в лицо, задумывается и опять грызет былинку.

— Мне другое снится... Полянка, а над ней облака — много-много! Я просыпаюсь счастливая-счастливая, лежу, а пахнет смородиной...

— Ну? — вскрикивает Степка.— Смородиной! — Степка присвистывает.— Ну и чудеса! Я как начну о жизни думать, так тоже смородиной пахнет...

— А у меня во сне... Сегодня под яр не съедешь, верно, Степа? — спрашивает Наталья.— Измазаться можно. Верно ведь, Степа?

— Конечно, измажешься! — солидным басом отвечает он и вдруг вспоминает события последних дней — становится грустно, холодно, словно его окатили ледяной водой.

Опустив голову, Степка замолкает, тербит пальцами пуговицу плаща, стараясь найти слова, которые совершенно необходимо сказать оживленной, повеселевшей Наталье. Подыскивая слова, он неожиданно вспоминает совет дяди Истигнея поговорить с Натальей о Виктории и, не успев подумать, хорошо делает или плохо, торопливо произносит:

— Знаешь, Наташка, меня Виктория ревнует к тебе. Ты подумай только!

Отвернувшись от Степки, Наталья нагибается, что-то высматривает под яром; чтобы разглядеть лучше, прикладывает ко лбу ладонь и смотрит внимательно, долго.

— Вот какое дело, Наташка! Ты чего молчишь? — спрашивает Степка.

— А я знаю, что ревнует, — не разгибаясь, отвечает она.

Наталья вытягивает ладонь, ловит на нее мелкие дождевики; она так занята этим, что ей, видимо, не до Степки. Дождь льет на поднятое лицо Натальи, капельки стекают, радужно поблескивают на бровях. Профиль у нее резкий, хорошо очерченный, подбородок нежный и маленький.

— Дурак ты, Степка! — после длинной паузы говорит Наталья. — Голова садовая! Переживаешь, мучишься, а разве так надо? Тебя, дурака, ни одна девушка из-за этого не полюбит.

— Почему, Наташа? — тревожно спрашивает Степка.

— Неправильно себя ведешь! С нашим братом надо строго, по-мужски, а ты с Викторией держись так, точно она тебя выше. Вот она тебя и не любит!

— Почему ты знаешь, что не любит? — похолодев, отшатывается от нее Степка. — Мы просто поссорились... Как ты можешь так говорить, если я люблю ее? Ты, Наташка, когда полюбишь, тогда узнаешь, что при этом люди чувствуют...

— Узнаю! — усмехается Наталья. — Обязательно узнаю. А Виктория тебя не любит. Любовь не бывает такой.

— А какой?

— Любовь — это когда люди друг для друга все отдадут, когда они... Я не знаю, Степа! Вот у Григория Пцхлавы любовь!

— А я, думаешь, для Виктории не отдам все?

— Ты отдашь! А она... Да вон твоя Виктория! Легка на помине. К тебе бежит. — Наталья говорит последние слова сердито, нервно. После этого она делает крупный шаг вниз, под яр. Ей не хочется, наверное, чтобы Виктория видела ее со Степаном...

Виктория стремительно приближается — бьет по плечам синяя намокшая косынка, косой дождь сечет лицо, ноги разъезжаются на скользкой тропинке, но она не обращает на это внимания. «Идет мириться, — думает Степан. — Она такая! Решит, что неправа, и все скажет прямо!» В груди у Степки становится тесно, горячо; он заранее улыбается, морщит губы, с которых готовы сорваться сердечные, радостные слова: «Не надо ничего говорить, Виктория! Не надо! Ничего плохого меж нами не было. Я люблю тебя!»

— Здравствуй, Степан! — подбегая, здоровается Виктория.

Она останавливается так близко, что он чувствует ее частое, разгоряченное дыхание, ему кажется, что слышен стук ее сердца.

— Мне нужно поговорить с тобой, Степа! — торопится Виктория, срывая рукав с часов и взглядывая на них. — Мы были с тобой друзьями, и я думаю, что ты будешь откровенным. Да, Степан?

— Виктория! — улыбается Степка. — Как ты запыхалась! Здравствуй! У тебя лицо мокрое! В капельках.

— Ничего! — отмахивается она. — Скажи мне, Степан, кто давал данные корреспонденту?

— Какие данные? — изумляется он, расширяя глаза. — О чем ты?

— Ты не читал? — Она выхватывает из кармана газету, протягивает ему. — Читай скорее! Опоздаем!

Он непонимающе берет газету, разворачивает, и становится слышно, как ровно, упрямо долдонят в газетный лист струйки дождя.

— Здрóрово! — прочитав инфóрмацию, кричит Степка. — Ну, теперь пойдет по всей области! Ура!

Его охватывает восторг. Как все хорошо, замечательно складывается: они помирились с Викторией, которая сама подошла к нему; в областной газете пишут о них. Вот это день! Пусть льет противный дождь, пусть ярится ветер, пусть густеет туман — пустяки! Скоро выйдет солнце, Обь засверкает, обольется звонкими лучами.

— Виктория! — кричит Степка. — Замечательно! Везде будут редукторы! Везде будет наш метод! Ура! — Он набирает полную грудь воздуха. — Я знал, что ты придешь, что мы помирились! — радуется он. — Я для тебя что хочешь сделаю!

— Кто дал фамилии корреспонденту? — перебивает его девушка.

— Да какое это имеет значение? — удивляется Степка.

— Ты не хочешь сказать, кто дал фамилии? Я думала, что ты другой!

— Что ты думала? — недоумевает он.

— Я не думала, что ты способен личное переносить на общественное. Это непорядочно.

— Непорядочно... — эхом повторяет Степка, только теперь поняв, что привело к нему Викторию.

Глубокая вдавленная ногтем на газетном листе, вдруг дает ему понять, как разозлилась Виктория. Глубокая, четкая бороздка, которую можно сделать только очень острым, только очень злым ногтем. Так вот почему она бежала к нему, вот отчего блестели ее глаза!.. Степкина кепка, оказывается, лежит на земле. Упала, видимо, в тот момент, когда он, счастливый, бросился к Виктории. И теперь кепка валяется в грязи, а Степкины волосы мокры. Он нагибается, поднимает мокрую кепку, нахлобучивает на мокрые волосы. Капельки воды стекают за воротник.

Им надо спускаться под яр, в холодный, густой туман. Степка первым шагает вниз. Он спускается, а Виктория еще стоит, раздумывая. Со стороны кажется, что он, Степка, маленький, щуплый, а она, Виктория, стоящая наверху, высокая, сильная. Он скрывается в гумане, когда она решительно встряхивает головой, вздергивает подбородок и тоже начинает спускаться.

Виктория спускается под яр смело, ловко, быстро. Она ведь спортсменка.

### 3

Дождь зарядил надолго.

На Оби столпотворение, кромешный ад. Река не зеленая, не синяя, не коричневая, а просто черная; поперек нее бегут белые гребни высоких волн. Кажется, что в Обь пролили громадную банку туши, тщательно размешали, а река не хочет примеси и упрямо выворачивается белой изнанкой волн. От Оби, как из ледника, несет холодом. Ветер схватывает дождевые струи, бросает вверх и вниз, отчего в сплошной стенке

дождя образуются плешины. Пахнет сыростью и банными вениками. Это, наверное, потому, что река полна сгнивших, разбухших листьев.

Катер «Чудесный» заводит стрежевой невод. Суденышко бросает из стороны в сторону; зарываясь носом, отряхиваясь, как угка, катер настойчиво движется вперед. Прижался к штурвалу Стрельников, приник к нему грудью, чтобы не грохнуться спиной о переборку. «Чудесному» тяжело — это видно по Семену Кружилину, высунувшемуся из иллюминатора машинного отделения. Брызги дробинами секут его лицо, но он не замечает этого — беспокойно глядит на корму, где из воды иногда показывается блестящий винт. Странно и неприятно смотреть, когда винт бешено вращается в воздухе.

Обь полна «плескунцов» и «белоголовцев».

Плескунец — волна хитрая, невысокая, незаметная. Он тем и опасен, что подбирается исподволь, вкрадчиво ласкаясь, набегают на берег и неожиданно обдаёт с ног до головы холодной водой. Белоголовец, увенчанный белой пеной, подходит открыто, хвастаясь блестящей короной, несется гордо, а набежав, смиряется, опадает, становится неопасным, ручным. С белоголовцем иметь дело лучше, чем с плескунцом: его видно, он честно предупреждает — готовьтесь, иду на вы!

Бушует Обь.

Присмиривший, грустный Степка Верхоланцев сидит под дощатым навесом, ждет, когда закончится притонение. Дождь уже не долдонит по дощатой крыше, а просто льется на нее. Доски заунывно поскрипывают. Рядом со Степкой пристроился Григорий Пцхлава, толстыми пальцами старается попасть ниткой в игольное ушко. У Григория порвалась брезентовая рукавица, он хочет починить ее, но вот никак не может вдеть нитку — ворчит, ругается, но духа не теряет.

— Сволочь! — говорит Григорий. — Почему не лезет? Не понимаем! Рукавица порвалась, что скажет наша жена? Скажет, не умеешь зашить! Плохо!

— Нитка, наверное, толстая, — говорит тоскующий Степка.

Еще никогда Степке Верхоланцеву не было так тяжело, как сейчас. Станный звук у Степки в ушах — что-то унывно поет, дребезжит; он не может понять, что это. Такой звук бывает у гитары, когда с шумом лопаются басовая струна: дерево гитары охает, раздаётся жалобный треск, а потом долго, очень долго гудит лопнувшая струна. Степка вспоминает утренний разговор с Викторией, но почему-то никак не может представить ее лицо, выражение его, услышать голос девушки. Степка вздыхает глубоко, вздохом, как обиженный ребенок, который уже перестал плакать, но слезы еще не высохли на замызганных щеках.

В ушах по-прежнему странный звук. Степке тяжело, от него нужно отделаться; приподнявшись, он трясет головой, чтобы звук исчез, и тут понимает, что в ушах стоит необычно жесткий, тяжелый гул мотора «Чудесного». Притулившаяся к катеру завозня высоко вздымается, падает, опять вздымается; стоящий на носу дядя Истигней подпрыгивает, как будто под ним пружины.

— Дождь тоже сволочь! — убежденно говорит Григорий Пцхлава и именно в этот момент попадает ниткой в ушко. Брови Григория восторженно округляются. — Мы молодец! — радостно говорит он. — Наша жена похвалит, что мы сами починили рукавицу!

Подпрыгивающий дядя Истигней зачем-то машет руками и, видимо, кричит, но ветер сносит слова, ничего не слышно. Степка прикладывает ладонь к уху.

— ...аха ...а! — пробивается сквозь ветер.

Лицом дядя Истигней обращен к реке.

— ...ча! — несется с Оби.

— Карча! — вскрикивает Степка, подпрыгнув.

По течению реки, навстречу катеру, заводящему невод, плывет здорвенная карча. На волнах подпрыгивает огромный древесный ствол с растопыренными корнями, похожими на щупальца осьминога. Корни и сучья острые, грозные, ствол ошетинился ими. Степке нужна всего секунда, чтобы представить, что может произойти, если карча попадет в петлю невода. Он ошалело срывается с места, летит к берегу, но резко останавливается, сообразив, что одному ничего не сделать, а Григорий Пцхлава не умеет плавать.

— Григорий, замсни Ульяна! — кричит Степка сквозь ветер. — Зови Викторию! Ей придется грести!

Пока Григорий бежит за Викторией, заменяет Ульяна, Степка находит маховые весла, сталкивает с песка небольшую лодку, в которой полно воды, — вычерпывать поздно, а перевернуть лодку не хватит ни сил, ни времени. Затем срывает с себя куртку, рубашку, брезентовые штаны, сапоги; уже раздетый, вспоминает, что нужна веревка для отбуксировки карчи, и кидается к навесу, но там веревки нет; он пугается, оборачивается к реке — карча приближается медленно, неотвратимо.

— Вот веревка! — кричит испуганная тетка Анисья, бросая ему аккуратно свернутую веревку.

Степка мокрый, загорелое тело блестит, волосы слиплись и упали на глаза, а ему некогда убрать их, и он, полуслепой, бежит к берегу. Ульян уже сидит в лодке, он тоже раздет; Виктории еще нет.

— Виктория, скорее!

Подбежав, она видит их — раздетых, мокрых, — не понимает, что от нее требуется; ее пробирает дрожь при виде раздетых людей.

— В лодку! — приказывает Ульян Тихий. Ему, как и Степке, понятна опасность, грозящая неводу. Поэтому Ульян стремителен, лицо решительное, губы твердо сжаты, на Викторию он кричит строгим, начальственным голосом.

Степка наваливается на весла, хочет развернуть лодку наперерез волнам, но, когда лодка становится боком к волне, в нее заползает щипящий плескунец, ударившись, опрокидывается на дно.

— Вычерпывайте воду! — кричит Степка. — Оба вычерпывайте!

Ветер мешает грести. Степка вымахивает весла из воды, чтобы занести их для следующего гребка, а ветер упирается в лопасти, давит на них. Степка изгибается, стараясь нести весла над водой, но так еще хуже — в лопасти бьют пенные белоголовцы. Тогда он гребет, как придется, задыхаясь от тяжести и боли в плечах.

— Давай, давай! — сам себя подбадривает Степка.

Лодка полна воды. Виктория встает на колени, пригоршнями черпает грязную, коричневую воду. Ульян торопливо работает жестяным совком. Волны накатываются и накатываются, через пять минут Виктория мокра с ног до головы. Она стискивает зубы.. Да, ей немного страшно, да, она пугается карчи, но она лучше умрет, чем покажет это. Если лодка перевернется, она схватится за нее; она умеет держаться на воде и продержится до тех пор, пока не снимут. Это самое страшное, что может произойти. Нет, она не боится! Все, что происходит, Виктория расценивает как испытание. Пусть лодка полна воды, пусть они могут опрокинуться, пусть есть опасность — это еще одно испытание, из которого она выйдет с честью.

Она вычерпывает воду быстро, старательно, ее охватывает восторг оттого, что она как бы со стороны представляет себя, как бы с берега видит ревущую реку, крутые волны, маленькую лодчонку и на ней себя.

Она, сидящая в лодке, смело идет навстречу опасности, ее лицо мужественно, ветер раздувает волосы. Она плывет навстречу опасности, чтобы схватиться с ней и победить. Виктория выпрямляется, смело смотрит вперед. Ей уже совсем не страшно, в голову приходят привычные, гладкие фразы: «Мы победим стихию!», «Лицом к лицу с опасностью!»

Трудно понять, приближаются они к карче или нет: она то вынырнет почти рядом, то в отдалении, так как лодку высоко вздымают волны. Лодка останавливается, встав на гребень волны, повисает в воздухе и висит долго, по крайней мере так кажется, а потом с размаху валится набок и вниз. Степка приспосабливается грести так, чтобы делать гребок в то время, когда лодка находится в среднем положении — не висит и не провалилась. Но это трудно, почти невозможно, и после каждого гребка на днище падает вода. А тут еще крадутся хитрые плескунцы. «Пожалуй, не доплывем!» — думает он, но карча выныривает почти рядом.

— Не подходи к карче! Разобьет! — кричит Ульянов.

Ульян прав. Подпрыгнув, громадная карча разобьет лодку. Что же делать? Карча рядом. Громадная в корне, она почему-то скрипит, волны с плеском бьются о нее; когда карча уходит в воду, вокруг завиваются глубокие воронки.

— Ныряй! — кричит сквозь дождь Ульянов, подталкивая Степку. — Перелыгина, держи лодку подальше от коряжины!

Набрав в легкие побольше воздуха, Степка бросается в воду. Сперва его обжигает холодом, но потом становится тепло: вода теплее воздуха. Он выныривает и видит Ульяна, который в вытянутой руке держит веревку. Метрах в двухстах от него борется с волнами катер «Чудесный». Измерив взглядом расстояние, Степка пугается: «Не успеем!»

Зацепить коряжину нелегко — она раскачивается. Но это не самое страшное: главное в том, что к ней опасно подплыть — внизу ветки. Если подплывешь, а карча в этот миг поднимется вверх — что тогда?! Не вонзится ли в тело острый сук?

Степка раздумывает недолго; в следующее мгновение он уже вразмаху плывет за Ульяновом, который подбирается к стволу со стороны комля, где нет сучков. Волны бьют Степку, отталкивают, топят. Ульянов покачивается рядом. Теперь ему нужна помощь Степки, который должен повиснуть на стволе, чтобы можно было закрепить веревку.

— Заплывай слева! — кричит Ульянов и выплевывает воду.

Степка берет влево.

— Поднырни немного!

Степка подныривает, затем бросается на карчу, хватается за два торчащих сучка. Ульянов накидывает петлю, крепко привязывает веревку. Карча так велика, что от тяжести их тел только немного уходит в воду.

Дальнейшее происходит быстро и суматошно, они подплывают к лодке, Ульянов первым выбирается на борт, а когда то же самое хочет сделать Степка, оказывается, что в лодке полно воды. Степке влезать в лодку нельзя: перегруженная — утонет. Он не знает, что делать, а времени нет, совсем нет: «Чудесный» в пятидесяти метрах от них.

— Без меня! — кричит Степка и, повернувшись, крупными саженами плывет к берегу. Проплыв немного, он снова поворачивается к лодке, чтобы проверить, все ли хорошо. Ульянов сильно гребет, карча медленно движется за лодкой, вернее ее движения не видно, но она должна двигаться, так как нос лодки приближается к той линии, по которой пойдет катер. А через некоторое время видно, что и карча подается к середине Оби.

Успокоившись, Степка собирается плыть дальше; для этого ему нужно повернуться лицом к волнам. Он делает это и — его топит плеску-

нец. Тогда Степка набирает побольше воздуха и ныряет, чтобы плыть под водой, где тише и теплее, чем на поверхности... Так, то ныряя, то хватая воздух расширенным ртом, он плывет к берегу. Сначала оглядывается на лодку, а потом уж и не смотрит на нее: карча выведена из опасной зоны. Степку сносит течением.

Уставший, полузадохнувшийся, он выходит на берег далеко от выборочной машины, и только тут ему становится по-настоящему холодно — дождь сечет кожу, ветер пронизывает. Степка сует руки под мышки, сгибается и жалостливо смотрит на свои ноги, посиневшие, дрожащие.

Над Обью сумрачно, холодно, неудобно. Мокрый, замерзший, Степка уныло шагает по песку. Он кажется себе неловким, неумелым, неудачливым, несчастным. Он уже не жалеет себя, а злится на то, что у него такие синие длинные ноги, растопыренные пальцы. Вот и Наталья утром сказала, что Виктория не любит его. Да, наверное, не любит. От этого хочется зареветь на весь мир. Да и за что его любить? Чем он хорош? Разводит глупые мечтания, видит во сне космические корабли, а ведь это мальчишество, ерунда, глупые фантазии. Никакого подвига он никогда не совершит, так как на это у него не хватит ни воли, ни характера.

— Эх!..— вздыхает Степка.— Дела как сажа бела!..

Тоскующий, одинокий, он бредет по песку, завязая в нем по щиколотку.

— Дурак ты, Степка! — сам себе говорит он.— Брось мечтать о подвигах! Работай, учись, возьми себя в руки..

Зубы Степки выбивают чечетку. Он замерз так, что еле идет. В этот миг ему не верится, что в мире бывает солнце, голубое небо; думается, что мир всегда такой холодный, тоскливый, неудобный.

— Эхма!..— печально вздыхает Степка.

Над Обью висят низкие, войлочные тучи. Видимо, заненасило надолго.

#### 4

Виктория улыбается, морщит губы. Сняв мокрую одежду, переодевается в сухое, теплое, присаживается возле печки, установленной в землянке.

«Я не струсил!» — гордо думает Виктория, причесывая влажные волосы. Они у нее длинные, красивые. «Я хорошо вела себя!» Ей вновь представляется разбушевавшаяся река, лодка, она в ней; оставшись в лодке одна, Виктория не растерялась, сумела веслами удержать лодку. На ладонях вздулись мозоли; они приятны как свидетельство, что вела она себя великолепно. Ладони можно показать матери — смотри и не обвиняй дочь в пустяках! Она, Виктория, оказывается, способна на подвиг... Ничего плохого нет в том, что сегодняшнее она называет подвигом — пусть небольшой, пусть не очень яркий, но это подвиг. После сегодняшнего она уверилась, что может сделать и большее.

Смотри, мама, как ведет себя твоя дочь! Она выросла смелой, решительной, не боящейся трудностей. Она, Виктория, смеется над теми молодыми людьми, которые боятся жизни, теряются в ней, со страхом идут на производство. Она другая! Она добьется всего, чего захочет,— будет хорошим врачом, может быть, защитит диссертацию и станет ученым. Упорства и воли у нее хватит.

Виктории было десять лет, она училась в третьем классе, когда однажды учащиеся остались после уроков делать елочные игрушки, которых тогда мало было в магазинах. Молоденькая учительница поставила перед ними крохотного длинноносого Буратино. Он глядел на ребят бесстрастным, холодным взглядом.

— Каждый должен сделать по одному Буратино,— сказала учительница.

Виктория посмотрела на модельку, аккуратно нарезала палочки для ног и рук, лицо сделала из картона, взяла краски и нарисовала губы, брови, розовые щеки. Когда Буратино был готов, учительница похвалила:

— В точности, как из магазина! Молодец, Виктория!

Буратино был действительно очень похож на купленного в магазине — глядел на свет божий бесстрастными, холодными глазами. Никто больше из ребят не мог сделать такого, хотя и у других были хорошие. Но они имели другое выражение лица: у одних игрушка была веселой, у других — лукавой, у третьих — грустной, у четвертых — дерзкой. Только у Виктории Буратино был точно, как в магазине!

Именно этот случай вспоминается Виктории, когда она думает о своем сегодняшнем подвиге. Да, еще в детстве у нее были воля, настойчивость, характер!

— Решено! — звонко говорит Виктория. Она не может останавливаться на полпути: это расслабляет волю. Нет, она доведет до конца дело с газетной заметкой. После того, что случилось с ней сегодня, после победы над разбушевавшейся стихией, Виктория не может промолчать. Пусть рыбаки думают о ней все, что им угодно, но она должна быть непреклонной — для самой себя. Подачек ей не нужно, жалости — тоже.

Виктории хочется петь.

— Мой жребий брошен! — поет она на мотив оперы (какой — она не помнит) и выходит из землянки. — Мой жребий брошен! — поет Виктория, шагая прямо на тетку Анисью. — Возврата нет!

— Это чего заверещала? — интересуется тетка Анисья, удивленная тем, что обычно строгая, гордая девушка ведет себя сегодня явно не солидно. — Что это с тобой, девонька? Ты, часом, не сказалась?

— Нет, нет, я не сказалась! — поет Виктория. — Ничуть! А в общем-то, не ваше дело-о-о-о! Не ваше дело-о-о-о-о!

— Шибко грамотная! Ты объясни путем! — обижается Анисья.

— Я сплетниц не л-л-л-лю-б-лю! — проходя мимо нее, поет Виктория.

— Шилохвостка! — ругается повариха, но сама понимает, что уж кто-кто, а Виктория Перельгина не шилохвостка, нет, совсем не похожа она на тех вертлявых и пустячных барышень, которых таким словом называют в Нарыме. Она не легкомысленна, не кокетлива, не носит узких брючек, не мажется помадой и пудрой. Виктория и без того красивая — тоненькая, стройная, белолицая. Нет, Виктория не шилохвостка! А кто же? Батюшки-светы, как это она, Анисья, не может найти слово? Господи, помилуй! Это как же так, что даже обругать Викторию тетка Анисья не может? Повариха огорченно всплескивает руками, и вместе с этим всплеском находится слово. — Зануда! — обрадованно кричит тетка Анисья, но Виктория уже не слышит ее: стоит на берегу, наблюдая, как рыбаки тянут тяжелый, мокрый невод.

Над Обью серо и холодно, дождь льет, словно нанялся и старается на совесть; в тальниках журчат ручьи, корни подмыты, выпирают, под осокорями глубокие лужи; песок на берегу перемешан с водой — подави его, потечет грязная жижа. Спецовки на рыбаках сделались черными, с зойдвосток падают крупные капли. Виталий Анисимов и Стрельников зашли глубоко в воду, Степка и Наталья тянут невод у береговой кромки, Ульянов Тихий помогает им.

Обстановка на промысле обычная, а Виктории думалось, что после случая с карчой ее, Степку и Ульяна бросятся поздравлять, пожмут им руки со словами горячей благодарности. Но ничего не произошло — рыбаки ведут себя так, словно и не было карчи, словно Виктория, Степ-



ка и Ульянов не боролись со стихией, не рисковали жизнью. Когда они вывели карчу и вернулись на берег, рыбаки не обратили на них внимания, а Стрельников чертыхнулся, что в лодке оказалась вода. «Перевертывать надо загодя! — рассердился он. — Мало ли что может случиться!» Лодку перевернули вверх дном, чтобы не заливал дождь. Вот и все, если не считать, что дядя Истигней велел Степке надеть сухую спецовку, а Ульянов сделал это сам.

Странные люди!

Невод движется тяжело, рывками, выборочная машина воеет надсадно. Виктория нахлобучивает зюйдвестку, запахивается, быстро подходит к неводу, берется за тетиву, тянет. Рыбаки теснятся, дают ей место, и опять никто ничего не говорит, хотя в обязанности Виктории не входит выборка невода: она только приемщица рыбы. Они же ее помощь принимают как должное. Странные люди!

Виктория работает вместе со всеми; ей тепло, радостно от движений, тело освобождается от скованности. Она тянет невод сильно, усердно и смело думает: «Во время обеда дам бой!»

## 5

Ульян переодевается в сухое белье. Оно у него теперь есть — чистое, выглаженное... Два дня назад Наталья пришла в общежитие, выгнала Ульяна из комнаты, пробыла там несколько минут, но когда разрешила войти, он увидел, что пол выметен, грязное белье аккуратно связано. Ульянов запротестовал, но Наталья закричала: «Замолчи, изверг несчастный!», взяла сверток и сердито удалилась. Потом белье невесть какими путями оказалось у тетки Анисьи, которая сегодняшним утром передала его Ульяну, жалостливо сказав: «Штопала уж штопала! Совсем дрянное бельишко! Надоть новое заводить!» Ульянов покраснел, растерялся и сделал ошибку — попытался тайком сунуть поварихе несколько смятых ассигнаций. Она подняла крик на весь песок: «Шаромыжник! Черт! Ты это кому суешь деньгу?» На счастье Ульяна никого поблизости не оказалось.

Переодевшись, Ульянов берется за кол. Ему тепло, уютно. Кол кажется легким. Ульянов охотно работает и думает о приятном... Славная баба, эта Наталья! Представляется сердитой, злой, насмешливой, а сама добрая и хорошая. На днях он встретил ее с сестренками-подростками. Они уцепились за нее, кричали что-то веселое, разнобойное, махали какими-то свертками. Наталья сердито сказала: «Привязались — купи ботинки. Пришлось...» Сестренки запищали: «Никто к ней не привязывался — сама повела в магазин!» Чудная эта Наталья! Честное слово, он побаивается ее: как представит, что опять напился, пробивает пот. Страшно не то, что Наталья закричит: «Пьянчужка несчастный!», страшно другое — глаза у нее станут тоскующими, опустошенными. Невозможно представить, что он еще раз может напиться. На днях Ульянов проходил мимо чайной, хватил расширенными ноздрями запах лука и пива, услышал нестройный гул — ноги сами повернули к высокому крыльцу. Ясно представилось, как волнуяще закружится голова, в груди откроется теплая пустотка, мир распахнет голубым и розовым. Левая нога уже стояла на крыльце, когда он вспомнил о Наталье. Ногу пришлось снять, отставить назад, а на правой ноге повернуться, чтобы уйти от чайной. Казалось, что на ногах пудовые гири... Хорошая девушка Наталья! А Степка Верхоланцев дурак: бегаёт за своей Викторией, похой на дорогую заводную куклу. Нет, Степка, конечно, хороший, но дурной, шальной: как не видеть, что его любит Наталья? Все на песке знают об этом, а он... Впрочем, все ли знают, видят? Может быть, толь-

ко он, Ульян, стал за последнее время таким глазастым, приметливым. Дядя Истигней, пожалуй, тоже знает о любви Натальи к Степке... Дядя Истигней замечательный! К нему хочется притулиться, всегда быть рядом, чтобы видеть его улыбку, неторопливые движения, понимающие глаза. Ульян отчего-то уверен — для дяди Истигнея нет невозможного. Если дядя Истигней захочет, Ульян вернется на пароход.

Выборочная машина тарахтит рядом. Ульян отвязывает береговое крыло невода, передает дяде Истигнею. Проходит несколько минут, и живая блестящая мотня летит на песок. Когда рыба рассортирована, уложена в длинные деревянные ящики, Стрельников торжественно объявляет:

— Обед!

Под дощатым навесом сухо, чисто, сбоку — яркий костер, разведенный утром. В костер положили несколько огромных бревен, и он будет полыхать до вечера, пока не придет пора уезжать с песка. Рыбаки обедают долго, основательно, молча и, как всегда, хорошо — съедают по две миски осетрины, по два стакана киселя, неторопливо пьют чай. Неплохо ест и Виктория Перелыгина, поработавшая сегодня вместе с рыбаками. Раньше она съедала немного похлебки, картошки, чай не пила, а сегодня ест много, охотно, тянется за добавкой. Анисья, приятно удивившись этому, радостно предлагает:

— Ешь, милая, ешь! Это я люблю, когда хорошо съедают!

Наконец обед кончен.

— Перекур! — объявляет бригадир, начальственно и строго озирая рыбаков. — Разрешается отдохнуть!.. Может, у кого есть вопросы? — после небольшой паузы тоном заботливого руководителя спрашивает он.

Вопросов, видимо, нет — дядя Истигней уже закрыл глаза. Семен, пожалуй, спит. Степка прячется за Ульяна, а сам Ульян позевывает. Виталий, конечно, лежит рядом со стариком. Очевидно, у них вопросов к бригадире пока нет. А как обстоят дела у приемщицы рыбы Перелыгиной, которая чаще других ставит вопросы? Нет ли вопросов у товарища Перелыгиной?

Плотно наевшийся Стрельников тяжеловато поворачивается к Виктории, и его круглое бровастое лицо освещается надеждой. У товарища Перелыгиной, кажется, есть вопрос: она беспокойно ворочается, закусьивает нижнюю губу, нежные ноздри тоненького носа вздрагивают. Определенно хочет поставить вопрос! Стрельникова не обманешь: посади в зал хоть тысячу людей, он взглянет и сразу скажет, кто желает иметь слово. Такого человека сразу видно — он, если не мнет в руках бумагу, то возится, нервничает, отделяется от соседей этакой отрешенностью в зале, словно уже стоит на открытой взорам трибуне. Только большие начальники умеют не показывать виду, что собираются выступить, — дело привычное, чего волноваться! А товарищу Перелыгиной не обмануть Стрельникова, он ее видит насквозь.

Николай Михайлович согнутыми пальцами стучит по столу.

— Внимание, товарищи! Прошу дать тишину! Товарищ Перелыгина, у вас вопрос?

Дядя Истигней открывает глаза; Семен, чуть повернув голову, открывает только один глаз; Ульян чуток отодвигается от Виктории; любопытная Анисья, наоборот, придвигается; Наталья насмешливо кривит губы, а Григорий Пихлава шумно выдыхает воздух: он чинит вторую рукавицу и опять не может попасть ниткой в иголку.

— Прошу, товарищ Перелыгина! — Стрельников приосанивается, нагоняет на себя суровость, но никак не может унять довольную улыбку, появившуюся на его лице оттого, что Виктория все-таки собирается выступить с вопросом.

На этот раз Виктория не поднимается, не вытягивает руку, как это она делала первый раз, выступая перед рыбаками, а начинает говорить с места:

— Никакого вопроса я ставить не хочу! — Она улыбается бригадиру. — Мне кажется, что случилось недоразумение. Я не принимала участия в установке редуктора, а меня почему-то упомянули в газете. Думаю, что это — недоразумение, — повторяет Виктория, стараясь говорить спокойно, хотя внутри у нее все дрожит от негодования, так как дядя Истигней как-то странно, невидяще рассматривает ее. «Это он назвал мою фамилию, — думает Виктория. — Проявил великодушие! Подачку сунул».

Рыбаки молчат.

— Давайте к порядку ведения! — радуется Стрельников. — Прошу разъяснить, товарищ Перельгина, о какой газете вы докладаете народу? Есть газеты разные... Какую поименуете?

— О нас есть корреспонденция в областной газете! — отвечает Виктория, которой приходит в голову, что рыбаки могли и не читать газету. — Разве вы не знаете?

— Нет, почему же, знаем! — весело отвечает дядя Истигней, вынимая из кармана газету и развертывая. — Не все, наверное, только читали. Прочти-ка вслух, Николай!

Стрельников принимает газету величественным жестом; далеко отнеся от глаз, важно шурится. Ему, по-видимому, не очень интересно то, что написано в газете, — важен самый факт того, что в бригаде читается периодическая печать. При следующем отчете начальству он обязательно упомянет, что на песке проводятся громкие читки газет.

— Начинаю читать! — объявляет Стрельников. — Прошу соблюдать тишину!

Рыбаки слушают внимательно. Когда бригадир доходит до слов «активное участие принимали...» и перечисляет фамилии, Виктория напряженно следит за людьми. Какова будет реакция? А никакой реакции нет! Больше того, Семен снова закрывает глаз, Григорий Пцхлава удачно попадает ниткой в иголку, а Наталья Колотовкина скучно зевает. Виктория смотрит на них, поражается, недовольно вздернув губу, думает: «Точно не о них написано! Никому дела нет!»

Закончив чтение, бригадир торжественно объявляет:

— Написано двадцать седьмого августа тысяча девятьсот шестидесятого года, газета «Пролетарское знамя», страница третья... Товарищ Перельгина, продолжайте вопрос!

— Почему названа моя фамилия? Я не принимала участия в установке редуктора, — поднимаясь, спрашивает Виктория. — Мне не нужны подачки! — резко говорит она. — Я хочу знать, кто дал мою фамилию корреспонденту! Это безобразие! Прошу вас, товарищ Стрельников, ответить на этот вопрос.

Бригадир не может ответить.

— Гм! Н-да! — Он кашляет. — Дядя Истигней, то есть товарищ Мурзин, кто давал корреспонденту фамилии?

— Да никто не давал, — отмахивается старик. — Слушайте, отдыхать мы сегодня будем или нет? — Он старательно укладывает телогрейку, выравнивает рукав к рукаву, воротник заталкивает вниз, ворчит: — Холера! Поистрепалась страсть как! — Потом кличет: — Степан! Иди приляг! Намерзся, парниша! Иди, иди! — Он оставляет Степану местечко рядом с собой на телогрейке.

Степка боком, робко пробирается к дяде Истигнею. Глаза у Степки госкующие, плечи опали, руки висят — он мучится, переживает за Викторию; ему мутно, нехорошо, словно он сам сделал неправильную,

жестокую ошибку. Ну зачем она это делает, зачем? Неужели не видит, что рыбаки переживают за нее, прячут взгляды, пытаются показать, что не видят ее гордо вздернутой головы? Стыд за нее мучит Степку. Это — резкое, обжигающее чувство. Ему кажется, что собственный стыд, стыд за себя, бывает более легким. А сейчас он не может поднять головы, ему до боли жалко Викторю.

— Я жду ответа! — звенит голос девушки.

И Степка не выдерживает. Прижав руки к груди, умоляюще просит ее:

— Не надо! Не надо, Виктория, это пустяки... Брось!

— Это ложь! — вскрикивает она.

— Виктория! — Степка бросается к ней, готовый схватить, увести от рыбаков, от стыда, но она отшатывается, отмахивается.

— Я хочу знать!

— Степан, ложись! — прикрикивает на парня дядя Истигней.

Старик делает еще одну попытку замять разговор. Он боится, что Виктория наговорит Степке бог знает что.

— Я хочу знать правду! — твердит свое Виктория.

Дядя Истигней внезапно перестает моргать. Это значит, он старается пересилить накопившийся в нем гнев, не поддается ему.

— Знать правду? — спрашивает дядя Истигней. — Хорошо! Человек должен знать правду о себе... Вы, Перелыгина, делаете глупость, если добиваетесь ответа. Большую глупость, Перелыгина...

— Товарищ Мурзин!

— Не люблю, когда меня перебивают! Коли вы не могли понять, что я не хочу этого разговора, то уж извольте выслушать! Неужели вы не понимаете, что, упомянув вашу фамилию, корреспондент ничего плохого не сделал? Мы все по-своему осваивали редуктор. — Он вдруг улыбается. — Вы не заметили, что не упомянута одна фамилия? Ульяна-то нет, а? Как же так, он ведь принимал участие? Почему же Тихий не поднимает историю? Ульян! Ульян! — обращается он к коловщику. — Ты принимал участие, а?

— Принимал... — отвечает Ульян, смущенно улыбаясь. «Так вышло, что принимал участие. Ничего не поделаешь, принимал, и все тут!» — говорит его улыбка.

— Вот видите! Скажу больше, ни Пцхлава, ни Колотовкина, ни Анисимов участия в установке тоже не принимали. Почему же они молчат? И почему не обижается Ульян Тихий, когда его просто-напросто забыли упомянуть? Если вы не знаете почему, отвечу своими словами. Мы народ дружный, компанейский, славу меж собой не делим. Вот так, уважаемая!

Рыбаки молчат, слушают дядю Истигнея, одобрительно переглядываются — так, правильно! Виталий Анисимов приосанивается, громко поддакивает, Пцхлава цокает языком: «Правильно! Правильно ты говоришь, законно!» Стрельников доволен еще больше: наверное, впервые в жизни дядя Истигней произносит на песке целую речь. Тетка Анисья поражена словами дяди Истигнея, не отрывается взглядом от старика, завистливо вздыхает, словно говорит: «Эх, как шпарит! И откуда такие слова берутся у старого черта. Ну и Истигней, холера его побери! Какой мастак на разговоры, а я и не знала! Вот уж будет что рассказывать!»

Виктория молчит. Она стоит в стороне от рыбаков, так как люди незаметно потеснились; Степка ушел к дяде Истигнею, Наталья пересела к Пцхлаве, зло вырвав из его рук иголку и нитку, стала чинить рукавицу.

Виктория замечает это, и у нее на миг появляется желание сссть, махнуть рукой, как можно скорее забыть о злополучной газете. Ей очень

хочется сделать это, но она не знает — как, у нее ведь высоко вздернута голова, руки упираются в стол, фигура стремительно наклонена вперед. Нельзя же сказать: «Я погорячилась» — и сесть. Она, кажется, трусит! «Я определенно трушу», — думает Виктория. Ей хочется сесть, потому что она побаивается дяди Истигней, насмешливой улыбки Колотовкиной, холодного взгляда Семена Кружилина, напряженной тишины. Да, да, так и есть — она, эта Колотовкина, презрительно улыбается.

— Я не нуждаюсь в подачках! — пересилив желание сесть, гордо говорит Виктория. — А Ульян Тихий... Ульян Тихий молчит потому... — Она останавливается, так как не знает, почему не протестует Тихий. Однако фраза начата, ее нужно кончать, и она внезапно понимает, в чем тут дело. — Тихий молчит потому, что ему безразлично, как о нем думают. Да, наверное, и нельзя называть в газете фамилию человека, который сидел в тюрьме!

Она не успевает сказать последнее слово, как Степка испуганно вскакивает, снова бросается к ней, тонко, жалобно кричит:

— Виктория, что ты делаешь!

Он кричит, чтобы заглушить ее голос, делает это невольно, повинувшись чувству жалости к Виктории. Но ему не удастся заглушить ее звонкие слова.

— Ой-ой-ой! — вздыхает Истигней, закусывая губу.

— Зачем так говоришь?! — Григорий Пцхлава взмахивает руками. — Неправильно говоришь! Мы, мы любим Ульяна Тихого! Зачем оскорбляешь человека?! Нехорошо!

— Ой-ой! — покачивается из стороны в сторону дядя Истигней.

Виктория бледнеет. Ей кажется, что кто-то сейчас бросится к ней, сомнет; она стискивает зубы, еще выше вздергивает голову.

— Зануда! — зло говорит тетка Анисья.

— Я не позволю оскорблять себя! — кричит Виктория. Выскочив из-за стола, поворачивается и, тонкая, стройная, гордая, быстро уходит под проливным дождем в землянку.

Побледневший Степка смотрит ей вслед и чуть не плачет.

— Ульян, друг! — кричит Пцхлава, бросаясь к Тихому. — Наплевай на ее слова! Плохие слова говорит плохой человек! Понедельник мы переезжаем новый дом, берем тебя к себе. Наша жена хочет, чтобы ты жил с нами.

— Спасибо... — чуть слышно отвечает Ульян.

— Замечательно будем жить! Ты хороший друг! Товарищ!

## 6

К ночи дождь притих, ветер поубавился, но по-прежнему сыро, промозгло, зябко. Сунув руки в карманы, ссутулившись, Степка идет по главной карташевской улице. Минует школу, сельсовет, больницу, поднимается на пригорок. Как стрелку компаса влечет к северу, так Степку тянет к пятистенному дому, стоящему на горушке. Там палисадник, смородина, акации, две тонкие черемухи; там ярко светит окошко, а за ним двигается тень девушки.

Степка подходит к окошку, останавливается, кладет руки на городьбу. Черемухи шелестят. Ветер осторожно раскачивает ветки, их тени бегут по желтому квадрату. Тупо, глухо ударяются о землю, о листья, о Степкино пальто дождевые капельки. Стук! Стук! Стволы черемухи блестят, перезревшие ягоды малины горят красными гревожными лампочками — на них падает свет. И тишина. И в ней: Стук! Стук!

Капельки отсчитывают время. Кап — прошла секунда, кап — вторая, кап — третья!.. Быстро, и не заметишь как, пронесется жизнь; в сутолоке

дел, стремлений, желаний и ожидания главного, важного, самого нужного.

Однажды Степка Верхоланцев выйдет вечером из дому, сядет на скамейку, посмотрит вокруг себя понимающе и трезво; вспомнит, каким свежим был в молодости воздух, какой яркой луна, каким светлым мир. Вспомнит былое, и тоской защемит сердце — где ты, молодость? Была ли? Может быть, и не было ее, молодости? Может быть, всегда дрожали руки, всегда были серыми волосы, всегда подламывались, не держа тела, ноги; может быть, всегда было холодно спине? Не вспомнит он, что холодным и далеким было окно, что нелюб был он девушке по имени Виктория, а далеко свою любовь припомнит он. Была молодость. Была! Радостно станет старику, а потом грустно — где ты, молодость?

Под светом выглянувшего из-за туч месяца Степка уходит от желтого окна. Навстречу ему кто-то идет; Степка приглядывается, узнает Ульяна Тихого, который бредет понуро, медленно, сапоги чавкают грязью.

— Гуляешь?

— Гуляю,— отвечает Ульян, который возвращается с противоположного конца поселка.

Минут десять назад, бесцельно шастая по улице, он остановился у дома Натальи, заглянул в окно — Наталья сидела за столом, что-то шила, склонившись, была задумчивая, тихая, грустная. Потом, вздохнув, подняла голову и посмотрела в окошко, прямо на Ульяна. Он испугался, попятился и чуть не упал в кювет.

С Оби доносится скрип уключин, шебаршит по воде мелкий дождик.

— Пойдем вместе! — предлагает Степка.

— Пойдем!

Сапоги глубоко завязают в грязи, вытаскивать их трудно, грязь издает жадный, чмокающий звук. «Жалко Степку!» — думает Ульян, видя страдания парня, который ничего не умеет скрывать,— был у Виктории, как и он, Ульян, стоял под окном, тосковал. А Наталья тоскует тоже. Она любит Степку. Она очень хорошая, эта Наталья... А он, Ульян, пропащий человек... Он верит дяде Истигнею, что его, Ульяна, не упомянули в газете только по ошибке. Но ведь кто-то сказал: «Тюрьму и татуировку не смоешь!» Мысли бегут быстро, перебивая друг друга. Ульян опять уже думает о Степке... Зачем Степке мучиться, когда его любит Наталья? Она стала бы радостной, счастливой, если бы Степка полюбил ее. Степка — хороший парень.

— Слушай, Степан! — говорит Ульян.— Тебя любит Наталья! Давно любит!

— Ты брось! — Степка останавливается.

— Я говорю правду!

Ульян нахлобучивает капюшон, протягивает Степке руку, говорит:

— Ну, я пошел. До свидания! — И быстро уходит. Почти убегает.

Степка глупо открывает рот. Что он говорит, этот Ульян? Какую чепуху мелет!.. Но перед ним в мыслях вдруг возникает Наталья — в новом городском платье, с голыми плечами, открытой спиной; он точно наяву видит, как она спешно идет по тротуару, старается убежать от них, Степки и Виктории. Тогда он улыбнулся, добродушно подумал: «Ну и Наташка!», а сейчас он видит ее — страдающую, униженную тем, что они идут позади, а она в таком платье.

«Она надела платье для меня!» — с внезапной болью думает Степка. Он уже понимает — Наталья любит его давно, еще со школы. А ведь он ей говорил: «Когда полюбишь, узнаешь, что при этом чувствует человек».

Наташка, милая! Он же любит Викторию. Зачем это, зачем?

— Ой-ой! — стонет Степка.

## 7

Если бросить весла посредине Оби, лодку подхватит быстрый стрежень, понесет, завертит, как щепку. Беда пассажирам, если река вырвет из рук весла: разбить не разобьет лодку, а утащит черт знает куда, навалит где-нибудь на крутояр и опрокинет. Хорошо, если кто заметит лодку с берега, вскочит в обласок, вымахает веслом на помощь. А коль никто не увидит — беда! Силен, упрям стрежень на голубой Оби. Только сильные пароходы да катера смело идут навстречу стреженю. А в лодке без весел — пропащее дело!

Виктория Перелыгина испытывает такое чувство, словно ее подхватил обский стрежень — несет, поворачивает, бросает из стороны в сторону; не видно ни берега, ни пристани, ни огонька зеленого бакена. Несет и несет.

Вчера, вернувшись с рыбалки, она заперлась в комнате, ни слова не сказала матери, ткнулась головой в мягкую подушку. Так лежала долго, потом поднялась, поправила смятую постель, поглядела на себя в зеркало и заходила по комнате, круто поворачиваясь в углах, стараясь думать спокойно, здраво.

Что такое стрежевой песок? Это только небольшой эпизод в ее жизни, временная остановка перед институтом. Чего же ей волноваться, переживать! Пожалуй, она зря вспомнила о том, что Ульянов сидел в тюрьме, этого можно было бы не говорить, но ведь она не солгала, не обманула — он действительно сидел в тюрьме, он действительно пьяница, и ему, конечно, глубоко безразлично, назвали его в газете или нет. Она не может мириться с ложью. «Я веду себя правильно, — думает Виктория. — Я не должна искать легких путей». Она прекрасно вела себя во время бури, не спасовала перед трудностью. Степану нечего обижаться на нее, она, Виктория, была честна с ним. Ей опять вспоминаются привычные выражения: «Любовь не терпит компромиссов», «Настоящая любовь возвышает», «Любовь делает человека сильным». Разве любовь Степана возвышала ее, делала сильной? Конечно, нет. Он человек неопределенный, он не знает, чего хочет от жизни. Он душевный, смелый, честный, но ведь это еще не все, есть еще много качеств, которых Степану не хватает.

«Я права!» — упрямо думает она, но почему-то опять приходит такое чувство, точно ее несет сильное течение. Это — беспокойное, неприятное чувство, понять происхождение которого она не может. Четко одно: зря сказала об Ульяне, а остальное непонятно, необъяснимо.

Виктория снова мечется по комнате, думает, разговаривает сама с собой...

Потом она с большим трудом заставляет себя сесть за книги, открывает учебник, читает, но скоро понимает, что не читает, а бесцельно перебирает в пальцах костяную закладку. Вечер так и пропал — не могла сосредоточиться, но уснула крепко, сразу, снов не видела, а проснувшись, усмехнулась вчерашним сомнениям: «Валяю дурака!» После зарядки и обтирания холодной водой еще решительнее подумала: «Права я! Права!» Быстро позавтракала, оделась и, не разбудив мать, выскользнула на улицу...

Сейчас она стоит на носу катера, в лицо бьет дождь, ветер валит суденышко с борта на борт. Позади нее — напряженная тишина. Катер «Чудесный» десять минут выстоял у правого берега; дядя Истигней ходил по раскисшей глине, взволнованно курил самокрутку, Наталья Колотовкина ругалась, Семен Кружилин злился, а Григорий Пихлава огорченно цокал — не пришел на берег Ульянов Тихий. После длинных

десяти минут они отчалили, а Семен отвязал от катера обласок, положив в него весло, сказал: «Если придет, переедет!»

Озабоченные, хмурые, непсворотливые в своих грубых брезентовых комбинезонах, рыбаки спрыгивают в воду, выходят на берег, делятся на группы, одни направляются к неводу, другие к выборочной машине. Наталья Колотовкина срывает фуфайку, зло бросает на песок... Стрельников, не зная, что делать, стоит на берегу. В руках у него раскрытый блокнот; дождь бьет в страницы, они набухли, чернила расплылись, но бригадир не замечает этого.

Рыбаки готовятся к замету невода — привязывают к ремням голеища высоких сапог, глубоко надвигают зюйдвестки, осматривают остро ошточенные ножи. Потом разбирают невод, готовят завозню, проверяют поплавки и грузила. Иногда незаметно друг для друга бросают короткий взгляд на реку — не покажется ли обласок с Ульяном.

По-прежнему льет дождь. Песок уже не песок, а вода, в которой плавают песчинки; те, что тяжелее, опустились вниз, легкие остались наверху; берег похож на жидкую кашу. Тучи висят еще ниже, чем вчера, — одна навалилась на осокорь дяди Истигнея, облапила его. В небе ни просвета, ни надежды на него. Бакланов не слышно, не видно. Один было поднялся с берега, расправил острые крылья, но порыв ветра бросил его, он наклонился, чиркнул крылом воду, боком унесся обратно. Затишал жалобно, тонко.

Правый берег просматривается плохо: закрыт пеленой дождя, сквозь которую видны только расплывшиеся контуры домишек. Пароход «Рабочий» показывается внезапно: вот не было его, и вот он появился — белое, сияющее чудо, возник, как по волшебству, и уже громко ревет гудок, и уже, не разворачиваясь, так как идет навстречу стражи, «Рабочий» с разлету подходит к дебаркадеру, останавливается. Лихо швартуется капитан «Рабочего» — пароход еще не отдышался, еще не растаял в дожде султан пара из гудка, а уже летят на землю швартовые, выдвигается трап, бегут пассажиры. Правда, всего этого с песка не видно, но рыбаки знают, как швартуется «Рабочий».

Проходит не больше минуты, как от белого борта парохода отделяется ярко раскрашенная шлюпка, хорошо видная на темной реке. Шлюпка пересекает реку, идет не на песок, а немного в сторону, но рыбаков не обманешь — учитывая снос, речники берут немного выше. Разбирающий невод Степка Верхоланцев бросает его, бежит сломя голову к дяде Истигнею, сидящему на выборочной машине. Степка испуганно шепчет на ухо старику: «К нам!.. Из-за Ульяна!..»

У шлюпки сильный подвесной мотор. Он поднимает за кормой бурун зеленой воды; у берега шлюпка делает изящный, плавный поворот, и уже виден сидящий за рулем капитан «Рабочего». С ним матрос и первый помощник. Идет дождище, завывает ветер, а капитан и помощник словно из другого царства: на них отлакированные дождем плащи, на фуражках потемневшие, но свежие чехлы. Шлюпка белая, голубая, розовая, на маленьком флагштоке вьется яркий флаг. Праздником, торжественностью парада веет на рыбаков от быстрой шлюпки.

С радушной улыбкой подходит к кромке берега бригадир Николай Михайлович Стрельников. Он и важен и приветлив, строг и радостен. С гостями он всегда такой и разговаривает с ними только на темы, касающиеся дел всесоюзных, масштабных, наименее значительных: о международном положении, о значении рыбы в питании человечества.

— Милости просим! — приветствует он речников. — Просим проходить.

— Что будет, что будет?.. — шепчет Степка дяде Истигнею.



Старик тоже, видимо, не знает, что будет,— рассматривает обский плес, хмурится, моргает часто, нервно.

Повариха обмирает.

— О господи! Гости приехали, а уха-то еще не ставлена.

Речники, здороваясь, обходят рыбаков. Капитан — прямой, негнувшийся, вылощенный — руку жмет сильно, долго; веселый помощник только прикасается пальцами, торопясь от одного к другому, похохатывает: «Здорово, мужики, здорово! Хо-хо! Осетринкой угощать будете! Хо-хо!» Одновременно с этим помощник шарит глазами по людям, кого-то ищет; не найдя, косится на землянку, даже смотрит на далекий тальник и на небольшое дощатое сооружение, похожее на скворечник.

И капитан тоже шарит взглядом — кого-то ищет.

— Проходите под навес! Присаживайтесь! — дипломатничает Николай Михайлович.

Речники проходят, садятся, вынимают коробки папирос; они знают, что в нарымском крае нет лучшего средства вызвать у собеседника откровенность, чем угостить его папиросой. У речников папиросы хорошие: у капитана «Казбек», у помощника «Любительские». Николай Михайлович выбирает «Казбек», прикуривает от спички капитана; дядя Истигней молча отказывается — хлопает себя по карману, дескать, курю самосад. Старик старается казаться спокойным, движется замедленно, но Степка понимает, что он взволнован.

— С каким грузом идете? — спрашивает Николай Михайлович. — Где брали рыбу? Говорят, холодильники в трюмах устанавливаете.

— Устанавливаем,— отвечает капитан.

— Это хорошо! У нас теперь с перевозками рыбы вопрос большой стоит перед речниками,— продолжает бригадир.— Систематически увеличиваем вылов рыбы. Печать сообщает, что на нашем песке начался важный почин. Читали, товарищи?

— Читали! — отвечает капитан.

— Вопрос, который стоит перед речниками,— есть вопрос государственной важности. Через него мы сможем обеспечить тружеников города рыбой. Так я говорю, товарищи?

— Так, правильно! — отвечает капитан, оглядываясь.— Товарищи,— обращается он ко всем рыбакам,— мы приехали попроведать Ульяна Тихого. Где он? Может быть, выходной у него сегодня? Вы не по скользящему графику работаете?

Рыбаки молчат. Нет, они не работают по скользящему графику. Нет, не выходной сегодня Ульян Тихий. Должен был выйти на песок, но отчего-то не вышел. Бог знает, что с ним! Беда, если запьянствовал, хорошо, если просто-напросто проспал, даже если заболел — и то легче. Наталья Колотовкина зло мнет в руках тальниковую ветку, срывает листья; дядя Истигней опускает голову, а Степка чуть дышит.

— Где же Тихий, товарищи? Не уволился ли?

Нет, не уволился с Карташевского стрежевого песка Ульян Тихий. Еще вчера утром работал радостно, старательно; бросился в лодку, чтобы убрать с пути невода карчу, нырял в ледяную воду; позавчера пригнал из магазина в общежитие продукты, заготовил на неделю, чтобы по утрам приходиться на работу сытым.

— Может, в землянке отсыпается? — шутит помощник капитана.— Знаю Ульяна — спать здоров!

Однако Ульяна нет и в землянке, куда ушла тетка Анисья, чтобы хоть копченой рыбой угостить речников.

— Где Ульян, мужики? — спрашивает помощник капитана.— Что молчите?

— Ульян Тихий задержался на берегу по важному вопросу,— говорит наконец бригадир, сминая в пальцах обжигающую папиросу.— Поручение ему поручено.

— Жалко! — печалится капитан.— Очень хотелось его увидеть. Вы хоть расскажите о нем. Как работает, как живет?

— Часом не женился? — подхватывает помощник, кивая на Викторину и Наталью.— Если у вас все девушки такие, то нет ли у вас для меня работенки?

— Работенка найдется! — говорит дядя Истигней и протягивает руку к Оби.— Кажется, едет Ульян!

Все, кто есть, поворачиваются к реке. Наступает тишина, в которой слышно, как о крышу навеса настойчиво, упрямо стучит дождь. Ульян действительно едет. Легкая лодчонка — обласок — подпрыгивает на крупной волне, проваливается, порой серая пена скрывает Ульяна, и кажется, что его смыло, но через секунду обласок опять показывается. Ульян гребет неровно, сбивчиво. Вот он, сделав еще несколько гребков, бросает весло на дно, лодчонку подхватывает волна, приподнимает и с тихим шорохом мягко выбрасывает на берег. Волна откатывается, и обласок остается на песке.

Ульян не вылезает из обласка — голова опущена, руки раскинуты. Проходит несколько секунд, и Ульян делает попытку подняться — упирается руками в борта, но не может оторвать тела. Передохнув, делает вторую попытку.

— Батюшки!.. — разносится в тишине приглушенный вскрик тетки Анисьи.

Еле держась на ногах, качаясь, то медленно, то вдруг бросаясь вперед, чтобы сохранить равновесие, Ульян идет к навесу. Глаза налиты кровью, лицо черное, небритое, опухшее. В пяти метрах от навеса останавливается, тупо оглядывает рыбаков, будто никого не узнает, только Викторину Перелыгину узнал.

— А ты, здорово! — Покачивается, закрывает веки.— Ну гляди, гляди! Гляди на пьяного Ульяна! — И вдруг бросается на нее, нет, не бросается, а просто теряет равновесие и потому бежит вперед, чтобы не подкосились ноги.

Водочным перегаром, луком и еще чем-то неприятным, острым пахнет от Ульяна. Виктория морщится.

— Уберите его! — испуганно кричит она.

Ульян открывает глаза, хрипит:

— Правильно, уберите меня! Уберите пьяницу и сволочь Ульяна Тихого! Уберите, он в тюрьме сидел!

Ульян отшатывается назад, запинаясь о полено и падает на спину. Тупо ударившись затылком о песок, он матерно ругается.

— Безобразие! — кричит Виктория, закрывая лицо руками.— Его нужно выгнать!

Все бросаются к Ульяну, обступают его тесным кружком, только Виктория неходит с места. Постепенно устанавливается тишина. Опять слышно, как воет ветер и дождь сечет по навесу. Тишина стоит еще несколько секунд, потом ее нарушает захлебывающийся крик Натальи. Она идет к Викторине.

— Выгнать?! — кричит Наталья.— Ты это, ты!.. Он из-за тебя напился.— Она останавливается, машет руками.— Ну, ничего, ничего... Он больше пить не будет... Умру, а пить ему не дам! Душу положу... Душу положу, а пить не дам...— Наталья совсем задыхается от гнева и вдруг кричит на Викторину: — У, ненавижу!

— Спокойно, Наталья! — выходя из кружка, говорит дядя Истигней.— Спокойно! — Он покачивает головой, тихо говорит Викторине: —

Не знаю, не знаю — врачом, пожалуй, не станешь. Нет, не станешь! Не дадим пока документа. Нет, не дадим! С первого класса тебе, Перельгина, придется начинать!

Сейчас Виктории по-настоящему страшно, она бледнеет, замирает, ватными, непослушными губами шепчет:

— В какой первый класс...

— В первый класс жизни пойдешь... Жизни тебя учить станем! — спокойно отвечает старик и поворачивается к речникам. — Извините, товарищи! Недосмотрели мы... Товарищи, а, товарищи! — обращается он к рыбакам. — Поставьте на ноги Ульяна! — И опять к речникам: — Будет Ульян человеком, будет!

— Кибернетическая машина! — говорит Семен Кружилин и отворачивается от Виктории, чтобы помочь Степке и Наталье поднять Ульяна.

— Пьяница безвольный! Алкоголик несчастный! — выходит из себя плачущая Наталья.

Виктория стоит одна. Совсем одна.

Обь бушует, бесится, хочет, видимо, выплеснуться из берегов.

Кто это сказал, что Обь — река тихая, равнинная? Ложь. Обь — река сильная, могучая. Страшно человеку, если он один окажется на обской страже. Страшно! Его спасение в том, что на берегах голубой Оби живут смелые, хорошие люди — они придут на выручку.



---

---

А. ГЛЕБОВ

★

## ПРАВДОХА

*Рассказ*

Осенью 1923 года внимание москвичей привлекла новая вывеска на воротах большого двухэтажного дома на середине улицы Калинина (тогда Воздвиженки): «Крестьянская газета».

До революции этот дом, украшенный с угла круглой башенкой-шеломом, принадлежал богатому бакинскому нефтепромышленнику и никому не был дорог, кроме владельца и его наследников. С тех пор как в нем обосновалась газета для крестьян, он стал одним из известнейших домов в стране.

Первоначальным ядром новой редакции стала группа студентов-международников Московского университета, решивших расстаться с дипломатической деятельностью (кто с прошлой, кто с будущей) и посвятить себя главной внутривнутриполитической задаче тех дней: укреплению смычки между рабочим городом и трудовой деревней. В числе этих студентов был и я.

Ответственным редактором назначили Якова Аркадьевича Яковлева. Невысокий брюнет с тихим голосом и задумчивыми черными глазами, необыкновенно корректный и ровный в обращении, он казался много старше нас. Руководитель Отдела печати ЦК РКП(б), большевик с дооктябрьским стажем. Недавний начпоарм 14<sup>1</sup>. Организатор восстаний в белогвардейском тылу. Автор книги «Деревня как она есть». Между тем ему было всего лишь двадцать семь лет. Корректная внешность и задумчивый взгляд сочетались в этом молодом человеке с большим политическим опытом, крепкой волей, солидными знаниями, выдающимися организаторскими способностями.

Главарем пришедшей на помощь Яковлеву студенческой группы был Семен Борисович Урицкий, уже тогда склонный к полноте, несмотря на свою кипучую энергию и экспансивность. Он стал заместителем ответственного редактора. Мне было доверено организовать отдел сельских корреспондентов.

Успех «Крестьянской газеты» в деревне был беспримерным. Не прошло и года, как тираж ее вырос до полумиллиона. А главное, деревня заговорила! Ежедневно мы получали больше тысячи крестьянских писем. Уместить все это на четырех маленьких, набравшихся крупным шрифтом страничках еженедельной газеты было невозможно, и Яковлев поставил перед нами задачу: ни одного крестьянского письма без расследования и без ответа. Так отдел селькоров превратился в сложный, многочленный отдел расследований.

---

<sup>1</sup> Начальник политотдела 14-й армии в гражданскую войну.

Нам отвели бывшую столовую миллионера — мрачную огромную комнату с темными, резными из дуба панелями и таким же потолком. В ней тяжело пахло едким старым лаком, не выветрившимся за десятилетия. И с некоторого времени, под стать этой темной и душной комнате, стало мрачнеть тут наше настроение. Приходя утром в редакцию, мы уже знали, что нас ждет десяток телеграмм об убийстве наших корреспондентов, ранениях, поджогах, покушениях. Поступали и сообщения о судебных карах убийцам и поджигателям, но они мало нас утешали.

До сих пор вижу как наяву свой массивный письменный стол — тоже резной, темный, как панель, — между окном и вычурным камином, и на нем эти страшные телеграммы.

«В селе Новая Пуза, Саранского уезда, Пензенской губернии, убит селькор Долгов В. И. Убийцы изрешетили все его тело и изуродовали групп до неузнаваемости винтовкой, которая найдена тут же, вся исцеленная. Установлено, что убийцу, хулигана Лирова, нанял за 150 рублей председатель сельсовета Нуждин, уличенный селькором в лесокрадстве...»

«В деревне Салтановой, Ново-Лялинского района Уралобласти, селькор-стенгазетчик Петр Салтанов был сбит с ног и затоптан насмерть ехавшим на лошади пьяным В. Салтановым, братом разоблаченного селькором растратчика, председателя ККОВ<sup>1</sup>...»

Еще выше рангом оказались преследователи у кубанской селькорки А. Надолиной, активной участницы гражданской войны. После всечешских гонений и преследований ее привлекли к суду. До слушания дела нарсудья Свищак внушал заседателям, что Надолину надо «припаять». После заключения селькорки в тюрьму она была жестоко избита. Затем явился нарсудья Свищак и стал издеваться над Надолиной. Сессия красnodарского крайсуда, рассмотрев это вопиющее дело, постановила передать его в Верховный суд для привлечения к ответственности Свищака и других «ответственных» гонителей крестьянки-общественницы.

А вот один из финалов: «Убийцы селькора П. Свирина (село Шереметьевка, Сызранского уезда) б. председатель волисполкома Тутуткин и председатель сельсовета Ф. Новиков приговорены к расстрелу с конфискацией имущества...»

Так день за днем, телеграмма за телеграммой, письмо за письмом.

Ежедневный контакт с прокуратурой, со следователями. Выезды на места. Трупы убитых в скромных гробах, иногда кошмарно изуродованные. Слезы родных. Огромное возбуждение трудового деревенского люда в связи с каждым таким злодейством. Гневные речи общественных обвинителей из крестьян на судебных заседаниях.

Война!

Так и написал селькор Луканов из Северо-Двинской губернии: «Для меня перо то самое, что винтовка. Кого в гражданскую бил, того и сейчас бью. И не сложу рук, пока не выведу паразитов...»

Окна отдела выходят во двор. Там осенняя слякоть и — что это? Снег? Да, снег. Первый в этом году. Еще не настоящий, конечно. Только пугает. На календаре конец октября 1924 года. Крупные липкие снежинки падают все чаще, переходят в густую метель. Все белее трава в палисадничке, полуголые ветки сирени, крыша гаража, грузовик посреди двора. Под его темно-зеленый тент работники экспедиции торопливо запакивают аккуратно перевязанные пачки. Наша корреспонденция: Ответы селькорам, анкеты, листовки.

<sup>1</sup> ККОВ — Комитет крестьянских обществ взаимопомощи, иначе Крестпом.

Над давно не топленным каминном бакинского миллионера висят у нас в рамочке ленинские слова: «Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор». В отношении «Крестьянской газеты» это в особенности верно.

На письменном столе у меня, под зеркальным стеклом, только что полученные (к первой годовщине «Крестьянской газеты») «три заповеди Сталина». Две первые адресованы, собственно говоря, прямо нам, отделу селькоров, а мне, как заведующему, прежде всего: «Крестьянская газета!» Помни три заповеди: 1) Береги своих селькоров, как зеницу ока, — это твоя армия. 2) Свяжись покрепче с честнейшими и сознательнейшими из крестьян, особенно с бывшими красноармейцами, — это твоя опора. 3) Насаждай правду в деревне и труби на весь мир, неустанно труби, что освобождение крестьян немыслимо без братского союза с рабочими, что победа труда над капиталом невозможна без руководства крестьянами со стороны рабочих».

Это наша программа, боевое задание партии.

Как же выполнить его?

Вчитываюсь в последние письма селькоров, где говорится об угрозах им. Писем десятки. Угрозы стандартны: «убьем, переломаем руки и ноги, пустим красного петуха...»

Приходит в голову: не разумнее ли, чем ездить на похороны, следствия и судебные процессы, — предупреждать покушения, ездить к тем, кому пока еще только грозят? Но разве съездишь к сотням, к тысячам людей? А все-таки... все же надо попробовать. К кому бы отправиться? К самому деловому? Или к самому угрожаемому?

Затархтел мотор. Громкие голоса. Грузовик трогается с места и исчезает за углом.

«Еду! — окончательно созревает решение. — Неподалеку куда-нибудь. Обстановка везде, в общем, одинакова. Глухомань не только за Уралом, и в ста верстах от Москвы ее найдешь».

Изучаю учетные карточки селькоров, жалующихся на преследования. Василий Никифорович Петруничев.

Псевдоним — «Правдоха». Признаться, это слово удивило. Заглянул в словарь и узнал, что оно означает правдолюба. Крестьянин Петруничев в словарь навряд ли заглядывал!

Кто он? «Крестьянствую». Больше ни слова. Сколько лет? Не указал. В графе о партийности — «б/п».

Пишет много. Прислал уже десяток заметок на самые разные темы. О фельдшере, обирающем бедноту. О леснике-самогонщике. О пьянстве начальника волостной милиции. Об открытии школы в глухом лесном углу. О злоупотреблениях при взимании налога. О драмкружке. Об изнасиловании учительницы сельсоветчицами. О ворах в потребилровке. Об успехах в распространении газеты. О ростовщичестве кулака.

В сухом перечне не сразу бросилось в глаза главное. На страницы газеты пробились лишь две заметки Петруничева: об открытии школы и о фельдшере-рваче. По другим было произведено расследование. Факты подтвердились. Начальник волмилиции получил строгий выговор с предупреждением. Фельдшер и председатель сельпо — то же самое. Фининспектору поставлено на вид. О самогонщике и ростовщике ведется дознание.

Я затребовал из архива подлинники заметок. Все они были написаны бледными, сильно разбавленными лиловыми чернилами на грязноватых листках из школьных тетрадок в клетку и в косую. Почерк крупный, неустойчивый — клонится то вправо, то влево. Образование явно не выше четырех классов.

Наиболее драматичное из всего, что сообщил селькор,— об учительнице. «Десятого августа,— писал Петруничев,— у нас случилось такое страшное дело, какого и старики не запомнят. Порешила свою жизнь (через петлю) учительница Елизавета Иннокентьевна Лебедева, 22-х лет. Следователь из уезда, т. Блинные, написал заключение, что она это сделала «вследствие тяжелых личных переживаний», а ее той ночью изнасиловали, втроем, пьяные сельсоветчики, а именно председатель Стекольщикова и секретарь Прягин, да еще к тому гостевавший у них предвика<sup>1</sup> Борзунов, главная местная власть. И об этом ни словечка! Шито-крыто!..»

Письмо было послано на расследование. Губернская прокуратура ответила: «Сообщение селькора Правдохи подтвердилось. Выезжавший на место старший следователь губсуда Демин установил факт изнасилования гр-ки Лебедевой Е. И. председателем сельсовета Стекольщиком А. В. и секретарем сельсовета Прягиным Н. Г. Оба виновных взяты под стражу. На виновника неправильного судебного заключения наложено административное взыскание. Участие в преступлении предвика Борзунова Ф. Г. следствием не подтверждено».

Дальнейшая судьба насильников осталась нам неизвестной. Не проследили. Наша вина. Но за всеми перипетиями каждого из десятков тысяч дел разве уследишь?

Не мудрено, что у Правдохи много врагов. Уже шестеро от него пострадали, двое ждут кары. Очевидно, его псевдоним не тайна для них. Небось все письма прочитывают, как во времена Сквозник-Дмухановского!

Последнее, только что пришедшее письмо Петруничева — вопль о помощи. Пишет, что на него уже трижды покушались. Лесник-самогонщик Мавгура в пьяном виде столкнул его, едучи верхом, с моста в речку. Местные власти расценили это как пьяную шутку. Через месяц загорелся ночью дом Петруничева. Удалось потушить. Еще через месяц кинули вечером в окно камень, разбили стекло и лампу. Потом подбросили записку с угрозой: «Брось писать, сволочь, не то повернем тебе пятки наперед, а голову отрежем и в колодезь бросим». В ту же ночь колодезь Петруничева оказался загрязненным нечистотами и дегтем.

«Смерти я не боюсь,— писал Петруничев,— но пожить еще хочется, чтобы помочь ленинской Советской власти добиться правды для трудового народа, для чего и прошу вас, примите меры, а то ложишься спать и не знаешь, проснешься, нет ли, а это очень мне обидно, потому что ничего, кроме правды, я в своем мнении не признаю и не уважаю, а страдаю только через мое негодование к подлости...»

Итак, еду к Петруничеву.

В день, когда я собрался к нему, в «Правде» появилась резолюция Пленума ЦК РКП(б), в которой как об основной задаче дня говорилось об оживлении работы Советов и борьбе с административным произволом, взяточничеством, бюрократизмом и т. д. Специальный пункт резолюции призывал «в особенности обратить внимание на селькоров. Для этого надо, между прочим, решительно взять под охрану советских законов и советских органов тех из них, разоблачительная работа которых может вызывать угрозы насилем со стороны контрреволюционных и кулаческих элементов деревни». Поездка моя, таким образом, была как нельзя более ко времени.

Мой дорожный костюм не отличался от каждодневного. Сапоги, чер-

<sup>1</sup> Председатель волостного исполкома.

ная косоворотка, кепка, демисезонное пальто. На всякий «пожарный» случай захватил с собой редакционный револьвер — маленький вороненый браунинг австрийской марки «Штейер». В портфель, кроме туалетных принадлежностей, сунул номер «Правды» с резолюцией и... немецкую книжку Фридриха Делича «Бабель унд бибель» («Вавилон и библия»).

Почему именно ее? Недавно я на досуге закончил революционную трагедию из древневавилонской жизни, месяц назад получил о ней лестный отзыв Луначарского и при его посредничестве уже вступил в деловые отношения с Малым театром. Мне нужно было продумать кое-какие поправки. И мое внимание, естественно, двоилося между острейшей советской современностью, которой все дышало в отделе селькоров «Крестьянской газеты», и... семьсот третьим годом до нашей эры, городом Ларакон, где произошло одно из первых на земле восстаний рабов, кодексом Хаммураби, ассиро-вавилонской демонологией и тому подобными вещами.

Ехать пришлось ночным «рабочим» поездом, переполненным до отказа.

Уплывает освещенная электричеством Москва с ее улицами, театрами, редакциями. За окном ночной лес, мутная мгла, тусклые одиночные огоньки.

В вагоне полутьма. Керосиновая лампочка в фонаре время от времени почти гаснет, а когда вспыхивает поярче — превращает лица едущих в какие-то странные сочетания пятен.

Время позднее. Не до разговоров. Большинство пассажиров сразу начинает дремать. Поскольку читать невозможно, дремлю и я, откинувшись головой к трясущейся стенке.

Напротив, у окна, сидит крестьянка с дочкой. Девчурка лет трех, миловидно-простенькая, беловолосенькая, уже крепко спит, прижавшись к коленям матери. А та, сорокалетняя, усталая, в полусне жует краюху белого хлеба. По-крестьянски тяжело двигает челюстями. Лицо маленькое, круглое. Белая косынка. Глаза, когда она их приоткрывает, тоже круглые, птичьи. Щека вспучена непомерно большим куском. Косой взгляд недоброжелателен ко мне, ко всем. Когда я попытался заговорить с ней, она что-то буркнула невнятно и поглубже задвинула за себя кошелку с московскими покупками. Знаем, мол, вас!

Рядом с ней подвыпивший рабочий с худым, резким лицом. В вагон не вошел, а ввалился, волоча мешок с керосиновым бидоном. Плюхнул его со звоном на пол. Керосин потек. Он, ругаясь — еще оштрафуют! — засунул бидон под сиденье, а сам привалился к стенке. Космы прямых темных волос упали на лицо. Бормочет что-то невразумительное сам с собой — про рубли и копейки, про какую-то Феньку-стерву, которой он ребра пересчитает...

К нему подсел другой рабочий, тоже выпивший, курбатьи, в заносенной казанской тубетейке. Разговорились о не порядках на производстве, по-видимому маленьком, кустарном.

— Он себя хозяином ставит! — громко толкует курбатьи, не обращая внимания на то, что кругом спят. — Думает, раньше хозяином был, так и теперь то же. А раз я это дело более его технологически понимаю, так я над им хозяин! Правильно или неправильно? Нет, ты скажи: правильно я говорю?!

Рядом со мной, ощутительно согревая мне бок, дремлет суровая полная особа в сером драповом пальто и белой панамке. Домашняя хозяйка или учительница. Сидит прямо, как на колу, обеими руками сжав на коленях кожаный саквояж. За всю дорогу одну только фразу сказала:



«О боже мой, духотища какая непереносимая!» Остальное время спала или делала вид, что спит. Губы сжаты злобно, брезгливо.

Все это внешнее, видимость. Я ничего о них не знаю, об этих людях. Знаю только, как противоречивы и несхожи их судьбы, вкусы, чаяния. Спроси каждого — здесь, в этом купе, во всем поезде, во всей стране, — чего хочет он от жизни, от власти. В какой хаос сольются десятки миллионов ответов!

Что было бы, если б не партия, не прожектор ее идей, не целеустремленность ее воли?

Мысли об этом, самом главном, спутываются в дремоте с мыслями о пьесе. В стук колес вплетаются, все отчетливее проступают в нем мертвые ассирийские слова: «Шару рабу, шару данну, шару киссати, шару Ассири, шару кипрат арбати...» Это титул Син-Акхи-Ириба, царя народов, царя Ассира, повелителя царств. Слова-мумии, немые уже две с половиной тысячи лет и вдруг возродившиеся в моем мозгу. «Шару данну... шару данну... шару данну... шару данну...» — торопливо отстукивают колеса.

Не совсем проснувшись, сошел с поезда в шестом часу утра. Только глотнув свежего, сырого воздуха, понял, до чего же действительно нестерпимо душно было в вагоне.

Совсем темно еще. Темнота какая-то глухая, враждебная. Замирает в отдалении погромыживание ушедшего поезда. Все меньше становится и вот вовсе угасает красная точка хвостового фонаря.

Со мной сошли двое — мужчина и женщина, — оба с тяжеленными мешками. В сырой тьме их плохо видно. Обращаюсь к мужчине:

— В Щербиновку?

— Туда.

— Сколько до Щербиновки?

— Верст восемь. С мешком не дойти. Придется света ждать. Подъедет кто-нибудь.

— А я ближняя, — сказала женщина, — мешок у начальницы оставлю, на станции, а сама за племяшом сбегаю.

И мы, все трое, пошли к одноэтажному зданию станции, в котором светило только одно окно. В зале ожидания было темно и холодно. Освоившись с темнотой, я различил в разных углах две съежившиеся фигуры. Мужчина опустил свой тяжелый мешок рядом с одной из них, сел и закурил. Трепещущий красный свет озарил его бородатое лицо и лицо приподнявшего голову, разбуженного им паренька, безусое, с большими, припухлыми губами.

— Правдоха! — воскликнул бородатый не то насмешливо, не то уважительно.

Я так и подскочил на лавке, на которую опустился было.

— Ори больше! — буркнул паренек, спуская ноги на пол. Спичка догорела. А он, уже еле мне видный, встал и направился к выходу.

Я последовал за ним. Нагнал его в палисаднике.

— Товарищ Петруничев?

Он прерывисто повернулся ко мне. Изо всех сил вглядываясь, старался узнать и не мог.

— Кто вы?

Я назвал себя. Тогда он схватил мою руку большими, горячими и шершавыми руками, стал грядсти и не выпускал, сжимая все крепче.

— Вот спасибо вам! А я в губком решил поехать. Сил больше нет. Вчера Шарика моего задушили, собаку. Опять угрозу подкинули. Думал было в уезд, да что там, в уезде! Борзунову все там дружки-приятели —

одна лавочка. Разве чего добьешься? — Он помолчал секунду, размышляя. — Куда ж мне теперь? Вы что хотите делать?

«Хочете...» Ладно. Не учить же его сейчас грамоте! Ответил, что хочу познакомиться с обстановкой, с людьми, в частности с Борзуновым. Участвовал все-таки председатель вика в изнасиловании или нет?

— А как же! — страстно воскликнул Петруничев. — У меня документ есть, дневник.

— Чей?

— Лизы... — Он тут же смущенно поправился: — Елизаветы Иннокентьевны. Она мне его подбросила в сени, прежде чем... — Снова взволнованная пауза. Он не в силах был произнести слово «повесилась». Молчание длилось порядочно. — Я ночь сидел, списал копию. А дневник следователю отдал. — Рука Правдохи скользнула к груди. — Тут она, со мной. В губернию везу. Но раз уж вы приехали, сперва сами посмотрите. Может, и возить не придется.

Я спросил, не повредит ли ему мой приезд в Щербиновку, не разоблачит ли.

— А меня и так все знают! — ответил он с усмешкой. — Борзунов все мои письма читает, это мне точно известно. Девушка знакомая сказала, с почты. Последнее письмо я знаете как отправил? Из Москвы! Не заметили по штемпелю? Дружок ездил, вот я и послал с ним, доверился, а то нипочем не дошло бы.

Поразмыслив, Правдоха решил, что, кроме пользы, мой приезд ничего ему не принесет. Пусть все узнают, что им интересуются в Москве, готовы помочь и защитить. Может быть, это острастиг врагов.

— Тогда чего нам тут сидеть? Пойдемте, уже светает. С полпути совсем рассветет.

И мы с ним отправились в Щербиновку.

Медленно занималось сырое, мутное утро над заиндеветыми полями. Тяжелые тучи обложили небо так плотно, что непонятно было, откуда исходит этот ровный безрадостный свет. Однако он делался все сильнее, и от него все безотраднее выглядели запорошенные инеем озими, рыжее жнивье, убогие деревни перед дальними лесами.

Неестественно тихо. Все застыло. Оживляют картину лишь дымки над печными трубами да вороны на жнивье. Но и дымки точно нарисованы, а вороны странно медлительны и молчаливы. Лишь изредка каркнет какая-нибудь, и этот одиночный хриплый звук еще больше подчеркивает стылую тишину предзимья.

Дробя каблуками ледок, затянувший лужи, мы с Правдой, подгоняемые холодом, шли довольно быстро, и по пути он мне рассказывал о себе.

Ему семнадцать лет. Родился в 1907 году, в семье батрака. Как началась империалистическая война, отца взяли в солдаты. Он приезжал с фронта два раза. Один раз раненый, на костылях. Поправился и снова уехал на позиции. В другой раз, когда произошла революция, приехал было насовсем. Но, приняв участие в разгроме графской усадьбы и дележе помещичьих земель, организовав комбед, вновь схватил привезенную с фронта винтовку и отправился — на этот раз в Красную Армию. Уходя, сказал матери: «Либо добуду правду, либо голову сложу!» Он сложил ее, штурмуя Перекоп, в двадцатом году. Семье прислали об этом извещение, составленное в торжественных выражениях, обрамленное красной рамочкой. Оно до сих пор хранится у бабки.

— Я с бабкой живу, — пояснил Петруничев. — С отцовой матерью. Больше никого не осталось. Она да я. Мать и сестренка в девятнадцатом году от сыпняка померли, дед тоже. Вот и хозяйствуем вдвоем. Она философ у меня. Шопенгауэр. — В слове «философ» он сделал ударение

на последнем «о», а трудную немецкую фамилию произнес совершенно правильно и тут же подтвердил, что имеет верное представление по крайней мере об этике этого философа.— Ни во что хорошее не верит, считает, что как мучимся, так и будем всегда мучиться. Маркса не признает.— В последних словах Правдохи прозвучала ласковая усмешка.

Я спросил его, от кого он слышал о Шопенгауэре.

— Читал,— ответил он лаконично.

— Чем же вы живете? Лошадь, корова есть?

— То-то и беда, что нет. Земля есть, конечно, на две души.— Помолчав, он добавил: — Огородничаем. Продаю огурцы, лук, морковь в городе, тем и живем. Ну, для себя, конечно, картошку садим, еще кой-чего. А хлеб покупаем. Была у бабки коза — околела. Курей пяток есть, с петушком. Кое-как маемся.

Было уже настолько светло, что я мог хорошо рассмотреть его. Не-высокого роста, головастый, в черном пиджачишке и таком же картузе. С виду не очень силен физически. Черты лица юношески расплывчаты. Мягкий очерк щек, несколько одутловатых, бледных. Большой, пухлый рот. Добрая улыбка. Слабый подбородок. Невольно вспомнился неустойчивый, шаткий почерк Правдохи. Но было в лице и другое: прямой, сильный нос, хороший лоб, а главное — глаза. Широко расставленные, золотисто-карие, они светились жизнерадостностью, решимостью, природным умом.

Я спросил его, учился ли он. Да, с пятнадцатого года по девятнадцатый, а потом не пришлось. Только читал. Заговорив об этом, он тотчас стал рассказывать о покойной учительнице, снабжавшей его книгами и наставлявшей, чтобы он читал по определенной программе. Говорил о ней с благоговением, как о неземном существе, сошедшем с небес на грешную щербиновскую землю. Как только у нее хватало времени на все! Помимо занятий в школе, учила грамоте взрослых, выдавала книжки и проводила по ним беседы, читала вслух газеты, руководила хором, кружками сельскохозяйственных знаний и рукоделия. Добилась, чтобы школе отвели приусадебный участок и начала на нем ставить опыты. Организовала театральную кружок, впервые в истории округи показала две постановки. Правдоха, как можно было понять, был правой рукой учительницы во всех этих ее трудах. Даже в обоих спектаклях участвовал.

Я спросил его, почему он не в комсомоле.

— А у нас нет его,— был ответ.— Только в волости есть ячейка, а туда мне далеко ходить, да и с борзуновскими неохота связываться.

— Какими это — борзуновскими?

Он промолчал.

Мы уже подходили к Щербиновке, ничем не примечательной, обыкновенной среднерусской деревне дворов в сорок. Ее крытые соломой деревянные избы расположились по одну сторону единственной улицы, огибающей неглубокий овражек. Речка под мостом, который мы миновали, лежала, как желтоватое стекло.

— Это тут тебя лесник в воду спихнул?

— Тут.

— Легко отделался. Селькора Салтанова на Урале конный враг на смерть лошадью затоптал.

— Меня Цыган тоже затоптал бы, да люди помешали.

— Какой цыган?

— Лесник Мавгура. У нас его Цыганом зовут. Черный, бородатый. Глазищи как у беса. Увидите — пожалуй, испугаетесь.

Я нарочито бодро ответил, что видывал, мол, всяких.

Изба Петруничевых стояла на другом конце деревни, и нам пришлось миновать всю улицу. Появление незнакомого человека, да еще городского, рядом с Правдохой привлекло всеобщее внимание. Любопытные взгляды провожали нас из каждого окошка. Правдоха, видно, был очень доволен этим, даже игриво посвистывал.

— Принимай, бабуня, гостя! — весело крикнул он, когда мы подошли к третьей с краю избе, убогой и покосившейся.

Бабушка стояла на пороге. Она вышла вытрясти какую-то ветошь. Маленькая, худенькая, сморщенная. В латаном-перелатанном нагольном зипунишке, а голова и плечи укутаны в платок, так что видны только угрюмые, подслеповатые голубые глазки, изжеванные старостью щеки и беззубый рот. Близоруко прищурясь, она вглядывалась в меня с удивлением.

— Знаешь, бабуня, кто это? Из самой Москвы! Из «Крестьянской газеты». Сам заведующий отделом селькоров, главный мой начальник.

— Никакой я не начальник! — запротестовал я и объяснил бабушке толком, чем занимаюсь.

— Все равно! — не унимался Правдоха. — Теперь Борзунов подожмет хвост, как узнает, что ко мне из Москвы ездят. А то они уж вовсе озверели.

— Пса, батюшка, удавили! — живо поддержала его старуха. — Уж такой-то пес смысленный был, верный. А даве подожгли. — Она указала на обожженный угол избы. — А это-ти что? — Ее узловатый палец протянулся в сторону окошка, разбитого и заткнутого тряпичей. — Как саданул какой-то леший, так и стекло и лампу расшиб. А целил-то, поди, в голову Васятке.

— Как звать-то бабушку? — спросил я у Правдохи.

— Фекла Микишна, у бога лишняя, — ответила она сама. — Давно прошу, чтобы прибрал, а ему все неколи.

Оказывается, угрюмое выражение выцветших бабкиных глаз обманчиво. Она и пошутить способна.

В избенке было темно, холодно и неуютно. Вся мебель — стол да лавка. Утвари тоже раз-два и обчелся. Тем более радовала глаз самодельная книжная полка на стене и на ней десятка два книг и брошюр. Было новшество и в красном углу: старая, темная икона богоматери с теплящейся перед ней голубой лампадкой сдвинута с угла на правую стенку, а напротив нее, на равных правах, прикреплен портрет Ленина. Красноречивый итог нелегких, видно, споров Васи Петруничева с бабушкой, компромиссное решение трудного вопроса.

— Садитесь, отдохайте, — сказал Правдоха. — Вот вам копия.

Он вытащил из-за пазухи брошюрку «Политсуд над отсталым крестьянином» и дал мне. Я не сразу понял. Лишь раскрыв брошюру, увидел, что вся она поперек печати исписана знакомым бледно-лиловыми строчками.

— Чем же, бабуня, угощать будем гостя? — волновался юноша. — Кипяток-то хоть есть?

Я стал отказываться, но Правдоха и слушать не хотел. Оставив меня с бабушкой, он выбежал на улицу.

— Ничего-то нетути у нас, ни синь пороху, — горестно шамкала бабушка. — Живем, как грешники наказанные. Масла комушка была, да кончилась. Мука подходит, только что в туюске, на доньшке. Картошки мозглявой и то вволю не видим. А яичек и не пробуем, на продажу собираем. Дрова опять же... Цыган лес и днем и ночью хитит, мужикам продает. Другие на пятистенку набрали. А у нас, на зиму глядя, три скорька. Поди зимуй! — Она говорила это, бесцельно стоя посреди избы, но тут присела на другой конец лавки и обратилась прямо ко мне: — Ты, ба-

тюшка, коли начальник али как тебя там понимать, скажи: и что ж это делается? Два сына моих за то голову сложили, чтоб богатый бедному шею не тер. А кулаки, вишь, опять возвернулись, блаженничают, а мы у могилы! Так зачем было их зорить, скажи, коли им опять волю дали?

Объяснить ей в двух словах сущность нэпа со всеми его противоречиями и ленинского кооперативного плана, а главное, уверить в том, что не за горами новая, сокрушительная и окончательная атака на кулака, было делом нелегким, и я не могу похвалиться, что преуспел тут. Выслушав меня внимательно, бабка сказала убежденно:

— Ничего этого не будет. Как бедняк гинул, так и гинуть ему. Спокон веку свет неправдой стоял, так и будет стоять.

Наш спор прервало появление Правдохи. Он принес в холщовой кошелке хлеба, картофеля, немного масла и сахару и велел бабке варить картошку и вскипятить воду для чая. Она сокрушенно покачала головой, но не стала спорить и взялась за дело. Тем временем Правдоха сбегал в сени, достал там из какого-то тайника пачку бумажек, аккуратно завернутых в газету, а сверху в тряпицу, и принес мне.

— Хочу вам новую заметку показать,— сказал он.— Хотел нынче послать, да передумал. Еще надо проверить поточнее.

В сверточке была не только эта заметка, но и черновики предыдущих и наши ответы. Со странным чувством рассматривал я собственную подпись. Как-то неловко стало за всю нашу поневоле стандартизированную переписку с селькорами. Ведь мои ответы были в подавляющем большинстве случаев трафаретками, рассылаемыми во все концы ежедневно сотнями. «Ваше письмо направлено на расследование. По получении ответа поставим Вас в известность о результате...» Всем одно и то же, в одних выражениях. А тут передо мной не адрес и фамилия, а живой кареглазый юноша, живая сложная жизнь, весь переплет щербиновских событий, с самоубийцей-учительницей, такой, оказывается, талантливой и разносторонней, с Цыганом, у которого «глазищи как у беса», с неизвестным еще мне Борзуновым, с бабкой-Шопенгауэром, убежденной в том, что «спокон веку свет неправдой стоит»... И так ведь повсюду — такое же своеобразие у каждого из тех, кому мы шлем стандартки. Какой разрыв между канцелярской сухописью и жизнью!

Такое же чувство вызвала новая заметка Правдохи, внешне во всем схожая с теми, что я читал в Москве. Тот же почерк, те же бледно-лиловые чернила, та же грязноватая тетрабочная бумага в клетку. Но получить ее из рук автора, у него дома, было далеко не то, что вынуть из гысяча первого за сегодняшний день конверта в редакции.

Что же сообщал Правдоха в этот раз?

«Я вам писал, что наш лесник Мавгура Игнат Селиверстович гонит самогон и торгует им, а также ворованным у государства лесом. А вы писали, что будет произведено следствие. Дополнительно, для следствия, сообщаю, что он есть не только самогонщик и вор, но ярый враг Советской Власти, который против нее воевал в рядах Махновской Банды, а теперь скрывается и лицемерничает и, может, даже вовсе скрыл свое настоящее фамилие, и не Мавгура, а совсем другой. Так поговаривают у нас мужички, но доказать не могут, а только слышали такой разговор от собутыльников Мавгуры, покупателей у него самогона. Не мешало бы такой факт проверить».

— Какие же это мужички? — спросил я.— Подтвердят они это на суде, если их вызовут?

— То-то и боюсь, что испугаются,— ответил Правдоха со смущенной улыбкой.— Потому и попридержал ее.

Я вернул ему заметку, похвалил за осторожность и сказал, что такие серьезные обвинения можно делать только во всеоружии улики и свиде-

сельских показаний, иначе они могут обернуться против писавшего. Стали говорить о предыдущих делах, в частности об ответе прокуратуры по поводу самоубийства Лебедевой. Прочитировав этот ответ и не выпуская из рук бумажки с моей подписью, Правдоха горячо говорил:

— Вранье это! Знаете, как было? Блинников, это из уезда который приезжал, вовсе дело хотел замазать, да не вышло. Я помешал. А Демин, из губсуда, тот Борзунову друг-приятель, и Блинникова тоже выручить надо было. За такое дело Блинникову верных три года полагается, а он выговором отделался. С Борзуновым они так обстряпали: два часа Стекольщикова и Прягина уговаривали, чтоб они показали, что он с ними не был у Елизаветы Иннокентьевны. Они сперва ломались, потом, как посулили им поскорее их освободить по амнистии и еще кое-чего, согласились.

— Откуда это известно?

— Точно знаю. Слышал один человек за стеной, знакомый мой. Богом клялся и присягу дать не отказывается. Так что ждите: скоро освободят. Вот так Борзунов и ушел сухим из воды.

Эта неожиданная версия показалась мне правдоподобной.

— Но как же доказать, что Борзунов был там?

— А вот! — Он коснулся рукой «Политсуда над отсталым крестьянином», который я держал в руках. — Не прочли еще?

— Нет.

— Прочтите! Тут каждое слово дороже золота. Читайте, я не буду мешать, бабке помогу. — Он шагнул к печке; но тотчас вернулся, смущенный. — Одно место тут... про меня... Вы это не читайте. — Но тут же, передумав, махнул рукой. — Или ладно уж! Читайте все.

Он занялся хозяйственными делами, а я углубился в чтение. Ни возня хозяев у печи, ни яростное бульканье воды в чугуне, где варилась картошка, ни затруднительный почерк Правдохи не помешали мне до такой степени погрузиться в чтение, что вскоре я совсем позабыл, где нахожусь. Передо мной в отрывочных, произвольно выбранных Правдохой фразах раскрывалась незамутненно чистая и нежная душа девушки, нашедшей свое призвание в нелегкой и благородной работе сельского учителя. Я не пропустил ни строки. Подолгу задумывался над местами, не имевшими прямого отношения к тому, что меня привело сюда, и все больше меня охватывало чувство, близкое к преклонению перед той, которая все это написала, перед ее умом, убежденностью, талантливостью. А в то же время ни на секунду не покидала мучительная мысль, что ее уже нет, что такую жизнь растоптали три грязных негодяя.

«...Милый мой Звенигород, чудесный, зеленый, гористый городок, где я родилась и выросла! Скоро ли увижу тебя опять? Закрою глаза, и передо мной, как наяву, крутые скаты Городища, поросшие вековыми соснами, Москва-река, когда-то глубокая, а теперь до того обмелевшая, что дети вброд ее переходят, но зато такая чистая! Мое любимое место. Сколько раз, и девочкой и девушкой, я тут сидела, и мысли уносили меня далеко-далеко... Такое неожиданное среди русской равнины орлиное гнездо! Рвы когда-то были полны водой. По валу ходил причудливо одетый Иван Калита, покрикивая на дружину и холопов. И в Москве-реке купался, ничем не отличающийся от нас. Отсюда «пошла есть (по-немецки «ист геганген») русская земля». Сколько еще не раскопано остатков дворцов и других древних строений! На них огороды, жалкие современные домишки. Веселятся, прыгают по сосновым стволам дятлы. А милый белокаменный Успенский собор, такой простой и прекрасный! Ему больше полтысячи лет, а он все такой же стройный и молодой. Как чудесны тончайшие узоры, которыми украсили его древние мастера!

И тебя вижу, милая моя, хорошая мамуля, как ты скучаешь там без меня. Вижу: сидишь в нашем больничном саду, постаревшая, грузная; уныло сложив руки меж колен, сгорбившись. Тебе ведь уже пятьдесят два, и жизнь у тебя была ой нелегкая! Перед тобой куча мусора, забор, бурьян. За забором — очередь крестьянских подвод. На охапках свежей травы в возках больные. Туда-сюда ходят няни в плохо стиранных халатах. Не хватает денег на мыло. А тебе и над этим надо ломать голову, как когда-то ломал ее Чехов, работавший тут, в этом самом сереньком домике. Смешно, конечно, сравнивать маму с Чеховым, но я люблю их, честное слово, одинаково!.. Я знаю, о чем ты думаешь: что твоя жизнь могла бы быть ярче, подвижнее, интереснее, если бы не... я. Да, мамочка, милая! Я знаю: ты любишь меня, как никто другой. Но из-за меня ты многого не сделала в жизни и, конечно, нет-нет да и пожалеешь о том, что я появилась и тебе помешала. А может быть, я это глупости пишу, и так мать не может подумать. Не знаю.

Может быть, наоборот, ты хочешь, чтобы твоя дочь прожила свою жизнь ярче и интереснее, чем ты, и это тебя утешит.

Слоники! Миленьки мои! Почему-то вдруг вспомнились, вся дюжина, от большого до самого малюсенького, на пианино. Говорят — «мещанство». А я привыкла в них играть еще маленькая и люблю их. Они домом пахнут. А вообще, конечно, старье...»

«Москва после Звенигорода показалась ужасно грязной. У нас снег чистый-чистый, так и сияет. Пышный, глубокий, чудесные голубые тени на нем. А тут от копоти и пыли покрылся весь черной зернистой коркой, опал, посерел. Его сгребают, сбрасывают с крыш. Везде загородки, окрики. То и дело ужасающий шум в водосточных трубах: рушатся ледяные «пробки». Вдоль тротуаров бурные потоки. Несутся в них спички, бумажки, солома. Дети пускают кораблики из ореховых скорлупок и спичечных коробков, визжат от удовольствия, а сами мокрые, измазанные — жуть! На перекрестках такие разводья — хоть плыви. От машин (особенно от новых, огромных английских автобусов «лейланд», проваливающих в полные воды колеи) целые фонтаны жидкой грязи. Только сугробы серого, безобразного снега и защищают прохожих от этих фонтанов. Мне нужно было сесть на трамвай у Малой Дмитровки. Но тут разлилась такая лужища, что трамваи остановились. А мне на поезд! Кинулась к извозчикам. Они, пользуясь случаем, ломают по 20—25 рублей. Что делать?! Наконец трамвай пошел. Все кинулись к нему прямо через лужу, и я тоже. Не только ноги вымокли, даже юбка и пальто. Ботинки полны воды. А давка — что-то жуткое! На каждой остановке трамвай штурмом берут. Говорят, за границей в больших городах есть метро и такси, но у нас пока ничего этого нет...»

«Вот я и в Щербиновке. Что-то меня ждет тут? Щербиновка это...» Написав два последних слова, Правдоха потом вычеркнул их и дальше не стал писать. Описание Щербиновки ему не интересно.

«Жить по-настоящему — значит радоваться чему-нибудь или кому-нибудь. Жизнь без радости смерти подобна. А радоваться — значит любить. Если так, то я живу, живу! Очень, просто ужасно люблю свое дело. И детей люблю. Они чудесные, хоть и морозят иногда такое, что делаешь вид, будто не слышала, или не знаешь, как удержаться от смеха. Вчера Сеня Чуркин спрашивает: «Елизавета Иннокентьевна, правда, что плохих книг не бывает?» Я говорю: «Нет, бывают, к сожалению». А он: «Разве дураки могут их писать?» Я сдержала смех, отвечаю: «Случается, что пишут». Он: «А где печатают книги, там дураки разве когда-нибудь

сидят?» — «Случается, говорю, что и сидят». А он все на своем стоит: «Ну сидят, а все-таки мало?» Тут уж я не смогла удержаться, рассмеялась. Говорю: «Разумеется, мало! Конечно!» А сама не очень-то в этом уверена. А в тот же вечер иду по улице и слышу: этот самый мой Сеня, который так книгу уважает, поет с ребятами:

Вышел месяц из тумана,  
Вынул ножик из кармана.  
«Буду резать, буду бить!»  
А тебе водить!

Вот так считалочка! Влияние взрослых, конечно. Они ужас как грубо живут! Понимаешь причину этого, знаешь, что не виноват народ в своей темноте и грубости. Но все-таки так всю и трясет, когда за стеной двух-летней Кланька просит у матери молока, а та ей в ответ: «Замолчи, вольница паршивая, а то я тебя сейчас шпандырем! Молочка ей, нечистая твоя сила, собака поганая!» И так далее, еще того похлеще.

Хочу уйти от Кузяковых из-за этого. Предсельсовета Стекольников обещал устроить поудобнее, без соседей».

«Боже, сколько дел у меня! И то, и се, и это... Голова кругом. Иной раз до того устанешь — кажется, бросила бы все, легла и померла. А дед Фрол, сторож, такой совет мне дал: «А ты, Иннокентьевна, не думай, что трудно. С легким сердцем за все берись и не заметишь, как обращаешь». Я попробовала так делать — и правда хорошо!

А с другой стороны, думается, каждое дело надо делать с таким рвением, будто от него зависит, быть ли тебе живой,— и тогда непременно победишь! А как же «легко»?! Вот тут-то она, диалектика, и есть! Надо уметь совместить это противоречие. И третье еще: не разбрасываться! Разбросаться можно и в пределах одной узкой области. Но как же не разбросаться, когда надо и детей учить, и неграмотность взрослых ликвидировать, и сельскохозяйственный кружок поставить, опытный участок получить, и рукоделием с женщинами заниматься, и театральные кружки организовать? Как тут быть?! Только и остается — по рецепту деда Фрола...»

«Вчера читала крестьянам газету, проверяла, всё ли правильно понимают. И что же выяснилось? Две бабки не знали, что такое агроном! А вот какие объяснения получили некоторые слова. «Консерватизм» — «издевательство», а другой объяснил: «приветствие». Почему?! «Инициатива» — «свое самомнение, что хочу, то и делаю». «Территория» — «граница». «Бюджет» — «самооблог». «Критика» — «обнда, насмешка». «Экономический» — «помещичий», от слов «помещичья экономия», а другой сказал: «возврат к старому». «Мы не утописты». — «Да, говорят, верно, мы не топим и не желаем топить никого, хотим только, чтобы нас не топили». И так далее. Сами, смеясь, рассказывали, как в прошлом году, когда деньги падали, некоторые шербиновцы ниткой червонец мерили, не растет ли.

А в то же время какая ясность суждений, какой образный, яркий язык!

Народ, толпа — как цветущее поле. Каждый цветок прост. Но в массе они чудесными коврами украшают жизнь, которую создают. И кто знает, не прекраснее ли эти цветы ярких одиночек — гладиолусов, георгинов, орхидей!»

А вот о Правдохе. То самое, вероятно, что он сперва просил не читать.



«Первый мой помощник во всех делах — Вася Петруничев. Мне кажется, он немножечко в меня влюблен. Иногда ловлю такое выражение в его глазах. Мое отношение к нему самое теплое, но не более того. Он очень способный юноша, так и рвется к знанию, но условия жизни так тяжелы, что не может систематически учиться. Пишет, я знаю, в «Крестьянскую газету», кого-то разоблачает. В эту его деятельность я не вмешиваюсь. Больше всего меня радует в нем его чистота и пылкая вера в правду. Хочется, чтобы он то и другое сохранил навсегда, на всю жизнь».

«Сказать другому «я люблю» не так опасно, как сказать это себе самой».

«Вчера ночью, вернее поздно вечером, была неприятная встреча. Я шла из волости, где зондировала у Борзунова почву насчет школьного приусадебного участка. Лунная ночь сделала рощу фантастичной. Стволы старых берез превратились в каких-то пятнистых пифонов, черно-белых, вытянувшихся к небу в мистическом столбняке. Голубовато-зеленая мгла наполняла всю просеку, уходя вперед, вдаль, в серебряно-молочный туман. От деревьев длинные тени, от меня тоже. Идешь, не видя мелкой поросли, и она тебя хлещет по ногам, обдавая росой. Прохладно. Даже холодновато открытым рукам и плечам после жаркого дня.

И вдруг навстречу темный силуэт. Высокий мужчина. Стало не по себе. Никого в лесу, кроме нас двоих. Когда он поравнялся со мной, я увидела, что это Мавгура, лесник. Признаться, струхнула. Он с его черной бородой и цыганскими глазищами и днем-то страшноват, а ночью, в лесу... Бррр! И вдруг он раскидывает руки, чтобы задержать меня, потом опускает их, наклоняется лицом к моему лицу, отвратительно дышит самогонным перегаром и говорит:

— Добрый вечер, барышня! Давно собираюсь вам два слова сказать. Вас сюда зачем прислали? Детей учить? Так и учите себе на здоровье. А взрослых не трогайте, не мутите им головы.

— Что это значит? Что вы имеете в виду?

А он отвечает:

— Имею в виду, что вы против бога выступаете, а об этом вас никто не просил, и мы этого вам не позволим.

— Кто — мы?

— Верующие, — отвечает.

А от Петруничева я слышала как-то, что Мавгура какой-то сектант (помимо того, что самогонщик и незаконно торгует государственным лесом).

На том и расстались.

Ночью, понятно, мучил кошмар. Снилось, что кто-то душит и всякая другая ерунда. Проснулась вся в поту».

«Мама как-то мне говорила, что не боится смерти. «Умирать, — сказала она, — должно быть, очень неприятно, противно, но совсем не страшно». А мне страшно думать о смерти. Наверно, это так в молодости, а когда состарится человек, он примиряется с мыслью о неизбежности своего исчезновения. Подумать только: все останется, только отражения моего лица в зеркале не будет! Никогда!»

«Нехороший вечер пережила я вчера. Было заседание сельсовета. На повестке стоял вопрос о выделении участка земли для школьного подсобного хозяйства. Шла речь не только об агрономических экспериментах, очень важных для деревни, но и о школьных завтраках, обеспечении их своими продуктами. Я сделала доклад. Слушали напряженно, смотре-

ли с недоверием. После доклада долго молчали, опустив головы. Новое, непривычное... Школе — землю. Потом пошли бесконечные вопросы: что, зачем да как? «Значит, общество школе землю запаши, засеи, помоги полоть, косить, возить, убирать... Это понятно. А урожай кому же пойдет? Школе? Как так? Кто им ведать будет? Учительница? Гм...» Опять молчат в раздумье. Не доверяют, чувствую. И так это меня обидело! Но уж раз взялась... Произнесла новую речь. Долго убеждала. Стали торговаться из-за количества десятин, из-за культур. Я настаивала на десяти десятинах. Они ни в какую! «Что вы! Десять?! Да разве это мыслимо?» И только после двухчасового спора согласились дать одну десятину, и на том конец. С трудом согласились, с болью, точно оторвали эту десятину от самих себя, своего тела, своей души. Как проголосовали, я выскочила в сени сама не своя. Душили слезы, досада, обида, боль проигранного хорошего дела. Ну что можно сделать на одной десятине?! Было обидно за ихних же детей, за ихнюю же школу. (Я стала говорить и писать «ихних», по-крестьянски, — влияние среды!) И так тут все. С мукой, с кровью приходится брать все новое. Тяжело!

Но унывать не буду. Ни за что. Никогда. Что бы там ни было, а переделаем деревню по-ленински!»

«Вчера забыла отметить: когда приняли резолюцию об этой несчастной десятине, Стекольщиков как-то нехорошо подмигнул мне и сказал: «Ну, товарищ педагог, надеемся, что за наше доброе вы нам тоже добром ответите! Помните, вы в долгу у нас теперь. Взыщем, взыщем должок!» Это говорилось в шутку. Но что кроется за такой шуткой? Как-то беспокойно стало на душе».

И снова о Правдохе!

«Вчера состоялся первый спектакль драмкружка. Я никогда в жизни не справилась бы с этим, если бы мне не помог Петруничев. Он был настоящей душой всего этого дела и обнаружил хорошие сценические способности. По ходу пьесы нам пришлось с ним поцеловаться. Я почувствовала, как он весь задрожал при этом, и губы дрожали. У меня нет к нему и не может быть никаких нежных чувств (он, слава богу, на пять лет моложе меня и, не слава богу, только с четырехклассным образованием!). Но я все больше чувствую, что он внутренне ближе мне тут, чем все другие. Выбор в Щербиновке, правда, невелик...»

«Счастливых минут в жизни так же мало, как алмазов в угрюмых, гусклых, однообразных толщах камня. Камень безлик навсегда, а алмазы сияют в веках, особенно если их коснулась рука мастера-шлифовщика. Однако и каменная...»

Все. На этом дневник обрывался.

Что она хотела сказать этими последними словами? Я не уяснил.

— Дочитали?— тотчас подошел ко мне Правдоха, едва я кончил. Видно, не спускал с меня глаз все время.

— Да.

— А теперь это прочтите.— И подал листок из хорошего почтового блокнота среднего размера.

Подлинник! Совсем другой, уверенный и красивый женский почерк заканчивал сверху страницы ту же фразу: «толща вечна и неуничтожима. Она преобладает, давит алмазы весом». Ниже, посредине страницы, было той же рукой, но явно менее умело, а быть может, слишком второпях написано по-немецки, готическими буквами: «Эс вар шреклях... драй грое-сэ гробэ мэन्नэр геген михь...» После чего снова по-русски, без запятой:

«Борзунов Стекольщиков Прягин». Немецкая фраза и это — синим учительским карандашом. И так же дальше, последнее: «Я не могу больше жить! Не могу! Прости, Вася. Отомсти за меня».

Вот где настоящий конец. Непоправимый. Ужасающий.

Это написала она сама.

Сомнений не было. Названа фамилия Борзунова. И «драй» — трое. Почему, однако, по-немецки? Очевидно, в тот момент Лебедева еще не думала покончить с собой и хотела как-то зашифровать запись, сделать которую по-русски казалось слишком ужасным. А потом решила уйти из жизни. Должно быть, так. Но как эта важнейшая улика осталась у Петруничева? Почему?! Тогда ведь и следствие не придумается винить.

Я спросил Петруничева об этом. Он, не отвечая, задал мне встречный вопрос:

— Вы знаете по-иностранному? Что это она написала? На каком языке?

— На немецком. Должно быть, думала как-то скрыть. «Это было ужасно... Трое больших, грубых 'мужчин против меня...» Вот смысл фразы.

Он схватился руками за голову. Раскрывшиеся пухлые губы дрогнули. Глаза наполнились слезами.

— Что ж я сделал!

— Как это осталось у тебя?! Следователи видели это?

— Нет.

Тихим, сбивающимся голосом, поминутно озираясь на бабу, возившую у печи, он рассказал мне, что оторвал последний листок, перед тем как отнести тетрадку следователю Блинникову, потому что не мог такое отдать в чужие руки. Ведь это лично ему написано! Завет ее. Собственная рука. Память.

— Я же ее... полюбил! — сказал он еле слышно.

По словам Правдохи, он тогда же спохватился, что утаил важнейшую улику, и побежал с ней к Блинникову. Но увидел, что следователь откровенно взял курс на замазывание дела: запугивал крестьян, подтверждавших факт изнасилования, грозил привлечь их за клевету против Советской власти, всячески выгораживал виновных. Люди набрали воды в рот. И Правдоха не отдал листок. А потом, когда уж написал в газету, пришло в голову: если теперь отдать — неминуемо засудят самого за сокрытие улики. Был бы только предлог придраться! Долго колебался, мучился. Наконец решил сдать листок в губком партии. Будь что будет. За этим сегодня и поехал.

— Для памяти и карточки довольно, — сказал он, грустно улынувшись.

Тут же я увидел эту маленькую карточку. Лебедева оказалась не совсем такой, какой представлялась мне. Круглое, большеглазое лицо. Веселые, светлые глаза. Улыбается. Коса уложена на голове веночком. Хохотушка, должно быть, была. В школе первая заводилочка. И вместе с тем сколько в ней милого девичьего обаяния! А в то же время сколько воли! В чем она? Носик маленький, вздернутый. Подбородок не сильный, обычный. Очевидно, в крепком очерке скул. На обороте карточки что-то написано, но я не стал читать.

— Прочтите, — сказал Правдоха. — От вас у меня тайн нет.

Я прочел: «Моему самому деятельному помощнику, рыцарю правды Васе Петруничеву. Е. Л.».

— Садись, батюшка, — подошла тут ко мне бабушка. — Московских разносолов нетути у нас... А что бог послал... — И тут же закрестилась на икону, искоса проверяя, буду ли то же делать я. То, что я не стал кре-

ститься, ее, впрочем, не сильно расстроило: внук-безбожник уже приучил к этому.

Я решил не тратить времени в сельсовете, а пойти прямо в волость, и через час уже шел туда, взяв с собой копию дневника и листок. Перед уходом спросил Правдоху, член ли партии Борзунов.

— А то как же! — ответил он с усмешкой. — Ему в кулацкой партии место, да нет такой. Куда ж податься, чтоб наверх выскочить? Таких членов метлой чистить надо.

— Чистили уже. Два раза. И еще будут чистить, верь моему слову.

— А вы мое слово запомните: его еще разоблачат! Похуже Мавгуры окажется. Тутуткина помните, который Свирина убил?

Еще бы мне было не помнить! Действительно, селькора Петра Свирина в селе Шереметьевке, Сызранского уезда, убили председатель волисполкома Тутуткин и предсельсовета Новиков. Обоих расстреляли. И это был, увы, не единственный случай, когда против селькоров с оружием в руках выступали враги, пробравшиеся на государственные посты и в партию. Недаром же говорило об этом постановление Пленума ЦК, лежавшее у меня в портфеле. Я достал его и дал прочесть обрадованному Правдохе.

Волисполком помещался в бывшем барском доме, уцелевшем в октябрьскую бурю. У подъезда стояла пролетка, запряженная парой сытых гнедых лошадей, а с другой стороны был привязан оседланный вороной конь. Над крыльцом безжизненно свис потрепанный красный флаг. Понизу была прибита красная вывеска с белыми буквами.

Секретаря не оказалось на месте. Из-за двери с табличкой «Председатель. Без доклада не входить!» звучал густой бас:

— Я говорю: рубить надо! Самое время!..

Я открыл дверь.

За письменным столом, небрежно развалясь, сидел крупный, сухощавый пятидесятилетний мужчина с неприятно красным лицом человека, злоупотребляющего спиртным и мясным. Черты грубые, выражение властное, глаза умные, острые, стеклянно-светлые. Вот он каков, «сам»!

У стола стояли двое. В одном я тотчас узнал Мавгуру. Огромный рост, черная борода до половины груди, пламенные цыганские глазницы да еще фуражка лесного ведомства. Опершись левой рукой о красное сукно стола, он правой рубил воздух и продолжал доказывать, что «надо рубить».

Но как ни интересовал меня Мавгура, я не мог не засмотреться на третьего мужчину. Очень уж колоритная фигура даже для тех пестрых лет! Тощий, угреватый, с рыжей бороденкой и такими же вихрами, он был в синей поддевке, коричневых крагах и котелке. Этот обычный в предреволюционное время в городах головной убор совершенно исчез из употребления после Октября как символ буржуазности. Особенно курьезно было сочетание котелка с дьяконскими или регентскими рыжими вихрами, торчавшими из-под него. А всего примечательнее был глаз, уставившийся на меня искоса, когда я вошел: крупный, злобный, без ресниц. Глаз носорога!

Увидав меня, председатель погрознал.

— Вам что?! Куда вы? Не видите, что на двери написано?

— С удовольствием доложил бы, да некому. Секретаря нет.

— Так ждите! Видите, я занят?!

Но выражение его лица тут же волшебным образом изменилось, когда я сказал, что приехал из Москвы и откуда именно. Последовала минутная пауза. Все трое воззрились на меня, как на тень отца Гамлета.

Борзунов не сумел скрыть растерянности и страха. Наконец, овладев собой, поднялся и протянул руку.

— Извините! Я думал, так кто-нибудь. Садитесь, пожалуйста. Мы сейчас. Так ты, это, Игнат Селиверстович... В общем и целом договорились, значит?

Ясно чувствовалось, что я появился в очень неподходящий момент. Мне пришло в голову: не Правдоху ли они собираются «рубить»? Черт знает, кто этот тип в котелке и крагах.

— Так мы пойдем,— сказал Мавгура и, смерив меня изучающим взглядом своих мрачно-пламенных глаз, вышел.

С ним ушла и личность в котелке.

— Вы, наверно, насчет Правдохи? — спросил Борзунов, когда я сел.

— Какого Правдохи?

— Ну... Петруничева, селькора вашего.

— А откуда вы знаете, что Правдоха — это Петруничев?

— А кто ж этого не знает?

— Откуда?

— Сам болтает.— И тут же перешел в наступление.— Я вас, товарищ, как ответственное за волюсь лицо, официально ставлю в известность: мы очень хорошо понимаем пользу от газеты и против того, чтоб она с непорядками боролась, ничего не имеем. Сами это делаем. Но клеветы и подрыва авторитета не потерпим! А он, Правдоха ваш, именно этим занимается.

Я возразил, что почти все заметки Правдохи оказались по их проверке правильными, по ним приняты были меры, и за это Правдохе спасибо надо сказать. Но Борзунов не сдавался.

— А как, скажите, вы бы к нему относились, если б он вас оклеветал, что вы учительницу изнасиловали, да еще в компании с двумя?! Как я к нему должен относиться, если он на меня, главу Советской власти в волостном масштабе, именно такой поклеп взвел? Вы знаете, что Стекольщиков и Прягин подписку дали, что меня там не было, с ними?

До чего искренние интонации оскорбленной невинности! Ну и артист! Меня подмывало тут же сунуть ему в лицо изобличающую его страничку дневника. Но я сдержал себя.

— Скажите, товарищ Борзунов, вы с Блинниковым давно знакомы?

У него забегали глаза.

— Вы что этим хотите сказать?

— Просто спрашиваю.

— А зачем вам это?

— Меня удивляет, что вы не можете просто ответить на этот вопрос.

— А меня удивляет, что вы верите какому-то сопливому склочнику, мальчишке и не верите мне, члену партии, которого знают не только в уезде, но и в губернии! Знаю я, что вам Петруничев наговорил. Ложь все это! Наглая клевета! И он мне за нее ответит! Отсидит годика три, тогда узнает, как Советскую власть подрывать! Вы передовиком его считаете, а я подозрительным типом, рупором самых контрреволюционных элементэв!

Спорить на эту тему я счел излишним, только спросил:

— А вы где находились, когда случилась эта беда с Лебедевой?

Глаза у Борзунова стали как шилья. Так и проткнул бы меня ими. Побагровев до свекольного оттенка, он встал.

— Ну, слушайте... Вы мне допросов не устраивайте! Я не под следствием, а у вас таких прав нет.

— В таком тоне я вообще не хочу с вами разговаривать,— сказал я и тоже поднялся.— До свидания.

— Будьте здоровы!

К моему удивлению, в приемной оказался не только секретарь (бесцветная личность писарского типа), но и Мавгура с «котелком». Возможно, они подслушивали. А может быть, Мавгуру интересовало, куда я направлюсь отсюда. Я решил не упускать случая познакомиться.

— Товарищ Мавгура?

У него приподнялись густые брови и расширились глаза. Показавшиеся из-под усов сочные красные губы раздвинулись в иронической усмешке.

— Так точно. Как узнали?

— По фуражке. А фамилия ваша мне из письма селькора известна. Писал о вас, а мы на расследование отправили.

— Как же, уведомят! — весело осклабился лесник, теперь показав и зубы, крепкие, желтые от табака. — Только ничего из этой кляузы не получилось у вашего селькора, товарищ уважаемый.

— Разве уже кончилось следствие?

— А вы не знаете?

— Нет. Еще не получили ответа.

— А-а! Получите, значит. Чист Мавгура как стеклышко. Бог правду видит.

Мы вместе вышли на улицу. Мне не терпелось побольше узнать об этом человеке.

— Вы куда? — спросил Мавгура.

— А вы?

— Мне до коня только, а там — куда конь понесет! — Он сделал два шага к своему вороному коню и стал его отвязывать. Из-под ног лошади стайкой взметнулись клевавшие овес воробьи.

Тип в котелке нерешительно мялся тут же. Мавгура бросил на него беспокойный взгляд.

— Так вы, значит, это...

— Ладно, ладно, — заторопился «котелок» и быстро ушел в проулок.

Лесник с неожиданной легкостью вскинул в седло свое большое, грузное тело.

— Это вы им Петруничева с моста столкнули? — кивнул я на вороного.

По лицу Мавгуры скользнула мимолетная тень. Но тут же он снова заулыбался.

— Был грех, переложил малость, — и щелкнул себя по кадыку. — Трезвый, конечно, не позволил бы себе. А вообще обижен я на вашего селькора. Пишет бог знает что. И самогонщик я у него, и вор, и кто его знает что еще. Вы лучше меня знаете, чего он там понаписал.

— А откуда вам известно, что это именно Петруничев писал?

— А разве не он?

— Вы-то почему думаете, что он?

Снова между смоляными усами и бородой зажелтели прокуренные зубы.

— Бросьте, товарищ хороший! Не маленькие. Бывайте здоровы!

— Минутку, товарищ Мавгура! Скажите: вы учительницу Лебедеву знали?

Быстрый, настороженный взгляд с высоты коня.

— Очень мало. А что?

— Никогда с ней ни о чем не говорили?

— Нет. Ни разу.

И, кивнув мне еще раз, ускакал.

Пасмурный денек был таким же, как утро. Все та же стылая, тихая хмурица. Та же безжизненная тишина. Я шел нагими полями.

В Щербиновке, не заходя к Правдохе, я направился в сельсовет. Поговорил там, потолковал с народом. Убедился, что Борзунов и Блинников сумели здорово запугать людей. Как только заходила речь о Лебедевой, все делались очень осторожными, отговаривались незнанием.

Мне захотелось побывать на могиле учительницы. Правдоха проводил меня туда. Мы вышли за околицу, миновали сельский погост на опушке старого леса и спустились в лесной овраг, где еще царилась осень. Девушку из Звенигорода похоронили отдельно от всех, на склоне этого оврага. Над ее могилой раскинула ветви сумрачная вековая ель, у подножия которой теснилась густая поросль светло-зеленых ельчат. Корни старухи ели вылезали из красной глины обрыва. Под обрывом, на маленьком перекате, без умолку что-то рассказывала вода и вытягивала во всю длину зеленые и беловатые водоросли, отмытые от мути, покрывающей их у берега.

На могиле был поставлен маленький, любовно вытесанный деревянный обелиск с дощечкой. «Е. И. Лебедева. 1902—1924. Светлая тебе память!». Холмик был весь укрыт высохшими полевыми цветами, а на обелиске висел венок из поздних васильков, еще не окончательно увядших.

— Она здесь всегда сидела, читала,— сказал Правдоха.

Было так же тихо и пасмурно, хотя на западе небо значительно прояснилось. Пахло землей и водой. Где-то далеко (в каменных карьерах, должно быть) погромыхивали еле слышно взрывы. Шуршали падающие время от времени осин последние листья, звучал оробелый голосок какой-то пташки и голос воды.

Мы молчали. Потом Правдоха сказал задумчиво:

— Первое — отец, второе — она, третье — я.

Я понял, что он хотел выразить этими несвязными словами. Они прозвучали, как клятва именем двух самых дорогих ему людей.

Так же молча шли мы обратно. А я думал: пройдут годы, он возмужает, женится, заведет семью, но вряд ли когда-нибудь забудет ту, именем которой поклялся быть всегда верным правде.

Ночевать я решил у него, чтобы подчеркнуть свое доверие к селькору. В сложившейся ситуации самое лучшее было играть в открытую.

В пятом часу уже стало смеркаться, а к семи совсем стемнело. Бабушка Фекла зажгла маленькую керосиновую лампочку без стекла. Она горела, прикрученная настолько, чтобы не было от нее копоти, и еле освещала темную избу. Но и это освещение показалось бабке опасным, и она тщательно завесила оба окошка какими-то ряднинками. И не зря. Через некоторое время послышались на улице отдаленные звуки гармони. Они все приближались, перемежаемые время от времени частушками.

— Харитон гуляет,— сердито сказала бабка.

— Кто это?

— Кулачье наше,— ответил мне Правдоха.

Под окном раздался лихой перебор гармони, потом хрипловатый голос:

Как бы не было, Правдоха,

Тебе нынче ночью плохо!

Больно ноченька темна.

Не садися у окна!

Грубое гоготание. Легкий удар (скорее шелест) по стеклу. Бросили горсть песку. Визгливый девичий голос взвился как только мог высоко и с такой силой, на какую был способен:

У нас с миленьким любовью  
Три червонца стоила!  
Трехкопеечна девчонка  
Всю любовь расстроила!

И под взвизги гармони с пьяным гоготанием компания удалилась.

— Каждый вечер одно и то же, песком пугают,— пренебрежительно отозвался Петруничев.

Меня поразило спокойствие, с которым это было сказано. Какое нужно мужество, чтобы сохранять самообладание в такой обстановке, ежеминутно грозящей смертью! Фекла Никитична откликнулась на это по-другому. Начала мне жаловаться на внука, которого «ничто не берет». Ведь уж поджигали, и камень кинули, и пса удавили, и колодезь изгадили, и грозят на каждом шагу... Грех их знает, чего еще сделают. А он хоть бы что! Все свое долбит, как ворона кочку: правды да правды ему...

— По-твоему, бабуня, что лучше всего на свете? — прервал ее внук.

— Душе спокойствие, вот чего!

— Правильно. И я так считаю. А у меня душа только тогда спокойна, когда я по правде живу.

У бабки даже голова затряслась от гнева.

— Истовенный! Право слово, истовенный! А ты, говорю, живи, как все люди: потихонечку да помаленьку. Убьют ведь, дурья твоя голова! Проломят тебе ее каменной, не то удавят, как Шарика, и вся недолга, вся твоя правда тут.

— Правду не удавят,— спокойно отозвался Василий.

— Тьфу, сатана поперечный! Стрешник!

— Это ты пуще всякой беды смерти боишься, а я...

— И боюсь! Всяка тварь живая боится! И ты боишься!

— Пожалуй, боюсь,— подумав, ответил ей внук.— Но пуще боюсь, чтобы моя жизнь, как твоя, не прошла.— Обернувшись ко мне, он пояснил:— Ей ведь семьдесят шестой. Крепостное право помнит. Расскажи, бабуня, как тебя помещик за трех гусей на три дня к дубу привязывал. Сколько тебе было? Девять? Расскажи-ка!

Но бабка не расположена была рассказывать. Она продолжала бубнить о том, что «коршун всегда выше курицы взлетит», а жизнь человеческая — это юдоль скорби и горести и ничего человеку с этим не поделать, таково божье предопределение. Спаситель страдал и нам страдать велел.

— Ну, понесла без весла,— махнул рукой Правдоха.— Ее не переговоришь.

— Бельмо ты у их на глазу! Кость в горле! Понял? — не унималась бабка. Потом начала выговаривать мне, зачем мы, газетчики, молодым ребятам голову мутим, в селькорство их вовлекаем. Сулила мне страшную кару на том свете, если с ее внуком что-нибудь случится.

Тут Правдоха не на шутку рассердился. Между ним и бабкой произошла резкая перепалка, в итоге которой Фекла Никитична, разобидевшись на нас обоих, полезла на печь и там замолчала.

Мы продолжали разговаривать все о том же: о советской жизни и как ее наладить получше и поскорее.

— Правда и труд все перетрут,— сказал Правдоха. Призадумался, пристально глядя на вздрагивающее пламя лампочки, потом медленно произнес, будто размышляя вслух:— Лучше всего на свете правда, ясное утро, чистая вода. Так Елизавета Иннокентьевна гово...

Не успел он закончить, как проворно спустившаяся с печи бабушка Фекла подскочила к столу и изо всей силы задула лампочку.



— Тю! — вырвалось у Петруничева.

А она в полной темноте уже не говорила, а шипела на нас, что не даст зря палить керосин. И так нищета кости проела. А керосин-то нонче кусается, нечего зря лясы точить. Спать надо.

Я молчал. Бабка, ворча, удалилась на печь. А Василий, ни слова не говоря, зажег спичку. Лампочки на столе не было. Бабка утащила ее.

— Где лампочка? — спросил он.

— Не дам! — раздалось с печи.

— Шопенгауэр! — ругнулся Правдоха, зажег еще одну спичку и разыскал в запечье не виденный мной с девятнадцатого года старинный, почернелый светец.— Подумаешь... Делов-то! — Нашел лучины, вставил одну в рассошку и зажег, посмеиваясь над бабкой.

— Нечистая сила! Стрешник! — звучало с печи.

Но вскоре бабка угомонилась и даже стала похрапывать там. А мы разговорились о книгах. Правдоха показал мне свою библиотечку. Тут были и сельскохозяйственные брошюрки, и популярные издания Сытина и Горбунова-Посадова, и стихи Пушкина, Лермонтова и Некрасова.

Чадя и потрескивая, горела неровным красноватым пламенем лучина. От нее в избе все время то возникали, то исчезали, тая в полутьме, странные отсветы. Под печью монотонно, будто старуха, нанятая читать ночью над покойником, скрипел сверчок. Попискивали мышцы. Где-то вдали угрожающе продолжала звучать кулацкая гармонь. А Петруничев читал мне наизусть «Руслана и Людмилу».

Прервав декламацию, он сказал:

— Больше всего я у Пушкина знаете какие слова люблю? «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Здорово, а?! В этих словах все мое... как бы сказать...— Он подыскивал выражение и не мог найти.

Интеллигент сказал бы «кредо». Но Правдоха не знал этого слова. Не знал, вероятно, и таких слов, как «девиз» или «лозунг».

— В общем, как я к жизни отношусь, каким быть хочу.

Я слушал при свете чадающей лучины его рассуждения о жизни, его декламацию, и все больше мне казалось, что все мои культурные накопления потомственного интеллигента («шару данну», «Бабель унд бибель» и все прочее) не стоят твердости и чистоты этого деревенского юноши, действительного рыцаря правды, как назвала его учительница.

— Я еще с ними повоюю, еще насыплю им булавок в карман! — говорил Правдоха. Его широко расставленные карие глаза сейчас были очень темны и красивы.— И ничего они со мной не сделают, потому что народ за меня. Бойтся, запуган, а как что — ко мне. Рассказывают, жалуются, просят написать. Покойником эта банда меня сделать может, а поддужным не сделает, нет.— Он снова помолчал, внимательно разглядывая пламя лучины.— Может, я и правда на свете не жительник. Кто знает! Ну и пусть. Не тот больше живет, кто дольше прожил. Чепуху бабка говорит.

Ровно через сутки, после того как я слез на маленькой станции, я был там снова, чтобы сесть в поезд, идущий к губернскому городу. Решил побывать по делам Правдохи у секретаря губкома.

Секретарь произвел на меня самое приятное впечатление. Это был типичный представитель ленинской партийной гвардии, интеллигентный сорокалетний питерский рабочий, побывавший и в царских тюрьмах и в эмиграции, учившийся в заграничной партийной школе и без счета перечитавший в порядке самообразования. Какой-то особенной, обаятельной чистотой веяло от его безупречно выбритого, крупного лица и больших рук человека физического труда.

Как видно, ему показалась не совсем верной интонация моего рассказа о Правдохе и прочих шербиновских делах. Соглашаясь с необходимо-

стью навести там революционный порядок, он в то же время дал мягкую отповедь моему чересчур нервозному тону.

— Вы же знаете, дорогой мой, ситуацию? Партия действительно еще очень засорена. Не кто иной, как Владимир Ильич, сказал на Восьмом съезде: «К нам присосались кое-где карьеристы, авантюристы, которые назвались коммунистами и надувают нас, которые полезли к нам потому, что коммунисты теперь у власти...» Помните? Это и к Борзунову относится. Займемся Борзуновым. Но исключением его из партии или даже арестом дела не решишь. Решение в «Ленинском призыве». Надо смелее, поскорее заменить всех Борзуновых честными людьми, рабочими. И мы это сделаем. Побаиваются рабочие идти на руководящую работу. «Нет, мол, у нас опыта». Мы на это говорим: «А у нас, таких же, как вы, семь лет назад, в Октябре, был разве опыт? Взялись, однако! И вы беритесь. Не боги горшки обжигают». «Ленинский призыв» нас спасет,— закончил он убежденно.

В этот момент зазвонил телефон. Секретарь взял трубку. Я продолжал смотреть на него и увидел, что его светлые брови сурово сдвинулись, с губ сбежала улыбка, потяжелела нижняя челюсть, до этого не казавшаяся такой массивной.

— Где? Кого? — спросил он, отрывисто и взволнованно посмотрев на меня своими очень светлыми пронизательными глазами. — Вот несчастье! Второй случай уже в нашей губернии... При каких обстоятельствах, расскажите.

У меня упало сердце.

— Правдоха? — спросил я, привстав.

— Нет, — ответил секретарь, продолжая слушать то, что ему говорили по телефону. Что-то записал. Потом, попросив собеседника прислать протокол следствия, положил трубку и сказал мне: — Селькор Киреев, шестидесятилетний старик. Ранен топором в голову. В очень тяжелом состоянии. Надо действительно принимать энергичные меры. Прямо новый фронт!

И вот я снова на Воздвиженке, в нашей сумрачной, душной комнате с роскошными резными панелями. Снова на моем столе телеграммы об убийствах и ранениях селькоров, поджогах и покушениях. Доложил о поездке Яковлеву и Урицкому. Решили, что всем (не исключая их) надо ездить на места почаше. Увеличили штат разъездных корреспондентов. Непрерывно стали колесить по деревням с корреспондентскими удостоверениями «Крестьянской газеты» немолодые писатели Волжский и Лукашин, начинающие Аверьянов, Наврозов и другие. Ездил и я. Поездки делали свое дело. Но охватить ими необъятные советские просторы было так же невозможно, как вычерпать наперстком море.

Мы готовили первое совещание наших селькоров. Решили вызвать на него и Петруничева. Но прежде чем ему послали приглашение, пришло из Щербиновки письмо без подписи с сообщением, что Правдоха арестован. Я тотчас отправился во Всесоюзную прокуратуру. Там немедленно приняли меры к выяснению дела. Но на совещании Правдохе быть не удалось.

Его освободили, когда совещание уже кончилось. А через некоторое время нас уведомили об аресте Борзунова и Мавгуры. Под тяжестью улик, среди которых особенную роль сыграла последняя страничка дневника, сохраненная Правдохой, Борзунов сознался в своем участии в изнасиловании учительницы. За это и другие дела он получил пятнадцать лет тюрьмы.

Как повсюду, правда пробивала себе дорогу. Огромными усилиями всего народа, всей партии шаг за шагом деревня очищалась от Борзуновых и их прихвостней.

В марте 1925 года в Москве собрался Первый всесоюзный съезд селькоров. Конечно, Петруничева вызвали на него. Он ответил восторженным благодарственным письмом, и я уже радовался предстоящей встрече с ним и даже собирался поселить его у себя. Но за два дня до открытия съезда пришла из Щербиновки телеграмма: Петруничев тяжело ранен камнем в висок у себя на усадьбе и отвезен в уездную больницу.

Наблюдая во время заседания зал съезда (он происходил в 3-м Доме Советов, в бывшей Духовной семинарии), я нет-нет да и вспоминал Правдоху. Передо мной сидели, напряженно слушая ораторов, сотни таких же Правдох, разных по внешности, возрасту и полу, но единых в своем страстном порыве к правде.

Особенно восторженно встретил съезд Надежду Константиновну Крупскую. Ей, видимо, нездоровилось. Она была очень бледна и вначале говорила так тихо, что ее с трудом слышали в задних рядах. В зале воцарилась такая тишина, какая редко бывает на собраниях. Какая-то крестьянка в первом ряду буквально окаменела, впившись глазами в Крупскую. И я увидел, как по огрубелому, с лета загорелому лицу этой немолодой женщины скатывались не замечаемые ею слезы. Слишком свежа еще была потеря, которую пережили мы все, а Надежда Константиновна больше всех других.

Когда Крупская сказала, что «селькорство — это прямое осуществление заветов Ильича...», по залу прошла настоящая волна. Все записали эти слова.

После Крупской выступил от Наркомзема А. И. Свидерский. С каким торжеством сообщил он селькорам, что «мы дошли в 1924 году по всему нашему Союзу примерно до 86 процентов старой, довоенной посевной площади!» И как обрадовались этому передовики деревни!

Вот на трибуне Демьян Бедный, грузный, похожий на медведя.

— Селькор,— сказал он,— сейчас герой дня. Герой, стоящий на посту и нередко на нем погибающий. В ваших письмах сплошная правда. Но мне начинает казаться, что это однобокая правда. Очень уж письма ваши мрачны.

По залу прошло движение совсем другого рода. Люди переглядывались, перешептывались. А Демьян, ссылаясь на недавний свой разговор со Сталиным, стал настаивать, чтобы селькоры побольше писали о положительном.

Ему ответил немолодой селькор Табачков из Рязанской губернии.

— Придется не согласиться с некоторыми из слов уважаемого Демьяна Бедного,— сказал он вежливо, а затем, развивая свою мысль, стал говорить, что главная задача селькора сейчас — выкорчевать бурьян, мешающий деревне жить по-советски.— Раз мы составляем военный фронт, то, поскольку ведем беспощадную борьбу с ненормальностью деревень и селений, ясно, как день, что в этой борьбе трудно встретить красивые места. А что встречается хорошего, это мы посылаем сюда, не задерживая.

Я думал о Правдохе. Он не забыл написать в газету об успехах в ее распространении, об открытии новой школы, о спектакле драмкружка. Но разве правильно поступил бы он, если бы постеснялся или побоялся разоблачить Борзунова и Мавгуру, воров из потребилки, фельдшера-мздоимца, держиморду-фининспектора, пьянствующего начальника милиции? Страна и партия благодарны ему за бесстрашную борьбу со злом, за то, что он укрепил упавшую было веру в Советскую власть в своем глухом углу. Как-то он чувствует себя там, в уездной больнице? Выживет ли? Как пойдет дальше его чистая, прямая жизнь?

Не положено писать эпилог к рассказу. Это принадлежность романа или повести. Но как мне его не написать, если я встретился с Правдохой через девятнадцать лет?

В феврале 1943 года я ездил на родину Лизы Чайкиной, в Руну. Вернувшись оттуда в полуразрушенный городок Пено, в сизой мути зимнего рассвета, по колено в снегу, сбился с пути и никак не мог нащупать в сугробах дорогу к станции. Станция оказалась наверху, на пригорке, в землянке. С облегчением вдохнул теплый, хотя и спертый воздух полутемного «зала ожидания». Землянка была довольно просторная, с дощатым потолком и стенами, выкрашенными коричневой масляной краской. Так же были выкрашены и подпиравшие ее столбы. У большой керосиновой лампы, ярко освещенной ею, худой, бритоголовый начальник станции кричал в диспетчерский телефон:

— Двести слушает! Я двести! Маршрут тысяча двадцать четвертому сделал!..

Рядом с ним сидела девушка-оператор, курносенькая, простодушная, с мечтательными серыми глазами. Оказалось, Нина Макарова — одна из тех, кого приняла в комсомол Лиза.

На лавках, на полу — вповалку бойцы и офицеры. И вдруг, когда я разговаривал с начальником, ко мне, встав с лавки, шагнул невысокого роста капитан в белом дубленом полушубке и ушанке, посмотрел на меня внимательно и спросил:

— Не узнаете?

— Нет.

— Петруничев. Правдоха.

Я замер. Неужто он?! Мудрено было узнать того безусого юношу с мягким очерком щек и пухлым ртом, которого я видел в двадцать четвертом году, в стоявшем передо мной крепком, подтянутом тридцатилетнем мужчине с русыми усами и бородкой. Только глаза все те же. Все так же светятся умом, решимостью, жизнерадостностью.

Мы обнялись и поцеловались. И тут же, в коричневой землянке, под непрерывные служебные разговоры по селектору и гудение полевого зуммера, он рассказал о себе.

Окончил рабфак, потом факультет журналистики. Был в армии. Вступил там в партию. Работал в разных газетах, в последнее время ответственным секретарем большой краевой газеты на юге. С начала войны на фронте. Я спросил, женат ли он. Он показал мне фотографии жены и детей. Жена была у него симпатичная, темноглазая, как он. Чуть принахмурившись, Петруничев сказал:

— А Лизу не забыл. Не могу.— Секунд пять задумчиво глядел на круглое пламя лампы, потом добавил: — Что сделаешь! Слишком она большую роль сыграла в моей жизни.

И тут же я увидел у него в руках ту самую карточку Лизы Лебедевой, которую он мне показывал девятнадцать лет назад в Щербиновке. Вечная радость она для него? Или вечная боль? Кто знает!

Мы сели вместе в теплушку «для среднего состава», доехали до Лихославля, а там расстались. Так навсегда раздвоился в моей памяти образ Петруничева. Нельзя было забыть бородатого, подтянутого, вполне интеллигентного гвардии капитана. И в то же время этот капитан не мог заслонить по-деревенски неуклюжего паренька, семнадцатилетнего правдолюбца из Щербиновки.



---

М. КОРШУНОВ

★

## Я СЛУШАЮ ДЕТСТВО

Рассказ

1

**Я** думал о встрече с детством. Я видел лето, потому что мое детство — это лето, это Крым, окраина города Симферополя Бахчи-Эль. Курганы, горная речка Салгир, запах побелки, прохладная лужица воды около сруба колодца, железный скребок у порога, о который в дождь счищают с сапог грязь, разошедшаяся калитка, цветы акации, будто кисти желтого винограда. Я могу закрыть глаза, и пускай это совсем другой — за тысячу километров от Симферополя — город, я слышу нездешнее лето, слышу детство.

Скрипят на крутом повороте колеса трамвая, жуют, встряхивают торбами с овсом лошади, кричит курица — снесла яйцо.

Падают, скатываются по решетке куски угля — просеивают антрацит. Сухо шуршат большие листья — качаются под ветром заросли колючек. Дрожит в степи зной. Расчеркивают небо черными карандашами ласточки. Примусы держат над головой синие колокола пламени.

Я слышу звук виолончели. Это играет Остап Григорьевич, разминает пальцы. Он выступает в оркестре в кинотеатре «Марсель» перед началом вечерних сеансов.

Он старый и добрый. И виолончель у него старая и добрая: гудит, как жук, на весь двор между синими колоколами примусов. Я и мои друзья, Ватя и Аксюша, сидим на деревянном топчане, слушаем. Молчим, хочется спать.

Вышел во двор Фимка. Он самый маленький в нашем дворе. Крутит в стакане ложкой, взбивает желток с сахаром. Потом будет ходить испачканный желтком, пока не увидит мать и не умоет.

Один раз, когда Фимка ходил испачканный желтком, его укусила за язык пчела. Фимка загудел, как виолончель соседа.

Стучит нож по доске — это режут на борщ капусту и свеклу.

Борщ умеют готовить в каждом доме. В тяжелых кастрюлях он стоит потом в глубоких подвалах, прячется от солнца. Носить в подвалы борщи — ребячье дело.

Где-то на краю улицы глухо бухает по ковру палка — выбивают пыль.

Лают собаки от двора ко двору. Ближе, ближе. Ходит почтальон или инкассатор, снимает показания с электрических счетчиков.

Наш пес тоже знает, почему лают. Вылезит из конуры, ждет своей очереди. Он прекрасно знаком с почтальоном и инкассатором. Но лаять надо. Таков порядок. Будет лаять незлобно, не натягивая цепь.

Если почтальон или инкассатор задерживается в соседнем дворе, псы от нетерпения взбираются на крышу конуры, выглядывают.

Почтальон — худенькая девочка в пиджачке. Зовут ее Кима. Она совсем не боится собак. Проходит с сумкой перед их носом да еще туфелькой притопнет — цыц! Собакам это очень нравится.

Иногда Кима не заходит в калитки, а бросает почту в открытые форточки: спешит, у нее нет времени. Каждый любит с Кимой поговорить, поэтому со двора быстро не уйдешь.

Мы с Ватей тоже любим Киму. Она дает посмотреть чужие журналы. Почтовый ящик на нашей улице пахнет розой. Это придумала Кима. Утром кидала в него лепестки цветов, и они лежали в ящике, пока она не выбирала письма и не относила на почту.

Тогда вся улица начала бросать в ящики вместе с письмами лепестки цветов. И когда письма уходили в другие города, они не пахли штемпельной краской. Они пахли крымскими розами.

Инкассатор — толстый. Зовут его Мартын Кириянович. Ходит медленно, вперевалочку. Носит толстую книгу, проложенную бланками счетов.

Мартын Кириянович гораздо больше похож на почтальона, чем Кима.

С собаками он разговаривает, помахивает пальцем, стыдит их. Дает понюхать свою толстую, со счетами, книгу. Собакам это тоже очень нравится.

Мартын Кириянович никогда не спешит. В каждом доме затевает обстоятельные разговоры об урожае, о непослушании детей, об охоте на перепелок, о разведении кроликов.

Соседним собакам иногда долго приходится стоять на крышах конуры.

За воротами, на улице, протяжный железный шум. Его надо знать, чтобы догадаться, откуда он. Надо самому побегать босиком по дороге, по дымной пыли, с проволочным крючком. Это ребята катают обручи от бочек, «ездят».

Мы с Ватей тоже катали обручи, «ездили», куда нас посылали, — в аптеку за горчичниками, в магазин за мылом или спичками, в булочную, в швейную мастерскую. Сумку приспособили перекидывать за плечи, чтобы не мешала. «Ездили» и просто по тропинкам в степь, по узким мосткам через Салгир, даже вкатывали обручи на курганы.

Шум прерывается — это ребята отдыхают. Когда отдохнут и «поедут» дальше, в пыли останутся большие круглые следы: здесь лежали на дороге обручи.

Начало августа. Пospel кизил. Все собираются в лес, вся Бахчи-Эль. Надо пройти восемь километров вдоль Салгира до бывшего имения помещика Вельера.

Выпали недавно дожди, поэтому кизил будет крупный, мясистый. Я, Ватя и Аксюша берем корзины и рано утром, по холодку, шагаем к Вельеру.

Сперва мы наедаемся кизила, а потом начинаем собирать.

Идем домой с полными корзинами. Устали, выкупались в Салгире и пошли дальше.

Звенят синие колокола примусов: будет из кизила варенье. Кизил стоит в больших зеленоватых бутылках, вместо пробки прикрытых марлей: будет наливка. Кизил лежит на крышах под солнцем: будет на зиму сушка в компот.

Фимка больше не крутит в стакане желтки — он ест пенки с варенья. Ходит не желтый, а красный, кизилковый и липкий, как бумага для мух. Его теперь умывает каждый, кто увидит.

— Ножи! Топоры! Ножницы! — это кричит точильщик Беркеш. Он медленно идет вдоль улицы с деревянным станком на плече. На станке укреплены точильные камни, банка с водой, висят лоскуты материи.

Хозяйки выносят Беркешу ножи, топоры, ножницы.

Он пристраивает станок в тень к забору и запускает педалью точильный камень.

Камень крутится. Беркеш поет песню. Летят искры.

Изредка Беркеш взбрызгивает водой из банки нож, топор или ножницы, вытирает лоскутом материи и продолжает давить педаль и петь песню.

Ребятам разрешает подставлять под искры ладони. Ух ты! Жгутся или не жгутся? Подставлять ладони выстраивается очередь.

Про мамонта первой узнала Аксюша. Она ходила в бывшие сады фабриканта Дюпона покупать в совхозе яблоки на повидло. Вокруг садов были известковые скалы с пещерами и обрывами. В скалах и обнаружили мамонта.

Я, Ватя и Аксюша целыми днями пропадали в садах Дюпона, наблюдали, как из белого известняка археологи осторожно вырубали скелет мамонта, желтоватый, словно корка лимона.

Залезть на чердак — удовольствие. Надо залезть незаметно, а то прогонят, потому что «крошатся потолки и крошки растаптываются потом по квартире».

Чердак — это место неизведанных тайников, необыкновенных решений, подозрительной темноты. Принадлежат чердаки ребятам, и только пацанам. Девочкам, пацанкам, они непонятны.

Был еще дом, который беспокоил воображение не меньше чердаков, — каменный, в два этажа, с башней. Одна стена сплошная: без окон и дверей. А двор обнесен высоким забором — ничего не видно. Торчат башня и верхушки деревьев.

Нам с Ватей ни разу не удалось попасть во двор. Ворота всегда на запоре.

Мы не сомневались, что дом переполнен тайнами: башня, глухой забор и не живет никто из ребят.

Часто мы гуляли около этого однобокого дома, разговаривали шепотом, слушали, что делается за воротами, — вздыхал, пил воду пес, кричали ласточки под крышей башни, поскрипывали открытые форточки. Ничего подозрительного или волшебного. Но мы не теряли надежды.

Сильный запах кукурузы. Початки сложены в глубокий казан, варятся второй час. А чтобы лучше уварились и потом долго не остывали, прикрыты листьями.

Я жду, когда же початки будут готовы. Стол покрыт клеенкой. На столе — соль, сливочное масло.

Струйка пара вылетает из казана, кучерявится под потолком.

Нюхаю пар. Жду. Это первая в этом году кукуруза, тонкая, молодая, напитанная росой и летними прозрачными дождями.

Наконец готова. Казан на столе. Затихает, перестает кучерявиться струйка пара. Под зеленой крышей листьев, как в шалаше, лежат кочаны с тугими каплями зерен.

Вытягиваешь из шалаша кочан. Горячий. Перекидываешь с ладони на ладонь, остужаешь. Не терпится. На клеенку летят брызги воды.

Когда кочан можно уже держать, намазываешь его маслом и посыпаешь солью.

Ну вот и дождался — ешь, радуйся.

Что это хлопает — доска по доске? Так может хлопать только решетка голубятни.

А это что скрипит протяжно и ритмично? Так может скрипеть только канат на барабане колодца.

А это что тихонько журчит и побулькивает? Это заправляют керосином лампу. Лампа висит в сарае, где нет электричества. Еще с нею вечером спускаются в подвал. Пока идешь через двор, вокруг лампы шумят ночные жуки. Они залетают даже в подземелье подвала. А потом снова провожают лампу через двор.

Мигают сиреневые искры звезд. Лунный пепел засыпал Салгир. В садах между деревьями развесил парусину туман. Пропал, растворился в темноте однобокий дом. Переговариваются, спрашивают о чем-то друг друга собаки. Жуки улетают куда-то в ночь.

Стенные часы. Куплены еще прадедом. Я до сих пор слышу их тихую, усталую поступь, будто в домашних туфлях. Их негромкое покашливание, перед тем как собираются пробить, отмерить время. Они никогда не останавливались. Только один раз — от землетрясения.

Аксюше подарили шоколад. Но пока везли из города, он растаял. Переливался в своей серебряной упаковке, как молоко в бутылке. Аксюша огорчилась. Но Ватя придумал: мы отнесли шоколад в подвал. Вскоре он застыл, и мы его съели среди борщей, поделив на три части.

Не знаю, когда это произошло, но я увидел в Аксюше девочку с узкими коленками, едва прикрытыми легким платьем. Увидел маленький нос, губы, глаза, рыжую гривку встрепанных волос.

Теперь, когда приходили к Салгиру купаться и Аксюша раздевалась, я отворачивался, хотя она была, как всегда, в пестром ситцевом купальнике. Но мне казалось, что я уже не должен на нее смотреть вот так, слишком близко. Что это будет нехорошо по отношению к ней.

Аксюша этого не понимала. Позабыв расстегнуть пуговички, она сдергивала платье и, запутавшись в нем, кричала:

— Минька, ну, помоги же!

Я помогал, но все равно старался не смотреть, чтобы случайно не увидеть совсем близко ее узкие коленки, худенькие плечи с ленточками купальника, рыжую гривку встрепанных волос.

Правда, в воде я обо всем забывал. Брызгался, хватал Аксюшу за пятки, орал и веселился.

— Штандер! — кричит Ватя.

Ребята останавливаются, замирают. У Вати в руках мяч. Ватя выбирает, кто стоит поближе, делает три шага. Целится. Кидает мяч. Если попадет — будет водить тот, другой. Если промахнется — опять будет водить он.

У кого накопится больше всех штрафных очков, того наказывают: ставят к стене и бьют мячом в спину.

Девочек наказывают тихими ударами, ребят — сильными, так, что потом видно: ходишь с красной спиной. В «штандер» играем в степи, наказываем возле однобокого дома. Удобно: глухая стена.

Спать ночью во дворе непросто. Надо быть храбрым, пока не выкинешь. С вечера долго не спишь, напрягаешься, слушаешь — что где скрипнет, треснет, прошелестит. Мерещится всякая всячина. Ждешь кого-то, опасаясь.

Обязательно приходят кошки, смотрят ночными зелеными глазами.



Перепутались тени, не поймешь — какая тень от чего. Попискивает сыч. Старые люди считают его дурным вестником. Заведется на улице вот такой один и портит настроение. Каждый его прогоняет, и летает он с крыши на крышу.

В приметы можно и не верить, но кричит он действительно как-то тоскливо.

Вернуться в дом стыдно, поэтому крепишься.

Зовешь собаку. Она спущена с цепи и гуляет во дворе.

— Эрик! Эрик!

Когда Эрик приходит, успокаиваешься. Гладишь, просишь, чтобы не уходил. И Эрик не уходит, караулит тебя, отпугивает ночь. Помогает стать храбрым. Руку держишь на шее Эрика, пока не замерзнет. Тогда прячешь руку под одеяло и спокойно засыпаешь.

Утром по тебе разгуливают куры. В ногах спят две или три кошки — тяжелые, как гири. Сыч улетел, спрятался. Конечно, где-нибудь на чердаке. Потому что все таинственное принадлежит чердакам. Под кроватью громко дышит, спит Эрик.

Тебе весело, и ты встаешь вместе с солнцем.

В комнате на цепочках висит стеклянный фонарь. На нем медная крышка, похожая на самоварную. Потянешь за крышку, фонарь по цепочкам ползет вверх, а крышка опустится. Прежде он был керосиновым, и крышка опускалась для того, чтобы подправить в горелке фитиль или почистить стекло. Фонарь тоже остался еще от прадеда.

Теперь вместо горелки вставили электрическую лампочку.

Я любил вытягивать крышку, наблюдать, как фонарь ездит по цепочкам.

Отсюда, с Бахчи-Эли, я увидел войну. Увидел ее вечером с дерева. Мы с Ватей залезли на высокий тополь, смотрели в сторону Севастополя. Там, где был Севастополь, сваленные ветром набок, шевелились пожары. Город бомбили немецкие самолеты.

Мы с Ватей сидели тихие, примолкшие на вечернем тихом тополе.

Отсюда, с Бахчи-Эли, ушел на фронт мой дядька Борис. Ушел через окно. Не хотел, чтобы провожали, расстраивались. Поэтому незаметно выпрыгнул на улицу, когда в комнате никого не было. Видел только я один. Случайно.

Наступила взрослость. Сразу, неожиданно, вместе с бомбами в Севастополе.

## 2

В свое детство я приехал на трамвае, старом, с открытым прицепным вагоном и звонком, по которому вожатый бьет ногой, и звонок «плямкает», предупреждает об опасности.

Спрыгнул на ходу, на том самом крутом повороте, где скрипят колеса и трамвай почти останавливается. «Плямкая», трамвай уехал, а я пошел к своему бывшему дому. К желтой акации и разохшейся калитке. На что надеялся — не знаю.

Аксюша здесь уже не жила. Ватя погиб где-то в трудовом лагере в Германии. Старик с виолончелью, конечно, умер. Инкассатор Мартын Кирьянович еще при мне получил пенсию и уехал на Урал к старшему сыну. Почтальон Кима вышла замуж и тоже уехала.

Я остановился возле почтового ящика. Он был на прежнем месте. Висел на двух загнутых кверху гвоздях. Щель для писем прикрыта металлическим козырьком?..

Я сорвал на обочине дороги ромашку и бросил в ящик. Все еще на что-то надеялся. Вот поверну за угол и увижу степь, дом с башней.

Повернул, но степи не увидел и дома с башней тоже. Новые высокие постройки заняли степь, закрыли дом с башней. Он стал просто незаметен и неинтересен. Кончились тайны, кончилось волшебство.

Прошел я немного и увидел новый магазин и водонапорную станцию. Прежде здесь стояла афишная тумба. Возле нее я поцеловал Аксюшу в щеку. Аксюша очень тогда расстроилась. Я тоже очень расстроился.

Сюда же, к афишной тумбе, прикатывал тачку продавец мороженого, в белом фартуке и в белых нарукавниках.

Ребята спешили, бежали к нему, сжимая в ладонях серебряные монеты, вытряхнутые из копилки. Заказывали порции за двадцать пять, пятьдесят и семьдесят пять копеек. С восторгом следили, как продавец намазывал плоской ложкой столбик мороженого на круглые вафли. За двадцать пять копеек — столбик маленький, за пятьдесят — побольше, а за семьдесят пять — совсем большой! На вафлях написаны имена. Гадали — кому какие попадутся.

Поблизости от тумбы для афиш было бревно через канаву. Вата с него упал и утопил портфель с тетрадями и учебниками. Сейчас — ни канавы, ни бревна.

У этого кирпичного забора Беркеш пристраивал точильный станок. Давил на педаль и пел песни. Где-то Беркеш теперь?

Среди садов поблескивает автострада. Тоже новостройка. Автострада прошла через Цыплячью Горку, плантацию французской лаванды, мимо стадиона, базара, вниз, в город.

А вот здесь, в траве, оставались после дождей лужи. Долго стояли потом, тихие и светлые. Напоминали аквариумы.

Тополь, с которого мы с Ватей увидели войну. Нет. Вроде не тот. Может быть, другой? Рядом? Все тополи выросли, и непонятно, какой из них двадцать лет назад был самым высоким.

Желтая акация, разошедшаяся калитка — я стою у своего бывшего дома. Заглянул между досок калитки во двор. Дорожки во дворе залиты асфальтом. Двери сарая открыты. Но это уже не сарай, а гараж.

Колодца нет. Засыпали, конечно. Теперь он и ни к чему, если построили водонапорную станцию. Там, где прежде стоял топчан, стоит детская коляска. Верх у коляски поднят, занавески задернуты. На пороге дома — резиновые коврики. Никаких скребков для грязи. Чердак закрыт. Лестница убрана.

Ну что? Постучать в окно, как стучал когда-то? Но кому стучать?

Я не приехал в свое детство. Нет. Я приехал в чье-то новое детство, такое же летнее, хорошее, но чужое. Того, кто лежит в коляске, или вон тех ребят, которые напротив, на тротуаре, прекратили игру и наблюдают за мной.

И я уйду с Бахчи-Эли, оставив в почтовом ящике ромашку.

Уйду обратно, туда, где трамвай почти останавливается на крутом повороте и на него можно вспрыгнуть на ходу.

### 3

Я, как и прежде, слушаю детство. Могу закрыть глаза и видеть то юное и далекое, что было.

Это во мне и со мной. И от этого всегда хорошо.

Но приехать в свое детство нельзя, даже на старом трамвае.



---

*К столетию со дня рождения Рабиндраната Тагора*

**РАБИНДРАНАТ ТАГОР**

★

**МОИ ПЕСНИ**

Мои песни подобны речным цветам,  
Которые вниз по теченью куда-то несет река.  
Речные цветы — ни листьев у них, ни корней.  
Смеясь чему-то, довольные чем-то, танцуют они  
на волне.

Когда же приходит период дождей,  
Тяжелые волны бегут по реке.  
И с волнами вместе  
Цветы моих песен  
Уносит поток  
Далеко-далеко.

Никто не знает, откуда они и куда их путь.  
Солнце сияет, и в светлой воде  
Речные цветы плывут  
В незнакомые страны,  
К пределам туманным.

**В ДЕНЬ УХОДА**

Вот что хочу сказать я в день своего ухода:  
То, что я взял от жизни, я получил без счета,—  
Лотос прекрасных истин, жемчуг бесценных мыслей,  
Нету числа подаркам, что мне дала природа.  
Вот что хочу сказать я в день своего ухода.

Мир — магазин игрушек, взрослые — те же дети,  
Не надоест до смерти играть нам в игрушки эти.  
Но Стерегающий Печали, вечный и безначальный,  
Рано иль поздно уводит каждого в двери свободы.  
Вот что хочу сказать я в день своего ухода.

\* \* \*

Все, что приходит, все, что уходит,  
Двигается по одному пути.  
Кто закрывает дорогу ухода —  
Мешает тому, что должно прийти.

\* \* \*

Верящий только в сраженья,  
Кто богу силы предан —  
Терпит в душе пораженья,  
Одерживая победы.

\* \* \*

Великое дело великим свершеньем  
Венчает себя,  
Большая потеря большим утешеньем  
Врачует себя.  
Но мелочи дела, мелочь потери  
И мелочь забот —  
Вот что любого всего вернее  
С ума сведет.

\* \* \*

Я поле вспахал,  
Засеял зерном отборным.  
Созрел урожай —  
Никто обо мне не вспомнил.

\* \* \*

Творец бывает часто глух  
К слепому обожанью.  
Куда скорее может бунт  
Привлечь его вниманье.

*Перевел с бенгали А. Горбовский.*



---

## РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

ЛИНО НОВАС КАЛЬВО

★

### *Плохой человек*

**М**арио Тринкете был плохой человек. Он, наверное, и сейчас такой. Шатается бог знает где. пристаёт к людям, затевает драки. Ему все нипочем, он плюет на все и на всех: и на Куку Рамос, и на Таику Пеньяльвер, и даже на изуродованную им девочку. Ему ничего не стоит угодить в полицейский участок, и даже не один раз; он только и знает, что «левачит»; бывает, что и разобьет машину; а иной раз посадит с собой какую-нибудь красотку — и только его и видели.

Теперь-то уж, правда, все переменялось. Теперь и машины не те, и шоферы не те, и даже участок не тот. Другие времена, и люди другие, и машины. Да и самому Тринкете сейчас, наверное, лет сорок, не меньше.

Ну так вот. Я работал тогда шофером такси вместе с Марио. Только я пришел раньше. У меня были водительские права, но я был еще молод, и мне дали древний «фордик» с педальным управлением. Бывало, взберешься на «козлы» и только и слышишь со всех сторон: «Извозчик! Извозчик!» Но мне было наплевать; я привык и не обращал внимания. Когда мне этот «фордик» достался, на них уже никто и смотреть не хотел. Поэтому нас и дразнили «извозчиками». Все шоферы гонялись тогда за новыми машинами. Они форсили перед девчонками, выстраивались у отелей и на пристани, а по ночам с шиком подкатывали к дверям кабаре и подвозили проституток. У этих ребят были свои постоянные клиенты, и они сажали их, не соблюдая очереди на стоянке такси. Мне тоже хотелось бы так пожить, но я был тогда совсем желторотый — не знал даже названий улиц.

До того я работал возчиком и жил на улице Кристины. У меня был маленький упрямый муленок и тележка. Я развозил сладкие булочки. С утра мы объезжали все таверны нашего квартала и продавали владельцам булочки. Их очень любили местные жители: и негритянские ребятишки, и белые — конечно, самые что ни на есть бедняки, — и всякие бродяги...

---

Лино Новас Кальво (р. 1905) принадлежит к поколению кубинских писателей, вступивших в литературу в тридцатые годы, в период подъема революционного движения против диктатуры Мачадо. Он известен как автор рассказов, а также как переводчик и поэт. Наибольшей популярностью пользуется его сборник «Девятая луна и другие рассказы». Публикуемый рассказ был написан до кубинской революции и вошел в сборник «Другой остров», изданный в 1959 году.

Как-то раз, это было на Инфанта, мой муленок вдруг остановился — и ни шагу. Я, конечно, давай колотить его. Тут вдруг откуда ни возьмись является мисс Ридер — и начинается концерт. Чего только она мне не наговорила! Цветочки и ягодки у нее на шляпке дрожат, голос дрожит, а она все сыплет и сыплет, сыплет и сыплет. А я слушаю и молчу — не пойму никак, в чем дело. И только что она кончила, муленок вдруг глянул на нее эдак сбоку, искоса и... пошел. Сам, без всякого кнута! Вот как бывает.

Только с этого дня мой муленок чуть завидит женщину в шляпке — сейчас же остановится посреди улицы послушать, что она будет говорить. День ото дня все труднее было с ним управляться. Станет посреди улицы и стоит, оглядывается по сторонам. Пришлось в конце концов продать его вместе с тележкой и со всем добром.

Вот тут-то, спасибо ему, и подвернулся мой дядя Андрес, раздобыл где-то шоферские права, и мы наклеили на них мою карточку. Тот человек-то, чьи были права, умер. Мне эти права здоровогодились. (Потом, когда я стал старше, я и сам получил права.) А по этим правам я звался Доминго Вильегас. Скоро я так привык отзываться на Вильегас, будто это и вправду мое имя. Хотя многие называли меня «Сам по себе» или «Вот наказание», а то еще — «Чудо-девочка». Это потому, что я так говорил.

Марио Тринкете появился у нас с новенькими правами. Он обошел весь гараж и всем и каждому совал под нос свои права. Ребята брали права в руки, разглядывали их со всех сторон будто бы вне себя от восхищения и наконец объявили, что они просто необыкновенные. Некоторые даже благоговейно чмокали фотографию Марио.

У многих из наших никогда и не было прав. Если у них спрашивал полицейский, они отвечали, что забыли дома; если их вызывали в участок, они не являлись. А если им запрещали ездить, то они некоторое время действительно не выезжали — сидели себе в гараже за бутылочкой и прохлаждались. Вот они-то и были настоящие шоферы и стояли куда больше всех тех, у которых есть права. Потом один из наших как-то разнюхал, что я ездю с чужими правами и что их настоящий владелец давно умер. С тех пор ребята прозвали меня «Покойничком». А хозяин гаража именно в тот день, когда узнал про права, дал мне новую машину.

— Ты это заслужил, — сказал он.

Всякое бывает.

Мой «фордик» хозяин передал новичку с правами — Марио Тринкете. В первый же вечер Марио вернулся с помятым крылом. Но хозяин не отнял у него машину. Клиентам не нравились эти старые «кофейники», а новички всегда аккуратно платят по счетам. Новичок готов увязнуть в долгах по горло, уморить голодом семью и сам ничего не есть, только бы расплатиться полностью, тютелька в тютельку, и за машину, и за бензин, и за масло. При этом хозяин давал новичкам такие машины, которые другие не брали и которые уже давно окупили себя с лихвой. Я ведь тоже прошел через все это — давно, когда еще не знал города и ездил по плану; он у меня всегда был с собой, в кармане. А все-таки как раз тогда мне и везло. Все говорят, что новичкам, которые ничего не знают — ни домов, ни улиц, — именно им-то и везет. На новичка неизвестно почему валяются со всех сторон клиенты. Он суется то в одну, то в другую улицу без всякого толку, а клиентов к нему притягивает словно магнитом. Такая уж в нем сила; вроде как у невинных душ. И все у него идет как по маслу. Но вот потом... Потом он становится умным. Он знает, где вернее добыть клиента, точно знает, в какое время его лучше всего поймать и... вечно попадает впросак. Таинственная сила перестает дей-

ствовать, а не такой уж он умный, чтобы обойтись без нее. И вот он должен ждать хозяину — и у него стбираюг машину. Теперь он должен ждать, ждать, пока запутается кто-нибудь другой (тоже умный), а потом добыть взаймы денег, чтобы снова внести за машину, и все в этом роде.

С Марио ничего такого не было. В первый день он вернулся немного помятым, но у него не отняли «фордика». Он дал хозяину два песо на ремонт и стал ездить очень осторожно. Никогда не ездил по улицам, где большое движение, и не превышал скорости в десять — пятнадцать миль. Бывало, конечно, иногда, что к нему садились пассажиры, которым надо было спешить. Они требовали, чтобы он ехал быстрее, и Марио немного нервничал. Один раз к нему сел судья, который спешил в суд, и стал ругаться, что Марио тихо едет. Марио терпел-терпел, а потом как рванет тормоз и велит: «Вылезай!» Судья выскочил из машины и бросился на Марио с тростью. Тогда Марио вылез из машины, вырвал у судьи трость и изломал ее в щепки. Потом прыгнул в машину, и только его и видели. Судья даже не успел разглядеть его номер. Марио вернулся в гараж и рассказал нам об этом. Все очень смеялись, потому что у Марио номера вовсе и не было, и ребята посоветовали ему поскорее завести себе номер. В общем, все было «олл райт» — вам понятно это слово?

Потом началась история с Кукой. Марио приехал из деревни, в городе у него никого не было. Кука работала в сапожной мастерской напротив гаража. Многие из наших знали ее как облупленную. Хозяин тоже знал, у него у самого раньше с ней кой-чего было. Она и вправду была красивая девчонка. Потом, конечно, у них с хозяином ничего уже не было. Раньше Кука путалась с мужчинами просто так, ни с того ни с сего. А потом она расплевалась со всеми своими ухажорами, завела себе настоящего жениха, и все как полагается. Это бывает. Ребята начали болтать о ней всякое: и что она строит из себя святую, и что она носит корсет, и что она перезрела... Они поджидали ее по вечерам и уговаривали изменить маршрут. Они говорили, если она не передумает, то у нее поплывут подшипники, полетит коробка передач, сгорит магнето, лопнет картер, разобьются фары. Но Кука гнула свое — у нее ведь был настоящий жених! — и все мы страдали.

Марио стал приезжать в гараж заправляться как раз в то время, когда Кука выходила из мастерской. А потом он поджидал ее на шоссе и тихонько плелся рядом на своем «форде». Кука не обращала на него внимания. Марио решил, что это она оттого, что у него всего только «форд», и стал приставать к хозяину, чтобы ему дали другую машину. Обещал платить больше всех.

В конце концов хозяин дал ему машину получше.

Но Кука продолжала ломаться и набивать себе цену. Хозяин дал Марио «додж», и тогда девчонка начала сдаваться. Марио приезжал за ней по вечерам, сажал ее рядом с собой в новую машину и возил далеко по шоссе, до самого Серро, выжимая на второй, а то и на третьей передаче до десяти миль. И Кука вроде бы закрутила с ним на третьей передаче — на танцах, на прогулках, на вечеринках они бывали вместе. Теперь у Марио была хорошая машина, и он неплохо подрабатывал по вечерам.

Часто их видели на танцах. Ребята говорили: куда же она теперь денет своего настоящего жениха? Но как раз Марио-то и стал ее настоящим женихом. Ребята знали за Кукой всякое, но помалкивали, а она выжидала. Она рассчитывала, что пройдет время, все забудут про ее прежние штучки, и она снова станет чистенькой, а Марио тем временем еще больше к ней привяжется. А может, она и любила его немножко. Он был парень крепкий, с ясными глазами, и душа у него была ясная,

чистая. А насчет ее прошлого — это пустяки. Она, видно, и сама поверила, что это пустяки.

Марио же и в голову ничего не приходило. У него была теперь хорошая машина, и кое-кто поговаривал, что хозяин для того и дал ему эту хорошую машину, чтобы он прочнее пришвартовался к Куке. Чтобы самому хозяину легче было от нее отвязаться. А может, он рассчитывал, что, когда Марио вплотную к ней пришвартуется, он, хозяин, сможет без риска продолжать с ней шашни. Не знаю, может и так.

А другие говорили, будто хозяин и сейчас крутит с Кукой, что они знали еще, когда она была двенадцатилетней девчонкой и ходила в школу, а он работал шофером у какого-то важного «полнтика» — тот всегда выдавал замуж своих девушек; потому-то теперь и хозяин пообещал Куке найти жениха. Не знаю; все может быть. Марио ничего этого не знал и ни о чем не заботился. Его машина и вправду была очень хорошая. Теперь он уже не был несчастным «извозчиком», не срывал по песете со случайных пассажиров, а имел постоянных клиентов. Говорили, будто бы сам хозяин нашел ему клиентов, чтобы поскорее окупить новую машину и чтобы Марио поверил в свои силы и еще больше прилип к Куке. И тогда хозяин сможет без всякого риска продолжать с ней крутить. Так говорили. Не знаю. Люди много чего болтают.

Но не в этом дело. Марио связался с Кукой и стал работать со стоянки. Теперь он уже не был ни «халтурщиком», ни «извозчиком», ни «кош-кодавом» или еще чем-нибудь в этом роде. Он ездил со стоянки.

Хозяин покрасил ему машину в серебристо-серый цвет, поставил подфарники, дал запасную резину. Потому-то и болтали всякое. На других машинах хозяин ничего такого не делал. По утрам Марио выезжал на стоянку на Пласа, на Консуладо или на Марина и ждал. А мы в это время на своих паршивых машинах носились по улицам, норовя перехватить одну-другую песету, когда люди спешат в конторы, в магазины и все такое. Марио же не спешил, он ожидал на стоянке дольше всех и уезжал позже всех. Кука перестала даже ходить мимо нашего гаража. Она ходила теперь по противоположной стороне и сворачивала на первом же углу, и пояс она теперь затягивала, а не распускала, как раньше.

Мы почти перестали видеть Марио. И даже когда бензину оставался всего один галлон, мы все равно не ездили в гараж заправляться, если знали, что в это время Кука выходит из мастерской.

Мы перестали думать о Куке. Это совсем эсобе дело — перестать думать о женщине. Мне кажется, шоферу это легче, чем кому-нибудь другому. Разъезжаешь себе туда и сюда и чувствуешь себя свободным. Никакая девчонка не привяжет тебя накрепко. А уж оседлать шофера — это еще ни одной женщине не удавалось. Вот и о Марио мы вовсе не беспокоились, что его оседлают. Он сказал нам, что хочет обязательно добиться одной машины (это ведь он про Куку говорил!). Его спросили, какой марки, а он говорит — гоночная, по специальному заказу. Мы не поверили, что бывают такие машины — по специальному заказу. Может, нам просто не хотелось верить, чтобы зря не мечтать, не строить планов, не думать. Многие из нас для того и занялись шоферским ремеслом, чтобы не думать. Не думать, не останавливаться, не верить, не привязываться ни к чему, нигде не становиться на якорь. Ведь шофер видит и слышит такое, чего другой никогда не увидит и не услышит. Шофер ничему не верит, он знает все тайны, все понимает и надо всем смеется. Шофер — самое уважаемое лицо в Гаване. Он на равной ноге со всеми: с полицейскими и с тайными агентами, с депутатами и с игроками, с музыкантами и поэтами. Он понимает немного по-английски и болтает с туристами. Он говорит «ты» всем мужчинам. Он всем приятель. Он знает жизнь и с лица и с изнанки, а сам только скользит по ее повержно-



сти. Вот так и живет шофер. Он свободен. Он платит за свою машину и за свою комнату, охмуряет какую-нибудь бабенку, а по ночам затевает с другими шоферами гонки по пустым улицам.

Так было раньше. В те добрые времена еще можно было ни о чем не думать. Вот и Марио: ухаживал за своей новенькой машиной, лихо носился на третьей скорости и бесшумно останавливался у тротуаров. По субботам и воскресеньям он надевал новый костюм — белые брюки и синий пиджак — и отправлялся на танцы в Луйано. Надо же Куке покрутить бедрами!

Он возвращался в гараж, заработав за день десять-одиннадцать песо, а иногда (под Новый год или на рождество) и пятнадцать, а то и все двадцать. С ним никогда ничего не случалось. Ни разу. Он не попадал в участок, у него никогда не отбирали водительских прав, даже мелких происшествий почти не было, разве что раньше, когда он еще работал на старом драндулете, оштрафуют на песо раз-другой. А после даже и это кончилось. Марио сообразил, что если у тебя хорошая машина, то лучше быть в дружбе с полицейскими, и стал время от времени ставить им бутылочку. К тому же сам он работал всегда очень осторожно. Он никогда не ехал на красный свет, не носился по вечерам без пассажиров по Обиспо или по Сан-Рафаэль, плюя на всякие правила. Ничего такого за ним не водилось. Он ездил всегда чин чином, скользил мягко, как кошечка, особо не торопился, получал свои шесть или семь песо на подарки Куке, копил на домик и обстановку и ни о чем не думал.

Но все это было вначале. Потом все пошло по-другому, и мы научились понимать многое.

Марио был, пожалуй, самый беззаботный из нас. Он с самого начала привык быть первым и думал только о себе. Наши дела его не интересовали. Мои, например. Мы никогда не были с ним на короткой ноге. Мне не приходилось спокойно дожидаться на стоянке своих клиентов. После того «форда» я поездил на всяких машинах. И на прогулочных, и на гоночных. Приходилось и «левачить», и удирать от полиции. Всякое бывало.

Марио же ездил потихоньку и никогда не рисковал. Все были уверены, что он никогда больше не помнет крыла и никогда ни с кем не столкнется, разве что какой-нибудь псих сам ткнется в него. Мы не сомневались, что уж он-то никого не задавит, если даже люди начнут сами бросаться под его машину. Хозяин держал его в узде. Он по-прежнему ездил со скоростью не больше пятнадцати миль в городе и тридцати — сорока миль за городом. На стоянке болтали, будто он раньше работал шофером в каком-то важном доме, возил в большом лимузине старых дев. Вот и привык так ездить.

Поэтому сначала никто не поверил. Никто из нас не поверил, когда сказали, будто Марио задавил девочку. Он никогда и не ездил по тем улицам, где играли дети. И все же так оно и было — он наехал на девочку, и «скорая помощь» увезла ее в тяжелом состоянии. Марио, бледный, неподвижно сидел в машине. Он молчал и смотрел перед собой, а рядом стоял полицейский. Нашего хозяина вызвали взять машину, и он видел, как Марио неподвижно сидел, весь бледный, опустив руки на колени, и дрожал. Я сам возил хозяина за машиной Марио, и я видел, как он тогда сидел. Потом мы еще видели его в участке. Он все молчал и смотрел в стену широко открытыми глазами. Лицо вытянулось, позеленело. Газеты ухватились за это происшествие. Расписали, что машина, мол, везла туристов и мчалась по улице Соль с большой скоростью. Туристы сошли со своими чемоданами, пересели в другую машину и вдруг увидели, что возле машины лежит девочка, вся в крови. Девочка в опасности, писали в газете. Колесом задело ее по лицу. Девочке шесть

лет. Мать вела ее за руку по тротуару. Шофер задержан и отправлен в участок без разрешения взять его на поруки.

На этом кончилась история с Кукой и кончилось везение Марио. Даже его машина стала приносить несчастье. Ее дали другому шоферу, он был лихач и по вечерам возил разных коммерсантов; он скоро перевернулся во Фритас, недалеко от пляжа. Знаете, это бывает. Ждешь, ждешь, колесишь по городу целый день, а к вечеру тебя нанимает какая-нибудь компания и устраивает гонки. Другая компания берет другую машину — и начинается. Тебя возьмет за живое, и ты жмешь изо всех сил. Машина перевернулась возле самого поезда. Шофер вовремя сделал вираж. Тот, что ехал впереди, едва успел проскочить перед самым паровозом. Никто не пострадал, и в общем-то ничего такого не стряслось, но хозяин отобрал у парня машину и передал ее другому. Однако и здесь ему вскоре пришлось за ней ехать и тащить на буксире. Трамвай зацепил ее за передние колеса. Шофер хотел затормозить, но трамвай, битком набитый школьниками, мчался полным ходом. Машину чуть не разорвало пополам. Словом, она уже больше никогда не была такой, как прежде. Так же, как Кука. Так же, как сам Марио. Что было, того не воротить.

Кука прочитала, что написано в газете, и решила, что Марио не скоро вернется из тюрьмы. Она даже не пошла навестить его. Мы сначала ходили, но ведь не можем же мы без конца к нему ходить. Он ничего не просил, только все спрашивал о девочке. Один раз сказал, что она все время стоит у него перед глазами такая, какой он ее тогда видел.

Вот тут-то и пришел конец Марио. Мать девочки звали Таика Пеньяльвер. Марио видел ее всего одну минуту. Это была еще молодая, бедно одетая женщина. На руках она держала еще одну девочку. Женщина была смуглая. И девочки тоже смуглые. Он не знал, какой у нее голос, когда она говорит. Он слышал только, как она кричала, и этот крик он тоже никак не может забыть, говорил он нам. Он все время слышит его. Он все время видит окровавленную девочку с раздавленным лицом и слышит вопль женщины. И все. И конец. Марио ничего не хотел, все ему было безразлично, он только все спрашивал о девочке и о женщине. Сначала доходили слухи, что ребенку лучше, но лицо останется изуродованным. Потом мы перестали об этом разговаривать, перестали ходить к Марио и узнавать о девочке. Мы не видели его несколько недель. А после мы прочитали в газете, что будет суд, но я на суде не был, я в это время ездил в деревню.

Вышло так, что никто из наших не был на суде, и Марио, когда вернулся, не пошел в наш гараж.

Больше он уже никогда не водил шикарных машин. Он как-то незаметно стал плохим человеком. Может, оттого, что раньше был чересчур порядочным. Таика пришла на суд, ведя за руку девочку, и заявила, что шофер ни в чем не виновен. Марио же считал себя виновным — он так и сказал, но женщина стояла на своем. Судья был тот самый, у которого Марио сломал когда-то трость, но он его не узнал. Судья все смотрел то на женщину, то на Марио, то на девочку. Она была уже вполне здорова, только на лице остались шрамы. Марио смотрел на ее изуродованное личико и в отчаянии крутил головой. Потом он опять посмотрел и увидел, как девочка таращит на судью свои круглые глазенки, оторваться не может, будто ей кино здесь показывают. Судья опять поглядел на женщину, а она улыбается. Ну, он и отпустил Марио.

Марио вышел вместе с Таикой и проводил ее домой. Оказалось, она живет одна с четырьмя детьми, пострадавшая девочка была самая старшая. Он вошел в комнату, а сам все глядит и глядит на девочку; а ма-

лыши окружили Марио — палец в рот и смотрят, будто чего просят. Марио нечего было им дать. Тогда Таика сказала, что он может остаться у них. Комната была перегорожена, в одной каморке без окон была дверь на улицу, а в другой — на внутренний двор. В этой стояла кровать. Таика сказала, что мужа у нее нет и, если Марио хочет, он может остаться здесь жить. Потом позвала девочку, посадила ее Марио на колени и говорит: скажи, мол, ему, что он ни в чем не виноват и что ты теперь его дочка. И еще, мол, скажи, если Марио хочет, пусть остается с нами.

Марио сидел, держал девочку на коленях и слушал, как она говорит. Говорила-то она разборчиво, но личико было все в шрамах. Их уж ничем не стереть.

Марио был тогда еще порядочным. Он остался с Таикой, и через год она родила ему сына, посветлее остальных ребятшек. А девочка росла стройненькая и складная, но шрамы были здорово заметны, и всякий раз, на нее глядя, Марио вздыхал и корил себя. Он жил с Таикой со дня суда. Она была намного старше его, одна, с четверьмя детьми, и тоже из деревни. Она говорила, что троих ребятшек привезла из деревни. Отец их умер внезапно. Может даже его убили. Потом она жила с отцом четвертого малыша, и тот тоже умер. А теперь вот Марио. Все ее мужья умирали, говорила Таика. Во всяком случае, для нее это так и было. Потому что, когда муж от нее уходил, она говорила, что он умер. Но на Марио она крепко надеялась: он не уйдет — из-за девочки.

— Ты должен жить для нее, потому что это ты убил ее,— говорила она.— Она все равно что убитая, хоть и живая. Кроме тебя, у нее никого нет и не будет, и некому ее любить и ласкать, потому что ей никогда не найти мужа.

Они прожили еще год все в той же комнате, и Таика наградила Марио еще одним младенцем. Пришлось искать комнату побольше, и Марио опять поселился в нашем квартале. Вот тогда-то мы и увидели его снова и увидели девочку, хотя он отрицал, что это та самая, которую он задавил.

— Та умерла,— говорил он.— Меня отпустили, потому что моей вины тут не было. А эта просто моя падчерица.

Ему никто не верил.

Времена изменились. На старых машинах работали теперь одни только «извозчики» — возили с рынка корзины, а в часы, когда люди отдыхают, дребезжали по улицам, устраивая свои дурацкие гонки. На этих машинах работали старики. Многие из них были раньше извозчиками. Машин они не любили, и, по сути дела, их и шоферами-то назвать нельзя. Если говорить о настоящих гаванских шоферах. Вам понятно, что это значит? Каждый год появлялись автомобили новых марок, и те, кто любит машины, умели в них разобраться. И каждый хозяин знал, кому давать новую машину,— опытному шоферу, который может с ней обращаться. Но только не старикам. Не старикам, не трусам, не новичкам. Нам, только нам — настоящим шоферам. Настоящий шофер если и «левачит» на новой машине или дает ее на часок-другой «объездить» приятелю, зато уж и вернет ее хозяину, как игрушечку, и двигатель у него работает будь здоров, без всякого треску. Когда надо, мы умели выжать из машины все, на что она способна, а когда надо — попридерживать ее прить. Настоящий шофер обращается с машиной, как с любимой дочкой,— он ее холит, нежит, удерживает от глупостей и дарит ей время от времени платица и чулочки. Если надо, настоящий шофер умеет и обуздать машину, заставить ее тихонечко катиться по улицам, почти не расходуя бензина, а когда можно — где-нибудь на загородном шоссе,— мчать во весь дух, не считая галлонов. Сами хозяева тоже когда-

то так делали, да и теперь хозяин выезжал иногда с кем-нибудь из нас на рассвете, часу в четвертом, и мы сжигали с ним пару галлонов. Так что видите, какие были тогда шоферы! Потом шоферская братия раскололась. Появились «эссексы». Лагримита открыл большой гараж, битком набитый этими новенькими машинами, выкрашенными в красный и желтый цвет. Мы запросто с ними справлялись. Лагримита вывесил в гараже большую доску и на ней отмечал, кто ему должен два центаво, или три, или один. А если кто задолжает пять — у того отнимал машину. Тогда многие стали еще больше «левачить», потому что жаль было расставаться с этими машинами. Были, конечно, и такие, которые работали «налево» просто для того, чтобы иметь лишний грош, а не ради того, чтобы сохранить за собой машину и не должать хозяину. А многим пришлось вернуться на старые драндулеты. Марио тоже сел на драндулет. Таика сумела его убедить, что новые машины выгодны только хозяевам. Она уговорила его, будто на старой машине больше заработаешь для себя. А ему ведь приходилось кормить ее и весь ее выводок. Он и сел на драндулет. И потом еще у него появился какой-то страх. Он боялся новых машин и предпочитал старую рухлядь. И с виду он стал стариком, лет на десять—пятнадцать старше, чем на самом деле. С раннего утра мотался он по городу, стараясь подработать одну-две песеты. Теперь его уже нельзя было назвать прирожденным шофером, как наши ребята. Мы перестали его уважать, просто за человека его не считали. Он вернулся в наш гараж и сел на старый «форд». Многие шоферы ушли из этого гаража к Лагримите, поэтому хозяин предложил Марио новый «додж». Но он не захотел.

Так он и ездил на старом «форде»: рубашка без пуговиц, шея замотана шарфом, согнется, ссутулится над баранкой в своей кожаной куртке... Он начал выплачивать в рассрочку за этот «форд». Шоферы стали говорить, что Таика его опутала, что она, может, нарочно сунула девочку ему под колеса, чтобы вернее зацапать Марио и держать его под каблучком. Я пару раз был у Марио, в его комнате поблизости от гаража, заставленного старыми машинами. Он и вправду здорово переменился. Таика же помолодела. Светленькому сынишке Марио было уже два года. А девочка росла как на дрожжах. Она поднималась, как молодое деревцо. И уже скоро стала посматривать на мужчин, а они на нее, если подойдут к ней с того бока, где все в порядке. Один Марио совсем сдал. Он поседел, заросшие щетиной щеки провалились. И машина его старела. Она вся пскрылась трещинами, как Марио морщинами, и тоже кашляла. Некоторые говорили, что Таика его сглазила, что она ведьма и пьет из него кровь; потому-то она и помолодела, стала завлекательной и поглядывает на других мужчин. Много чего говорили. Не знаю — правда, нет ли.

Марио все-таки был наш, из нашего гаража, он был из того же теста, что и мы, и нам тяжело было видеть, как он идет ко дну. Это все равно, что видеть себя, каким станешь через двадцать лет. Пересядешь на старую таратайку, будешь гоняться за каждой песетой, а дома тебя будут ждать жена и куча ребятишек. Правда, Таика не очень-то смотрела за ребятами. Они все больше вертелись вокруг гаража. И девочка тоже. Говорили, что от рубцов ее можно вылечить, — сделать операцию. Что будто бы в Штатах ей могли бы пересадить кожу и нарастить мускул, только нужны деньги. Может быть. Такие вещи никогда нельзя знать наверняка. Врачи сами часто ошибаются. А Таика целые дни пропадала где-то и ничего не приносила в дом. Она села Марио на шею, но он не бросал ее. Из-за девочки. Он все еще был порядочным. Он ослабел, выбился из сил и понимал, что не подходит для такой женщины. Ведь она хоть на десять лет и старше его, а по бабьей прыти своей — на все десять

моложе. У нее было больше огня в крови и в глазах. И телом она была крепче его. А может, и душой пожестче. Марио все это понимал. Он ездил целые дни на своем «форде», а Таика шлялась.

Прошло два года, и Таика опять стала пухнуть. Марио знал, что он здесь ни при чем, но не сказал ни слова. Она родила еще мальчика, тоже светленького. Но Марио было все равно. Он кончил выплачивать за «форд», а дела пошли еще хуже — проклятая таратайка начала разваливаться. Что ни день, приходилось что-то покупать, что-то исправлять, что-то налаживать. То менять покрышки и камеры, то отремонтировать двигатель, то прочищать бензопровод, то покупать запчасти. Словом, это было хуже, чем выплачивать за него. А по ночам Таика еще пилила Марио. Она говорила, что он принес ей несчастье.

— Ты принес нам горе, из-за тебя все наши беды, ты погубил мою дочку. Наделал детей, а сам не приносишь в дом ни гроша.

Вот как бывает на свете.

«Форд» давал мало, а в доме появился лишний рот, и есть было совсем нечего. В то время вообще дела пошли хуже. Потом-то стало совсем плохо, и мы поняли, что это было еще не худшее. Но тогда мы считали, что наши дела никуда не годятся. Нам, настоящим шоферам — тем, кто работал на «эссексах», на «бьюиках», на новых «доджах», на «плимутах» или на «крайслерах», — приходилось худо.

Новые модели каждый год заменяли старые «форды». Поэтому Марио ничего не оставалось делать, как тянуть лямку, работать по ночам и потом засыпать за рулем. А это, конечно, опасно. Марио плохо питался и совсем ослабел. От голода ему все время хотелось спать, ведь если поспишь немного — не так хочется есть. У нас многие клевали носом за рулем, но по другим причинам: кто прогонял до утра по шоссе, кто ездил за город с девушками. Это случалось. У некоторых были клиенты и приятельницы, которых надо было подвозить на рассвете, некоторые возили в это время туристов, некоторые — музыкантов. Бывало, что шофер ездил с музыкантами с одного бала на другой или допоздна «левачил» — ловил туристов и других клиентов у кабаре и баров. Это было здорово. «Левачить» у пристани, не стоять в очереди на стоянках, ездить по казино, барам и кабаре. У меня был тогда новенький «крайслер». Эта машина говорит сама за себя. Но не в этом дело. Мы никогда не надеялись только на машину да на счастье. Надо самому быть ловким и уметь подловить клиента. Мы ведь не какие-нибудь «стояночники» или «извозчики». Мы все можем. И машина у нас наготове, чтобы, когда надо, тотчас сорваться с места. Заработать можно в порту, если пришел пароход, у бара, когда там много народу, у театра, если идет дождь, а то у кабаре, если там, например, все стоят в очереди два часа, а кто-то попытался пролезть, договорившись с полицейским, и теперь ему надо удирать от скандала.

Шофер чует добычу, как тигр. Он медленно проезжает вдоль ряда машин на стоянке, ему кричат, но он не оглядывается. Некоторые начинают злиться и иногда даже швыряют чем-нибудь вслед. Но он возвращается и становится в сторонке. Он наготове, мотор работает. Он ждет. Вся улица в его власти. И машины и пассажиры со всеми их потрохами — тоже. Вот что такое шофер, когда он работает налево! В конце концов нам всегда удавалось вовремя смяться. Наши машины уж так были устроены: рывок — и только нас и видели. Так всегда: притаишься где-нибудь, потом кинешься и... ищи ветра в поле. Да, это была жизнь! Зарабатывали мы то много, то мало. Бывало, что на день всего одна ездка придется, поработаешь какой-нибудь час, и все. А то целых пять часов за баранкой! Когда как. Это как в игре, или как рыбу ловить

или охотиться. А то, может, вроде штурма или когда хочешь взять приступом красотку.

Вот так работали в наше время. Ну, потом все это кончилось. Времена пришли тяжелые, и ни к чему не было охоты. Игра кончилась, стало не до веселья и не до танцев. Даже туристы перевелись. Я и сам полез в политику и в тому подобное и бросил свой «крайслер».

Ладно, не об этом теперь речь. Хотя все-таки мы продержались дольше, чем «форды».

Марио пришлось со своим «фордом» распрощаться и взять другую машину, опять в рассрочку. Таика его «фордик» продала. Марио в это время болел, он лежал три дня, а когда поднялся — «форда» уже не было. Таика его разобрала и распродала части. А как кончились деньги, она вытащила Марио из постели, приволокла в гараж и сказала:

— А ну-ка, садись за руль!

Она сама нашла ему машину, хотя и не новую. Но он уже не мог. Надо было начинать все сначала, а он уже ни на что не годился. Новая машина была «шевроле», еще вполне приличная. Но Марио уже не мог быть настоящим шофером. Он не мог быть уже ни халтурщиком, ни «извозчиком», ни «стояночником». Не мог быть даже «карманником». В то время были такие шоферы — «карманники». Вот как бывают воры-карманники. Они ездили по улицам в такое время, когда никто не ездит, и брали всяких подозрительных клиентов, которых надо было везти с отчаянной скоростью. Марио и таким не был. У него кончился завод. Он ездил кое-как, и его обставляли все: и у кого машина лучше и у кого хуже — все равно. Так что иногда он даже не привозил полной выручки. Таика поджидала его возле гаража и отбирала большую часть денег. Остальные он отдавал хозяину. Хозяин знал, что Марио бережет машину и что он хороший работник, поэтому он иногда прощал ему неполную выручку. Но не всегда же! Мы все знали, что Марио человек честный, но ведь это еще не все.

Мало быть честным или даже нечестным. Надо еще, чтобы тебе везло и чтобы не отчаиваться, когда не везет. А Марио отчаялся. Он уже сам не хотел, чтобы ему повезло. А не повезло ему во всем — и с Таикой и вообще. Но в душе он все еще оставался порядочным. Он не мог связаться с Таикой, не мог бросить девочку (она стала уже совсем взрослой), не мог справиться с собой. Он был словно связан по рукам и ногам и не мог оторваться от Таики, от девочки и остальных детишек. Может, это пролитая кровь такое с ним сделала. Таика рассказывала, что он все еще видит во сне кровь. И даже чаще, чем в первое время. Марио сначала все видел во сне кровь, а потом перестал. А теперь вот опять начались эти сны. Это что-то значило. Таика испугалась. Она решила, что Марио хотел ее бросить, но кровь девочки снова стала являться ему. Это чтобы его удержать. И правда, эти сны ведь давно кончились, а тут снова начались. Чтобы привязать его. Так и есть.

А началось вот с чего. Марио действительно хотел уйти. Девочка уже была большая, и рубцы стали меньше заметны. За эти пять или шесть лет она превратилась в настоящую женщину; она напускала волосы на изуродованную щеку, и иногда даже ничего не было видно. А Марио совсем дошел до точки. Он стал как будто еще длиннее и на ходу горбился, будто за рулем, и так исхудал, что все на нем болталось. Глаза совсем ввалились и смотрели как-то по-чуждому, пристально. Некоторые даже говорили, что он не в своем уме, что Таика ему чего-то подсыпала или еще как-то околдовала, и вот теперь он постепенно сходит с ума.

Хозяева поверили в это и перестали давать ему машины. Он начал переходить из одного гаража в другой, чтобы получить какую-нибудь

средненькую машину там, где его не знают. Потому что на средненькие меньше спрос, чем даже на плохие. Ему всегда доставались средненькие. Он протянул так еще несколько месяцев. Таика даже решила, что с ним теперь все в порядке и что, может, в другом гараже ему повезет. Потом четыре месяца подряд Марио каждый день приносил домой деньги. Таика купила себе новое платье, и мужчины на улице стали опять на нее поглядывать. Марио же перестал приходить по ночам домой. Он ночевал теперь в машине — остановится где-нибудь в предместье, в тихом уголке, где нет полицейских, и спит. Иногда явится полицейский, растолкает его дубинкой, он тронет машину, отъедет подальше и опять остановится и спит. По утрам он заходил домой, оставлял деньги и опять уходил.

Так что теперь Таика не знала, видит ли он еще кровь во сне. Она думала, что он все так же связан, и забыла о своих страхах. Летом Марио заметил, что у нее опять растет живот, но промолчал. Может, ему было все равно. Не все равно бывает только вначале. А после уже все равно. И потом, может быть, он уже не был порядочным, он уже начал становиться плохим, сам того не замечая. Не сумасшедшим, а плохим. Он решил, что ничего пугного он все равно сделать не сможет, что все конечно, что дальше идти некуда. И ничего хорошего уже не будет. Ничего. Он носил домой деньги, видел, как Таика пухнет, и — хоть бы слово. А у самого глаза еще больше ввалились. И теперь он опять глядел неподвижно, с ужасом, как тогда, когда наехал на девочку. Но Таика мало его видела и была спокойна. Может, она и вправду подсыпала ему чего-то и поэтому была в нем так уверена.

Вот тут-то все и началось. Говорили, что ему наконец осточертела такая жизнь. Он вдруг перестал приходить домой, и Таика не могла его нигде найти — ни на стоянках, ни в гаражах. Потом один шофер сказал, что видел его на улице — он шел пешком, иногда останавливался на перекрестке и внимательно смотрел на прохожих. Он был грязный, заросший, а глаза у него горели и словно сверлили всех... Таике об этом ничего не сказали. Она искала, искала и решила, что Марио пропал навсегда. Как-то она все же ухитрялась справляться и без его денег. Дети все так же вертелись возле нас, попрошайничали, а ее целые дни не было дома, и никто не знал, где она: Таика думала, что Марио разбился. Каждый день газеты сообщали о погибших при несчастных случаях, и мало кто их читал. Таика же газет не читала вовсе и решила, что Марио погиб. Тогда она начала оплакивать его, приходила в гараж, распрашивала, говорила, что Марио был такой хороший и что вот всегда хорошие люди недолго живут на этом свете.

Потом все вдруг пошло по-другому. Марио снова появился на гаванских улицах, да не пешком, а в машине. Машина была новехонькая, вся сверкала, а сам Марио был шикарно одет и лихо вел машину без всякого страха. Потом он заехал домой. Денег он не дал, на Таику с девочкой посмотрел так, будто ему на них плевать, и ничего им не сказал. Сказал только, что девочка совершеннолетняя и может делать, что хочет. Около дома стояла его новенькая машина, он сел в нее и укатил. Он проехал мимо нашего гаража в клубах пыли, будто потешаясь над нами.

Это что-нибудь да значило! Наши машины тоже ведь были последних марок. Но это была совершенно новая модель, на такой ездить — одно удовольствие. Эдаких еще ни у кого из таксистов не было. Позже — да. Но тогда Марио был первый в Гаване, у кого была такая машина. Шестицилиндровая — это вам не что-нибудь! Потом-то мы узнали, как все получилось, как Марио свихнулся и вообще про все его дела. Таика пришла в гараж и всем рассказала. А потом пошла и в другие

гаражи и там гоже все рассказала, чтобы все знали, каким он стал. Марио больше не возвращался к ней, только изредка зайдет, вроде чтоб испытать себя, посмотрит на лицо девочки и уедет на новой машине, не оставив ни гроша. После мы вывели его на стоянке. У него были солидные клиенты. Лицо его округлилось, а глаза стали спокойными, холодными и злыми.

Таика все рассказала. Она разузнала, что с ним было. Когда Марио бросил машину и стал бродить по улицам, заглядывая в лица прохожих, в нем все росла и росла злорада. Она сосала его, выпила всю доброту из его глаз. И тогда он пошел на это. Никто не знал в точности, что там было. Кажется, Марио снюхался с одним парнем, и они стали вместе воровать бензин и масло и перепродавать их. Поэтому он тогда и приносил в дом каждый день деньги — то много, то мало. Но и это не было выходом. Его товарищ тоже был шофер. Однажды его наняли за город, он уехал и не вернулся. Он был из тех, что по улицам катят себе тихонько, а по шоссе дуют всюду, — хороший шофер. Марио с ним сдружился на том дельце с бензином и маслом, а когда парень не вернулся, Марио поселился в его доме, и ему досталась его жена и все его добро вместе с лотерейным билетом. Вот в чем было дело.

Вы, наверно, не верите. Никто не верит, что можно выиграть в лотерею. А все-таки некоторые выигрывают. Марио нашел этот билет в старой машине своего приятеля. Он спрятал билет и никому ничего не сказал. А потом он выиграл, купил себе новую машину и стал жить с женой этого приятеля. Он стал плохим человеком. Таика не знала, что билет был не его, а приятеля, но это было так. У Марио никогда не было столько денег, чтобы купить целый билет, а тот (ребята из его гаража знали это) всегда, когда только мог, покупал часть билета или даже целый. Он все говорил, что когда-нибудь он все-таки должен выиграть, живой или мертвый. Ну вот он и выиграл — мертвый.

Марио еще заходил иногда на свою старую квартиру посмотреть на девочку и на Таику, но никогда не давал им денег, хотя теперь они у него были. Теперь у него были деньги, но он не давал им, потому что он стал плохим человеком. Вот как бывает.

---

## РАМОН РУБИН

★

### *Разбойники*

Ночью разразился ливень, и когда на рассвете были обнаружены трупы, лохмотья на них промокли насквозь. Мертвецы висели; ветер раскачивал их; лохмотья, пурпурные от зари, надувались и хлопали, как два диковинных флага. Головы мертвецов свешивались на грудь. В утреннем свете смутно виднелись лица, искаженные гримасой боли и недоумения. Он был очень молод, но еще моложе была она — совсем девочка. Внизу, под ними, тоскливо выли худой, покрытый коростой пес, а рядом, равнодушный к жизни и смерти, тихонько пощипывал траву старый серый осел, со ссадинами на боках. Жесткие, четкие линии гор, казалось, подчеркивали трагизм картины.

На фоне кровотошащего рассветного неба темнела огромная, изорванная расщелинами гора. На склоне горы стояла хижина, теперь опустев-

---

Рамон Рубин (р 1912) — популярный мексиканский писатель, автор многочисленных рассказов из жизни индейцев, а также романов «Потерянное каноэ», «Сверчок поет», «Все голубеет в тумане» и других.



шая. У двери висела перекладина. Маленький попугай карабкался по ней, бесстыдно высккивал у себя насекомых и время от времени выкрикивал какие-то слова на языке отоми. Как видно, был голоден и сердился.

Хижина была пристроена к маленькой пещере в склоне горы. В этом жилище едва могли поместиться два человека. Возле хижины — сложенный из камней очаг, несколько глиняных горшков и служивший противнем кусок жести, на котором еще можно было рассмотреть изогнутую линию — дорожный знак, принесенный с шоссе. Шоссе проходило по склону горы, метров на восемь—десять ниже хижины и метров на сорок выше башни высоковольтной передачи, на которой висели теперь два трупа. Крыша хижины тоже была покрыта жестяными дорожными указателями, а стены сложены из побеленных камней, которые обычно окаймляют дорогу на поворотах. Белые стены придавали жилищу веселый и опрятный вид. Внутри пещеры потолок поддерживался подпорками из железных балясин, вероятно, вырванных из ограды небольшого моста, находившегося неподалеку.

Тут же, из трещины в склоне, бил родник — из него, очевидно, обитатели хижины брали воду. Возле родника росло несколько деревьев пиру́ и зеленела трава. Небольшой клочок земли на южном склоне горы был вспахан деревянным плугом.

Вокруг суровые пустынные горы; никаких признаков человека, только дорога и линии проводов, идущих из Некакса, да на другой стороне ущелья жерло старой, заброшенной шахты. Ни одной деревушки вокруг. За горами до самого горизонта тянулись льяносы Мексиканского нагорья. Черная линия дороги шла по отрогам Сьерры из Пачуки в Тулансинго; она вилась по карнизу, с огромным трудом выбитому в склоне горы. Дальше дорога поднималась на вершину, и там, за горой, находилась ближайшая деревня — Эль Окоте. Вокруг серая, скудная, сухая пустыня. Ни одного дерева, кроме редких чахлах пиру да бледных кактусов, с трудом цепляющихся за каменистую землю. Правда, по склону одного из холмов ровными, прямыми рядами сбегали агавы. Владелец их еще не присылал работников, чтобы выжать сок, и эти двое — Таурино и его жена, теперь уже мертвые, — иногда воровали немного сока, чтобы скрасить свою тяжелую жизнь.

Они родились не здесь. Они пришли из гористой Идальго — индейцы отоми — и поселились вблизи от города. Но они боялись цивилизации, и на это были причины, быть может, случайные.

Они поженились три месяца тому назад, там, в родном поселке, высоко над Акаксочитланом. Они были самыми бедными во всей деревне, но все же их семья постаралась, и свадьба была пышной. Когда в Акаксочитлан провели гудронированную дорогу, соединившую столицу с побережьем, весь этот горный район приобщился к цивилизации. И многих горцев ослепил ее блеск. В их числе оказался и юный Таурино.

Его старший брат давно уже работал на ткацкой фабрике в Тулансинго. Он без конца расхваливал прелести городской жизни и обещал брату помочь найти работу в городе. Таурино поддался на его уговоры. Но сначала он решил жениться на маленькой Хильде. Ей едва исполнилось тринадцать лет. По обычаю предков, их родители давно уже решили поженить их. Начались семейные советы, обмен подарками и визитами вежливости между старейшими членами обоих семейств, долгие моления, древние церемонии, вроде закапывания в землю по шею трех живых цыплят; потом танцы под монотонную музыку, буйные пиршества... Наконец они стали мужем и женой. И вот в разгаре своего медового месяца, захватив с собой сколько было утвари и продуктов, Таурино и Хильда отправились в Тулансинго. Они знали по-испански всего два-три слова, но были преисполнены самых радужных надежд.

Брат встретил их с неожиданной холодностью. Все его обещания оказались пустым хвастовством. Однако он не мог отказать им в ночлеге. Он стал хлопотать о работе для Таурино, но безуспешно. Подзуживаемый женой, которая вовсе не собиралась «кормить дармоедов», желая поскорее выйти из затруднительного положения, он посоветовал им поехать в Пачуку, уверяя, что там Таурино непременно найдет работу в шахте. Брат дал им на дорогу пятнадцать песо. Эти деньги казались им несметным богатством. Чтобы сберечь их, они отправились в Пачуку пешком. По пути, в безлюдном месте, недалеко от дороги, они увидели старого больного осла. Они порядком устали тащить свою ношу и решили погрузить ее на осла. Они наивно рассчитывали, что в Пачуке обязательно устроятся и тогда возвратят осла хозяину.

Но как тут было устроиться! В Пачуке им не только не дали работы, но люди, называвшие их «несчастливыми дохляками», посмеялись над ними и над их надеждами. Эти люди не стали затруднять себя объяснениями. Они не сказали им, что раздобыть работу — даже тяжелую и низко оплачиваемую — считается особым счастьем, которое выпадает немногим. Таурино и Хильда так и не узнали, какое множество людей, имеющих стаж, профсоюзные права и всякие другие преимущества, месяцами ждут работы и не могут дожидаться.

Враждебно встреченные тем миром, который издали казался им таким сияющим, благожелательным и щедрым, подавленные и растерянные, отправились они обратно в Тулансинго. Теперь они еще больше, чем прежде, нуждались в помощи своего тощего осла. Но до Тулансинго они не дошли.

Они заночевали у подножия горы и наутро увидели в каменистом склоне пещеру, где можно было укрыться от непогоды. Поблизости была вода, годная для питья. Тогда-то им и пришло в голову поселиться в этой пещере. Конечно, такое решение превосходило все человеческие представления о героизме. Но Хильда и Таурино были как бы вне человеческих представлений — они были выше их или, может быть, ниже. К тому же у них не было другого выхода. Возвращаться в Тулансинго, просить помощи, в которой им уже раз отказали? Или — еще хуже — признать свое поражение и с позором вернуться домой, к родителям? Они готовы были вынести все что угодно, только не это.

Молчаливый и медлительный, как все индейцы, Таурино был в то же время ловок и трудолюбив. Постепенно, шаг за шагом, он сумел справиться почти со всеми непомерными трудностями задуманного предприятия. На сбереженные пятнадцать песо купили маис и привезли его из Пачуки на осла, которого пока что решено было считать своей собственностью. Две квартильи<sup>1</sup> маиса посеяли, остальное оставили, чтобы прокормиться до первого урожая. Таким образом, основное пропитание было обеспечено. Кроме того, они употребляли в пищу молодые побеги нопаля и терпкую сердцевину кактуса. Использовать для еды пиру не было возможности. Иногда они позволяли себе роскошь — лакомиться соком агав, так как ничего не стоило раздобыть его на плантациях.

С помощью мачете<sup>2</sup> Таурино смастерил деревянный плуг. А так как вскоре в пещере стало тесно от предметов, которые они приносили по ночам с дороги, то они выстроили себе хижину.

Едва ли они понимали, что эти жестяные указатели, побеленные камни, перила мостов имеют какое-то практическое значение. В лучшем случае им приходило в голову, что все это поставлено здесь для украшения. Поэтому повода для угрызений совести у них не было.

<sup>1</sup> Мера веса, около трех килограммов.

<sup>2</sup> Длинный и широкий мексиканский нож (исп.).

Труднее было прокормиться собаке и попугаю, которые путешествовали с ними с той самой поры, как они ушли из родного селенья. Однако и животные как-то ухитрялись отыскивать себе пищу.

Прошло две недели; Таурино с женой не переставали радоваться, что поселились здесь. Хильда, во многом еще ребенок, восхищалась ловкостью и трудолюбием мужа. При всей их нищете она чувствовала себя вполне счастливой: здесь никто не смеялся над ними, никто не называл их «дохляками». Горы по-матерински приютили их, и, глядя сверху на расстилавшуюся перед ней суровую и торжественную панораму, Хильда чувствовала себя ее хозяйкой и по-детски радовалась.

Все шло хорошо, пока в один несчастливый день Таурино не вздумалось устроить загон для осла, чтобы по ночам он не уходил далеко от дома. Он вбил в землю колья. Но из чего сделать изгородь? Найти какие-нибудь ветки было нелегко — вокруг не было ни подходящих деревьев, ни кустов. Он решил было натаскать с дороги побольше камней, но вдруг увидел внизу, на шоссе, огромные башни, прочно врытые в землю. От башен тянулась целая сеть проводов. Из них могла получиться великолепная изгородь. Он не стал размышлять, зачем понадобились эти башни и эти провода. Совершенно невероятно, чтобы они были пригодны на что-нибудь. Конечно, их поставили здесь просто для красоты. По правде говоря, странные вкусы у этих людей! И потом, тут нет никакого риска: проводов так много, что, если отрезать один, никто и не заметит. Но на всякий случай он все же решил дожидаться ночи.

Было жарко, светила луна. Необъятная тишина плыла над пустыней.

Хильда пошла с ним, она боялась оставаться одна дома — ее пугали вопли койотов.

Взяв в руку мачете, он приготовился лезть на башню.

— Смотри не упади! — сказала она.

Он добрался до середины.

— Тут какие-то белые чашечки! — Он имел в виду изоляторы.

— Кинь мне одну! — в восторге крикнула Хильда.

Поднимаясь, Таурино чувствовал какие-то тупые удары, словно кто-то невидимый и сильный толкает его. Мачете чуть не выскользнул у него из рук. Он решил, что это у него кружится голова от высоты, сделал над собой усилие и упорно продолжал лезть вверх. Когда он почти достиг проводов, что-то вдруг изменилось: толчков больше не было, но злая сила подняла его и заставила ухватиться рукой за провода.

Вспыхнули голубые искры и побежали по его телу. Нож выпал из рук. Несчастный не издал ни одного звука. Он изогнулся, ноги его оторвались от перекладины, и он, качаясь, повис на проводах, вцепившись в них одной рукой.

Тело мгновенно обуглилось.

Хильда вскрикнула, когда вниз полетел мачете. Она совершенно не поняла, что произошло. Зато понял тощий пес, он протяжно завыл, глядя на неподвижное тело хозяина. Оно висело на проводах, четко выделяясь на светлом фоне лунной ночи.

Хильда все же заподозрила что-то плохое. Ей стало страшно, что муж упадет. Она крикнула, чтобы он ухватился покрепче и, раскачавшись, постарался бы снова встать ногами на перекладину... Он молчал. Страх ее дошел до предела.

Она стала спрашивать, что это за синий огонь прошел по его телу. Таурино не отвечал. Тогда она громко разрыдалась и в слезах стала умолять его ответить. С каждой минутой ей становилось все страшнее. Таурино молчал. Хильда кинулась вверх по дорожке и оттуда стала отчаянно звать на помощь. Ответа не было. Наконец усталость и страх сломили ее, и она почти без чувств повалилась в кювет.

Прошло полчаса. Хильда пришла в себя и огляделась: луна по-прежнему освещала горы. Она чувствовала себя отдохнувшей и немного успокоилась. Снова сбежала она вниз, к подножию башни, на которой все так же неподвижно висело тело мужа.

Так как он и теперь не отвечал на ее зов, она решила лезть наверх, чтобы помочь ему. Ей тоже мешали подниматься какие-то странные толчки. Но и она победила непонятную силу. Она добралась до верха и дотронулась до ноги мужа. Синие искры побежали по ее телу и по всей башне... Она тоже не успела крикнуть. Только чуть слышный стон сорвался с ее губ. Она повисла рядом с ним, вся скрюченная, и лицо ее с выкатившимися глазами и открытым ртом выражало крайнюю степень недоумения...

Когда весть о случившемся дошла до Пачуки, судебные власти прибыли на место происшествия. Увидев хижину, построенную из похищенных с дороги предметов, судья не нашел ничего лучшего, как заявить: — Это же разбойники!

— Вы правы,— ответил секретарь.— Действительно двое разбойников — Невежество и Нищета.

---

## ЭДУАРДО АРИАС СУАРЕС

★

### *Гуардиан и я*

— Нам здорово не везет, Гуардиан,— говорю я своему псу.

Разговаривая с ним, я смотрю на себя как бы со стороны: худой, желтый человек в лохмотьях идет по улице в сопровождении белой собаки с черными ушами и рыжей пятнистой спиной. Мы идем — я и мой пес,— затерянные в городской сутолоке, словно в пустыне, идем, не останавливаясь ни на минуту, потому что в большом городе лучше не останавливаться.

— Нам здорово не везет,— говорю я Гуардиану, глядя на его обтянутые кожей ребра.

Мой друг думает в эту минуту то же, что и я: «Нам здорово не везет».

Голодным не под силу долго ходить по улицам — они устают. Мы останавливаемся на углу, где каменщики возводят какую-то стену. Я сажусь на кирпичи. Гуардиан, как всегда, ложится у моих ног, и мы начинаем разглядывать прохожих.

— Смотри, Гуардиан, у них у всех довольно симпатичные лица. Они спешат, рассеянно поглядывают по сторонам и не замечают ничего вокруг себя. Обрати внимание — они даже не унижают нас любопытными взглядами. Благородные души у этих людей!

Кто только не проходит мимо нас: дама в пушистых мехах, господин с моноклем, маленькая модисточка, студент, рабочий, цветочница с гвоздиками... И бесконечный поток машин.

— В машинах, Гуардиан, мчатся наслаждение и любовь. Этот поток — жизнь. А мы с тобой вне его, в стороне от его нескончаемых волн.

Мимо нас идет человек — худой, желтый, несчастный. Я говорю Гуардиану:

---

Эдуардо Ариас Суарес (1897—1958) известен в Колумбии как мастер психологического рассказа. Его перу принадлежит несколько сборников. «Одухотворенные рассказы», «Жало страсти» и ряд других.

— Посмотри: вон иду я. Только что без собаки. С тех пор как я увидел однажды в зеркальной витрине магазина свою неуклюжую фигуру, всякий раз, когда я вижу человека с такой же, как у меня, жалкой внешностью, мне кажется, что я вижу себя, и, полный стыда, я отвожу взгляд. Все беды и горести человеческого рода как бы растворены в моем существе, и я чувствую, как во мне нарастает боль. Это болит душа, скрытая под лохмотьями, ранимая душа человечества...

Я поражен: элегантная дама сходит с тротуара и направляется прямо к нам. Гуардиан, видимо, проникся симпатией к сеньоре — он виляет хвостом, как бы приветствуя ее.

— Не продадите ли вы собаку? — спрашивает прекрасная сеньора и гладит Гуардиана.

Меня всегда приводят в смятение такие неожиданные вопросы. Сначала я не понимаю ее слов, несмотря на то, что слышал, как она сказала совершенно ясно: «Не продадите ли вы собаку?» Я начинаю улыбаться и бормотать какую-то чепуху. С тех пор как мне не везет, я униженно улыбаюсь каждому, кто заговорит со мной. Мне кажется, что моя кроткая улыбка вызовет у них жалость ко мне, и они не причинят мне вреда.

Рукой в перчатке прелестная дама гладит голову Гуардиана, и ее тонкие пальцы тонут в густой шерсти. Я ощущаю эту ласку; я чувствую, как рука нежно скользит по голове собаки. Мне кажется, что она гладит не голову Гуардиана, а мою. Но я молчу. Дама вежливо повторяет:

— Я вас спрашиваю, не продадите ли вы мне собаку? Какое красивое животное! — добавляет она. — Жаль, что собака так худа!

— Вы говорите, не продам ли? А! Вы спрашиваете, не продам ли я вам собаку. Я понимаю вас. Но это невозможно. Вы ведь не знаете... Этот пес... Я вам сейчас объясню, что это за пес. Это самое благородное из всех животных. Он — сын собаки...

— Неужели сын собаки? — лукаво улыбаясь, прерывает дама.

— Да. Сын собаки, которая спасла жизнь моему отцу. Отец назвал его Гуардиан — Страж, — когда он был еще щенком. Хотя мне больше нравилось имя Лев. Мой отец был очень хороший человек. Я прекрасно понимаю, сеньора, что это не имеет для вас никакого значения. Но дело в том, что я его не продам. Нет! Ни в коем случае! Я не продам Гуардиана ни за что на свете! Простите меня. Ведь вы меня простите, не правда ли?

Дама отходит, несколько удивленная. Мы видим, как она уходит, и Гуардиан думает: «Это очень глупо, что ты не продал меня. Мне был бы обеспечен кусок хлеба, да и ты на эти деньги мог бы кормиться не меньше двух недель. Это очень глупо, и я благодарю тебя за это. Итак, мы по-прежнему остаемся вдвоем и посмотрим, чем все это кончится».

Гуардиан очень мудр. Тогда я начинаю жалеть о сделанной глупости и хочу бежать, чтобы остановить прекрасную даму и продать ей собаку. Я пытаюсь подняться с места и не могу; хочу открыть рот, чтобы позвать ее, и... тоже не могу. И я смотрю ей вслед, пока она не исчезает в этом муравейнике.

— Ты понимаешь, Гуардиан, я не мог продать тебя. Мы так дружны и столько вытерпели вместе. Ты как бы часть меня самого. Может быть, мое сердце. Ведь у человека две души, Гуардиан.

Но что такое? Почему нас обступили все эти люди? Толпа смотрит на нас с жадным любопытством, и я не перестаю удивляться. Как это я не заметил, когда они начали собираться? Их не меньше пятидесяти, все они глядят на нас разинув рты, с явным интересом. Что, они никогда не видели человека с собакой?

Во мне поднимается злорада на этих дураков; я хочу испепелить их грозными взглядами, выругать их, разогнать их камнями. Я силюсь за-

говорить и вдруг чувствую, что я такой слабый, такой маленький и незначительный... Слова не идут у меня с языка, а губы сами складываются в улыбку, в мою обычную кроткую, грустную, мягкую улыбку, как бы просящую людей не причинять нам с Гуардианом вреда, не обижать нас. Проходит несколько мучительных минут. Толпа растет. Гуардиан вскочил и испуганно смотрит на меня, как бы спрашивая о причине переполоха. Я хочу сказать ему, что я и сам не знаю, в чем дело. И вдруг мы слышим:

— Этот человек умирает с голоду.

Я ощущаю глубокую боль, поняв, что они об этом узнали. Я опускаю голову и начинаю водить носком ботинка по кирпичной пыли. Я чувствую обжигающую тяжесть их взглядов, она так велика, что у меня начинает ныть спина.

Вдруг кто-то трогает меня за плечо. Я оглядываюсь и вижу благожелательную физиономию полицейского. Он говорит:

— Пойдемте-ка, уважаемый, в приют для бедных. Там вы получите все, что вам надо. Собака ваша? Мы отправим ее в собачник.

Я вздрагиваю всем телом, словно меня ударило током. Кровь бросается в лицо, сердце бьется так, что я начинаю дрожать. Я встаю и говорю полицейскому:

— Нет. Я вовсе не голоден. Я просто очень болен. Понимаете?

— Ну, тогда идемте в больницу, не то вы можете умереть на улице.

— Нет. И в больницу я не пойду. У меня же есть дом... поверьте. Идем, Гуардиан, уже поздно.

Мы прошли сквозь толпу, и все смотрели нам вслед. Бедняга Гуардиан! Если бы ты сейчас был жив, мы припомнили бы с тобой этот длинный крестный путь.

Мы шли до тех пор, пока не кончился город. Мы убегали от людей, которые нас унизили. В переулках предместий прятали мы от них свою беду.

Мы подошли к нашему убежищу, к заброшенному сараю. Я сел на камень и сказал Гуардиану:

— Ты знаешь, я не отпускал тебя, потому что боялся, что тебя отравят. От стрихнина бывают страшные судороги. Но теперь надо, чтоб ты ушел от меня. Поищи лучшей жизни. Ты умираешь с голоду со мной, и это несправедливо... Не притворяйся, не смотри на меня весело, я знаю, что три дня без крошки во рту не проходят даром. Иди! Остерегайся яда и полицейских — они могут отправить тебя на живодерню. Обходи мальчишек — они кидаются камнями. Не ввязывайся в драку с другими собаками, потому что ты очень слаб. А главное — ищи, ищи еду! И так как мы не умеем работать — кради. Кради, тебе это можно. Укради у какого-нибудь зазевавшегося мясника кусок баранины, очисти кладовые, грабь кухни. Кради, кради, воровать с голоду — не грех. Но будь осторожен и бойся выстрелов. А когда наешься как следует, возвращайся, если не забудешь меня. Ты найдешь меня здесь, в сарае, может быть, уже мертвым. Если так, не плачь и уходи. Вспомни тогда о прекрасной сеньоре, которая хотела тебя купить, и разыщи ее, у тебя ведь такой хороший нюх. Ну, иди, клочок моего сердца!

Я снял с него поводок и щелкнул пальцами, прощаясь. Но он не двинулся. Он долго с удивлением смотрел на меня, а когда понял, что я прогоняю его, подошел и стал тереться головой о мои ноги. Он вилял хвостом и смотрел на меня так, словно видел всю мою душу до дна. Тогда я понял всю глубину его героического самоотвержения. Я опустился на колени и прижал к груди его голову, чтобы он слышал слабый стук моего сердца.

Когда я поднял голову, я увидел неподалеку нищего, протягивающего шляпу. Каждый проходивший мимо бросал ему в шляпу монету.

— Люди очень добры, Гуардиан. Каждый прохожий подает милостыню нищему. Я бы тоже подал ему немного. Ты же знаешь, я человек добрый.

Внезапно мне в голову приходит мысль — нелепая, унижительная мысль! Я краснею. Я думаю: что, если и я, как этот нищий, протяну свою шляпу... Никто меня не знает, а вид у меня еще более жалкий, чем у него.

Я ощущаю такой жгучий голод, что готов вылизывать мусорные ведра; голова кружится, в висках стучат молоточки. Я шатаюсь. В глазах темнеет, предметы приобретают фантастические очертания, теряются, дематериализуются... В сознании живы только два понятия — собака и голод.

У человека две души: одна чувствует, анализирует и поднимает нас на вершины духа, другая жаждет жизни во что бы то ни стало, в любую минуту, в любой час, взывает о ней из глубины. Моя первая, благородная, душа презирает жизнь; мой разум признает мою жизнь бесполезной; но та, другая, подспудная, душа молит о жизни, она подавляет разум, она внушает мне унижительную любовь к жизни. Две души вступают в борьбу, и я не знаю, как это случилось, но я оказываюсь вдруг рядом с нищим и так же, как он, протягиваю шляпу...

Вот идет господин с зонтиком. Он смотрит на нас. Он приближается... Я закрываю глаза, продолжая держать шляпу в вытянутой руке... Он останавливается около меня, и я чувствую, как что-то тяжелое падает на дно моей шляпы. Монета. Господи! Шаги прохожего удаляются. Я открываю глаза и вижу в шляпе серебряную монету. Итак, я — нищий. Вот до чего дошло!

Я стою, зажав монету в кулаке, и испытываю некоторое радостное чувство. Мне становится неизвестно отчего смешно — я думаю, что этот человек опустил свою монету в мою шляпу по ошибке. Он, наверно, хотел дать ее нищему! Вот славно получилось! Если бы я не был так слаб, я бы захохотал во все горло.

И тогда я замечаю Гуардиана. Он лежит у моих ног, положив голову на лапы, и скулит. Кажется, что он плачет. О чем он плачет? Он плачет от стыда за своего брата, который стал нищим. Твоя душа, Гуардиан, это моя благородная душа, душа моих предков. Когда я ее унизил, она перешла к тебе. Я не вижу твоих слез, потому что уже темно, но в тебе плачет моя душа, плачет оттого, что я сейчас смеялся. У человека ведь две души. Мой пес умрет от тоски, я нанес ему смертельную рану. Но нет! Этого не будет! Это была шутка, дурацкая шутка! Послушай, Гуардиан, этот господин просто ошибся, милостыня предназначалась нищему. Смотри, я сейчас отдам ему его монету.

Я бросаю монету, которая, как раскаленный уголь, жжет мне руку, в шляпу нищего.

Почему в ту ночь, в сарае, обняв моего пса, я не заснул навеки, не перешел в царство вечного забвения? Почему я не умер в ту ночь? Почему?

Всем было бы безразлично, если бы наутро полицейские нашли мертвого человека, обнявшего собаку. Всем было бы безразлично...

*Перевела с испанского Р. Сашина.*



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Ю. КОРОЛЬКОВ

★

## В ГЕРМАНИИ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

**В**скоре после войны мне пришлось долгое время работать в Германии. Еще будучи военным корреспондентом я присутствовал на заседаниях Международного военного трибунала в Нюрнберге. Тогда казалось, что этим процессом завершается мрачная история германского фашизма... На протяжении многих лет своей корреспондентской работы в Германии я наблюдал дальнейшее развитие событий: видел, как по вине западных держав произошел раскол единой Германии; как на территории Бизонии возникла боннская республика, которая стала источником постоянных тревог миролюбивых людей; как создавалась молодая демократическая Германия; как развивалась она, преодолевая сопротивление внутренней и международной реакции. Об этом я в свое время писал на страницах «Нового мира».

С тех пор прошло десять лет. За эти годы я ни разу не был в Германии, и вот снова мне представилась возможность провести несколько месяцев в Германской Демократической Республике. Я пробыл там с мая по сентябрь 1960 года. Во время поездки я старался побывать в знакомых местах, «пройти по следам» собственных корреспонденций, написанных десять лет назад. Предлагаемые записки не претендуют на глубокий анализ современной обстановки в Германии, это только свидетельства очевидца.

### БЕРЛИНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Берлин. Столица ГДР, расчлененная надвое. В каждой части города свои порядки, свой уклад, свои нравы. Берлин — город контрастов, главным образом политических, город упорного созидательного труда и бессовестных спекуляций. Берлин — узел международных противоречий, искусственно созданных и упрямо сохраняемых западными реакционными кругами, город, давно ждущий решения своей судьбы.

В немецкую столицу я приехал в самое горячее время — в городе ждали прибытия Никиты Сергеевича Хрущева. Ждали все — друзья и враги. В те дни город жил под впечатлением огорчающих событий в Париже. Ведь срыв Совещания глав правительств имел прямое отношение к судьбе берлинцев. Это отодвинуло осуществление надежды на решение берлинского вопроса. Среди западных журналистов молниеносно распространилась сенсационная новость — советский премьер летит в Берлин, чтобы подписать мирный договор с правительством Германской Демократической Республики. Страсти накалились еще больше. Раз договор — значит конфликт, уверяли западные политические «стратеги». Как-то вдруг оживились всевозможные пособники «холодной войны».

В тот день, когда Никита Сергеевич проводил пресс-конференцию в Париже, десятки тысяч берлинцев не отходили от телевизоров — выступление Хрущева транслировалось в Берлине. Когда Никита Сергеевич начал говорить, неожиданно исчез звук. Передача стала походить на немое кино. Так продолжалось около получаса.



Эта «техническая неисправность» имела политическую подоплеку. Западногерманское почтовое ведомство отключило кабель, по которому транслировалась передача звука. Надо отдать должное французской радиокомпании, которая обеспечивала телевизионную передачу из Парижа. Ее энергичные протесты и протесты берлинского демократического радиовещания заставили боннских специалистов по радиопомехам восстановить связь.

Вечером на экранах западноберлинских телевизоров возникли физиономии тех самых недобитых гитлеровцев, которым Никита Сергеевич дал сокрушительную отповедь на пресс-конференции. Стало ясно, что обструкция, которую пытались устроить эти крикуны на пресс-конференции, тоже не была простой случайностью. Возглавил крикунов некий Арно Шольц — редактор западноберлинской газеты «Телеграф», который перед камерой телевизионного аппарата упражнялся в антисоветских измышлениях.

Все это происходило накануне приезда товарища Хрущева в Берлин. А на другой день город украсился флагами и полмиллиона людей вышли на улицы встречать главу Советского правительства. В то утро я мог воочию убедиться в истинных настроениях трудящихся новой Германии, в их глубоких симпатиях к Советскому Союзу.

От Шёнефельдского аэродрома до Панкова, где находилась резиденция Н. С. Хрущева, больше двадцати пяти километров. На всем этом протяжении стояли плотные шеренги людей. Первыми встречали советского премьера жители окрестных селений. Они выходили за околицы, если можно применить это русское слово к немецкой деревне, выстраивались длинными шпалерами под вековыми деревьями вдоль живописной дороги и ковром живых цветов устилали путь высокого советского гостя.

Но современный Берлин — это не только энтузиазм масс, желающих идти по социалистическому пути. Здесь действуют и силы, которые стремятся помешать германскому чароуду строить свою демократическую республику. Ведь именно здесь, близ селения Альт Глинке, недалеко от дороги, соединяющей Шёнефельдский аэродром с Берлином, где жители цветами и аплодисментами встречали главу Советского правительства, несколько лет назад разведчики из Пентагона устроили подкоп и подключились к телефонному кабелю. Шпионов, правда, вскоре накрыли с поличным.

Именно с этого давнего эпизода и начался наш разговор на одной из журналистских встреч.

В Берлине среди иностранных корреспондентов существует неплохая традиция — время от времени они собираются на неофициальные встречи, чтобы поговорить, поспорить, обменяться новостями или поделиться мнениями по поводу текущих событий. Здесь встречаются люди самых различных взглядов и убеждений. Эта традиция сохранилась еще с первых послевоенных лет, когда иностранные журналисты (многие из нас носили тогда еще военную форму) запросто встречались в «пресс-кемпах» — «лагерях прессы» — и проводили вместе свободные вечера.

На этот раз встреча произошла в квартире датского журналиста в Западном Берлине. Говорили о приезде Хрущева, вспоминали о подкопе у Альт Глинке и, конечно, заговорили о нашумевшем полете Пауэрса, о заявлении Эйзенхауэра, объявившего шпионаж частью государственной политики Соединенных Штатов.

Один из собеседников иронически заметил:

— Эйзенхауэр, видимо, перепутал двери Пентагона и Белого дома... Что может позволить себе разведчик — не к лицу президенту. Он просто вспомнил свою старую профессию...

Корреспондент американского телеграфного агентства, грузный флегматичный мужчина, стал возражать, но журналист, начавший этот разговор, привел еще один аргумент:

— А Никсон, которого выдвигают на пост президента, разве он не имел прямого отношения к Федеральному бюро расследований? А Беделл Смит — старый, опытный разведчик, разве не был он после войны американским послом в Москве? Я уверен, что американский шпионаж играет не последнюю роль также и в берлинской проблеме.

В разговор вступало все больше людей. Иные пытались возражать, но не могли опровергнуть убедительных фактов.

В самом деле: из шестидесяти с лишним разведывательных организаций, существующих в Западном Берлине, две трети принадлежат американцам. Да и остальные в значительной мере работают на Пентагон.

Когда-то я был свидетелем тех событий, которые привели к расколу Германии и рождению так называемой «берлинской проблемы». Тогда западная печать совершенно открыто называла Западный Берлин «наблюдательной вышкой», то есть шпионским центром, расположенным в лагере социалистических стран. С годами подобные высказывания западных военных и политических деятелей, в первую очередь американских, становились все более откровенными. Бывший верховный комиссар США в Германии Конэнт говорил: «Западный Берлин — это острое копьё, вонзенное в самое сердце советской зоны». Под «советской зоной» Конэнт подразумевал Германскую Демократическую Республику.

А бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт, который, как известно, довольно часто бывает в Америке, выступил там с таким заявлением:

«Одна из главных задач Западного Берлина — это подрыв мероприятий, направленных на укрепление общественного строя советской зоны... Свободный Берлин призван максимально затруднить и замедлить процесс консолидации советской зоны».

В порыве лакейской услужливости Брандт выболтал истинные причины упорного нежелания западных держав ликвидировать последствия второй мировой войны и решить берлинскую проблему, превратив Западный Берлин в вольный город.

В Западном Берлине я присутствовал на пресс-конференции, которую проводил Брандт главным образом для немецких журналистов. Любопытная деталь: когда американский корреспондент стал задавать Брандту какие-то вопросы, тот услужливо отвечал ему по-английски, а затем ответы Брандта перевели на немецкий язык. Немец бургомистр разговаривал со своими соотечественниками через английского переводчика...

Конечно, нет ничего предосудительного в том, что господин Брандт хорошо владеет английским языком и говорит на нем без акцента. Хуже то, что он с явным акцентом проводит проамериканскую политику в Западном Берлине. Тем более, что теперь Брандта все чаще называют как наиболее вероятного кандидата на пост канцлера боннской республики вместо престарелого Аденауэра. Но примечательнее всего здесь другое.

В прежние годы моей работы в Берлине здесь в норвежской военной миссии подвизался некий майор Брандт. Настоящее его имя было Герберт Фрам. Трудно сказать, чем он занимался. Еще раньше мне довелось с ним встречаться в кулуарах Нюрнбергского процесса, когда судили главных виновников второй мировой войны. Тогда он значился норвежским журналистом и весьма пренебрежительно относился к своим немецким коллегам, которых американцы всячески третировали и даже не пускали в бар и в столовую «пресс-кемпа».

Когда-то Герберт Фрам, немецкий социал-демократ, при весьма странных обстоятельствах эмигрировал в Норвегию, потом при не менее странных обстоятельствах бежал в Швецию, а после войны оказался норвежским подданным. В Берлине его подобрали американцы. Велико было мое изумление, когда я, перелистав автобиографическую книжку самого Брандта «Мой путь в Берлин», узнал, что западноберлинский бургомистр и норвежский майор, работавший на английскую разведку, — одно и то же лицо! За эти годы произошла удивительная трансформация: майор Вилли Брандт, он же Герберт Эрнст Карл Фрам, отказавшись от норвежского подданства, стал бургомистром Западного Берлина.

Брандт весьма быстро усвоил главное требование заокеанских хозяев: разжигать любимыми средствами напряженную и нездоровую обстановку. Западные державы, которые до сих пор продолжают оккупировать часть города, умышленно отказываются от разумного решения берлинского вопроса.

Никита Сергеевич Хрущев говорил как-то о нервных людях, которые при малейшем шорохе хватаются за пистолет. Одним из таких слабонервных оказался американский комендант Западного Берлина генерал Хэмлет, который однажды чуть не открыл в городе военные действия. Случилось это из-за того, что на контрольном пункте при въезде в Берлин советский патруль задержал для осмотра три грузовика, которые, как выяснилось, принадлежали американскому ведомству. Казалось бы, чего

проще — разрешить недоразумение и на том кончить. Но нервный американский генерал объявил тревогу, поднял на ноги весь свой гарнизон, вывел танки, которые ждали дальнейшей команды с заведенными моторами и снятыми чехлами. Нервы у сотрудников контрольного пункта оказались покрепче — они не придали значения этому инциденту и, когда выяснилось недоразумение, разрешили грузовикам следовать дальше. Американский генерал ломился в открытые ворота.

Можно привести множество трагикомических случаев, которые иллюстрируют положение в Берлине. Если вы, например, захотите позвонить своим знакомым из одной части города в другую, то сделать это сможете только через Гамбург или Нюрнберг, то есть через международные станции, расположенные за сотни километров от Берлина. Прямой телефонной связи между западной и восточной частью города не существует. Западноберлинский магистрат не желает восстанавливать связь потому, что он, видите ли, «не признает» Германской Демократической Республики.

До сих пор, как и прежде, Западный Берлин разделен на оккупационные зоны. Об этом напоминают щиты, установленные пятнадцать лет назад, вскоре после войны. Все это символы продолжающейся оккупации западной части города. Но теперь здесь появились и другие щиты. Одни стоят на перекрестках и выглядят обычными дорожными указателями, другие установлены на крыше постоянной, хотя и бездействующей выставки. Стрелки дорожных указателей направлены на восток, и на них сделаны надписи: «Кёнигсберг», «Бреслау», «Данциг»... А на выставочной территории, близ радиобашни, есть павильоны «Восточная Пруссия», «Померания», «Силезия»...

Атмосферу враждебности и неприязни ко всему, что касается ГДР, ощущаешь сразу же, как только попадаешь в западный сектор, миновав колоннаду Бранденбургских ворот. Отсюда мимо Тиргартена далеко-далеко тянется широкая и прямая улица — Шарлоттенбургшоссе. Но на табличках, что укреплены на кронштейнах по углам улицы, вы не прочтаете этого названия. Теперь она именуется улицей 17-го июня. В этот день в 1953 году фашиствующие элементы из Западного Берлина, натравленные американскими шпиками и диверсантами, пытались вызвать беспорядки в демократической части города. Только выдержка народной полиции и советских военнослужащих спасла положение. Чтобы восстановить порядок, потребовалось вывести на улицы танки, но они получили категорический приказ не стрелять ни при каких обстоятельствах. Кровавое пролитие было предотвращено, погромщиков и фашиствующих хулиганов выдворили в западный сектор. И вот в память этой бесславной провокации поборники «холодной войны» переименовали берлинскую улицу...

Даже сами Бранденбургские ворота оказались объектом споров между западной и демократической сторонами города. Триумфальные ворота, стоящие на самой границе, решили было отремонтировать сообща. Все шло хорошо, пока не возник вопрос, как ремонтировать чугунную колесницу с четверкой лошадей, венчающую Бранденбургские ворота. Дело в том, что всадник когда-то держал жезл с венком и орлом — символом старой, кайзеровской Германии. Вокруг этого герба и возник спор. Западноберлинский магистрат требовал восстановить герб, магистрат демократического Берлина возражал, считая, что совсем не к чему восстанавливать гербы милитаристской Германии. Тогда западноберлинский магистрат отказался участвовать в ремонте городских ворот. Расходы по восстановлению их принял на себя магистрат демократической части города. Теперь Бранденбургские ворота уже не венчает герб кайзеровской империи.

Боннские правители всячески пытаются превратить Западный Берлин в придаток своего государства, хотя никаких юридических прав на это не имеют. Восстанавливается, например, здание рейхстага, которое опять-таки в провокационных целях они намереваются предоставить для заседаний западногерманского бундестага. Неподалеку восстановлен дворец Бельвю — это здание объявлено «резиденцией» боннского президента. В Западный Берлин перетаскили из Бонна какое-то архитектурное управление, ведомство здравоохранения, что-то еще. Их называют «общегерманскими министерствами». Все это проводится под видом подготовки к объединению Германии. Но западногерманские политики весьма своеобразно представляют себе объединение двух самостоятельных государств: они истощно вопят, требуя присоединения ГДР к боннской республике.

Вылазки германских реваншистов, отравляющие политическую атмосферу, значительно участились в последнее время. Одно из таких сборищ реваншистов происходило осенью 1960 года. Со всей Западной Германии в Западный Берлин съехались члены всевозможных «землячеств» — выходцы из Судетской области, Померании, Восточной Пруссии, Силезии. С фанфарами, с факелами, под дробь барабанов они маршировали по улицам Западного Берлина. Шествия эти очень напоминали разнузданные фашистские демонстрации времен Гитлера.

В Германской Демократической Республике трудоустройство переселенцев давно уже не составляет проблемы. Немцы, переселившиеся после войны из Судет и Польши, получили в республике землю, работу, стали полноправными гражданами ГДР. А в Западной Германии все еще продолжают искусственно затягивать решение этой проблемы. Нашлись нечистоплотные люди, которые превратили ее в объект грязных политических спекуляций. И не случайно собравшиеся в Западном Берлине реваншисты шли с лозунгами, которые звучали призывом к новой войне. «Мы хотим назад, в Судеты», — требовали одни; «Померания принадлежит нам», — утверждали другие; а третьи заманивались еще дальше: «Восточная Пруссия снова должна стать немецкой». А Вилли Брандт, все тот же бургомистр-поджигатель, выступает перед сборищем реваншистов и призывает их не забывать о «европейской родине». В это понятие он включает Варшаву, Прагу, Белград и Будапешт. Так снова возрождается фашистский лозунг «Дранг нах остен» — движение на восток.

В Западном Берлине насчитывается около восьмидесяти воинских союзов — филиалов западногерманских милитаристских объединений. Здесь почти открыто вербуются молодежь в бундесвер. Сейчас уже более двадцати тысяч берлинцев призывного возраста служат в бундесвере. И все это происходит в городе, который символически все еще находится под четырехсторонним контролем. Признаться, я был удивлен, когда в Западном Берлине над зданием бывшего Контрольного совета увидел четыре государственных флага: американский, английский, французский и наш — красный, советский.

А берлинцы по-прежнему острят по поводу четырехстороннего контроля. Когда-то, после того как произошел раскол, немецкие шутники говорили: теперь под четырехсторонним контролем осталось лишь семь жителей Берлина, они сидят в Шпандау<sup>1</sup>. Речь шла о семерых главных военных преступниках — Гессе, Денице, Редере и других, осужденных Международным военным трибуналом. Им посчастливилось — других главарей фашистской Германии повесили в Нюрнберге. Но в наши дни в тюрьме Шпандау, где насчитывается что-то около восьмисот камер, осталось всего трое. Здесь доживают свой недобрый век заместитель Гитлера по руководству фашистской партией Рудольф Гесс, гитлеровский министр Альберт Шпеер и главарь фашистской молодежной организации Бальдур фон Ширах. Остальные камеры пусты. Всю тюрьму содержат ради этой тройцы.

В боннской республике, где арестованные фашисты оказались под контролем одних англичан, американцев или французов, их давно выпустили из тюрем, осужденные фашисты разгуливают на свободе в Западной Германии. И не только разгуливают — они готовят новые преступления. А камеры в Шпандау пусты... Почти восемьсот камер! Вот фашистских преступников-рецидивистов, всех этих шпейделей, оберлендеров, глобке, хойзингеров водворить бы под четырехсторонний контроль в Шпандау! Насколько легче дышалось бы тогда людям, как бы спокойно они спали!

Сохранилась в Берлине и еще одна четырехсторонняя организация. Это Центр воздушной безопасности. Работают в нем несколько союзных офицеров, которые занимают одну-единственную комнату в огромном здании бывшего Контрольного совета. Офицеры осуществляют контроль и ведут наблюдение за безопасностью полетов в воздушных коридорах, соединяющих Берлин с Западной Германией. Каждый из трех коридоров имеет тридцатикилометровую ширину, а потолок для полетов ограничен десятью тысячами футов (несколько больше трех тысяч метров). Этой высоты вполне достаточно для полетов любых самолетов — транспортных или пассажирских. Надо сказать, что в продолжение многих лет между офицерами-контролерами этой службы ни разу не

<sup>1</sup> Тюрьма Шпандау расположена в западной части Берлина.

возникало принципиальных разногласий по поводу режима, установленного в воздушных коридорах. Только однажды за многие годы совместной работы советский офицер-контролер «нарушил» обычный распорядок берлинского Центра воздушной безопасности. Пряча улыбку, он с преувеличенной серьезностью сообщил своим коллегам, что, вопреки согласованному накануне плану полетов, советские летательные машины появятся над Берлином в неурочное время. Но это была лишь шутка — ТАСС только что передало по радио сообщение о запуске нового советского спутника, указав время, когда он будет проходить над крупнейшими городами мира.

Согласованная, дружная и уж во всяком случае корректная работа офицеров — сотрудников четырехстороннего Центра воздушной безопасности продолжалась в течение многих лет.

Но вот американские военные власти неожиданно заявили: никаких потолков в воздушных коридорах! Американские самолеты будут летать на той высоте, какую найдут нужной. Американскую сторону не устраивает существующий режим. И сразу же проамериканская печать на все голоса начала кричать о том, что «требования американских авиационных генералов поддерживаются всем могуществом Соединенных Штатов». Повторялась неумная история с генералом Хэмлетом.

Но даже если отбросить этот вызывающий тон и трезво разобраться в американских претензиях, сразу же станет ясной вся их нелепость. Ведь согласиться с такими требованиями — значит нарушить государственный суверенитет ГДР; воздушное пространство ГДР будет разрезано на три части, а безопасность полетов будет нарушена. Однако очень скоро выяснились истинные цели американских претензий. В те дни английская газета «Дейли экспресс» опубликовала портрет американского генерала, сопроводив снимок развернутой подписью. «Посмотрите на этого человека, — писала газета. — Кто этот человек, который толкнул американское правительство на опасный путь в политике? Его имя — Натан Фаррагат Туайнинг. Получив поддержку командующих военно-морскими, воздушными и сухопутными силами, этот человек сказал президенту Эйзенхауэру, что Америка должна вести полеты в Берлине на большой высоте. Как и все другие ответственные лица в Вашингтоне, этот человек понимает, что ужасная возможность возникновения войны делается наиболее вероятной. Если русские собьют один из летающих в Берлин транспортных самолетов, это может послужить искрой для начала войны».

Трудно разобраться, кто кого толкает на провокации: американские генералы реакционных политиков или наоборот. Скорее всего они взаимно распалывают друг друга. Но в данном случае меня заинтересовала причина, подоплека нелепых американских претензий. Ответ я нашел в той же «Дейли экспресс». Журналист Пинчер раскрывал действительные причины этих настойчивых требований. Он писал:

«Самолеты, летающие на высоте тридцати тысяч футов, способны производить детальное фотографирование оборонительных сооружений на удалении до ста пятидесяти миль. При помощи этих перспективных фотографий специалисты разведки имеют возможность опознать даже такие маленькие по размеру предметы, как танки, причем в таких подробностях, что можно вычислить толщину броневого покрытия. Ограничение высоты полетов до десяти тысяч футов значительно уменьшает разведывательные возможности при полетах».

Яснее сказать трудно!

И вот при всем том находятся люди типа Аденауэра или Брандта, которые утверждают, что в Западном Берлине обстановка «совершенно нормальная». С тем, что из себя представляет эта «нормальная обстановка», я познакомился сам, побывав как-то у своего приятеля — немецкого антифашиста, живущего в одном из пригородов демократического Берлина.

Было воскресенье, и хозяин предложил посмотреть телевизионную передачу.

— Хотите увидеть конференцию «круглого стола», как ее понимают на Западе? — спросил он, включая аппарат.

Шла воскресная передача из Бонна. Каждую неделю в этот день перед телевизионной камерой за круглым столом встречаются журналисты и рассуждают на актуаль-

ные темы. На этот раз разговор шел о берлинской проблеме. Беседу заключал американский корреспондент мрачного вида.

— Берлин, — говорил он, — это ключ к укреплению Восточной Германии, а она в свою очередь служит ключом от крепости, называемой лагерем социалистических стран. Поэтому, если западные державы уйдут из Берлина, они тем самым укрепят лагерь социалистических стран. Этого делать нельзя...

Американский корреспондент повторял то же, что я слышал десять лет назад. Он невольно раскрывал двуличие и ханжество западных политиков, рассуждающих о «свободе» жителей Западного Берлина.

Организаторы «холодной войны» не гнушаются ничем. Они берут на вооружение все: от шпионских подкопов, диверсий до мелких хулиганских выходок фашиствующих молодчиков.

Хозяин загородного домика, у которого я был в гостях, повел меня в глубь сада и указал на широкую прогалину между деревьями.

— Здесь рос крыжовник, — сказал он. — В прошлом году, в майские дни, кто-то выдернул кусты из земли, поломал их и растоптал. Я вызвал полицию. Собака-ищейка, которую привел полицейский, скоро нашла виновного. Это был молодой парень, связанный с фашиствующими хулиганами из Западного Берлина. Он уничтожил плодовой кустарник в моем саду в отместку за то, что я на своем доме вывесил первомайские лозунги.

Политического хулигана судили, но наказали не строго, в надежде, что это послужит ему уроком. Однако вскоре народная полиция раскрыла еще более злостное его преступление. Группа юнцов из Западного Берлина долгое время занималась вредительством на городской железной дороге. В каком-то бессмысленном неистовстве они выворачивали двери в вагонах электричек, ломали скамейки, выбивали стекла. Громил удалось наконец задержать. Среди них оказался и парень, уничтоживший кусты крыжовника.

В свое время я был свидетелем сепаратной денежной реформы, которую провели западные державы в Бизонии. Собственно говоря, с этого и начался открытый раскол, который привел к образованию двух Германий. Новые деньги назвали марками Клея, по имени американского генерала, который немало потрудился над осуществлением раскола. Тогда представители англо-американских властей лицемерно заявили, что реформа не коснется Западного Берлина, хотя тут же доставили в город новые денежные знаки, отпечатанные где-то в Соединенных Штатах. Деньги эти и по сей день остаются средством политических и иных спекуляций, создавая дополнительное напряжение в Берлине.

В демократической части города пока еще ощущается недостаток некоторых фруктов — апельсинов, бананов, ананасов, дороги еще шоколад и кофе, нет архимодной одежды, обуви и так называемых люкс-товаров, которые выставлены в витринах магазинов Западного Берлина. Пользуясь этим, западноберлинские политики невероятно взвинчивают курс своей марки, хотя цены на основные продукты и товары широкого потребления примерно одинаковы в западной и демократической частях Берлина. Например, килограмм мяса там и здесь стоит от семи до десяти марок. Это по номиналу. Но, учитывая, что одна западная марка спекулятивно обменивается на четыре и даже на пять марок восточных, получается, что этот самый килограмм мяса в демократической части города можно купить в четыре-пять раз дешевле. Для этого предварительно надо провести несложную манипуляцию с обменом денег. Сделать это можно в любом из обменных пунктов — «вексель-штубе», — разбросанных по всему Западному Берлину. Работают они под негласным контролем американских, британских и французских оккупационных властей. Вполне естественно, что жители Западного Берлина предпочитают покупать продовольствие там, где оно дешевле. Ведь пройти или проехать в метро, в электричке для жителя Берлина практически можно совершенно свободно в любую часть города. Все это создает широкие возможности для беззастенчивых спекуляций.

Зато когда начинают рекламироваться модные товары, предположим «хула-хупы» — пластмассовые цветные обручи, из-за которых с ума все модники Европы, — или наимоднейшие торчащие юбки, в Западный Берлин устремляются экстравагантные юно-

ши и девицы, Берлинские стилиги, которых здесь называют «хальбштарке» — полоумные. Только там можно найти все эти люкс-товары. Тут уж не жалеют переплатить втридорога. Мода требует жертв...

Мне рассказали совершенно анекдотичную историю об одном предприимчивом западноберлинском обывателе, который зарабатывал на том, что... ходил пить пиво в демократическую часть города. Герр Мюллер (назовем так этого немецкого обывателя) отправлялся в пивную, расположенную в демократической части Берлина. Для этого ему нужно было перейти улицу. Имея одну восточную марку, герр Мюллер покупал за шестьдесят пфеннигов бутылку пива, платил двадцать пфеннигов за посуду и возвращался обратно, в западный сектор. Выпив свое пиво, предприимчивый берлинец заходил в другую пивную, но уже в западной части города, сдавал там бутылку и получал за нее двадцать пфеннигов. Затем он шел в «вексель-штубе», менял свои двадцать пфеннигов на одну восточную марку и снова отправлялся за пивом. Каждая выпитая бутылка пива приносила господину Мюллеру двадцать пфеннигов чистого барыша.

Власти ГДР принимают меры, чтобы оградить демократический Берлин от нашествия спекулянтов и политических авантюристов, но в огромном городе это трудно, часто просто невозможно сделать. В городе существуют контрольные таможенные посты. Но все эти меры далеко не всегда дают нужный эффект. За дешевыми продуктами в демократическую часть города устремляются рои спекулянтов. Бывают недели, когда в некоторых районах восточного сектора расход сахара в несколько раз превышает нормальный спрос населения.

Года три назад правительство ГДР провело экстренный обмен денежных знаков. В этот день закрыли сообщение между Западным и Восточным Берлином и в течение суток заменили все купюры, имевшиеся у населения Демократической республики. Обнаружилось, что около миллиарда марок — чуть ли не десять процентов денег, находившихся в обращении, — оказалось в Западном Берлине. Конечно, их аннулировали, спекулянты были наказаны, но этот урок не пошел на пользу любителям легкой наживы. Спекуляции продолжают.

Так вот и живет по сей день этот большой европейский город, похожий на минное поле.

В разгар лета, точнее 22 июля 1960 года, с одним немецким журналистом мы ездили по Западному Берлину. Недалеко от Тиргартена мы остановились на улице Бендлерштрассе, которая известна тем, что здесь в бывшем здании генштаба находился центр антигитлеровского путча 20 июля, который должен был закончиться убийством Гитлера.

Оставив машину, мы вошли в просторный асфальтированный двор и остановились перед стеной, где были расстреляны первые участники путча. На бронзовой доске выгравированы их имена: Штауфенберг, Квинингейм, Ольбрихт, Гефтен. Рядом с доской висели перевитые черно-желто-красными лентами венки, они лежали также у постаментов скульптуры, установленной посредине двора. Здесь было довольно много венков, и среди них венки от боннского канцлера Аденауэра, от военного министра Штрауса, от Шпейделя и даже... от генерала Хойзингера, который, проникнув в ряды оппозиционных генералов, предал своих сослуживцев Гитлеру.

Какое неслыханное лицемерие — возлагать венки на могилу своих жертв!

За несколько дней до этого я познакомился с новым документом, проливавшим свет на грязную роль Адольфа Хойзингера в событиях 20 июля. Это было письмо железнодорожного машиниста Ханневальда, в прошлом политзаключенного, опубликованное в Бюллетене общества бывших офицеров. Ханневальд рассказывал, что в 1944 году он находился в концлагере Дрегенене близ Фюрстенвальде. Рядом с лагерем располагалась эсэсовская школа; туда время от времени направляли на подсобные работы заключенных. В день покушения на Гитлера, вспоминает Ханневальд, среди эсэсовцев царил большое возбуждение. Поднятые по тревоге, они, вооруженные до зубов, куда-то уехали. До заключенных дошли слухи, что в Берлине пытались свергнуть правительство Гитлера.

Через несколько дней в помещение школы были доставлены участники генеральского путча. Их содержали в тяжелых условиях, многие были избиты, и эсэсовцы не спу-

скали глаз с арестованных. Даже рядом с ослепшим генералом Штюльпнагелем, который пытался покончить с собой, но повредил только глаза, непрестанно дежурили два эсэсовца. И только Хойзингер находился здесь в привилегированном положении. Он свободно разгуливал по зданию и много времени проводил за письменным столом, сочиняя «денкшрифт» — памятную записку об участниках заговора против Гитлера. Узник Ханневальд сам видел все это, убирая комнату Хойзингера.

Несколько раз в эсэсовскую школу приезжали Гиммлер, Кальтенбруннер и другие эсэсовские генералы, они подолгу совещались с Хойзингером. Через некоторое время после того, как заговорщиков казнили, Хойзингера выпустили, его принял сам Гитлер и выразил ему свою благодарность.

В наши дни генерал-доносчик пошел в гору, он занимает руководящий пост в западногерманском бундесвере, орудует в НАТО, ездит с визитами во Францию, в Англию и уже начинает снисходительно похлопывать по плечу тамошних генералов.

После войны стало многое известно о так называемой «верхушечной оппозиции», путче 20 июля, и прежде всего то, что путч 20 июля — дело рук Аллена Даллеса и «Интеллидженс сервис». Большинство участников заговора составляли убежденные фашисты, они выступали лишь против Гитлера, который не устраивал их, но не против фашистского строя. Достаточно вспомнить участника заговора генерала Гепнера, который на Псковщине приказывал публично давить танками захваченных в плен советских партизан.

И вот спустя много лет путч фашистских генералов, организованный англо-американской разведкой, политические фальсификаторы из Западной Германии превратили в крупнейший акт антифашистской борьбы. Каждый год день 20 июля отмечается с большой помпой. А в то же время тысячи истинных борцов с фашизмом, погибших в гитлеровских застенках и лагерях, остаются забытыми.

Теперь, когда многое стало виднее, когда удалось исследовать нацистские архивы, мы узнали, что усилия немецкого народа в подпольной антифашистской борьбе достигали куда более значительных масштабов, нежели это казалось прежде. Только одна подпольная группа Зефкова — Якоба — Бестлейна, потерявшая в неравной борьбе с фашизмом более четырехсот своих членов, сумела распространить свое влияние по всей Германии и вела нелегальную работу против нацистского строя почти до конца войны. Группа Шульце — Бойзена в Берлине, проникшая даже в имперское министерство воздушных сил, потеряла около семидесяти человек. Погибли на боевых постах Магнус Позер, Рудольф Гипнер, Кэти Нидеркирхнер, ушли из жизни тысячи и тысячи немецких антифашистов. Ушли непокоренными. В неслыханно жестоких условиях фашистского террора они печатали и распространяли листовки, организовывали саботаж на военных заводах, разлагали гитлеровскую армию и вырывали у врага его тайны, чтобы чем только возможно помешать гитлеровской военной клике осуществлять ее планы.

Судьба почти каждого немецкого подпольщика — ненаписанная книга, ждущая своего автора. А в Западной Германии хотят вытравить из памяти народа борьбу его передовых людей с фашизмом.

Мне рассказывали, что на Западе восемьдесят процентов всей литературы об антифашистской борьбе посвящено событиям 20 июля. Нет, кажется, фашистского генерала или бывшего нацистского политического деятеля, который бы не написал своих мемуаров. Одна из таких книжонок попала мне в западноберлинском книжном магазине. Она лежала на полке рядом с книгой Гитлера «Мейн кампф». Это были мемуары Вальтера Шелленберга.

В Нюрнберге после главного процесса над виновниками второй мировой войны проходило еще несколько судебных процессов. Их вели американские оккупационные власти. На некоторых из этих процессов мне приходилось бывать. Был я и на процессе гитлеровских дипломатов во главе с Вейцеккером — статс-секретарем министерства иностранных дел. Рядом с ним на скамье подсудимых сидел Вальтер Шелленберг, человек с холодным лицом и плотно стиснутыми губами, руководитель и организатор международных диверсий и провокаций, осуществляемых фашистским рейхом.



Мне рассказывали, что, когда обвинители вели следствие по делу Шелленберга, он бросил многозначительную фразу: «Если мне сохраняют жизнь и освободят из-под стражи, я раскрою тайны, которых не знает мир». Шелленберг явно шантажировал следователей, но ему, вероятно, удалось добиться цели. Вскоре после суда он оказался в Италии, где засел за свои мемуары. Книга вышла уже после смерти Шелленберга. Она открылась портретом автора и фотографией его могилы.

Шелленберг, вероятно, рассказал далеко не все о действиях фашистской разведки, но и то, что мы узнаем из его мемуаров, напоминает, что борьба реакционных сил приобретает порой жесточайший и трагедийный характер. Это настораживает, зовет к бдительности. Ведь не случайно преемником гитлеровских методов провокаций в наши дни стало ведомство Аллена Даллеса.

Лет десять назад совершенно вопиющий случай произошел в приграничном районе Чехословакии. Группа американских разведчиков, нарушив границу, проникла на машинах в Чехословакию. Где-то в горах американцы вскрыли гестаповский тайник, извлекли из пещер ящики с документами, погрузили их на машины и повернули обратно. Чехословацкие пограничники пытались задержать налетчиков, но американцы, оказав вооруженное сопротивление, скрылись в Баварию. В похищенных ящиках были архивы гитлеровской разведки. Таким образом вся шпионская сеть немецкого абвера перешла к американцам. Конечно, они не преминули ею воспользоваться. Так же как не преминули воспользоваться услугами беглого военного преступника, фашистского диверсанта Отто Скорцени, который тоже опубликовал свои мемуары и стал работать в Соединенных Штатах официально инструктором парашютных войск. А это означает, что он обучал своему «искусству» будущих диверсантов-разведчиков...

Из мрака фашистского прошлого возникает то одна, то другая преступная фигура. Следом за Оберлендером, палачом-карателем, который нашел себе теплое министерское место в боннском правительстве, обнаружили другого преступника, Адольфа Эйхмана, — организатора массового уничтожения евреев. На Нюрнбергском процессе имя Эйхмана не раз упоминалось среди имен наиболее злобных врагов человечества. До международного правосудия дошла жуткая фраза, произнесенная Эйхманом в кругу своих соучастников. Когда речь зашла об ответственности за преступления, Адольф Эйхман с усмешкой сказал: «Уж если придется мне прыгнуть в могилу, я буду удовлетворен, что раньше отправил туда пять миллионов евреев».

И это не пустое и циничное бахвальство убийцы. Эйхман был начальником так называемого отдела «IVA-4B» в имперском управлении безопасности. В ведении отдела «IVA-4B» находились все еврейские гетто и лагеря уничтожения типа Тремблинки или Освенцима.

Удивительно, до чего причудливо переплетаются иногда события. Тот же Эйхман долгое время путался с другим преступником — самозванным муфтием иерусалимским и агентом многих разведок Сандом Мухамедом Амин эль Гусейном. Одно время Эйхман был секретарем или адъютантом муфтия, который, кстати говоря, перед получением духовного сана закончил турецкую разведывательную школу. Именно Эйхман завербовал Амин эль Гусейна в немецкую разведку и после очередного провала какого-то заговора помог ему вместе с гаремом переправиться на самолете в Берлин. Этот шпик и самозванный муфтий знаком нам по другому поводу: Амин эль Гусейн был вдохновителем антисоветского мусульманского легиона «Идель Урал», в котором самоотверженно вел подпольную борьбу Герой Советского Союза татарский поэт и солдат Муса Джалиль. Об этом в свое время много писалось в нашей печати.

В Западном Берлине мне удалось встретиться с католическим священником Георгом Юрытко, который во время войны был тюремным священником в Шпандау и хорошо знал Мусу Джалиля. Эта встреча произошла в домике священника, окруженном молодым садом. Мы долго ждали хозяина, который, как нам сказали, отправился в больницу. Потом пришла пожилая экономка и сообщила, что священник вернулся и ждет нас. Он встретил нас в дверях своего дома и провел на второй этаж, в рабочую комнату, заставленную множеством богословских книг. Узнав о цели моего приезда, священник принялся вспоминать о своих встречах с поэтом. Впервые он увидел Джалиля летом 1944 года. В камере было двое заключенных — Джалиль и еще один, кажется, инженер

по профессии. С Джалилем он разговаривал больше потому, что тот лучше говорил по-немецки. Оба заключенных оставляли впечатление умных и образованных людей. Джалиль попросил священника принести ему книги и сказал, что он очень любит Гёте; священник принес ему книжку стихов немецкого поэта.

— Как тюремный священник,— рассказывал Юрытко,— я мог посещать камеры заключенных-смертников, старался помочь им, хотя и знал, что оба они мусульмане... Последний раз я видел Джалиля за день до расстрела. Он тогда передал мне письмо, которое я тайно вынес из тюрьмы и потом отправил адресату. Письмо было написано по-русски, я и сейчас вижу красивые ровные строки. Джалиль перевел мне письмо. Помню, оно было адресовано товарищу, но предназначалось жене. В письме он прощался с ней. В тот день Джалиль рассказал мне свой последний сон. Ему приснилось, будто он стоял один на большой сцене, а вокруг него все было черно — и стены и вещи...

О смерти поэта священник узнал на другой день. О предстоящей казни ему ничего не сказали, при казни присутствовал мулла — Муса и его товарищи считались мусульманами.

Я спросил священника, когда умер Джалиль. Юрытко задумался и ответил:

— Мне кажется, что это было поздней осенью 1944 года, скорее всего в октябре... Да, да, в октябре.— Он еще помолчал и сказал: — Их расстреляли и схоронили вон там. Там всегда расстреливали приговоренных к смерти.

Священник указал через окно в сторону леса.

— Теперь трудно найти могилу казненных,— сказал он.— Здесь давно ведут какие-то строительные работы, и все вокруг сильно изменилось.

Когда мы прошались, священник сказал:

— Я уверен в добрых человеческих намерениях Мусы Джалиля и его товарищей, с которыми нацисты так жестоко расправились. Они, эти узники, были люди другой религии, но я уверен, что все они сейчас находятся в раю... Да, да, в раю.

В устах католического священника это было высшей оценкой земных деяний Мусы Джалиля и его товарищей.

Самые теплые, самые добрые чувства вызывают у честных людей Германии воспоминания о советских патриотах, боровшихся с фашизмом в подполье.

...Гостиница, в которой я поселился, находилась на Тельманплац, почти на самой границе с Западным Берлином. Из окна виден Тиргартен, вновь засаженный молодыми деревьями. Выросли деревья и на Унтер ден Линден, на месте старых лип, которые Гитлер приказал когда-то срубить, чтобы освободить место для военных парадов. Перед гостиницей, сразу же за площадью Тельмана, виден высокий земляной холм, возникший на месте последнего убежища Гитлера. Когда-то здесь была новая имперская канцелярия, под зданием находился бункер — ставка, где Гитлер покончил самоубийством. Остатки стен имперской канцелярии, разбитых бомбами и снарядами, разобрали, а бетонный бункер пытались взорвать. Но огромный заряд взрывчатки оказался все же недостаточным, закладывать новый, усиленный, заряд было небезопасно для окружающих зданий. Тогда решили засыпать бункер землей. Вот и вырос на этом месте пологий холм. Этот холм символичен: в демократическом Берлине глубоко похоронено фашистское прошлое. К нему нет больше возврата. Но рядом, по другую сторону холма, начинается западная часть города, где всевозможные политиканы, реваншисты и герои «холодной войны» пытаются вернуть к жизни это смердящее прошлое.

## ЧУДО НА ЭЛЬБЕ

Несколько лет назад на капиталистическом Западе заговорили об «экономическом чуде», которое, точно божья благодать, снизошло на Западную Германию. Политики, журналисты, радиокомментаторы наперебой умилялись успехами боннской республики — там-де процветает промышленность, растет деловая активность... Западногерманские монополисты, которые после войны отделились только легким испугом, снова подсчитывали барыши и уже кое-где начинали поджимать своих конкурентов — англи-

чан и французов. Но никто на Западе не говорил о том, как в действительности родилось это «чудо».

Что же, собственно, произошло в Западной Германии? Какова предыстория «западного чуда»?

Прежде чем ответить на этот вопрос, я расскажу об одном событии, свидетелем которого мне довелось быть. Это произошло в Нюрнберге после окончания затянувшегося процесса главных военных преступников. Десять месяцев продолжались заседания Международного военного трибунала. В итоге половина подсудимых была приговорена к смертной казни, другие к разным срокам тюремного заключения и только три преступника вопреки решительным протестам советской стороны были оправданы и отпущены на свободу. Среди них был фашистский банкир Ялмар Шахт — главный уполномоченный по военной экономике гитлеровской Германии.

Как только огласили приговор, западные журналисты бросились к освобожденным преступникам за интервью. И вот Ялмар Шахт, человек, вооружавший фашизм, прежде чем ответить на вопросы, снял шляпу, протянул ее к американским корреспондентам и воскликнул:

— Господа, помогите моим бедным детям, соберите для них немного шоколада...

Как отвратительно мерзко выглядела эта сцена! Американцы были щедры, они бросали в шляпу преступника не только шоколадки. На другой день газеты пестрели сообщениями о несчастном, невинно пострадавшем старце. Еще большую щедрость проявили американские империалисты по отношению к своим западногерманским собратьям.

После Нюрнбергского процесса сами немцы вынуждены были посадить военного преступника Шахта за тюремную решетку — уж слишком однозна была эта фигура. И вот, пребывая в тюрьме, банкир Шахт услышал о плане Маршалла, которым американские капиталисты решили облагодетельствовать доверчивых правителей западноевропейских стран, пострадавших от фашистской агрессии. В тюрьме Шахт набросал свой проект. Его план был необычайно прост и основывался на чудовищном обмане и надувательстве. Банкир-арестант предлагал в течение тридцати месяцев заменить на восемьдесят процентов устаревшее оборудование западногерманских заводов. Шахт уверял: американцам это почти ничего не будет стоить, но экономический эффект получится огромный. Новое оборудование, предназначенное европейским странам по плану Маршалла, Шахт предлагал отправить на германские заводы. Старые же немецкие станки и машины надо послать в европейские страны, пострадавшие от фашизма. Роптать они не будут — дареному коню в зубы не смотрят. Конечно, немецким промышленникам понадобится еще и кредиты, но с американскими финансистами можно будет рассчитывать акциями западногерманских предприятий...

Американские бизнесмены были в восторге от предложения Шахта, оно сулило им крупные барыши. Военного преступника назвали «волшебником» и выпустили из тюрьмы. Так зародилось «экономическое чудо». Как и после первой мировой войны, на германских монополистов посыпался дождь американских благдеяний. Немецкие магнаты снова оказались у власти и начали все более открыто возрождать гитлеровскую фашистскую политику германского милитаризма.

Но история не всегда повторяется. В восточной части Германии родилось иное, независимое миролюбивое государство — Германская Демократическая Республика. ГДР могут признавать или не признавать, но она существует и с каждым годом все больше утверждает свое положение во всем мире. И уж если говорить об экономическом чуде, то свершилось оно не на Рейне, не в Руре, который вновь становится кузницей войны, а в бассейне Эльбы, на территории Германской Демократической Республики.

Десять лет — срок немалый не только для человеческой жизни, но и для жизни страны. Те десять лет, что я не был в Германии, позволили теперь отчетливее увидеть те изменения, которые здесь произошли. Я вновь побывал в самых отдаленных уголках республики, от Рудных гор до Балтийского побережья, — в маленьких деревнях и на больших промышленных предприятиях. И все, что довелось здесь увидеть, вызывает

глубокое уважение к трудолюбивому немецкому народу, который сумел за эти годы добиться таких поразительных успехов.

Я начну с поездки в Рудные горы. Мне хотелось увидеть искусственное глубоко-водное озеро, о существовании которого я давно знал. Мы свернули с просторной автострады на тесную проселочную дорогу и двинулись в горы долиной реки Мульде, послушно повторяя ее капризные изгибы и повороты. Где-то далеко-далеко, при впадении в Эльбу, река приобретает солидность, течет медленно, величаво. Здесь же она, словно взбалмошная девчонка, резво и весело подпрыгивая, несла нам навстречу свои мутно-зеленые, покрытые пеной волны. Только ненадолго она пряталась в зелени вязов, каштанов, березок, потом появлялась снова и бежала, бежала навстречу...

Дорога стала круче, мы миновали селение Зола и поползли по крутому склону, к вершинам гор. Среди диких скал раскинулась малахитово-зеленая гладь. Вода в озере чуть колыхалась, запертая в котловане высокой шестидесятиметровой плотиной. Когда-то я ходил по дну этого озера и, запрокинув голову, глядел на вершины скал, поросшие мшистыми елями. Даже не верилось, что когда-нибудь здесь будет горное озеро. Кругом в котловане кипела тогда работа, а откуда-то сверху доносились гулкие взрывы — в каменоломнях рвали камень. Методом народной стройки немецкая молодежь возводила плотину в горах, чтобы снабдить питьевой водой окрестные селения и города. Тысячи людей много месяцев работали в этих горах, и вместе с плотиной люди поднимались все выше и выше к вершинам. А теперь малахитовая вода омывает корни старых елей, выросших в расщелинах высоких скал.

Мы проехали над самой водой и остановились перед дощатыми воротами, запертыми на замок. Долго звонили, пока не появился пожилой худощавый и очень загорелый мужчина с ключом на толстом шнуре. Мы познакомились с Максом Кемпбе — смотрителем плотины и водоема. Оказалось, что все это большое водное хозяйство обслуживают всего два человека. Сослуживец Кемпбе ушел по делам вниз, в село, которое мы только что проезжали, а сам он был на плотине и не слышал наших звонков. Только неистовый лай собаки привлек его внимание. Ведь здесь редко кто появляется из посторонних людей...

Смотритель Кемпбе, осведомившись, кто мы и зачем приехали, вызвался сам показать озеро. Мы прошли по гребню плотины на другой берег и остановились перед литой чугунной доской, укрепленной на гранитной скале. В центре мемориальной доски было рельефное изображение голубя мира, все остальное место занимали литые строки, рассказывающие о трудовом подвиге немецкой молодежи. Усилиями молодых немцев десятки селений в изобилии получили теперь питьевую воду, недостаток которой столетиями ощущали окрестные жители.

Читая слова, начертанные на чугунной скрижали, я думал о том, что сама эта мемориальная доска тоже нечто новое и примечательное в жизни немцев. В Германии повсюду встречаются иные памятники, иные мемориальные доски. Они веками посвящались знаменитым битвам или памяти солдат, павших в военных походах, на чужих землях. Теперь пришли другие времена. И может быть, чугунная доска на скалистой вершине Рудных гор была одним из первых памятников созидательному труду немецкого народа.

Мне пришлось побывать и на севере республики — на побережье Балтийского моря. Там, где еще десять лет назад на низких берегах рос тростник, где ютились редкие рыбацкие хижины, вырос Ростокский морской порт, появились огромные верфи, на которых строят океанские корабли. Уходящие высоко в небо порталы краны, гигантские эллинги, гранитные волноломы, причальные стенки, стапеля с недостроенными многоэтажными корпусами судов и корабли, тесно сгрудившиеся в затонах верфей, вызывают чувство изумления у человека, который не так уж давно видел в этих местах одни лишь песчаные дюны да болотистые луга. В Варнемюнде, на верфи, мне рассказали, что для эллинга, где строят теперь океанские корабли, пришлось забить в грунт восемь тысяч железобетонных свай — чуть ли не по одной свае на каждый квадратный метр берега. На прочной основе строит республика свои корабли! И весь прибалтийский район стал как бы тоже народной стройкой. Ведь для Ростокского порта, вокруг которого нет ни каменоломен, ни карьеров, камень собирали по всей республике на

крестьянских полях. Валуны, булыжники — все шло в дело. Более шестидесяти тысяч тонн камней собрали немецкие крестьяне, очищая свои поля, вынесли их на обочины проселочных дорог и уж отсюда камень увозили на побережье. Это была всенародная помощь своей республике, которая сооружала морской порт — выход в мир, на морские просторы.

Пусть еще территория порта завалена строительным мусором, пусть еще не предложена к нему автострада, которая строится между Берлином и побережьем, но порт уже есть, он существует. И велика была гордость людей, когда минувшей весной в порт пришел первый иностранный корабль водоизмещением в десять тысяч тонн. Он пришел из Лондона с грузом каучука, матросы открыли люки, и подъемные краны стали разгружать трюмы.

Германская Демократическая Республика становится морской державой. На новых верфях в Висмаре, Штральзунде, Ростоке, Варнемюнде построены уже десятки крупных судов, которые бороздят морские просторы.

В Ростоке по случаю «Остзее вохе» — недели содружества народов германских стран — была открыта промышленная выставка бывшего Мекленбурга. Когда-то это была немецкая глухомань, о которой Бисмарк говорил так: «Если на земле наступит конец света, то я поеду в Мекленбург. Там во всем — и в жизни и в событиях — люди отстают от современности на пятьдесят лет».

Но теперь уж никому не придет в голову упрекать мекленбуржцев в вековой отсталости. О том, как далеко шагнули они в области социальных реформ, в области промышленного, сельскохозяйственного и культурного строительства, убедительно рассказывала ростокская выставка.

Конечно, на первом месте здесь представлено судостроение. Самые большие выставочные залы отвели для макетов уже существующих и будущих кораблей. Вот макет морского парома, который совершает регулярные рейсы в Швецию. Кроме поездов, он принимает на борт около тысячи пассажиров. Вот морской плавучий дом отдыха на четыреста комфортабельных мест, рядом грузовые, пассажирские корабли, плавучие доки, морские суда... А во всю стену — щит с перечислением классов и технических данных кораблей, которые будут спущены на воду в ближайшие годы.

Не один час надо затратить, чтобы осмотреть эту выставку. На стендах — двигатели внутреннего сгорания, продукция завода хирургических инструментов, консервы, рыболовные снасти, сельскохозяйственные машины, орудия, тончайшие изделия из дедерона — искусственного шелка, более известного под названием «перлон». Но дедерон — волокно более высокого качества, и не случайно его так называли: в этом слове заключены начальные буквы наименования республики: «Дойче Демократише Републик».

Вот чем стала сегодня мекленбургская земля!

Во время любой поездки по ГДР я старался посетить места, о которых когда-то писал. Так попал я в Карл-Маркс-штадт, бывший Хемниц, — центр крупного промышленного района.

Мы ехали к Эльбе, и я узнавал и не узнавал когда-то хорошо знакомые места. В стороне от дороги, где прежде виднелись лишь редкие черепичные кровли, теперь поднимались высокие трубы мощной электростанции.

— Это Люббенау, одна из крупнейших теплоцентралей в Европе, — сказал мой спутник. — Стройка семилетки. Как видите, она уже дает ток. Сейчас по выработке электроэнергии на душу населения мы вышли на первое место в Европе...

Дымящиеся трубы стали появляться все чаще, они словно патрулировали нас всю дорогу. Потом среди зеленых полей и холмов появились терриконы, угольные шахты и снова фабричные корпуса, высоковольтные линии.

Я помнил Хемниц, жестоко разрушенным войной. Улицы в грудах щебня и мусора, закопченные стены с темными провалами окон. После войны уцелела только треть города. Теперь нас встретили новые жилые корпуса, чистые, красивые улицы. Жители много потрудились, чтобы привести Карл-Маркс-штадт в порядок, — несколько лет из месяца в месяц они выходили на субботники, разбирали руины.

Мое знакомство с Карл-Маркс-штадтским округом началось с интересной беседы в обкоме Социалистической единой партии с секретарем по промышленности товари-

шем Куртом Пантелеитом. За неизменным кофе мы долго разговаривали о промышленном развитии округа. Передо мной сидел человек средних лет, подвижной, энергичный и злобленный в свое дело. Курт Пантелеит — сын шахтера из Эльснитца, печатник по профессии; по заданию партии он перешел на работу в шахту. Несколько лет был шахтером, потом учился в высшей партийной школе, и вот он секретарь партийной организации крупнейшей в республике области.

Карл-Маркс-штадтский округ дает почти шестнадцать процентов промышленной продукции республики. Это самый крупный промышленный район ГДР. Здесь добывается девяносто процентов угля, производится половина всего текстиля, шестьдесят процентов республиканского текстильного машиностроения, треть всех станков и четвертая часть автомобилей, выпускаемых ГДР.

Мое внимание привлекли и другие цифры: примерно из четырех тысяч промышленных предприятий округа государству принадлежат семьсот фабрик, заводов и шахт. Конечно, это наиболее крупные предприятия. Девятьсот пятьдесят предприятий — смешанные, и около двух с половиной тысяч предприятий, преимущественно мелких, принадлежит частным владельцам. Частные предприятия дают около десяти процентов продукции. Таким образом, основные, ключевые, позиции в промышленности принадлежат государству.

В самом Карл-Маркс-штадте я посетил только один завод — текстильного машиностроения, раньше он принадлежал фирме «Шуперт унд Зальцер». Бывший его хозяин Тома переселился на Запад и открыл там новое предприятие. Он тоже выпускает текстильные машины и старается конкурировать со своими бывшими рабочими. А новые хозяева никак не хотят уступать, и теперь их продукция экспортируется в Советский Союз, в Китай, Албанию, Венгрию, Польшу, Швецию и даже... в Западную Германию, где господин Тома считал себя монополистом в области текстильного машиностроения.

Здесь, как и всюду, приходилось начинать на пустом месте. Завод на семьдесят процентов был разрушен. Да и сейчас еще я видел цехи без крыш, с пустыми проемами окон. И все же за десятилетие рабочим удалось в пять раз увеличить выпуск текстильных машин. Счет они ведут с того года, когда впервые их станки пошли за границу — во Францию, в Италию, в Англию и в Советский Союз. Это не на шутку встревожило бывшего владельца, и он принялся переманивать на Запад квалифицированных рабочих, но безуспешно. Тогда господин Тома стал на другой путь. Когда народное предприятие получило большой заказ из Швеции и туда уже отправились мастера, чтобы монтировать станки, в газетах вдруг появились лживые сообщения о том, что завод поставляет старые станки, изготовленные еще фирмой «Шуперт унд Зальцер». Опровергнуть ложь, разумеется, было нетрудно — ведь станки народного предприятия обладали куда большей производительностью, чем те, которые выпускала фирма когда-то.

Мы говорили об этом с бригадиром сборочного цеха, мастером Штрой, только что вернувшимся из нашей Ивандеевки. За последние годы он побывал во многих странах, монтируя текстильные станки своего предприятия. Посмеиваясь, Штрой сказал:

— Наш бывший хозяин лопнул бы от злости, увидев, каким стал теперь завод. А ведь мы восстановили его своими руками. Как видите, мы без хозяина отлично обходимся и никогда не пустим его сюда...

Недалеко от Карл-Маркс-штадта есть промышленный город Цвиккау, хорошо знакомый мне по старым журналистским поездкам: здесь я останавливался по пути в Нюрнберг, на процесс военных преступников, приезжал сюда во время национализации крупных, главным образом военных, предприятий.

Приезжал я в Цвиккау и десять лет назад, в те тревожные дни, когда американские самолеты разбрасывали в его округе колорадских жуков — опаснейших вредителей картофельных полей. По этому поводу мне вспомнилась одна примечательная встреча.

Говорят, что настроения детей лучше, искреннее всего отражают истинные настроения всего народа. Это действительно так. Десять лет назад я жил в Берлине, в районе Панков, неподалеку от домика Вильгельма Пика. В нем он так и остался жить, после того как стал президентом республики. Иногда я встречал его на прогулке и однажды передал ему письмо, полученное из Союза. Это было письмо ленинградского школьни-

ка президенту Германской Демократической Республики, которое переслали мне из «Пионерской правды» с просьбой передать адресату.

Ленинградский мальчик отправил письмо президенту Германской Демократической Республики, минуя все другие инстанции. Ему нужно было передать свой совет лично президенту. Он писал:

«Уважаемый товарищ Вильгельм Пик! Я прочитал в газете, что американцы сбросили на ваши поля колорадского жука и Вы мобилизовали все силы на борьбу с ним. Я хочу Вам дать совет. Я читал в одной книжке, как жители Стожар взяли на борьбу с жуком всех кур. Мой совет заключается в том, чтобы Вы выпустили на поле как можно больше кур, индюков и индеек. Я уверен, что они очень помогут вам.

Щеглов А. С. Ученик 4-го класса «А» 210-й школы».

Вильгельм Пик прочитал письмо, и его лицо озарилось доброй улыбкой. Через несколько дней я встретился с одним из референтов президента и спросил у него про письмо школьника. Референт сказал:

— А вы знаете, это совсем не так смешно и наивно, как может показаться сначала. Президент заинтересовался письмом и поручил специалистам изучить совет вашего школьника. Он просил подобрать ему литературу по этому вопросу. Может быть, мы действительно найдем средство борьбы с колорадским жуком...

Последний раз я побывал в Цвиккау в те дни, когда немецкий шахтер Адольф Хеннеке первым в республике установил трудовой рекорд добычи угля. За смену он выполнил план на триста восемьдесят процентов. Тогда и зародилось движение последователей Хеннеке за перевыполнение производственных планов. Так начиналось в республике социалистическое соревнование. Рекорд Хеннеке просуществовал всего несколько дней, его превысил другой шахтер, с соседней шахты «Утренняя звезда», — Пауль Гюнтер. За смену он выполнил шестьсот восемь процентов плана. На мой вопрос, как он добился такого успеха, Гюнтер сказал тогда: «Мне помог в этом Хеннеке, здесь нужны пример, вдохновение и опыт».

И вот через много лет я снова на той же шахте. Теперь она называется именем Мартина Хоопа, героя-антифашиста из Цвиккау, погибшего в гитлеровском застенке. Шахту не узнать. Новые производственные помещения, просторные, светлые, — не чета старым, которые существовали более полувека. С какой гордостью немецкие товарищи показывали залы для отдыха, удобные души, гардеробы-сушилки, кухню с никелированными котлами, новую столовую, клуб.

Пауль Гюнтер по сей день работает на шахте, он стал Героем Труда. Но встретиться с ним нам не удалось. На этот раз моими собеседниками были другие шахтеры — руководители передовых бригад: товарищи Дитц, Войновский, Ниметц... Когда Гюнтер установил свой рекорд, это был одиночный трудовой подвиг. Теперь на шахте уже около ста бригад, соревнующихся за почетное звание социалистических. А шахта дает угля вдвое больше, чем прежде. Потом я узнал, что в Карл-Маркс-штадтском округе таких бригад насчитывается больше двенадцати тысяч. Они охватывают почти половину всех рабочих. Пример, вдохновение и опыт, о которых говорил мне немецкий шахтер Пауль Гюнтер, стали теперь достоянием миллионов людей.

В Цвиккау мне довелось побывать на автомобильном заводе «Заксенринг». На этом заводе я тоже бывал прежде. Его бывший владелец, военный преступник Хорх, строил военные транспортеры и душегубки, делал торпеды, автомобили, снаряды. В конце войны Хорх передал гитлеровскому правительству собственное изобретение, которое позволяло использовать для вождения танков безногих. После капитуляции Хорх бежал на Запад. Его предприятие, как и многие другие заводы германских монополистов стало народной собственностью. Впервые я попал на завод как раз в то время, когда его объявили народным предприятием. На основе Потсдамского соглашения завод был демилитаризован, как и другие военные заводы в советской оккупационной зоне; все материалы, станки, машины, предназначенные для военного производства, были изъяты. Практически на таких заводах оставались одни стены да кровли, если они не были разбиты бомбами. Управление заводом принял на себя комитет профсоюзов. Немногочис-

ленные рабочие делали тогда в цехах кухонную посуду, ремонтировали старые автомобили и по всей округе разыскивали мало-мальски пригодные станки; откапывали их из-под завалин, восстанавливали и пускали в ход. А на заводском дворе, между корпусами, выращивали картофель...

Теперь завод не узнать. Кузовной цех встретил нас оглушительным грохотом. Скрежетали ленточные пилы, тархтели пневматические зубила и фрезы. Рабочие обрабатывали детали автомобильных кузовов, но они были не из стального листа, а из необычайно прочной пластмассы. Нам показали, как это делают: слой мягкого, рыхлого хлопка, похожего на ватин, пересыпали каким-то желтым порошком, клали под пресс, и через полчаса полотноша нежного хлопка превращались в крышу машины, в стенки кабины, в крылья. Детали приобретали такую прочность, что выдерживали тяжесть десяти вставших на них людей.

Демократической республике пришлось создавать металлургическую промышленность заново, и естественно, что в стране до сих пор ощущается недостаток металла. И вот группа заводских инженеров разработала способ, который позволил заменить стальной лист пластической массой. Такие же попытки заменить стальной лист пластической массой, предпринятые во Франции и Соединенных Штатах, пока не дали положительных результатов. А в Цвикау уже несколько лет выпускают малолитражные автомобили с пластмассовыми кузовами.

Рабочие «Заксенринга» назвали свое детище в честь первого советского спутника Земли «трабант» (спутник). В шестидесятом году завод выпустил тридцать пять тысяч «трабантов». В конце семилетки их производство возрастет до шестидесяти пяти тысяч машин в год. Но на заводе заглядывают еще дальше — в следующее десятилетие. Тогда выпуск малолитражных автомобилей достигнет ста пятидесяти тысяч в год.

Изящные и проворные машины уже завоевали популярность у автомобилистов. На международных гонках в Австрии, в которых участвовали автомобильные фирмы Западной Германии, Италии, Чехословакии, Франции, Англии, Польши, «трабант» завоевал золотую и серебряную медали.

Все это рассказал нам в цехе руководитель одной из первых в республике социалистических бригад товарищ Гельмут Мюллер. Он работал сначала в гальваническом цехе, но потом перешел в кузовной, который одно время не выполнял программы. Это было партийное поручение. Я уж не первый раз сталкивался с людьми, которые, выполняя поручение партии, переходили на другую, порой ниже оплачиваемую работу и управляли положением на узловых участках. Так было и с Мюллером. Он с честью выполнил партийное задание, бригада его стала социалистической.

Слушая рассказ бригадира, я вспомнил одну любопытную историю давних лет: в Магдебурге один из первых рационализаторов потребовал установить перед его станком плотную ширму, чтобы никто не мог подглядеть его секретов. Как далеко ушло то время! Сейчас на предприятиях ГДР существуют тысячи так называемых социалистических содружеств, в которые объединяются рядовые рабочие и инженеры для совместного решения технических задач. В результате такого содружества и появились пластмассовые кузова для малолитражных автомобилей «трабант».

Конечно, содружество родилось не сразу. Происходил сложный процесс ломки частнособственнической психологии, возникали споры между «моим» и «нашим». Порой они перерастали в острые конфликты. И совсем еще недавно способный инженер предпочел уйти на Запад, лишь бы не участвовать в совместной разработке интересовавшего его проекта. Его убеждали: «Эдисон мог работать один, но запуск спутника — плод коллективных усилий. Теперь не то время. Индивидуализм в науке и технике торозит дело». Инженер не понял этого.

То, что я рассказал здесь о рождении автомобиля из пластической массы, только один из примеров содружества труда и науки, опыта и глубоких теоретических знаний. И не случайно в этом году намечено заменить во всем промышленном Карл-Маркштадтском округе треть всех действующих станков новыми. А ведь именно такой темп обновления станочного парка на Западе объявили «великим экономическим чудом»! Но здесь, в Демократической республике, говорят об этом спокойно, по-деловому и осуществляют это своими силами.



И уж если говорить о техническом прогрессе в республике, о торжестве технической мысли, новаторстве и смелости в решении сложнейших проблем, то следует познакомиться с комбинатом «Шварце Пумпе», который строится в районе Лаузици, недалеко от города Коттбуса.

Немецких геологов давно привлекали сюда огромные залежи бурого угля, скрытые на большой глубине под лесами и болотами. Теперь запасы его разведаны окончательно — они превышают полтора миллиарда тонн. Но добывать здесь бурый уголь до последнего времени считалось невыгодным: чтобы получить тонну угля, надо предварительно откачать восемь кубометров воды и поднять больше шести тонн породы. Чтобы добраться до мощных пластов бурого угля, нужно рыть котлованы глубиной до ста метров. А площадь карьерного поля составляет почти семнадцать тысяч гектаров! Поистине титаническую работу надо выполнить, чтобы добыть скрытый под землей уголь. Но зато при самой интенсивной добыче угля этого хватит на сто пятьдесят лет. Потомки смогут его добывать и в будущем тысячелетии!

Комбинат «Шварце Пумпе» находится в нескольких часах езды от Берлина. Приехали мы туда в разгар трудового дня. Здесь мы встретились с молодым инженером Зигфридом Нейманом, который сразу повел нас к огромному макету, изображавшему угольный комбинат в недалеком будущем. Инженер Нейман хорошо, почти без акцента, говорил по-русски, отвечая на наши вопросы. Оказалось, что инженер несколько лет учился в Москве, в Горном институте, и перенял русское произношение от товарищей по общежитию. Свой трудовой путь Зигфрид начал слесарем, учился на рабфаке, поступил в Горную академию в Фрейберге, а оттуда его послали в Москву. Это был представитель новой интеллигенции, вышедший из немецкого рабочего класса. Такие люди нам встречались повсюду.

Зигфрид Нейман с гордостью говорил о том, что ГДР стоит на первом месте в мире по добыче бурого угля, что здесь высоко развита техника открытых разработок, а с уровнем производства и качеством современного оборудования не может конкурировать ни Америка, ни Западная Германия. Все это и дало возможность взяться за решение лаузицкой проблемы.

Чтобы обеспечить экономическую выгоду добычи бурого угля в Лаузици, требовалось решить главную техническую задачу — организовать производство в невиданно больших масштабах. Но предварительные расчеты были неутешительны. Из угольного разреза каждую минуту придется откачивать до двухсот кубометров воды. В средней же Германии обычный дебит воды в разрезах не превышает двух-трех кубометров в минуту. В этих условиях рациональную добычу угля могла бы дать только высокая механизация работ и поистине гигантский размах производства. И немецкие инженеры взялись создать это техническое чудо.

Зигфрид Нейман показал на макете, как разворачиваются работы в «Шварце Пумпе». Но оказалось, что макет уже не отражает того, что будет на самом деле. Жизнь обгоняет, казалось бы, самые фантастические планы. Машиностроительным заводам уже передала заказ на изготовление гигантских механизмов, каких еще не знает мировая техника угледобычи. Экскаваторы смогут вскрывать земляные пласты на глубину до сорока пяти метров, а производительность экскаватора у отвального моста составит четыре с половиной тысячи кубометров в час! Без таких механизмов просто невозможно будет добывать и перерабатывать эти сто тысяч тонн бурого угля в сутки, как намечено планом. И это не только план, не только грандиозный технический проект. Комбинат уже частично действует. Первая из трех тепловых электростанций дает ток, вторая сооружается рядом, и ее стосорокаметровые трубы видны издали. Заканчивается проект и третьей станции. Их общая мощность приближается к мощности нашего Днепрогэса. Кроме того, комбинат будет ежегодно давать свыше пяти миллиардов кубометров газа, сотни тысяч тонн ценного химического сырья, а главное, комбинат «Шварце Пумпе» ежегодно будет производить два с половиной миллиона тонн металлургического кокса! Нет, это не оговорка и не описка. Кажется совершенно невероятным, что из бурого угля можно делать кокс, но это так. Ученые и инженеры ГДР открыли и разработали способ изготовления кокса из бурого угля. Он уже производится

в промышленных масштабах. Первый в мире завод по производству кокса из бурого угля уже работает несколько лет в Лаухаммере.

Для экономии времени мы проехали по комбинату на автомашине; чтобы обойти все пешком, понадобилось бы несколько дней. Проехали мы и по деревням, которые в ближайшее время будут снесены и жители переселятся в другие места. Не решена пока судьба города Шпремберга, который тоже оказался на пути будущего разреза. Под городом обнаружены мощные угольные пласты. Не исключена возможность, что и город перенесут на новое место.

Угольный комбинат «Шварце Пумпе» строится с большим, поистине социалистическим размахом. Разве не примечательно, например, что просторная, светлая рабочая поликлиника построена здесь гораздо раньше, чем поднялись из земли промышленные корпуса! Рядом, в нескольких километрах, строится новый город на семь тысяч благоустроенных квартир. И в каждом квартале — школы, клубы, магазины, спортивные площадки.

Я спрашиваю у Зигфрида:

— Вы скоро заселите город?

— Ага! — отвечает он. — Несколько тысяч квартир уже заселили...

«Шварце Пумпе» — одна из многочисленныхстроек Германской Демократической Республики. Давно ли на востоке республики выросли домы металлургического комбината! Полным ходом идет строительство в том месте, куда подойдет нефтепровод из Советского Союза — из Куйбышева — протяженностью в четыре с половиной тысячи километров... Вся страна покрыта новостройками. И при всем этом неуклонно возрастает личное благосостояние людей. Национальный доход в Демократической республике за последние десять лет вырос в два раза.

Правительство поставило конкретную задачу — в 1961 году превзойти душевое потребление в ГДР по сравнению с Западной Германией. Потребление на человека таких продуктов, как хлеб, масло, сахар и некоторых других, в ГДР уже значительно выше, чем в боннской республике.

И это при том, что развитие ГДР происходит в более сложных и трудных экономических условиях, чем в Западной Германии. Ведь восточная часть страны прежде была наименее развитой в промышленном отношении. Теперь промышленный уровень ГДР возрос в три раза, а в прошлом году прирост промышленной продукции в ГДР составил двенадцать процентов против семи процентов в Западной Германии.

Где же, вправе мы спросить, произошло экономическое чудо — на Рейне или на Эльбе?!

Но и нам могут задать вопрос: в чем причины, где источник такого чуда? Ответ дает статистический справочник ГДР. В нем указаны сравнительные данные состава двух немецких парламентов — демократической и боннской республик. В ГДР среди депутатов Народной палаты шестьдесят один процент составляют рабочие, а в западногерманском бундестаге рабочих в двадцать раз меньше — всего три процента!

Народная власть — вот неиссякаемый источник чуда на Эльбе!

## В НЕМЕЦКОЙ ДЕРЕВНЕ

Много лет назад по пути из Берлина в Лейпциг мне пришлось ненадолго задержаться в маленьком, тихом городке Тройенбритцене. Это было типичное селение центральной Германии, с островерхими крышами из красной, потемневшей от времени, черепицы, с готической кирхой, булыжной мостовой и старыми крестьянскими дворами, сложенными из грубого камня. Здесь не было видно никаких разрушений. Похоже, что война прошла стороной, пощадила Тройенбритцен. Но оказалось, что это совсем не так. Случайно мы набрали на старое кладбище. То, что я там увидел, глубоко поразило меня. Длинными рядами лежали здесь серые могильные плиты, но могил не было. Только плиты с именами жителей Тройенбритцена, ушедших воевать. Они умирали во Франции во франко-прусскую войну, умирали в Польше и на Балканах, под Верденом и на Сомме в войну 1914—1918 годов. Они погибали в последнюю войну снова

в Польше и на Балканах, во Франции и Белоруссии, на полях Украины, под Москвой и Сталинградом. В память о каждом солдате, сложившем голову на чужой стороне, жители Тройенбритцена ставили на своем кладбище могильную плиту с его именем и указанием места гибели. Сотни таких плит лежали на этом сельском кладбище. Иные поросли буро-зеленым мхом, и на них трудно было разобрать надписи, другие сохранились лучше.

От той же поездки в памяти осталась одна встреча. У входа на кладбище мы увидели пожилую крестьянку с подростком сыном. Она назвала себя Гертой Шлимме. Судьба ее походила на судьбу всего немецкого народа. Дед Герты, ее отец, брат и муж — люди трех поколений — погибли на войне. Им всем обещали землю в чужих краях, но нашли они там свои могилы. А земля была рядом, тут же за селением, но принадлежала она потомкам баронов.

В 1945 году в Тройенбритцен, впервые в его истории, пришли иностранные войска. Это были советские войска. Люди, против которых сражались и мужчины Тройенбритцена, помогли крестьянам получить землю. В Восточной Германии прошла земельная реформа, получила надел и солдатская вдова Герта Шлимме.

О тройенбритценском кладбище, о судьбе Герты Шлимме я уже писал в своей книге и теперь, снова проезжая по этим местам, не утерпел и завернул в Тройенбритцен. Я снова шел мимо сельского кладбища, в глубине его по-прежнему возвышался памятник солдатам франко-прусской войны с именами погибших солдат, номерами полков, названиями дивизий, потом ряды надгробных плит без могил. Здесь все было, как прежде...

А рядом другое кладбище — советских воинов. Высокий обелиск из полированного гранита и обелиски поменьше над каждой могилой. Все, кто похоронен здесь, не дожили нескольких дней до победы. Бои под Тройенбритценом проходили в последних числах апреля. Тимофей Любченко, Николай Чистяков... Много здесь и безымянных могил. Вечным сном спят наши солдаты в немецкой земле. Они погибли, выполняя свой долг перед Родиной, освобождая народы Европы от фашизма, в том числе и немецкий народ.

В сопровождении работника магистрата мы отправились на кооперативную ферму, которая находилась в нескольких километрах от городка. Еще по дороге наш спутник рассказал, что перед войной на месте животноводческой фермы стоял небольшой заводик скобяных изделий — это если судить по вывеске. На самом деле здесь находился крупнейший в Европе подземный завод боеприпасов, построенный вскоре после захвата Гитлером власти. В подземных корпусах работало больше тридцати тысяч рабочих, главным образом иностранцев и военнопленных. Завод занимал площадь в сто гектаров. После войны завод уничтожили начисто — корпуса взорвали; а что осталось — окрестные крестьяне использовали на постройку домов и сараев. На месте военного завода сейчас только двухэтажный директорский особняк да груды мусора, щебня и пыли. В 1958 году в особняке поселилась молодежная бригада сельскохозяйственного кооператива из Тройенбритцена — двадцать пять немецких парней и девушек.

На ферме мы застали только заведующего Хайнца Варнеке, все остальные были на сенокосе. Варнеке — плотный, широкоплечий человек средних лет — встретил нас приветливо, пригласил осмотреть свое хозяйство. Мы побывали в общежитии бригады — небольших чистых комнатах, в клубе с телевизором и библиотекой, в столовой, где тоже было уютно и чисто. Потом пошли в телятник. В лаборатории сидела молодая девушка в белом халате. Вторая готовила пойло телятам. Эти девушки вдвоем ухаживают за сотней телят. Девушки сказали, что родители их — переселенцы из Силезии, сами они на трудодень зарабатывают по десяти с чем-то марок, а в месяц выходит марок пятьсот. Это совсем неплохо. Правда, было так не всегда — года два назад, когда только начинали работать, на трудодень приходилось по семидесяти шести пфеннигов. Но тогда здесь совсем ничего не было, все приходилось строить самим.

Двадцать пять молодых энтузиастов за два года своими руками создали на пустом месте ферму, которая дает кооперативу полмиллиона марок ежегодного дохода. Построены хлевы, телятники, сеновалы, склады и даже летний бассейн для плавания,

Сейчас на ферме восемьсот голов рогатого скота, из них двести дойных коров, остальные — молодняк, который выращивают на продажу.

Строительство на ферме продолжается — хотя увеличить стадо до двух тысяч. Хайнц Варнеке показал нам недостроенный телятник. Над бетонными стенами, собранными из остатков разрушенных корпусов, поднимались высокие стропила. От заводских зданий использовали еще бетонные полы, остатки которых виднелись то там, то здесь среди густого кустарника. А рядом, тоже в траве и кустарнике, видна большая куча проржавевших насквозь винтовочных гильз — все, что осталось от продукции комбината боеприпасов.

Хайнц Варнеке — в прошлом военный, он служил в авиации, а его отец жил где-то в Померании, был коммунистом. Сын не во всем соглашался с отцом. Перелом произошел в конце войны, после того как расстреляли отца за то, что он отказался вступить в фольксштурм — «народное ополчение» — защищать обреченный фашистский рейх. После войны Варнеке поселился с семьей в Тройенбритцене, работал на маслозаводе, а два года назад ему предложили возглавить животноводческую ферму. С маслозавода Варнеке взял себе в помощники двух молоденьких семнадцатилетних девушек, ставших телятницами, и двадцатипятилетнего рабочего. Вот вчетвером они и начали на развалинах военного завода совершенно новое для них дело.

В одно время с Варнеке в кооператив, или, как его называют, ЛППГ (Ландвиршафт-лихе продукционсгезельшафт — Сельскохозяйственное продуктивное товарищество), пришел и Эрвин Лейман — заведующий сельскохозяйственным отделом тройенбритценского магистрата. Председатели кооператива были и до Леймана, но долго они не задерживались. Может быть, потому и кооператив без руководства едва-едва сводил концы с концами. А люди хотели работать. Кооператив возник еще несколько лет назад на земле десятка зажиточных крестьян, бросивших свои наделы и ушедших на Запад. Земля пустовала, и несколько батраков объединились, чтобы сообща ее обрабатывать. Но у них почти не было ни скота, ни машин, в хлеву стояли всего две свиноматки. Практически два года назад только и начали создавать хозяйство кооператива. Но главное было в том, чтобы восстановить, укрепить веру людей в свои силы.

Лейман и Варнеке долгими вечерами сидели с крестьянами, раздумывали и прикидывали, как лучше повернуть дело. Сама жизнь, земля подсказали правильное решение — треть земельных угодий кооператива составляют луга. Значит, надо браться за животноводство. И кооператив круто стал подниматься в гору. Через два года он был неузнаваем. На сто гектаров земли приходилось сто шестьдесят две головы рогатого скота, а стадо свиней возросло до семисот голов. Несравнимо увеличились и доходы крестьян: трудодень, стоивший семьдесят шесть пфеннигов, уже на следующий год дал пять с половиной марок, а в 1960 году — десять марок тридцать пять пфеннигов! И люди поверили в свои силы, в свои возможности. В кооперативе «Радостное будущее» сейчас объединено тридцать четыре крестьянских хозяйства.

В правлении ЛППГ я обратил внимание на самодельную карту Тройенбритцена и его окрестностей. Вся карта была испещрена порцелярами крестьянских наделов, и только некоторые из них закрашены красной краской — участки членов кооператива. Председатель Лейман сказал мне, что кооперативные земли очень разбросаны, они вкраплены в крестьянские наделы. Такая чересполосица сильно мешает работе, затрудняет применение сельскохозяйственных машин, невозможно наладить правильные севообороты. Кооперативные поля разбросаны на расстоянии восьми—десяти километров, а некоторые участки не превышают и половины гектара. К осени удастся объединить кооперативные земли в единый массив. Это стало возможным после того, как в Тройенбритцене несколько месяцев назад возникло еще два кооператива, объединивших почти всех крестьян. Правда, это еще кооперативы низшего типа — крестьяне объединились в них только для совместной обработки земли. Скот и машины остаются в собственности крестьян.

Председатель тройенбритценского кооператива рассказал много интересного о практике кооперирования немецкого крестьянства. Правительство предоставляет кооперативам значительные льготы — снижает налоги, передает им машины, выделяет кредиты, установлена гарантированная оплата трудодня не ниже семи марок. Если же

в не окрепших еще кооперативах трудодень оказывается меньше семи марок, государство выплачивает им разницу. Но сейчас таких кооперативов становится все меньше.

В кооперативы принимают крестьян независимо от имущественного положения. Вступая в ЛППГ, крестьянин вместе с землей передает в кооператив свой скот, сельскохозяйственный инвентарь, машины, постройки. На каждый гектар своей земли, которая переходит в кооператив, он должен сдать на восемьсот марок различного сельскохозяйственного инвентаря. Но если стоимость его превышает установленную норму, кооператив возвращает крестьянину разницу. Выплаты производятся через три года после вступления в кооператив.

Конечно, при организации кооперативов не обходится без курьезов. В одном из районов в ЛППГ вступил «гроссбуаэр» — кулак. Он вступил в кооператив вместе со своими батраками. Батраки так и продолжали работать на «кооперированного» кулака, пока не раскрылась эта история...

Вскоре после войны я имел возможность наблюдать, как в Германии проходила земельная реформа. Проходила она по-разному на западе и на востоке. В будущей Германской Демократической Республике было конфисковано тринадцать с половиной тысяч помещичьих имений — более трех миллионов гектаров земли. Это составило сорок процентов всей полезной земли, которую передали батракам и малоземельным крестьянам.

Во время земельной реформы новые крестьяне получили примерно полтора миллиарда марок ссуд. Впоследствии половина этих ссуд была списана. В деревнях возникло шестьсот машинно-тракторных станций, государство строило жилые и хозяйственные здания, поощряя объединение крестьян в производственные сельскохозяйственные кооперативы. Народные предприятия полностью обеспечивают крестьян машинами и сельскохозяйственным инвентарем, хотя в восточной части Германии до войны почти не производили сельскохозяйственных машин и совершенно не было тракторной промышленности.

На востоке Германии многие помещичьи усадьбы и замки баронов, не имевшие архитектурной ценности, были просто стерты с лица земли. Крестьянам разрешено было разбирать помещичьи усадьбы и увозить материалы для своего строительства. Это относилось также и к военным заводам, казармам, аэродромным сооружениям и прочим зданиям, имеющим военное значение.

Все кадастровые книги, подтверждавшие собственность дворянства на землю, были уничтожены. Бывшим помещикам строго-настроено запретили жить ближе, чем в пятидесяти километрах от своих прежних владений. Подавляющее большинство помещиков предпочло переселиться в Западную Германию.

В те дни мне довелось побывать и в помещичьих усадьбах Западной Германии. Там все оставалось точно таким же, как было в гитлеровские или кайзеровские времена. Где-то под Мюнхеном мы заехали в одно из таких поместий, принадлежавшее банкиру фон Финке. Всего у него было шесть имений, и владел он тремя тысячами моргенов земли. Нам сказали, что имения банкира Финке находятся под контролем американских властей, но двести батраков, как и прежде, продолжали работать на своего помещика. По решению четырехстороннего Союзного Контрольного совета в Западной Германии трижды намечалось проведение земельной реформы, и три раза американские, английские и французские оккупационные власти становились на защиту немецких помещиков. А ведь только в одной Баварии треть всей полезной земли — около полутора миллионов гектаров — и по сей день принадлежит крупным помещикам. Среди них только один князь Турн унд Таксис владеет в Регенсбурге поместьем в двадцать пять тысяч гектаров.

Так на территории Германии начинали складываться два совершенно различных государства с различными социальными и экономическими укладами.

Во время поездки по ГДР я побывал еще, во многих немецких селениях и увидел, какие огромные сдвиги за эти годы произошли в сельском хозяйстве. Но было бы совершенно неверно рисовать лишь идиллическую картину жизненных успехов. Как и в других областях жизни республики, развитие нового в немецкой деревне происходит в постоянной борьбе. Бывает так, что в течение нескольких часов, даже минут, крестьяне

теряют накопленное годами. Профашистское подполье все еще продолжает действовать.

На немецких дорогах в опасных местах — перед спусками, на крутых поворотах или около неисправных мостов — установлены знаки: поднятая предупреждающая рука красного цвета. И кажется, что эта предостерегающая, будто израненная рука говорит не только о дорожной опасности. В том же Карл-Маркс-штадтском округе в прошлом году сгорело около сотни скотных дворов, амбаров с зерном и других кооперативных строений. Кроме того, за пять месяцев установлено двадцать три случая отравления обобщественного скота.

Виповники, вдохновители преступлений выдают себя сами: американская станция РИАС, расположенная в Западном Берлине, до последнего времени открыто призывала к диверсиям, уговаривала немецких крестьян жечь кооперативные постройки, травить скот и уходить на Запад. Особенно эта радиопропаганда ополчилась против кукурузы — сколько выступлений посвятили они призывам саботировать посевы кукурузы!

— Значит, кукуруза действительно полезная, нужная культура, раз так ополчились на нее враги Демократической республики,— сказал мне немецкий крестьянин, случайный попутчик в поезде.

Он ехал навестить дочь, которая училась в Лейпциге. Крестьянин продолжал:

— Так вот и живем мы в ГДР, будто с раскрытыми воротами. Заходят к нам все, кто хочет. Пора бы и запереть ворота на крепкий замок.

Мой спутник говорил о Западном Берлине, называя его незапертыми воротами. Он по-своему воспринимал эту проблему.

## ОТ МОЛОЧНЫХ БИДОНОВ ДО АТОМНЫХ БОЕГОЛОВОК

В 1948 году, когда в Западной Германии по четырехстороннему соглашению союзных держав должны были давным-давно закончить демилитаризацию, группа советских журналистов приехала в Аугсбург. Мы попросили показать нам, как проходит демилитаризация германской промышленности, и нас повезли на авиационные заводы Мессершмитта, расположенные в пригороде Аугсбурга. Представитель военной администрации водил нас по цехам и поминутно торопил, предупреждая, что нас ждут какие-то более интересные мероприятия. Мы зашли в какой-то цех, где стояли мощные прессы, которые могли штамповать авиационные детали под давлением в пять тысяч тонн. Наш сопровождающий хотел пройти мимо, но мы задержали его и спросили:

— Почему эти прессы до сих пор не демонтированы?

— Видите ли,— несколько замявшись, ответил представитель военной администрации,— мы намерены начать здесь производство молочных бидонов...

— Прессовать их под давлением в пять тысяч тонн?

Представитель военной администрации смутился.

Примерно то же было и в Дортмунде, где мы посетили один из крупнейших металлургических заводов — «Дортмунд-херде хюттенферейн». Этот завод ежегодно давал около миллиона тонн стали для германской военной промышленности. Но оказалось, что после войны его превратили в пять самостоятельных заводов. Самостоятельными заводами назвали ремонтный цех, подсобный кузнечный цех и даже помещение для варки асфальта. Все эти «заводы» были внесены в список демонтируемых предприятий, «забыт» был только прокатный цех, оборудованный уникальными прокатными станами. На этих станах можно было катать броневые плиты шириной до пяти метров и практически любой толщины.

Так проходила «демилитаризация» в Западной Германии. Такими же методами сохранялись и кадры будущей армии.

Уже тогда, вскоре после войны, в Западной Германии появились десятки тайных вербовочных пунктов. В одном из таких вербовочных пунктов мне довелось побывать самому. Это было в Ганновере. Мы отправились с приятелем на Егерштрассе, 4, где находился вербовочный пункт под названием «Колониальный институт Тимон унд Грёг». Не подозревая в нас советских журналистов, сотрудник выдал нам анкеты с грифом

«Фертраулих!» — «Секретно!», предложил их заполнить и, узнав, что мы из Берлина, рекомендовал обратиться за Йоганнисберштрассе к некоему капитану Грею. Чиновник был так предупредителен, что на листочке бумаги написал адрес. В Берлине мы отправились по этому адресу. Там находилось управление британских оккупационных войск...

Подобная вербовка проходит и в наши дни, только в более широких масштабах. Лишь в одном Западном Берлине было тайно завербовано в бундесвер свыше двадцати тысяч человек.

Сейчас много пишут и говорят о милитаристских устремлениях правителей боннской республики, о беззастенчивой военной пропаганде, о реваншизме и вооружении Западной Германии. Но только ли бывшие фашистские генералы и германские промышленники, оказавшиеся снова у власти, повинны в этом? То, о чем я рассказал, говорит о другом — западные державы, нарушив Потсдамские и другие четырехсторонние соглашения, снова призвали к жизни германские милитаристские силы. Причем все, что происходит сейчас в Западной Германии, планировалось заранее, много лет назад. Даже обучение немецких военных кадров за границей — во Франции, в Англии, в Соединенных Штатах — планировалось еще в те годы.

Когда-то в Штутгарте я беседовал с неким доктором Фогелем, руководителем «Фриденсбюро» — Бюро мира, организованного по инициативе американских военных властей. Доктор подробно рассказывал мне о задачах бюро, которые, по его словам, сводились главным образом к подготовке мирного договора. Он говорил, что в мирных переговорах Германия должна будет высказать свою собственную точку зрения. В этой беседе меня насторожило то, что в западногерманском «Фриденсбюро» уже существовал отдел по пересмотру границ, отдел по возмещению убытков, понесенных фашистской Германией в мировой войне. Кроме того, во время беседы в моем кармане лежал последний номер газеты «Швабише пост» со статьей моего собеседника, доктора Фогеля. В статье руководитель западногерманского «бюро мира» не скрывал своих мыслей. Он писал:

«Германская молодежь сможет проходить военное обучение не в Германии, а в Канаде, Франции, Англии или США. Вопрос о проведении этого мероприятия на добровольной или принудительной основе решат западные оккупационные власти. В этих странах можно обучать новые кадры инструкторов и офицеров».

Известно, какое решение приняли западные оккупационные власти — в наши дни контингенты западногерманской армии обучаются в тех самых странах, о которых говорил доктор Фогель.

Теперь, спустя столько лет, мне снова пришлось столкнуться с этой проблемой и поначалу почти совсем неожиданно.

Жарким летним днем я отправился в Бланкенфельде под Берлином, где находился транзитный лагерь беженцев из Западной Германии. Лагерь был переполнен. Беженцы живут здесь некоторое время, пока им не найдут работы, жилья или их родственников, у которых они могли бы первое время остановиться. Я попросил познакомить меня здесь с людьми разных профессий. Оказалось, что среди электриков, крестьян, педагогов, конторских служащих, металлургов, лиц самых различных профессий есть и солдаты бундесвера. Так мы встретились с Гансом Н., бывшим ефрейтором западногерманского бундесвера, который всего три недели назад перешел в Демократическую республику.

До военной службы он работал на шахте. Осенью 1957 года, когда стали поговаривать о призыве, он предпочел пойти в солдаты добровольцем. Расчет был простой — добровольцы получают больше денег, а служба та же.

Вскоре после того, как Ганс Н. поселился в казарме в Южной Баварии, его вызвал командир роты и предложил подписать контракт на четыре года. Из контракта следовало, что рядовой Ганс Н., отслужив четыре года в бундесвере, получит единовременное вознаграждение в три тысячи пятьсот марок. Деньги немалые — и солдат Ганс Н. подписал контракт.

Командир роты, завербовавший Ганса Н. на четырехлетний срок, раньше служил в гитлеровской армии. Унтер-офицером войск СС был и старшина роты, воспитатель солдат. Оба они частенько вспоминали войну, рассказывали о походе в Россию и учили солдат петь старые, нацистские песни.

Дисциплина в части была суровая, и Ганс Н. никак не мог к ней привыкнуть. За первое опоздание он получил выговор, и старшина приказал ему в течение двух недель докладывать дежурному о том, что он, рядовой Ганс Н., перед проверкой находится в казарме. Второй раз он должен был заплатить штраф двадцать пять марок за то, что опять опоздал к отбою в казарму. Следующий штраф был пятьдесят марок, четвертый — сто пятьдесят.

И все же через полтора года службы Ганс Н. стал ефрейтором. Правда, теперь в бундесвере ефрейторов обучают быстрее — в течение полугода. Нужны кадры. Ефрейтор служил в какой-то тыловой части, где проверяли выносливость мулов и лошадей, их пригодность к действиям в горных условиях. Одно время Ганс Н. работал в конюшне. Под его наблюдением было двадцать мулов и двадцать лошадей. Результаты испытаний показали, что мулы выносливее, они лучше ведут себя на горных тропах.

Я спросил Ганса Н., зачем нужны такие испытания; он пожал плечами: не знаю. Но я вспомнил другие испытания: когда-то рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер поручил вывести специальную «морозоустойчивую» породу лошадей для действий в советской Сибири. Может быть, в бундесвере до сих пор не оставили этой бредовой идеи?..

В часть, где служил Ганс Н., порой наезжали американские офицеры. Они принимали деятельное участие в подготовке солдат-бундесверовцев. Последний раз ефрейтор видел их весной. Это было недели за две до несостоявшегося совещания в Париже. В их часть на автобусе приехали американские офицеры, переодетые в... советскую форму. Всего было человек десять. Солдат собрали в гимнастическом зале, и американцы демонстрировали им, как выглядят советские офицеры и младшие командиры. Был даже «советский полковник», который, нагибаясь, показывал свои погоны и для большей убедительности кричал по-русски: «Давай, давай!» Других русских слов он не знал.

Когда стали показывать «советского старшину», у некоторых солдат возникли сомнения. Ганс Н. прервал свой рассказ и осторожно спросил у меня, верно ли, что в Советской Армии старшины, кроме погон с Т-образными нашивками, носят еще советскую эмблему? Во всяком случае, у «старшины», которого им показывали американцы, на животе была нашита звезда с серпом и молотом, такая огромная аппликация красного цвета.

Я не выдержал и расхохотался, реально представив себе бутафорского «полковника» и «старшину» со звездой на животе..

Потом Ганс Н. рассказал о другом — это было куда серьезнее: американские офицеры познакомили бундесверовцев с советским оружием и его тактическими данными, демонстрировали фильм о «кампф-группах» — вооруженных рабочих дружинах на предприятиях Германской Демократической Республики. Все эти занятия проводились под лозунгом: «Знай своего вероятного противника».

Военная служба Ганса Н. приближалась к концу, оставалось прослужить еще какой-нибудь год. Но молодой немец все чаще задумывался над вопросом: а что же будет потом? Неужели ему придется воевать с такими же немцами, как он, с теми, которых он видел на экране в форме рабочих-дружинников? С каждым днем все неотвязнее преследовала мысль — надо бежать. Пусть даже пропадут деньги, которые он должен получить.

Перед побегом Ганс Н. сказал о своем плане приятелям. Они одобрили, просили только написать из ГДР — как там его встретят. Значит, и у них бродили в голове такие же мысли, как у ефрейтора Ганса Н.

Однажды в субботу, когда служба кончается несколько раньше, Ганс Н. переоделся в штатское, сел в поезд и уехал в соседний город. Там он нанялся к крестьянину, работал у него с неделю батраком, чтобы добыть денег на дальнейший проезд. Потом перебрался в Штутгарт. Здесь нанялся к торговцу животными для зоопарков. Дней десять ухаживал за слоном и наконец попутной машиной за двадцать марок приехал в Западный Берлин. Потом сел в электричку, вышел на первой же станции демократического сектора и обратился к первому попавшемуся народному полицейскому.

Вот и все. Ефрейтор Ганс Н. перестал служить в бундесвере. Я спросил его: что же он думает делать теперь?



— Хочу работать доярком. Устроиться бы где-нибудь в деревне...

Здесь, в Бланкенфельде, я разговаривал еще с одним беженцем — Фридрихом Гебелем из Пфальца. Он переселился в ГДР вместе с женой. На Западе Гебель работал на текстильной фабрике у «толстого» нациста Эйлерта («толстый» означает фанатично преданный Гитлеру). Во время войны на фабрике Эйлерта ткали сукно для солдат вермахта, теперь делают для бундесвера. В том только и разница. Порядки на фабрике остались прежние. Фридрих Гебель как-то занялся подсчетами: в смену он выработывал больше ста метров ткани, на фабрике восемьсот ткачей, по округе несколько таких же фабрик, только крупнее. Получалось, что солдатское сукно ткут для миллионов людей. А в бундесвере официально числится что-то около трехсот тысяч человек. Вывод напрашивался сам: фашистские генералы жаждут реванша, готовятся к новой войне.

Фридриху Гебелю пришлось встретиться с этими военными преступниками в несколько необычных условиях. Фридриху не было полных семнадцати лет, когда заканчивалась война, но его все же взяли в армию. Судьба Гебеля чем-то напоминала мне судьбу подростков из романа западногерманского писателя Манфреда Грегора «Мост». Фридрих тоже сражался до последнего дня, точнее — в последние дни. А после войны Гебеля осудили на два года тюремного заключения. Вместе с ним сидел и генерал Фалькенгейн, директор концерна Рехлинга, лейтенант Ширдин, приговоренный к пожизненному заключению за убийства, расстрелы, за политику «выжженной земли», которую он осуществлял уже в Германии. Перед отступлением Ширдин сжигал, уничтожал все, что возможно, жителей прифронтовой полосы посылал в бой, а неподчинившихся вешал. В тюрьме сидело много эсэсовцев — убийц и карателей.

Но произошло нечто непостижимое для разума юноши Фридриха Гебеля. Директор концерна Рехлинга, осужденный на пятнадцать лет, лейтенант Ширдин, которому смертную казнь заменили пожизненным заключением, фашистские генералы и все эсэсовцы покинули тюрьму... гораздо раньше Фридриха Гебеля. Фридрих еще долго слонялся по тюрьме, пока не закончился срок его заключения. Он расплачивался за чужие грехи. Гебель отбыл весь срок — день в день.

Теперь он вспоминает: когда Аденауэр приходил к власти, он обещал, что ни один немец при нем не будет солдатом. Гебелю хотелось в это верить, но он был обманут. Фридрих Гебель сам ткал сукно для солдат бундесвера. И Фридрих решил: больше он этого делать не будет.

Кстати говоря, за последний год значительное большинство беженцев из Западной Германии составляет молодежь призывного возраста. Эти молодые немцы не хотят служить в бундесвере.

В Берлине мне представилась возможность встретиться еще с одним человеком, перешедшим в ГДР из боннской республики. Это был майор бундесвера, старый кадровый офицер Бруно Винцер. Переход его в Демократическую республику вызвал растерянность среди боннских милитаристов. Тем более, что почти одновременно из ФРГ ушли еще несколько офицеров, занимавших крупные посты в бундесвере.

С майором Винцером мы встретились в ведомстве информации и провели несколько часов за интересной беседой. Откинувшись в кресле, передо мной сидел пожилой человек с худощавым лицом, с внимательным, сосредоточенным взглядом. Вероятно, ему было уже под пятьдесят, потому что свою военную карьеру Винцер начал еще в германском рейхсвере в тридцатых годах. Потом он служил в гитлеровском вермахте, участвовал в походах на запад, воевал в Советской России, а после разгрома фашистской Германии много лет служил в бундесвере.

Оказалось, что в войну он был на фронте под Демянском и Старой Руссой, как раз в тех местах, где пришлось воевать мне. Наши жизненные орбиты где-то почти соприкасались. Я подумал: пятнадцать—двадцать лет назад этот человек был моим жесточайшим врагом, моя Советская Армия победила Германию Гитлера, а вместе с ней был побежден и майор Винцер. И еще раз прежний майор Винцер был побежден в идеологической борьбе. Это была победа моей, нашей идеологии. Винцер-человек победил в себе Винцера-милитариста. И сейчас я не чувствовал к нему вражды.

Последние годы Бруно Винцер занимал должность пресс-офицера южной группы военно-воздушных сил Федеративной республики. По роду своей работы ему много

приходилось ездить, он хорошо знал настроения людей, встречался со Шпейделем, бывал на закрытых совещаниях в его штабе. Это был человек, широко осведомленный в политической и профессионально-военной обстановке современного бундесвера.

Когда Винцер говорил, казалось, что говорит он не мне, а отвечает своим оппонентам там, в Бонне, с которыми еще не закончил своего большого спора. Я подробно записал нашу беседу с майором Винцером и привожу ее только с некоторыми сокращениями.

«На мой взгляд,— сказал Винцер,— западные державы проводят старую свою политику, они хотят снова сравить немцев с русскими. Для этого они широко используют и подогревают реваншистские настроения.

В чем проявляются такие настроения? Хотя бы в разговорах о том, что Австрия не может существовать самостоятельно и должна снова стать частью Германии. Поэтому нужен новый аншлюс — присоединение ее к Германии.

Если говорить о странах Восточной Европы, то реваншисты утверждают — эти страны издавна связаны с Западной Германией. Связи эти исторические, экономические, культурные. Жители Польши, Венгрии, Чехословакии по своей психологии, религии, быту тяготеют будто бы к Западу и поэтому должны находиться в орбите западно-германского влияния.

В боннской республике всячески утверждают мысль о том, что Советский Союз — источник распространения коммунистического влияния в Европе и во всем мире. Поэтому, мол, нечего и говорить о мирном сосуществовании с русскими.

Психологическая обработка общественного мнения на Западе направлена к тому, чтобы всячески расписывать и превозносить успехи гитлеровских войск в Советском Союзе в первые годы войны. Причины своего поражения и разгрома они объясняют крайне тенденциозно.

Генералы бундесвера — участники восточного похода, а таких в западногерманской армии большинство,— утверждают, что в стратегических ошибках войны на Востоке виноват только Гитлер. К примеру, если бы Гитлер прислушивался к мнению генералов, Германия не потеряла бы армию Паулюса под Сталинградом. Теперь Гитлера нет, и немецкие генералы считают, что они могут добиться победы над Советской Россией. Тем более что русские, мол, смогли выйти победителями во второй мировой войне только благодаря большой американской помощи по ленд-лизу. Теперь американская помощь направлена в Западную Германию, и немецкие генералы видят в этом тоже залог своего успеха.

Хозяйственные и политические успехи Советского Союза и всего социалистического лагеря вызывают серьезное беспокойство в руководящих кругах бундесвера. Старшие, профашистски настроенные офицеры приходят к выводу, что опасное развитие Советского Союза можно остановить только войной. Хозяйственные успехи СССР столь велики, что Запад силой должен приостановить развитие Советской России. Как это сделать? Германские генералы лелеют мечту вместе с американцами возглавить этот поход.

По Версальскому договору, Германия могла иметь в рейхсвере сто тысяч солдат. Политика руководителей черного рейхсвера сводилась к тому, чтобы в этих условиях подготовить возможно больше сержантов и офицеров. Так это и получилось — рейхсвер состоял в значительной степени из офицеров и унтер-офицеров. Но мало того, многие рейхсверовцы, будто бы уволенные из армии, проводили обучение новобранцев территориально на тайных учебных пунктах — в имениях юнкеров и помещиков, в самых глухих уголках Германии. Позже все это позволило Гитлеру очень быстро создать массовую немецкую армию.

Нечто похожее происходит и сейчас в бундесвере. Уже теперь на одиннадцать солдат бундесвера приходится один офицер, на две тысячи солдат — один генерал. К тому же не следует забывать, что рейхсвер по численному составу был втрое меньше современного бундесвера. Кроме того, по опыту прежних лет недавно создана территориальная армия, которая тоже готовит солдат и офицеров резерва.

Если же учесть, что старые, наиболее опытные в военном отношении офицерские кадры бундесвера вышли из гитлеровской армии, легко представить их политическое

лицо. Сейчас в бундесвере командный состав от капитана и выше — бывшие гитлеровские офицеры. Но это еще не все: сорок процентов всего офицерского и унтер-офицерского корпуса бундесвера составляют переселенцы из Польши, Чехословакии, Прибалтики и других стран. Среди этих офицеров особенно сильно реваншистские настроения. Им обещают после восстановления старых границ на востоке дать землю, повысить в звании, предоставить другие материальные блага. Боннские заправилы хотят сделать этих людей соучастниками своих преступлений, так же как это делал Гитлер.

Общеизвестно, что в боннской республике проводится бешеная милитаристская пропаганда. Существуют сотни всевозможных военных союзов, объединений солдат-однополчан. Печатаются милитаристские книги, выходят военные журналы, кинофильмы. В этом потоке милитаристской пропаганды восхваляется гитлеровская армия, поднимаются на шит «герои» восточного похода. В дешевых солдатских книжках воспеваются молниеносные победы в Польше, Дании, Норвегии, во Франции, на Балканах, описываются успехи первых лет войны с Советским Союзом. Читателям внушают, что немецкий солдат — именно тот солдат, который победит в будущей войне. Такие брошюры в Западном Берлине продают за бесценок, ими наводнены все киоски в расчете на то, что эта литература проникнет в демократический сектор и в Демократическую республику.

Но милитаризация Западной Германии не ограничивается только разнузданной военной пропагандой и подготовкой армейских кадров. Бундесвер непрестанно вооружается, промышленный Рур снова стал кузницей войны. Руководители бундесвера спят и видят в своих руках атомную и водородную бомбы, ракеты, способные нести атомные заряды на сотни и тысячи километров. Военная мощь современного государства определяется не только и не столько содержанием его arsenалов, но прежде всего состоянием научно-исследовательских лабораторий. Теперь уж ни для кого не секрет, что в ФРГ проводят большую исследовательскую работу, которая имеет прикладное военное значение. Некоторые научные работы, в частности работы, связанные с изготовлением атомной бомбы, германские военные специалисты проводят за пределами боннской республики. На Западе находятся покровители неофашистов, которые всячески помогают им в этом».

В 1958 году майор Бруно Винцер присутствовал на одном закрытом военном совещании в Мюнхене, на котором с большим докладом о политическом положении выступил военный министр Штраус. В то время во Франции только еще создавали атомную бомбу, и эта проблема интересовала офицеров бундесвера. На совещании кто-то задал вопрос генералу Штраусу: не опасно ли рядом с ФРГ иметь Францию, вооруженную атомной бомбой?

Боннский военный министр ответил:

— Франция с миллионом коммунистов за нашей спиной — это опасное дело, но Франция с атомной бомбой становится нашим сильным партнером, во всяком случае хотя бы на первое время.

Затем Штраус сделал сенсационное заявление. Он добавил:

— Не беспокойтесь, господа, я внимательно слежу за событиями. Франция столь бедна, что не может даже оплатить стоимость атомного котла, тем более расходов по изготовлению атомной бомбы. Мы будем финансировать эти работы.

И действительно, вскоре после совещания, на котором присутствовал майор Винцер, между Парижем и Бонном было подписано секретное соглашение, по которому бундесвер из своего бюджета обязывался финансировать создание французской атомной бомбы. Деньги на эти цели, исчисляемые сотнями миллионов марок, передавались франко-германскому атомному институту в Сен-Луи в Эльзасе. Как компенсацию за финансовую помощь бундесвер получал право контролировать и использовать результаты труда французских ученых. Одновременно возник вопрос также о расширении атомной базы Колон-Бешар в Сахаре, где бундесвер получал право проводить экспериментальные работы для запуска ракет с атомными боевыми головками.

В голову Винцера все глубже западала мысль: а правильно ли он поступил, связав свою судьбу с бундесвером? После войны в Германии многие, в том числе и он, сде-

лали вывод: немцы не пойдут больше в армию. «Оне унс!» — «Без нас!» Но вот возникло ведомство Бланка, которое потом превратилось в военное министерство. Появились первые газетные статьи, брошюры, фильмы, книги, началась упорная милитаристская обработка людей.

Бывшие офицеры получали письма, их призывали выполнить свой патриотический долг, приглашали вернуться на военную службу, стать на защиту боннской республики. Нашлось немало людей, которые поверили, что бундесвер создадут для защиты республики. От кого? Это было не совсем ясно. Но время показало, что это был очередной обман. Во главе бундесвера стояли убежденные германские милитаристы, мечтающие взять реванш за свое поражение в минувшей войне.

После долгих, мучительных раздумий майор Винцер сделал для себя выбор. Он порвал с бундесвером и уехал в Германскую Демократическую Республику.

Я почти дословно записал последние слова немецкого майора, который провел в армии больше тридцати лет.

— Для старого офицера,— сказал он,— нелегко снять военную форму. В Бонне меня называют дезертиром. Но это неправда, я не могу согласиться с ними. Я не перешел к противнику, я перешел из одной Германии в другую. Я убедился, что Бонн проводит антинациональную, проамериканскую политику. Я давал присягу защищать Федеративную республику, но я никогда не стану принимать участия в агрессивной войне. Я хорошо знаю, что принесла моему народу вторая мировая война. Я остаюсь верен лозунгу «Без нас и никогда!»

Когда мы прощались, он сказал, что хотел бы побывать в Москве. Может быть, в будущем году ему удастся приехать в Союз с группой туристов. Я сказал ему:

— Если бы случилось невероятное и лет двадцать назад майор Винцер пришел с немецкими войсками в Москву, я встретил бы его там с оружием в руках. Теперь я приглашаю майора к себе в гости.

Я оставил майору Винцеру свой московский адрес.

\* \* \*

Близилась осень. В ясный холодный день я стоял на пирсе и следил за кораблем, уходящим из Ростокского порта. За кормой реял флаг Германской Демократической Республики. Корабль уходил в дальнее плавание. Я смотрел и думал о людях, спустивших этот корабль со стапелей, думал о трудолюбивом немецком народе, избравшем себе независимый социалистический путь развития, о ГДР — суверенном государстве, которое стоит на самом западном рубеже социалистического лагеря, на стыке с капиталистическим миром. И мне захотелось от души пожелать:

— Счастливого плавания!

И кораблям и людям...



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. РАХМАНИН

★

## ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**С**обираясь в дорогу, я отправился в Ленинскую библиотеку, чтобы разузнать о местах, в которые предстояло мне ехать. Среди множества разнообразных сведений сообщалось и следующее: в эпоху неогена над Житомирской областью шумело Сарматское море.

Потом, когда ездил по области, я все присматривался к пологим долинам узеньких речек, к валунам, к просторным полям. Искал приметы бушевавшего здесь первобытного моря. Но видел иное. Дымят паровозы; самосвалы, подпрыгивая, везут торф; колхозники в овчинных кожах стоят на автобусных остановках. Города с телевизионными антеннами. Деревни с объявлениями на щитах: «Сегодня в клубе «Граф Монте-Кристо».

И вот крохотный, одноэтажный, старинный городок Черняхов, столица района. Иду по заснеженной улице. Магазины, чайная, Доска почета... Фотографии на глянцево́й бумаге со штампом «Райфото». Внимательно смотрю на лица, на подписи под портретами. Долго вглядываюсь в портрет пожилой женщины со множеством орденов и медалей на груди. Для того чтобы познакомиться с нею, я и поехал в первую свою редакционную командировку.

Кто-то кашлянул рядом. Я оглянулся и увидел высокого человека в длинном пальто и кожаной ушанке.

— Извините за вторжение, — сказал он, — я вижу, вы интересуетесь... Чем? Пердовиками или фотокачеством?

Я посмотрел на него с недоумением, но тут же догадался:

— Ага... Это вы «Райфото»?

— Да... Это мои работы, — ответил он скромно. — И товарища Загладу лично фотографировал. Как мастера кукурузных полей. О ней сам товарищ Хрущев сказал на Пленуме. Замечательная женщина из Житомирской области... Семьдесят три девятости!.. И если вам нужно фото товарища Заглады, то я всегда готов помочь вам.

Я спросил у него, как пройти к райкому, и зашагал дальше. Улица привела меня к одноэтажному дому с верандой. «Райком» — прочел я и вошел. Дверь с табличкой «Первый секретарь» запирает ключом молодой человек в кирзовых сапогах. Я представился. Он отпер дверь, и мы вошли в кабинет.

— Сидайте, — сказал он по-украински и стал читать мое удостоверение. Прочитав, протянул руку, представился: — Вознюк. — И лукаво сказал: — Видите ли, вам надо в райком партии, а здесь райком комсомола. Вывеска такая... Райком... Вот новые люди и ошибаются. Пойдемте, я провожу вас к Перину, второму секретарю райкома партии.

— О ком вы писать будете? — спросил он по дороге. — О Загладе? О, это боевая бабуса. Она в Высоком живет.

— Трудно туда добраться?

— Доберетесь. В крайнем случае позвоним, она свою машину пришлет. Ее на выставке «Победой» наградили. Бывает. сам иной раз просишь: «Надежда Григорьевна, одолжите транспорт. Нужно в село срочно». Выручает.



уровень». Не понадобилось ли первое как плацдарм для второго? Председатель колхоза выходит в ученые! Дайте зеленую улицу...

Ну, а с другой стороны... В самом деле — председатель колхоза в ученые выходит.  
— Подумаем! — повторил Перин.

## ГОСТИНИЦА

В длинном коридорчике у окна стоял стол, тесно заставленный вазами. Растения были незнакомые. Суставчатые и в то же время гибкие стебли обвивали друг друга, в мольбе протягивая к потолку темные листья. У стола сидела черноглазая девочка в старом свитере и читала «Огонек».

— У вас есть паспорт? — спросила она стеснительно.

— Конечно.

— А пятьдесят копеек?

— Найдется.

— Мама вернется вечером. Она к больной тетке поехала. Я вас сама запишу.

Комната в районной гостинице — с железными койками, с двумя скрипучими стульями, со все тем же неизвестным растением в глиняном горшке на подоконнике.

Ночью мимо гостиницы проносились автомобили. Свет их фар отпечатывал на стене крест оконной рамы и силуэты причудливо тянувшихся кверху стеблей. Если автомобили мчались с двух сторон, силуэты на стене тоже мчались навстречу друг другу, сшибались и вновь расходились.

— Просто цирк! — говорили соседи по койкам.

В гостинице не спится. Смотрели постояльцы на силуэты и до поздней ночи вели разговоры. Много услышал я там бесхитростных былей и некоторые из них записал.

### 1. Рассказ фининспектора

— Я фининспектор, я все знаю. Что сам увижу, что люди расскажут. До войны я был еще совсем молодой и поэтому очень интересовался орденосцами. Время такое было, ордена люди получали за большие дела. Тот за Северный полюс, тот шпиона поймал при содействии собаки Джульбарс. Обратите внимание — тогда все знали про этого Джульбарса, а теперь все знают Белку и Стрелку, Чернушку и Лайку... Время идет... Да, читал я большими глазами газеты, но казалось мне, что настоящие дела происходят от нас далеко и люди их делают не обыкновенные, а совсем другие. И вдруг узнаю, что в соседнем колхозе наградили звеньевую Загладу — за лен. И сам Михаил Иванович Калинин ей орден Трудового Красного Знамени вручил.

Специальные сотрудники ее предупреждали: старенький, мол, товарищ Калинин, поэтому, когда дружеское рукопожатие будет, руку ему не очень-то трясси, а поаккуратнее.

Она потом рассказывала, как все это было.

И вот, говорит она, выходит товарищ Калинин, со своей борошкой, наш незабываемый человек, подает Надежде Григорьевне коробочку, в которую спрятан орден, и так крепко жмет и трясет ее трудовую руку, что вы просто не поверите!

А Надежда Григорьевна — о, она боевая женщина! — обращает на это внимание и про то, как ее учили, товарищу Калинин прямо тут и выкладывает.

Михаил Иванович засмеялся и сказал: «Я желаю, чтобы еще не один раз мне пришлось крепко пожимать вашу руку, и я думаю, что это таки произойдет, поскольку вы еще не один орден получите за свой труд».

А за год до войны берется Заглада со своим звеном снять сорок центнеров льна-волокна с гектара. Такое они взяли на себя обязательство.

Но дождик — он работает не по обязательству. Идет май, идет, обратите внимание, июнь, а дождя нет. Стали возить воду в бочках. Но что для наших огромных полей

какие-то бочки! На один-два глотка. Сняли с гектара по двадцать три... А как же быть с обязательством? Очень они ходили тогда убитые. А две-три старухи говорят: «Надя, до революции мы на своих участках сеяли овощи, или, иначе говоря, борщ, но потом, в июне, мы опять засевали участки льном. Беда, Надя, нас этому тогда научила, а сейчас наш опыт может пригодиться».

Через пару дней звено снова посеяло лен. И, обратите внимание, вдруг полил хороший и своевременный дождик. А в октябре сняли еще по восемнадцать центнеров. Итого — сорок один!.. И вот вышло, что Надежда Григорьевна — чемпион мира!

Но на следующую осень уже началась война. На нас напал этот паразит Гитлер...

## 2. Рассказ шофера

— Вот возьмите наш колхоз. Он был такой заваливающий и скучный, что молодежь убегала из него поступать в горнопромышленные школы. Туда принимают без экзаменов. Трудодень был у нас малозаметный.

Избрали мы нового председателя. Приезжий, правда, городской. Но мы избрали. Мы уже на все потеряли надежду и сделали, как говорится, резкое движение рукой, то есть махнули. Нам уже было все равно, кого избирать. И вот этот человек, Ярославский его фамилия, стал у нас председателем. Не знаю — то ли повысили его, то ли снизили. Но в два года наш колхоз вышел в передовые. Нам, можно сказать, повезло на этот раз. Ведь городской, не земледелец, а во все проникал. Он мог жить в лучшей хате, так нет же — он жил по неделе в каждой, как в старину пастухи. Поживет неделю и занимает целую хату друзей. За неделю, если вместе спать, есть, выпивать в воскресенье по чарке, а утром вместе выходить на работу, можно стать почти как братья. Потом он живет уже в другой хате, а дружба остается. Даже тоскливо было без него. Бывало, просишь: поживи с нами еще семидневку. Зайдешь за путевым листом в правление, а он сидит с какими-то стариками, про которых я думал, что они уже давно померли, а они, оказывается, живые, и еще смеются и крутят свои зеленые усы. А он, Ярославский, сидит с ними и хохочет, и что-то выспрашивает. И по полям в дорогом пальто ходит, потому что плохого нет. Все очень любили возле него находиться.

Раньше в правление без дела не идешь. Еще скажу: «А ну, сбегай... А ну, сделай...» А сейчас в правлении, как в клубе. Зеленый шум! А он сидит и пишет золотой авторучкой, и смеется, и критикует кого-то. Бывает, что и пошлет: «А ну, сбегай... А ну, сделай...» Так это даже приятно. Всему он давал свое направление. Сам был мудрый на работу и нас научил уважать свой труд. На току, бывало, установит мощный динамик, и до самого горизонта арии слышать. Везешь ночью зерно от комбайнов... Звезды, фары ползут, движок стучит, голоса... И музыка. Все-таки это большое дело!.. Если задуматься... Поле пело...

Потом забрали его у нас. Поставили руководить хлебозаводом. А нам прислали председателем директора средней школы. Не знаю — то ли снизили его, то ли повысили. И опять двадцать пять. Снова колхоз вниз покатился. А я уже не мог по-прежнему жигь. Привычка у меня появилась к настоящему человеку. Из колхоза ушел. Поступил на работу на тот самый хлебозавод. Пригляделся, и что же я вижу? Я вижу, что он и здесь все расшевелил, этот товарищ Ярославский. И пекари веселее бегают, и даже буханки хлеба стали пышнее получаться, и корочка у них стала поджаристей. Не сойти мне с этого места!..

## ВЫСОКОЕ

Утром я сидел в кабинете Перина, ждал, когда он освободится, и между тем листал толстые сельскохозяйственные книги. Ими была уставлена целая этажерка.

А Перин принимал людей с неотложными делами.

Один из посетителей, невысокий, очень крепкий, лет тридцати, с гладкими светлыми волосами, сразу показался мне воплощением энергии. Он твердо и решительно ступил



через порог, жизнерадостно поздоровался с Периным, не поленился пройти через всю комнату, обогнув Т-образный стол и ряды стульев, чтобы пожать руку мне.

— Василь Максимович, ну то как же со мной будет? — говорил он, покинув меня и вернувшись тем же путем к Перину. — Это же, можно сказать, один раз в жизни бывает. Это ж такое дело, что меня приняли в аспирантуру! Там профессора уже темы для работ раздадут, а я еще здесь. Что ж мне останется в списке тем? Негодящее для других!

— Я это все понимаю, — отвечал Перин. — Учеба — это уважительная причина, что я, не понимаю?..

— То как же вы решаете? Отпускаете меня? Когда? — напористо спрашивал Михальский.

Тогда Перин начал объяснять:

— Вот, посуди сам... Чтоб решить твое дело, нужно собраться... Ведь так тебя не отпустишь. Колхоз надо передать, потом у тебя партийные нагрузки, их тоже нужно пристроить... А у меня времени в обрез. Сегодня в Высокое еду с товарищем корреспондентом...

Михальский, дернув головой, быстро и оценивающе меня оглядел.

— Завтра семинар кукурузоводов района, — продолжал Перин, — потом пленум райкома, потом...

— Ну, тогда я ударю в институт телеграмму, — сказал Михальский. — От имени райкома. Конечно, за свой счет. «Ваш аспирант, мол, задерживается райкомом КПСС на короткое время».

Он хотел вырвать хотя бы это. Но Перин усмехнулся и сказал:

— Зачем же... Ты от своего имени давай... Задерживаюсь, мол, до колхозного отчетно-выборного собрания... Ну и, разумеется, за свой счет... Так что будь здоров! — Он кивнул Михальскому и добавил скучным голосом: — Отпустим... Как же не отпустить, раз на учебу...

...Над громадными, ровными, как стол, полями стоял туман. Видно было только несколько метров дороги перед несущейся вперед «Победой» да верхушки телеграфных столбов.

— Туман меня не удовлетворяет, — сказал Перин недовольно, обращаясь, вероятно, к природе. — Туман — еще не осадки...

В колхозе, поздоровавшись с председателем Хобчуком, он спросил:

— Предупредил Загладу, что к ней человек приехал с делом?

Хобчук стукнул костяшками счетов и, усмехаясь, ответил:

— Предупредил, да разве она... На торфянике сейчас, компосты на поля вывозит. Перин обернулся ко мне.

— Вот вам ценная деталь для начала... Персонажа своего очерка вы застаете на трудовом посту... Запишите в свою книжечку...

Я и записал эту фразу, поскольку она скорее характеризовала Перина, чем Загладу.

Поехали на торфяник. Машина, переваливаясь, медленно шла по разбитой самосвалами дороге.

— Вот, пожалуйста! — закричал вдруг Хобчук. — Вот вам и Надежда Григорьевна сама навстречу бежит.

Навстречу «Победой» быстро шла, почти бежала, маленькая старушка в рыжем пальто, голова ее была укутана серой пуховой шалью. Мы остановились. Хобчук открыл дверцу и крикнул:

— Доброго здоровья, Надежда Григорьевна!

— А, здорово, Михайлович! — весело ответила она и побежала дальше.

— То подождать трошки, — растерянно крикнул председатель, — тут до вас человек добивается!

Тогда она вернулась и заглянула в машину...

## ВОЕННЫЙ ХЛОПОК

Она рассказывала о себе просто, словно перелистывала страницы жизни.

Когда началась война, семьи колхозных коммунистов нагрузили на подводы пожитки да детей и двинулись на восток. Трех сыновей Надежды Григорьевны сразу забрали в армию, четвертый сын, Аркадик, бежал рядом с подводой по пыльному проселку. А на подводе, в летнем зеленом сене, лежала младшенькая — Маша. Тельце ее было туго и свинцово сковано гипсовым корсетом. За неделю до отъезда мать забрала ее из киевской клиники. Это была давняя болезнь. Лежала Маша неподвижно на тряской подводе, смотрела на облака и на звезды.

Много, много раз дневные облака сменялись звездами.

Три месяца маленький обоз бродил по степным дорогам. Женщины расстилали на жухлой осенней траве школьную географическую карту, спорили, искали выхода из охваченного огнем края.

Война проносилась над колоннами беженцев черными самолетами с крестами на крыльях, вставала на пути лиловыми кустами разрывов. Когда на пароме переправлялись через Днепр, сорвалась в реку подвода с лошадьми. А на подводе в своей тяжелой гипсовой скорлупе — Маша. Надежда Григорьевна была еще на берегу, в первую очередь переправляли детей. И до сих пор стоит в глазах страшным сном: наклонившийся паром, бьющиеся в воде лошади, опрокидывающаяся подвода.

Кинулась тогда Надежда Григорьевна в воду, закричала, протягивая руки. В последнюю минуту кто-то схватил девочку. И до сих пор — слезы при воспоминании. Как будто не все они выплаканы.

А однажды на лесном привале попросилась Маша постоять. Прислонила ее мать к березке. «Ну, стой, только не шевелись, свалишься...»

Стали, как цыгане, разводять костер. Привыкли уже к кочевой жизни. И вдруг над поляной застрекотал немецкий самолет-разведчик. Низко-низко стал он кружить над мечущимися женщинами, над мирным их, незатейливым бивуаком.

Потом резко зататакал пулемет.

Словно подрезанная, отвалилась от березки Маша и навзничь упала в траву.

Надежда Григорьевна побежала к дочке через поляну, а самолет проносился над ней, накрывая черным крестом своей тени.

Добежала, видит — жива дочка, только тоненько, испуганно плачет...

Поехали подводы дальше. Когда встречались на пути военные части, Надежда Григорьевна спрашивала: «Сынок, узнай — Заглада у вас не служит?..»

Военные хлопцы, быстрые такие, бежали в штаб, возвратившись, отвечали с сожалением: «Не числится, мамаша...»

Добрались до Сталинграда. Город был набит беженцами, продовольствия не хватало, часто бомбили. Дальше нужно было ехать поездом. Несколько раз ходила Заглада в кабинет начальника вокзала. Там сидел загнанный маленький человечек и говорил: «Я тут случайно, сам по делу. А начальник только что вышел».

Из горкома партии пришел работник — помочь ей.

— Вы почему украинских колхозников не эвакуируете? — спросил он у человечка.

Тот, оказывается, врал все время. Он и был начальником вокзала. Даже слезы закипели у Надежды Григорьевны от обиды.

— Вот вам ключ от вагона, — злобно сказал ей человечек. — Сорок пять пассажиров по своему усмотрению возьмите.

Потом он пришел на перрон, заглянул в окно вагона и с удивлением спросил:

— Что ж вы столько людей напихали?! Тут же сто человек! Могли же ехать с удобствами, как королли!.. Эх, сделай кому хорошо, а он...

Уже много позже, в Андижане, подошел к Надежде Григорьевне старый, седой еврей и спросил:

— Доброе здоровьечко, товарищ орденосец, вы меня помните?

— Нет.

— А ну, посмотрите-ка лучше.

— Та нет, не помню, — слабо улынулась Заглада.

Не до шуток ей было. Мучилась с двумя детьми в чужом, жарком, незнакомом городе. Ни хлеба, ни радости.

— А я вас помню,— качая головой, говорил старик.— Я таки вас буду помнить до смерти, и вся наша большая семья, все мои дети будут вас благословлять. Ибо вы спасли нам жизнь. Помните тот вагон? В нем была теснота, но не было обиды...

И тогда Надежда Григорьевна наконец вспомнила, а старик продолжал:

— Мы люди городские. Я уже работаю, и дочки мои работают. Нам уже немного легче. И мы, наоборот, теперь вам поможем...

Так неожиданно появились у нее хлеб и маленькая радость.

«Мы люди городские,— вспоминала она слова старика и думала:— Ну, а я-то сельская. Надо мне ближе к полю подаваться...»

И стала она бригадиром в одном из колхозов Джаял-Кудукского района в Андижанской области. Бригада состояла из эвакуированных, незнакомых с сельской работой. Было голодно, плохо с жильем. Неожиданно пришло письмо от академика Лысенко. Он хорошо знал Загладу и разыскал ее.

«Кроме хлопка, выращивайте овощи,— писал он,— это необходимо, чтобы победить голод». Даже семена прислал. Картошку, шавель, капусту, укроп — одним словом, «борщ».

Распахали четыре гектара в колхозном саду. Вырезали из картофелин глазки и сажали, а то, что оставалось, делили. Земля в Узбекистане щедрая, очень скоро показались всходы. Надежда Григорьевна, пропалывая огород, выдергивала лишние стебельки, чтобы не глохли остальные, и который раз удивлялась загадочной, мудрой силе, скрытой в черной, влажной, теплой земле. Ведь чудо! Кладут в землю крохотное, невзрачное семечко, и она так его питает, так поит, что, глядишь, из семечка выросла ярко-оранжевая, сладкая, тяжелая морковь. Чудо! Сколько книжек прочла, в которых все понятно объясняется, а все равно не уставала дивиться. И ласково поглаживала, мяла, рыхлила эту могучую и добрую землю. А маленькие лишние морковинки, свеколку, выдернутые ею из грядок, она делила на пучочки и раздавала членам бригады — на суп. Рос между тем и хлопок. И бутоны его были полны белой шелковистой ваты...

Поручили Надежде Григорьевне еще одно общественное дело: собирать вещи и продовольствие для фронта.

Приезжала она в глухой кишлак. На площади, в скудной тени желтых глиняных дувалов, собирались женщины. Лица они прятали до глаз в темные тонкие шали. Мужчин было мало. Все на войне.

Надежда Григорьевна выходила на середину, под горячее, ослепительное солнце, выбирала ту, чьи глаза из-под накидки смотрели теплее, и, обращаясь к ней, говорила:

— Опа! Сестра! У тебя есть на фронте муж или сын?

— О, бар ме, бар ме! — кивала женщина.

— Бар ме... — проносилось по рядам собравшихся.

— Гитлер джуда яман! — с ненавистью кричала Надежда Григорьевна. — Проклятый изверг! Напал на нашу Родину... Украинну забрал... Сыновей отнимает... Опа! Сестра! Надо помочь нашим мужьям и сыновьям, нашим джигитам... Им пужно сытно есть, чтобы силы не убавлялось... Нужны масло, баранина, крупа... Взгляните на это солнышко, женщины, — говорила Надежда Григорьевна, и десятки темных, глубоких, восточных глаз пытались взглянуть на раскаленное солнце. — Это оно здесь такое, а там, где война, там сейчас холодно. Нужны шерсть и теплые рукавицы, чтобы у наших бойцов не мерзли пальцы, когда они будут нажимать курок.

И женщины, негромко переговариваясь, шли по домам и приносили все, о чем говорила им сестра с Украины.

Хорошие люди жили в этом далеком краю, и много лет спустя, когда проходила Надежда Григорьевна по праздничным проспектам ВСХВ, стоило ей увидеть женщину в ярком узбекском наряде — и не могла она удержаться, чтобы не сказать:

— Салам, опа! — И по-украински добавить: — Бажаю тобі щастя!

И казалось Надежде Григорьевне, что узнает она те глубокие темные глаза, которые глядели на нее когда-то из-под шали.

## ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ

Прошло еще несколько лет.

Прибыла Загладе телеграмма из ЦК: «Просим Вас такого-то числа приехать в Москву...»

Даже гадать, по какому поводу вызывают, не было времени. Срочно выехала в Киев, а там — на самолет...

Села в последнее креслице у окошка, смотрит на поля Украины.

В том же самолете летели писатели Корнейчук, Тычина, Ванда Василевская. Стали они интересоваться. Сидит позади маленькая женщина в белом платочке, смотрит на разноцветные поля и понимающе кивает головой. Пригласили ее обедать с собой. Хоть отказывалась, но уговорили. Когда назвались — оказывается, все фамилии знакомые.

— Надежда Григорьевна, — спрашивают они Загладу, — что ж вы такая худенькая? Или в колхозе есть нечего? — И лукаво смеются.

Так, за разговором, и в Москву прилетели. Надежда Григорьевна, когда собиралась в дорогу, беспокоилась, как она в Москве дом ЦК найдет. Но только дверца самолета открылась, сразу услышала она голос:

— Заглада есть?

В черном блестящем «ЗИЛе» прибыла она к высокому зданию. Протянула в окошечко партбилет. Там долго его проверяли, потом строго стали выговаривать:

— Что ж это у вас фотокарточка почти не держится? Мы вас и пустить не имеем права.

Пока по телефону куда-то звонили, справлялись, стала она ждать. Подошел к ней высокий мужчина с проседью в черных волосах и спросил:

— Вас тоже не пускают? Вот и я не могу пройти... А так нужно, так нужно...

Смотрит Заглада, а у человека слезы на глазах. Но тут ее вызвали к окошку, выдали пропуск и проводили прямо в кабинет Хрущева. А с Никитой Сергеевичем они уже давно, еще по Украине, были знакомы. И встретил он гостью очень радушно.

— С приездом, — говорит, — Надежда Григорьевна. Как ваше здоровье?

Стали они беседовать, и рассказала она про случай с фотокарточкой.

— У нас здесь народ такой, — засмеялся он. — Придирчивый, строгий...

— Оно, конечно, правильно, — согласилась Надежда Григорьевна. — Но иногда надо вникнуть. Отчего бы это взрослый мужчина плакать стал? Видно, серьезное дело.

— Кто же это, где? — встревоженно спросил Никита Сергеевич.

— А там, в приемной сидит.

Никита Сергеевич позвонил, сказал, чтобы пропустили и проводили этого человека к нему.

Тот пришел, но при Надежде Григорьевне говорить не стал.

Тогда она сказала:

— Я трошки погуляю. — И вышла в коридор.

Погуляла и вернулась. Разговор уже кончился, но поняла она, что дело решилось хорошо.

Вечером того же дня в старинном дворце состоялся прием. Приглашены были лучшие люди. Колхозники, артисты, рабочие, ученые.

Надежда Григорьевна нашла себе подругу, такую же пожилую женщину, сели они в сторонке, смотрели на этот праздник и разговаривали.

Подошел Никита Сергеевич.

— Почему, — спрашивает, — вы не танцуете?.. Какая же вы старая? По делам вы молодая!

Стоял рядом молодой парнишка, артист («Еще моложе, чем вы, сыночек»).

Товарищ Хрушев ему говорит:

— А ну, приглашайте Надежду Григорьевну в круг!..

И так хорошо этот танец получился, что все ей захопало.

А позже, за ужином, сидела она рядом с товарищем Хрущевым, и вдруг он поднял бокал и торжественно произнес...

(«И говорит он, сыночек, так: «Прошу наполнить бокалы и давайте выпьем за здоровье Надежды Григорьевны Заглады, советской колхозницы...» И мы, сыночек, постукались с ним бокалами и выпили. И я не вслух, а в мыслях сказала: «За твое здоровье, Никита Сергеевич...»)

После этого тоста товарищ Хрущев обратился к артистам:

— Знаете ли вы украинскую народную песню «Ой, хмелю ж мій, хмелю»?

— Немножко знаем,— ответили они,— но нот при себе не имеем.

— Ну, споем без нот, потому что это любимая песня Надежды Григорьевны.— И сам громко и весело затянул:

Ой, хмелю ж мій, хмелю,  
Хмелю зелененький...

А все, растроганно и светло улыбаясь, подхватили:

Де ж ти, хмелю, зиму зимував,  
Що й не розвивався?

Слезы набежали Надежде Григорьевне на глаза, но, досадливо смахивая их, легко и привычно повела она за собой этот странный, но согласный хор.

Зимував я зиму,  
Зимував я другу,  
Зимував я в лузі, на калині,  
Та й не розвивався!

Они встретились взглядами, старая крестьянка и Никита Сергеевич, и кивнули друг другу понимающе и сердечно.

Ой, сину ж мій, сину,  
Сину молоденький,  
Де ж ти, сину, нічку ночував,  
Що й не розувався?..

Через много часов, месяцев, лет — стоило вспомнить, и ясно слышала она этот хор: колхозники, ученые, артисты, рабочие — и иностранцы тоже — поют «Ой, хмелю ж мій, хмелю, хмелю зелененький...», любимую ее песню.

## ПЕРВАЯ КУКУРУЗА

Откуда же товарищ Хрущев узнал, какая у Заглады любимая песня?

Произошло это так.

В сорок седьмом году была она участницей совещания передовиков. Дело было в Киеве, зал театра был переполнен знаменитыми мастерами. А места в зале отводили каждой области по заслугам. Самые передовые сидели в партере, средние — в амфи-театре, а Житомирская область тогда была далеко не передовой, вот и сидели ее посланцы где-то наверху, на «голубятне».

И несмотря на оживленную атмосферу совещания, настроение житомирцев было несколько испорчено. Даже в основном докладе о Житомирщине почти ничего не сказали, только упомянули. Вот и обидно было. Вдруг на «голубятню» пришел незнакомец и пригласил Загладу:

— Вас вызывают,— сказал он,— по важному делу.

Повел ее незнакомец по коридорам, лестницам, комнатам с зеркалами. Открыл он какую-то боковую дверь, пропустил ее вперед, и Надежда Григорьевна увидела, что оказалась на сцене. За столом сидят члены президиума, среди них Никита Сергеевич.

— Хотим вас попросить,— сказал провожатый.— Выступите, расскажите.

— Да что вы! — даже испугалась она.— Я же и не готовилась совсем.

Но Никита Сергеевич протянул ей руку и тоже попросил:

— Выступите, Надежда Григорьевна! — И руку не выпускает.

— Да там у нас девушка одна готовится выступать, со средним образованием девушка! — сказала Надежда Григорьевна. — Надо же выдвигать молодые кадры!

— И ей слово дадим и вас послушаем. Вам ведь есть о чем рассказать. Посидите, подумайте, приготовьтесь.

И после двух ораторов Никита Сергеевич объявил:

— Слово — Надежде Загладе.

— Что ж, — сказала она тогда и пошла к трибуне, — я попросту, без конспекта.

И уже на трибуне продолжала:

— Вот мне, колхознице с Житомирщины, очень обидно, что о нашей области говорят здесь мало, а ведь и у нас передовиков достаточно. Видно, докладчик одежду льняную не носит и пива не пьет, а то бы потеплее говорил про житомирский лен да про житомирский хмель. Ну, если он пива не пьет, в чем я очень сомневаюсь, то другие пьют. И моя любимая песня, чтоб вы знали, «Ой, хмелю ж мій, хмелю». И дело не только в пиве, это я шуткую. Я хочу сказать, что хмель вообще ценная культура, и о нем можно много рассказать...

Пока она это под общий одобрительный гул говорила, Никита Сергеевич подошел, улыбаясь, к трибуне и ждал, когда она кончит, что-то хотел сказать ей, что-то очень важное.

А она уже давно знала, что он хочет сказать ей. И сама она задумывалась об этом еще тогда, когда слушала с «голубятни» Марка Озерного.

— И вот что еще я хотела сказать... — Она взглянула на Никиту Сергеевича с протодушной хитрецей и продолжала — Многие не верят, что на Житомирщине можно выращивать большие урожаи кукурузы, говорят, что полесского лета для нее не хватит. А я считаю, что хватит!..

— Верно, Надежда Григорьевна, — воскликнул товарищ Хрушев, — правильно! Корма для скота в Полесье не хватает, надо привить там любовь к кукурузе. Это ключ для развития животноводства!..

Он так был обрадован словами Заглады, что тоже поднялся на трибуну.

— Большое дело вы сделаете, если возьметесь доказать недоверчивым их ошибку. Народ вам спасибо скажет..

Тогда Надежда Григорьевна так закончила свою речь:

— Никита Сергеевич, вот как получилось: стоим мы оба на одной трибуне и об этом деле болеем. Так даю я слово, что выращу кукурузу, несмотря на короткое лето, на подзолстую землю и на тех, кто сомневается. Только семена дайте...

И они снова пожали друг другу руки.

Вернулась Надежда Григорьевна домой, а ее уже два ящика отборного зерна дожидаются. Ранней весной поселили, и скоро выглянули зеленые всходы. Выглянули, да так на уровне десяти сантиметров и сидят, не поднимаются.

Бьются колхозники, удобрений не жалеют, а кукуруза не растет.

В селе посмеиваться стали. Дед Панчук припелся на участок, взглянул и не то засмеялся, не то закашлялся:

— Это что у тебя — кукуруза чи просо?

Однажды шел полем агроном из МТС, товарищ Бовсановский. Смотрит — сидит среди маленьких кукурузных побегов Заглада и плачет.

— Ну, слезами не поможешь, — засмеялся он. — Тут другое удобрение требуется...

Стал он помогать советом и делом, сортоиспытательная станция включилась, и отгадали общими усилиями, что нужны всходам азотистые...

Птичий помет размешивали в воде, вокруг каждого побега делали в земле ямку и поливали раствором.

Не хватило этого удобрения, тогда взяла Заглада у председателя четырнадцать подвод, взяла своих хлопцев и, как говорится, под покровом ночной темноты сделала набег на районный центр Черняхов.

Разъехались там подводы по улицам, остановились хлопцы возле всем известных, самых маленьких домиков и произвели очистку. Часа через два поехали обратно. Потом коммунхоз еще выплатил деньги за санитарно-очистительные работы.

Очень скоро пошли всходы вверх, да так, что люди дивиться стали.

Даже дед Панчук снова в поле пришел. Взглянул и головой покачал:

— Хоть Надня наша коммунистка, а видно, богу молится... Смотри, какой у нее лес кукурузный!..

С тех пор звено Заглады узнало свою землю, научилось ухаживать за ней и стало снимать высокие урожан. Сначала по сорок четыре центнера с гектара, затем пятьдесят, семьдесят, девяносто...

На гектаре поля — двадцать четыре тысячи гнезд, с двумя растениями в каждом; на шестнадцать гектарах — триста восемьдесят четыре тысячи гнезд. Звено внимательно проверяет все — если нет всхода, нужно подсеять. Каждое гнездо требует хозяйского глаза, любовного ухода. Вот каков он, колхозный труд.

Да и в любом деле разве не так? Разве не приходится отдавать свои силы, душу каждому ростку? Где бы то ни было — в поле, в школе, в лаборатории ученого.

А проглядел одно гнездо, обошел его вниманием и любовью — глядишь, ничего из него не выросло, пусто оно, мертво. И уже меньше урожай наших побед, наших достижений. Вот в чем мастерство: упорно, мудро и честно трудиться над каждым всходом. Каково бы ни было поле деятельности, будь то кукурузное поле или великое и замечательное наше государство.

### ТИРЕ МЕЖДУ ЦИФРАМИ

На январском Пленуме 1961 года товарищ Хрущев сказал, что «Н. Г. Заграда, звеньевая колхоза имени 1 Мая Черняховского района, много лет подряд получает урожай по 70—90 центнеров зерна кукурузы с гектара». Сколько труда, сколько разных разностей вмещает в себя этот промежуток между двумя цифрами, это маленькое тире...

Дни волнений и беспокойства, месяцы засухи, непорядки и неполадки...

Не было бы их, и тире не было бы. Кругленькая и крепкая стояла бы цифра: 100. Но в жизни все гладко не бывает.

В прошлую осень звено должно было снять по тысяче центнеров зеленой массы с гектара, но сняло по девятьсот одному центнеру. А ведь и остальные девяносто девять центнеров были на поле, может быть даже побольше, чем девяносто девять. Куда же они девались? Их поглотили непорядки и неполадки...

Початки были уже молочной спелости, стебли зеленые, сочные, как раз убирать на силос. Лучшего корма для скота не найдешь. А в колхозе один кукурузоуборочный комбайн. Да и тот... Всю весну, все лето старался председатель добыть в районе хотя бы еще одну машину. Но их по всей области нехватка. Стучит один плохонький комбайн в кукурузе, а она подсыхает, листья стали потихоньку отлетать.

У Надежды Григорьевны сердце кровью обливается. Слово видит, как девяносто девять центнеров по листику исчезают.

Не выдержала, посадила за руль подаренной на ВСХВ «Победы» зятя, мужа Маши; сама платочком повязалась и сказала:

— Гоня, зятек, в Гомель, на завод сельмашин!

А Маша стояла у «Победы» и дверцу не давала закрыть.

— Мама, вы же больная, — говорила она. — Куда вам при таких годах ехать?..

Маша так долго лечилась в клиниках и больницах, что сама потом стала учиться медицине и сейчас работала в сельской больнице.

— Мама, — говорила она с любовной укоризной, — ведь вам же вредная такая дорога, я ж знаю...

— Может, и ты на пенсию мне прикажешь идти? — сердилась Надежда Григорьевна. — Пустяк дверцу! Я буду работать, так и молодым будет стыдно бездельничать. Вот моя персональная пенсия. — И протягивала вперед свои маленькие, шершавые, загорелые руки.

— Вы хоть депутатский флажок прицепите на кофточку для авторитета, — сказала тогда Маша со вздохом и отпустила дверцу.

Ехали весь день, и Надежда Григорьевна хмуро смотрела на золотисто-зеленые житомирские поля.

Везде одно и то же: машин уборочных не хватает..

Прибыли в Гомель, явилась она на завод. В приемной народу полно, все ждут директора.

Надежда Григорьевна приуныла, но все же протолкалась поближе к девушке-секретарше. Та стучала на машинке, но, увидав пожилую женщину с депутатским значком, уступила ей свой стул, а себе принесла другой, из кабинета.

Они разговорились. Женщины всегда общий язык найдут.

Вдруг пришел директор. Все ожидавшие кинулись к нему, обступили так, что его и не видно.

Тогда секретарша схватила Загладу за руку и, как девочку, ввела в кабинет.

— А теперь сами действуйте!..

Следом вошел директор, а за ним представители рвутся и на Загладу сердятся: «Это как же так, без живой очереди? Почему не соблюдаете?..»

— Но ведь это женщина.— сказал директор.— Можно и очередь уступить. Говорите, товарищ, что у вас? — И, здороваясь, протянул руку.

Пожала она руку и спросила:

— Вы знаете, кто это в нашем лице друг другу руки пожимает?

— Кто же? — удивился директор.

— Это Гомель с Житомиром здороваются!

Директор засмеялся.

— Ох, и хитрая вы... Видно, очень нужны комбайны?

— Очень, товарищ...

Начал директор объяснять положение. Завод новую продукцию осваивает, то, се... Комбайны никак дать не может. Разве что один-два. Наряд для вас есть, но ждать надо...

А у Надежды Григорьевны перед глазами поля житомирские — моря, которые высыхают с каждым днем.

— Когда я вернулась в колхоз в сорок третьем году,— тихо проговорила она,— мы серпами жали, на старых одеялах снопы носили. А весной впрягались по пять баб в культиватор. Лошадей не было. Тащили и понукали друг дружку: «Но, ледащая!»— и смеялись. Смеялись, товарищ директор. А нынче... Ведь пятнадцать лет почти как война кончилась.

Пришел в кабинет парторг завода, стали толковать втроем. И наконец директор ей объявил:

— Дадим вам комбайны сверхплановые. Только транспорт доставайте.

Побежала Надежда Григорьевна на почту, и телеграмму в Житомир послала:

«Есть двадцать комбайнов восклицательный знак шлите транспорт восклицательный знак».

На следующий день прибыла из Житомира автоколонна. Все машины в лентах и цветах, как на свадьбе...

Убрали кукурузу, взвесили. Девяносто девять центнеров недобрали для выполнения обязательства. Но разве, несмотря на это, кто-нибудь усомнится в том, что Надежда Григорьевна победила?

Вот что узнал я в селе Высоком о Надежде Григорьевне Загладе, мастере кукурузных полей. А также и о других людях.

Жизнь продолжается. И снова коснутся весенней влажной пашни их руки, снова навстречу солнечным лучам потянутся зеленые всходы.





---

---

# ЛУБЛИЩИСТИКА

Г. БОРИСОВСКИЙ

*Кандидат архитектуры*

★

## АРХИТЕКТУРА И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

**Г**и де Монпассан бежал из Парижа, чтобы не видеть Эйфелеву башню (тогда только что построенную). Он писал: «Я бежал из Парижа, а затем покинул Францию, потому что меня навязчиво преследовал вид Эйфелевой башни... Вообразите же, что скажут отдаленные потомки о нашем поколении, если только вспышка народного гнева не повалит эту высоченную и тощую пирамиду железных лестниц». У него вызывало искреннее удивление «единогласное и дерзкое утверждение всех газет о какой-то новейшей архитектуре в этой металлической стройке».

Более полувека назад в новом здании на Красной площади (теперешний ГУМ) люди боялись ходить по тонким железобетонным мостикам. Они им казались непрочными и в силу этого некрасивыми.

Вантовое перекрытие больших залов — это одно из последних достижений современной строительной техники. Подобно колоссальному тенгу, «провиснув» вниз, оно как бы опрокинуто над залом. Опрокинутый свод! Эта конструкция прикреплена к двум косо поставленным аркам. Все перекрытие опирается только на две точки. Неспециалисту трудно понять, каким чудом оно держится, трудно и оценить всю красоту дерзкой мысли инженера и архитектора.

Крымский мост через Москву-реку. На двух огромных «цепях», перекинутых через массивные стойки, покоится проезжая часть моста. Что здесь является несомым, что — несущим? Конструктивная сущность сооружения для непосвященного человека остается загадочной.

Станция московского метро «Ленинские горы». Два ряда редко поставленных тонких металлических стержней. К ним подвешен перрон. Стержни работают исключительно на растяжение, поэтому они и такие тонкие. Но воспринимаются они как стойки, опоры, работающие на сжатие.

Таких примеров можно привести множество. Без специальных знаний подчас трудно разобраться в технике современной архитектуры, ему непонятно назначение всех этих стержней, вантов, растяжек, панелей-пластинок, сводов-оболочек. Еще вчера архитектура казалась такой простой, доходчивой, а сегодня ее истинный смысл доступен порой лишь архитектору и конструктору.

Быть может, все это я немного преувеличиваю, не такими уж таинственными представляются «секреты» архитектуры наших дней и недалекого будущего. Мне хотелось лишь подчеркнуть, что в основе создания и применения новых материалов заложены иные, чем раньше, принципы, во многом отрицающие многовековые традиции строительного искусства.

Скоро наша партия придет к своему очередному, XXII съезду. Он поможет нам еще яснее увидеть коммунистическое будущее советского общества. И очень важно понять

и почувствовать все то новое, прогрессивное, что уже сейчас наблюдается в каждой области нашей деятельности, в том числе и в архитектурной.

С рассмотрения этих тенденций и начнем наш разговор об архитектуре будущего. Вернее, о будущем, которое уже живет в нашем настоящем. О проблемах строительной индустрии, которые надо решать сегодня.

### ТЯЖЕСТЬ И ЛЕГКОСТЬ

Сирия. Баальбек. Вот один из камней, предназначенных для строительства храма. Он почти в два раза выше жилой комнаты (пять метров), а по протяженности равен одной четверти футбольного поля (двадцать пять метров). Я смотрю на фото — маленькие человечки копошатся около этого каменного великана — и вспоминаю детскую книгу, где изображен Гулливер в окружении лилипутов. Дорога сворачивает в сторону, оглябая этот фантастический «кирпич», который лежит здесь вот уже две тысячи лет.

Марк Твен так описывает древние сооружения в Баальбеке: «Эти храмы построены на массивных подножиях, которые могли бы, кажется, выдержать гору: материалом служили глыбы камня вышиной в омнибус... Вы видите вокруг себя огромные обломки колонн в восемь футов толщиной, великолепные капители величиной с маленький коттедж; также отдельные каменные плиты с роскошной резьбой, в четыре-пять футов толщиной и таких размеров, что одна плита покроет пол обыкновенной гостиной... Непостижимо, как удалось вытащить эти громадные камни из каменоломен и как удалось поднять их на головокружительную высоту храма».

Своими массивными каменными постройками человек пел гимн тяжести, прославлял ее, восторгался ею, опозтизировал ее, молился ей. Он гордился, когда ценой невероятных усилий смог поставить один огромный камень на другой. И он обрабатывал его так, чтобы камень казался еще массивнее и тяжелее, — тогда человеческие деяния представлялись еще более героическими. И зодчий находит такие архитектурные формы, такую тектонику, такие соотношения частей, такой ритм, которые громко и вдохновенно говорят об этом подвиге.

Египетские пирамиды, греческие храмы, римские сооружения, итальянские палаццо — это гимны, посвященные преодолению тяжести, колоссальным физическим усилиям.

Древний человек любил все массивное и тяжелое — архитектуру, утварь, одежду. В его представлении тяжесть и массивность придавали вещам прочность, делали их богатыми, красивыми.

Но тогда же существовала и другая тенденция. Человек поклонялся тяжести, но его не покидало стремление вырваться из ее тягостных оков. Вспомним легенды о Вавилонской башне «до неба», о ковре-самолете, о крыльях Икара. Эти свои мечты он старается воплотить в камне — строит здания, и сегодня поражающие нас своей воздушностью. Таковы, в частности, готические храмы. Здесь архитектура как бы освободилась от земного притяжения и стремительно возносится вверх.

Я вспомнил об этих двух тенденциях в архитектуре прошлого, когда мне случилось побывать на Мытищинском заводе синтетических строительных материалов и изделий. Ходил по цехам, и все казалось, что я попал на другую планету, где все предметы стали раз в десять легче. Вот плита из пенопласта. Размер ее около трех квадратных метров; сделанная из обычных строительных материалов — кирпича, шлакобетона, она весила бы около двух тонн, переместить ее можно было бы только краном. А эти — из пенопласта — молодая девушка без малейшего усилия забрасывает одну за другой на грузовик.

Рассматриваю умывальную раковину, на вид весьма солидную. Пробую поднять. Раковина стремительно взлетает вверх. Я не рассчитал своих усилий — раковина почти невесома. Некоторые пластмассы в семьсот раз легче стали, в сто раз легче воды и в двадцать пять раз легче пробки. При малом весе они часто отличаются исключительной прочностью.

Современная строительная наука выдвинула новое понятие — коэффициент конструктивного качества. Это отношение прочности материала к его объемному весу. Чем прочнее и чем легче материал, тем он совершеннее.

Старая, традиционная архитектура имела дело со строительными материалами с низким коэффициентом конструктивного качества. Если для бетона этот коэффициент составляет 0,06, стали — 0,51, пластмасс — 2,5, то для кирпича и камня (основной материал старых построек) — всего 0,02. Кирпич в сто раз хуже изделий, изготовленных из пластмасс.

За последнее время наука и техника дали множество необычно прочных и легких материалов. Назовем, к примеру, стеклянные нити. Этот материал толщиной в один квадратный миллиметр выдерживает нагрузку в триста килограммов. Стеклянные нити в несколько раз прочнее стальной проволоки.

Дом, построенный из новых материалов, в двадцать—тридцать раз легче обычного. Если на чашку весов можно было бы поставить кирпичный дом, то на другой для уравнивания пришлось бы уместить тридцать домов, сделанных, скажем, из стеклопластиков. Вес одного дома равняется весу целой улицы!

Скорлупу яйца часто приводят как пример необычайно прочной и легкой конструкции (относительно ее веса и размера). В самом деле, ее толщина составляет лишь одну шестидесятую диаметра яйца. Наши инженеры создали конструкции, по своим достоинствам не уступающие яичной скорлупе и даже превосходящие ее. В Новосибирске построен театр, зрительный зал которого перекрыт куполом, диаметр которого выше пятидесяти пяти метров, а толщина конструкции составляет всего восемь сантиметров. Соотношение «скорлупы» к пролету 1 : 70. А вот в США Фуллер строит фанерные купола, где это соотношение равно одной двухтысячной. Он же разработал небольшие купола диаметром в десять—пятнадцать метров, которые в четыре раза легче палатки того же размера, в шесть раз ее дешевле и устанавливаются они в восемь раз быстрее. Ангар, перекрытый таким куполом, весит всего шестьсот тридцать килограммов. Вертолет поднимает и переносит его в другое место.

Большой интерес представляет предварительно напряженный железобетон. Как известно, его особенность состоит в том, что здесь арматура предварительно натягивается и остается в напряженном состоянии, когда бетон схватывается. Такая конструкция получает необычайную прочность. Достаточно сказать, что из предварительно напряженного железобетона по проекту французского инженера Фрейссине были изготовлены... крылья самолета.

Надо упомянуть и о пневматических сооружениях, которым принадлежит будущее. Представьте себе огромную велосипедную камеру, разрезанную поперек. Концы ее герметически закупорены. В камеру нагнетается воздух, она поднимается и образует арку. Поставив в один ряд несколько таких арок и натянув между ними прочную и прозрачную ткань (например, нейлон), мы будем иметь модель пневматического сооружения. Эту конструкцию впервые предложил советский инженер Л. Арсеньев в 1951 году.

Воображение рисует архитектуру будущего предельно легкой и воздушной. И если древние зодчие создали величественный гимн тяжести, то нам предстоит создать в архитектуре вдохновенную симфонию легкости.

## СЖАТИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ

Кусок сырой глины сдавлен в лепешку. На нее можно поставить довольно значительную тяжесть — глина сохранит свою форму. Это — испытание на сжатие. Но если глиняную лепешку начать растягивать, то достаточно малейшего усилия, чтобы ее разорвать. Это — испытание на растяжение. Выражаясь языком строителей, глина удовлетворительно «работает» на сжатие и «не работает» на растяжение.

Теперь возьмем короткий кусок веревочного каната. Поставим его вертикально и попытаемся положить на него тяжесть. Канат тотчас же согнется, он не сопротивляется сжатию. Но если канат растягивать, то он выдержит большие нагрузки. Канат прекрасно работает на растяжение.

Каменный или кирпичный столб способен выдержать огромные сжимающие усилия. Но положите его горизонтально, начните растягивать, и он разрушится при незначительной нагрузке.

В прошлом архитекторы строили из естественного камня, кирпича и дерева. В основном это была каменная архитектура (за исключением обильных лесами северных стран). Зодчему приходилось выбирать такие конструкции, в которых материал подвергался сжатию, а не растяжению, поэтому, помимо обычной стены, широко применялись арки, своды, купола.

В наше время, как уже говорилось, наука дает средства для увеличения прочности строительных материалов. Ученые утверждают, что есть возможность создать новые металлические материалы, по своей прочности в сто раз превышающие ныне существующие. Уже получены нитевидные кристаллы железа в шестьдесят—восемьдесят раз прочнее обычных. Значит ли это, что опоры — столбы, колонны — и другие конструкции будут становиться все тоньше? Нет, это не так. Представим себе стойку, сделанную из сверхпрочной стали. Она толщиной в проволоку, и все же под грузом перекрытий эта стойка согнется, несмотря на всю свою невероятную прочность.

Следовательно, дело не только в прочности. А в чем же? В потере равновесия, или, как говорят инженеры, в жесткости, в модуле упругости. Сегодня жесткость такой конструкции, как, например, стойка, почти достигла своего теоретического предельного значения. Стойки не могут быть более тонкими. Увеличение прочности материала уже ничего не дает. Парадоксальный случай: упрочнение материала не в состоянии сделать конструкцию более прочной. Необходимо искать иные принципы конструирования.

Все сразу становится на свое место, если заставить новые материалы работать не на сжатие, а на растяжение. Возможности здесь поистине сказочные. На три нейлоновые нити можно повесить грузовик!

Значит, чтобы лучше использовать преимущества новых, сверхпрочных материалов, нужно создавать такие конструкции, которые в основном работали бы на растяжение, а не на сжатие.

Что же это за конструкция?

...Я отрываюсь от своей рукописи и смотрю через окно во двор. Вот прототип этой конструкции: два тонких бревна, вкопанных в землю, через них перекинута веревка, на ней висит большой и, надо полагать, тяжелый ковер. А Крымский мост в Москве, о котором говорилось выше, ведь это та же конструкция. Только вместо бревен—огромные металлические опоры (сжатие); вместо веревки—металлические листы, образующие подобие цепи (растяжение), а вместо ковра подвешена к этой «цепи» проезжая часть моста. Или «висячий» мост через реку Гудзон в Нью-Йорке. На расстоянии более километра стоят две мощные каменные опоры, через них перекинута две «цепи», к которым подвешен мост.

Итак, старая, традиционная архитектура имела дело со сжатием, а в нынешнем зодчестве родилась тенденция заменить сжатие растяжением (конечно, там, где это возможно). Это во-первых.

Во-вторых, в условиях каменной архитектуры приходилось так располагать строительные элементы (блоки, кирпич), чтобы они плотно примыкали друг к другу, лежали один на другом. Старая архитектура — это архитектура положенных друг на друга каменных блоков, кирпичей и прочих строительных материалов.

Теперь есть возможность пересмотреть эти позиции. Раньше, в силу огромного веса строительных материалов, стена неизбежно должна была лежать на прочном фундаменте. Ныне ее можно повесить на каркас и тем самым избавиться от дорогостоящего и трудоемкого фундамента. Это тем более рационально, если учесть, что современные стены представляют собой тонкие пластины из легкого материала слабой теплопроводности. Пластины легко повесить, но трудно поставить, она будет падать.

В Советском павильоне на Брюссельской выставке стена висела, не касаясь земли. Боковые стены здания Юнеско в Париже тоже висят, не соприкасаясь с перекрытием. Таким образом, здание может «дышать». Висящая стена! Стена, повешенная подобно ковра. Несомненно, тенденция будет неуклонно развиваться. И это отнюдь не из-за желания оригинальничать. Просто выгоднее заставить работать материал не на сжатие (груз лежит), как было раньше, а на растяжение (груз висит).

## ДОЛЬМЕН И ПАЛАТКА КОЧЕВНИКА

Когда-то, на заре человечества, голые, обросшие шерстью люди с низкими лбами и свирепым взглядом непонятным для нас образом поставили два огромных камня, а на них взгромоздили третий. Они создали то, что мы, их потомки, назвали дольменом. Это прототип каменной архитектуры.

Был создан и другой тип постройки — палатка кочевника.

Это два строительных антипода. В них заложены диаметрально противоположные архитектурно-строительные принципы.

Дольмен тяжел и массивен, палатка легка и воздушна. Дольмен — элементарная конструкция, работающая на сжатие; палатка — всякая система, работающая в основном на растяжение. Дольмен отличается достаточной жесткостью и неподвижностью; палатка — гибкостью и подвижностью.

Дальнейшее развитие архитектуры пошло исключительно по линии усовершенствования принципов, заложенных в дольмене. (Парфенон — это дольмен, доведенный до совершенства.) Принципы палатки не получили развития. Правда, в виде единственного исключения можно сослаться на колоссальные тенты, которые натягивались над Колизеем в древнем Риме, в Сиракузах, в Помпее и других городах. Плиний сообщает: огромный тент был натянут над Римским форумом, «что, по преданию, показалось удивительнее даже гладиаторского боя». Но эти сооружения были временными.

У нас существует так называемая «вантовая система». Впервые она была теоретически обоснована и применена на строительстве Нижегородской выставки в 1896 году талантливым русским инженером В. Г. Шуховым. Это едва ли не самая прогрессивная конструкция из всех существующих.

По существу вантовая система не что иное, как та же палатка. Но сделана она не из звериных шкур, ковров или холста, а из бетона, стали и алюминия.

Вспомним, что представляет собой конструкция обыкновенной палатки. Несколько шестов воткнуто в землю — это опоры, они работают на сжатие. Через них перекинута бечевка, к которым подвешен, допустим, холст. Бечевка и холст работают только на растяжение. Обратимся теперь к вантовой системе. Вместо шестов используются усовершенствованные вертикальные опоры, порой они заменяются арками. Иногда арки ставят под углом друг к другу, и здание опирается всего на две точки. Или создается кольцо, к которому подвешиваются всяческие перекрытия. Кольцо опирается на ряд вертикальных стоек.

«Тент» здесь — бетонные или металлические листы, лежащие на тросах. Такая конструкция отличается большой легкостью, она способна перекрывать значительные пространства. Сооруженная по этой системе конструкция арены в Северной Каролине перекрывает пространство размером примерно сто на сто метров.

Вантовые конструкции получают все большее распространение в советской практике, причем преимущественно в таких крупных сооружениях, как, например, стадионы. Хорошо было бы использовать эту конструкцию для небольших пролетов в многоэтажных зданиях. Другими словами, найти ей применение в жилых домах, школах, детских садах, яслях — вообще в массовом строительстве. Нельзя ли палатку сделать многоэтажной?..

## ВИСЯЧИЙ ДОМ

Вот уже несколько лет как я увлечен идеей такого дома. Идея эта — логическое следствие появления сверхпрочных и легких строительных материалов.

Трудно дать сейчас представление о «висячем» доме, не имея возможности показать чертежи, поэтому я адресую любознательных читателей к журналу «Архитектура СССР» № 12 за прошлый год, где изображены различные варианты моей конструкции.

А схема такова. Редко поставленные опоры, на каждую квартиру по одной. Это полые железобетонные трубы, внутри которых помещены стояки — канализационные, водопроводные, для отопления, мусоропровода, газа и так далее. Трубы эти — почти единственные элементы, работающие здесь на сжатие. На них с помощью тросов (или сетки) повешены междуэтажные перекрытия, образующие четыре-пять этажей. Вместо

стен висят тепло- и звукоизолирующие материалы, по своему принципу напоминающие одеяло, которое можно повесить, но нельзя поставить. На фасаде поверх утеплителя висит водонепроницаемая пленка, это как бы плащ от дождя. «Одеяло» и пленка привозятся на стройку в виде свернутых рулонов, что значительно облегчает их транспортировку. (Материалы будущего — рулонные материалы.)

Это одна из возможных схем «висячего» дома. Конечно, приведенное здесь описание весьма приблизительно, заранее это оговариваю.

Здесь все висит. Висят стены, висят перегородки, висят окна, висит перекрытие, висят балконы. А раз конструкция висит, то она работает только на растяжение. Это и позволит всем конструкциям «висячего» дома стать предельно тонкими: теперь они могут быть изготовлены, скажем, из тончайших пленок и сеток, сделанных из стеклянных или нейлоновых нитей. Напомним, что стеклянная нить толщиной в миллиметр способна выдержать вес пятерых человек, на три нити можно подвесить грузовик. Стекло не подвержено коррозии, это тоже огромное преимущество такого материала.

— Страшно жить в доме, висящем на нитях. Нити оборвутся, и дом рухнет, — такова первая реакция на это предложение.

— Не пугайтесь, — обычно отвечаю. — Нити образуют сетку, подобно рыбацкой. Она отличается исключительной прочностью, выдерживает несколько тонн рыбы, а недавно, где-то я читал, ею поймали даже кита. Тонкими тенетами ловят львов.

Здесь прочность обусловлена не столько качеством материала, из которого выработаны нити, сколько тем, что нагрузка равномерно распределяется на всю сеть, что и придает ей такую надежность. В этом все дело. При обрыве в одном месте нагрузка моментально передается на другие нити, конструкция не разрушится; в отличие от обычных конструкций катастрофы в этом случае не произойдет.

Сеть располагается снаружи фасада. Здание «висит» в этой сетке. Ее можно ткать, подобно тому как ткут кружево. Получим конструкцию без сварки, склепки. Фасад будет одет как бы в кружево.

Здесь нет и дорогостоящего фундамента, он закладывается лишь под опорами, поставленными на довольно большом расстоянии друг от друга. Земляные работы сведены к минимуму. Конструкция отличается большой гибкостью. Перекос здания не вызывает ее разрушения, так как стены и перекрытия не имеют жестких соединений — они свободно висят на тросах. Такое здание не боится землетрясений.

Все это означает, что можно совершенно по-новому решать планировку жилого дома и квартала. Вот как это могло бы выглядеть, допустим, в одном из южных районов нашей страны. Поставленные близко друг к другу дома-соседи. Между ними висят два коридора, они расположены на разных уровнях с таким расчетом, чтобы по широкому пандусу (это наклонная плоскость, устраиваемая вместо лестницы) можно было входить в квартиру. В торце находится лестничная клетка. Все это висит. Сетка увита подзучей зеленью. Висящий коридор — это как бы лесная дорога, а пандусы — лесные тропинки, ведущие в квартиру. Такие «дорожки» могут обслуживать несколько домов, быть тупиковыми или транзитными, образуя висящие улицы.

Этот вариант пригоден и для средней полосы нашей страны. Более солидное перекрытие между соседними домами, тоже подвесное, предназначено для небольшого клуба, кинотеатра, кафе или столовой.

Я не настаиваю на том, что дома недалекого будущего окажутся именно такими. Но бесспорно одно: новые конструкции, использующие новые строительные материалы, неизбежно будут порождать и новые планировочные структуры. Сегодня это еще может показаться фантастическим, но пройдет не столь уж много времени, и прочность стали под действием облучения нейтронами увеличится в сто раз; необычайно прочный титан получит повсеместное распространение; строительные материалы из пластмасс станут «легче воздуха». Вот тогда висячий город с висячими садами и висячими улицами окажется реальностью.

Но проблемы индустриального строительства заключаются не только в развитии прогрессивных конструкций, создании сверхпрочных и наилегчайших строительных материалов. Суть и в принципиально новых методах их производства. Тут надо предоставить слово и такому герою архитектуры, как стандарт.

## СТАНДАРТ

Возьмите наугад любую вещь — она стандартна. Вот авторучка, которой пишутся эти строки.— это стандарт; бумага — стандарт; чернила тоже стандарт.

Оглянитесь вокруг. Комната наполнена вещами. Мебель, телевизор, радиоприемник, электрическая лампочка — все это стандарты. Да и сам дом тоже.

У подъезда стоит множество машин: «Москвич», «Победа», «Волга»—и это продукт массового производства. С приглушенным шумом проходит стандартный трамвай. Шелестит стандартный автобус. С грохотом, напоминающим пушечный выстрел, пронесся стандартный мотоцикл.

По улице идут люди. На многих из них одинакового фасона плащи, шляпы, в руках стандартные сумки и портфели... Мир наполнен стандартами. Однако от этого сам он не стал стандартным. И это очень важно понять.

Стандарт прочно вошел в нашу жизнь. Настолько прочно, что порой мы его уже не замечаем, подобно тому, как не замечаем окружающий нас воздух. Сегодня стандарт необходим, без него не обойдешься. Исчезни он из нашего быта, с ним исчезнет массовое машинное производство, мы окажемся голодными и раздетыми.

Будь дан мне талант поэта, я воспел бы современный стандарт в звонких строфах, полных любви и благодарности. Я представил бы его в виде доброго гения, обладающего чудодейственной способностью — дорогую вещь сделать дешевой. Подобно тому как греческий царь Мидас, если верить легенде, одним своим прикосновением превращал любую вещь в золотую, так и стандарт обладает свойством уникальное изделие превращать в массовое, общедоступное. Это больше, чем золото.

Но часто своенравен и капризен этот добрый гений. Стоит нарушить какие-то, пока нам еще мало известные законы и правила, как стандарт наказывает нас, делая вещи унылыми и убийственно однообразными. И если мы хотим и впредь пользоваться его благами, то должны хорошенько понять присущие стандарту особенности.

Это не все. Жизнь выдвигает новую, еще более сложную проблему — создание единых международных стандартов.

Вспомним, что было не так давно. Человечество интересовала проблема, которая сейчас кажется анахронизмом: чем измерять предметы? В дореволюционном справочнике для строителей можно найти до сотни различных футов, сорок с лишним различных миль, сто двадцать всякого рода фунтов и так далее. Имелись, например, футы: рабочий, десятичный, двадцатичный, землемерный, ткацкий, портняжный, старый, новый, архитектурный, инженерный, геометрический, математический. Фунты: большой, малый, старый, новый, обыкновенный, казенный, монетный, торговый, городской, горный, нюрнбергский, артиллерийский, медицинский, аптекарский, метрический; фунт для мяса, фунт для железа. Поэтому говядина отвешивалась одними гилями, а гвозди — другими.

Если мы заглянем в глубь истории, то картина окажется еще более удивительной. В средневековье подчас каждый город имел свои единицы измерения. Крупный земледелец был вправе иметь собственные меры. И только вмешательство Французской революции положило конец этому дикому многообразию систем измерения. Была создана метрическая система, получившая почти повсеместное признание.

Но здесь решалась относительно скромная задача — чем измерить предметы, и только. Сейчас нужна единая система международных стандартов. Это куда грандиознее и много сложнее, чем в свое время сделала комиссия ученых, назначенных французским революционным правительством, с участием великого Лапласа.

Не так давно в Москве состоялось совещание экспертов СССР и стран народной демократии, посвященное этой проблеме.

Однако, прежде чем продолжить разговор на эту тему, побываем на одном чудесном заводе.

### «КОСМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Во все времена и эпохи человек обращался к природе, стремясь постичь ее тайны и извлечь из этого для себя прямую пользу. Для него природа — огромная книга, наполненная потрясающим содержанием. И хотя в этой книге много еще непонятных мест, да и написана она загадочными иероглифами, но постепенно, страница за страницей, раскрывается истинный ее смысл. Заглянем и мы в эту книгу.

Мир представится нам в виде огромного космического завода, непрерывно производящего изделия серийного производства. Что только не поставляет он в массовом порядке! Тут пчелы, муравьи, бабочки, березы, сосны, молекулы и атомы... И все это исключительно в виде «серий» массового производства — «серия» животных, «серия» насекомых, растений и так далее. Не было еще случая, чтобы этот завод выпустил в свет уникальные изделия, не имеющие ничего общего с другими, подобными ему особями. Только массовое, серийное производство!

Физик Джордж Томсон, лауреат Нобелевской премии, утверждает: «Массовое производство, осуществляемое природой, представляет собой глубочайшую из научных истин». Излагая принципы, лежащие в основе Вселенной, изменить которые не в состоянии ни одно открытие, он наряду с законом сохранения массы и энергии и другими вечными законами указывает на принцип «массового производства», свойственный миру.

Но вот что удивительно: несмотря на массовое производство, каждое изделие «космического завода» индивидуально. Каждая овца в стаде, как бы она ни была похожа на своих собратьев, индивидуальна.

Однако эта индивидуализация находится всегда в пределах определенного типа, в пределах серии (овцы, муравьи).

Как же организован этот «космический завод», на фабричной марке которого стоит: «Природа»?

Выражаясь языком современной техники, вся продукция Вселенной состоит из ста двух известных нам сегодня «стандартов»-элементов. Земная же кора и окружающая ее атмосфера в основном состоят всего из дюжины элементов. Эти элементы, взаимно сочетаясь, создают молекулы веществ, количество которых бесконечно — сегодня химии известно более полумиллиона разных веществ.

Что же обеспечивает такое бесконечное разнообразие «изделий» из предельно малого количества разновидностей «стандартов» и элементов?

Во-первых, они соединяются друг с другом не как-нибудь случайно и хаотично, а по определенной, строгой системе. Во-вторых, сочетаясь друг с другом, эти элементы производят на свет новые, качественно отличные вещества. Условно назовем это принципом вариантных превращений.

При отсутствии принципа вариантных превращений мир со свойственным ему бесконечным многообразием веществ не мог бы существовать в своем настоящем виде. Вселенная сочетает в себе прямо-таки противоположные особенности: на одном полюсе — жесткое ограничение элементов, на другом — бесконечное многообразие веществ; в одном случае — обезличенность «стандартов», в другом — индивидуализация «изделий». И еще одно. Творения природы красивы и поэтичны. Здесь все построено не только по законам целесообразности, но и по законам красоты.

Теперь вернемся к современной архитектуре.

В условиях штучного, уникального строительства элементы здания — окна, двери, лестницы — индивидуальны, они имеют различную форму и размеры. В условиях же индустриальной архитектуры элементы здания связаны единой системой. Так, размеры стандартных окон меняются через определенную величину, называемую модулем. То же самое относится к стандарту дверей, балконов, блоков и так далее. Стандартные дома, которые вчера были сугубо индивидуальны и неповторимы, сегодня входят в серию. А серия — это уже система.



Итак, стандарт — это элемент системы.

Но, к сожалению, в наших стандартах часто отсутствует принцип вариантных превращений, о котором только что говорилось.

Мы знаем, в природе существуют химические соединения и механические смеси. Стлчаются они тем, что в первом случае сочетание элементов порождает новое вещество (новое качество), например: кислород + водород = вода; а во втором — основные свойства компонентов остаются неизменными. В первом случае имеет место «принцип вариантных превращений», а во втором он отсутствует. Вся беда в том, что наши стандарты чаще всего обеспечивают лишь «механическую смесь», а не «химическое соединение».

Что это значит? Поясню на конкретных примерах. Типовая жилая секция — лестничная клетка с двумя-тремя квартирами в каждом этаже — основа нашей стандартизации в жилом строительстве. Соединяя несколько секций по горизонтали и вертикали, получаем серию домов различной этажности и протяженности. Но меняется количество секций и этажность, качество же дома остается неизменным (квартиры одинаковы).

Еще пример. Мы начали строить жилые дома из объемнопространных элементов. Каждая комната (или несколько) — это как бы гигантский строительный кирпич, из них и монтируется здание. Вот проект жилого дома из объемных элементов, разработанный Специальным архитектурно-конструкторским бюро Мосгорисполкома (САКБ). Проект неплохой, но метод стандартизации принципиально неверен. Имеется три стандартных объемных элемента — основных, — включающих в себя: две комнаты (А), комнату и санитарно-кухонный узел (Б), санитарно-кухонный узел и лестничную клетку (В). Но из этих трех стандартов можно получить одну-единственную жилую секцию. Три «буквы» можно поставить только по порядку (А, Б, В), причем переставить их уже невозможно.

А вот предложение архитектора Б. Т. Макарычева. Пять стандартных объемных блоков (А, Б, В, Г, Д). Из них можно смонтировать: квартиры с любым составом комнат, создать секционные, коридорные, галерейные дома с квартирами в одном и двух уровнях, дома-секции, гостиницы, общежития. Здесь из пяти «букв» можно складывать разные «слова» и «фразы». И каждый раз возникает новое качество — новая планировка. Это уже не «механические смеси», а «химические соединения». В данном случае наличествует принцип вариантных превращений, а в первом проекте его нет.

Но не будем вникать в детали обоих проектов. Сейчас мы ведем разговор только о методе.

В последнее время в печати все чаще появляются различные предложения по строительству, основанные на этом принципе. Здесь и вариантные квартиры, в которых путем перемещения перегородок можно получить разнообразную планировку — в две, три и даже в четыре комнаты; и так называемая «секционная мебель», позволяющая из ограниченного количества стандартов — секций — создать разнообразную мебель. Разные стандарты, сочетаясь друг с другом, вызывают к жизни новую вещь, не похожую на то, из чего они созданы. Из стандартных элементов создается нестандартное целое. К сожалению, идеи вариантной архитектуры еще не получили широкого распространения и лишь в последнее время понемногу начинают привлекать внимание некоторых наших проектных и научно-исследовательских институтов.

Вариантные стандарты — вот идеал, к которому мы должны стремиться. Жизненной может быть только система стандартов, обладающая свойством вариантности. Именно в этом заключается средство против того однообразия, которое часто несет с собой современный стандарт.

Настало время приступить к научной разработке теории вариантных стандартов. Здесь следует вскрыть те закономерности, которые из весьма ограниченного количества типов стандартов обеспечивают возможность создания множества разнообразных решений. Необходимо, чтобы требование вариантности входило в наши строительные нормы и правила. Невариантный стандарт пусть означает — плохой стандарт.

## МЕХАНИЗМ И ОРГАНИЗМ

Механизм и организм! В чем принципиальная разница между ними в смысле формы, композиций?

Если мы разберем какой-либо механизм, например, пишущую машинку, то получим грудку стандартных болтов, гаек, зубчатых колес и других деталей. Их формы и пропорции имеют мало общего с формой и пропорциями целого — пишущей машинки.

Иначе построены живые организмы. Здесь часть повторяет формы и пропорции целого. Большое повторяется в малом. Красота человека «заключается в соразмерности пальца с пальцем, всех пальцев с кистью и кистью и этих последних с локтем, локтя с рукой и всех вообще частей со всем», — так когда-то писал знаменитый римский врач Клавдий Гален, живший во II веке.

В живом организме заключена уже не механическая, а органическая связь. Это более высокая и совершенная связь, построенная на гармонии частей и целого. Ей и объясняя своим существованием красота в природе.

Подобно живой природе, прекрасное произведение архитектуры всегда органично. «Здание есть как бы живое существо, создавая которое следует подражать природе», — говорил Леон Баттиста Альберти, ученый, архитектор, писатель и музыкант, один из крупнейших гуманистов эпохи Возрождения.

Имеющаяся сейчас система стандартов — это только лишь следствие конструктивно-функциональных требований. Она обеспечивает механическое, а не органическое соединение стандартов. В результате архитектор вынужден компоновать здание из стандартов, подчас некрасивых по своим пропорциям и не связанных между собой какими-либо гармоническими соотношениями.

Принято считать, что красивые пропорции — наиболее действенное средство создания красивой архитектуры. И это в принципе правильно. Пропорции в архитектуре — это как бы ее внутренняя красота, она невидима непосредственно, но всегда ощутима, подобно красоте духовной.

Но странная ирония судьбы: сегодня, когда наша архитектура стала предельно простой и лаконичной и, следовательно, роль пропорций намного возросла, мы перестали заниматься ими. Я думаю, это произошло вот почему. Раньше, при кустарных методах труда, архитектор проектировал любую высоту помещения, любой размер окон, дверей и простенков и тем самым волен был придавать зданию и его частям те или иные пропорции. Теперь же высота здания — это наперед заданная величина, размеры окон и дверей, величина простенков подчинены стандарту (стандартный блок, стандартная панель). Стандарт убил красивые пропорции.

Несколько лет назад зодчий выходил из такого положения просто: на эту, навязанную ему стандартом, сетку окон и простенков он накладывал архитектурную декорацию (из колонн, пилястр, декоративных арок) и в пределах этой декорации часто находил красивые пропорции. Но сегодня архитектор уже не украшатель, и вопрос о пропорциях как бы повис в воздухе.

Мы сделаем большую ошибку, если подменим проблему красоты проблемой многообразия. Допустим, все стандарты окажутся абсолютно разными, все равно это не придаст им красоты.

Органическая связь частей и целого — одна из отличительных особенностей искусства вообще и архитектуры в особенности. Напомню случай, когда лишь по единственной найденной детали (триглифу) американский ученый Динсмур сумел реконструировать весь древнегреческий храм. Советский ученый В. Д. Блаватский при раскопках Пантикапеи нашел кусок архитрава и тоже реконструировал все здание целиком. Конечно, они смогли это сделать потому, что уже знали целый ряд подобных сооружений; потому что в лучших памятниках архитектуры каждый каменный блок, каждая архитектурная деталь увязаны гармоническими пропорциями со всем целым. Эта гармония и придает сооружениям определенную органичность.

Можно ли создать стандарты, основываясь на их органической, а не механической связи? Можно ли с помощью стандарта получить гармоническое целое? Да, можно.

Стандартные окна, двери, панели, балконы, облицовочные плиты и прочие элементы зданий должны быть связаны единой архитектурной системой, в частности системой пропорций. Они должны органически сочетаться друг с другом. Различные их комбинации дадут новые архитектурные варианты.

Монтируя здание, строители смогут «складывать» его из красивых элементов, каждый из которых достоин самостоятельного рассмотрения. Архитектурное целое будет органическим, а не механическим соединением красивых «вещей», имеющих одну и ту же гармоническую основу. Следовательно, красота индустриальной архитектуры зависит от такой системы стандартов, которая несет в себе не только функциональное, но гармоническое, художественное начало.

### «МУЗЫКА» АРХИТЕКТУРЫ

Поэт назвал архитектуру «застывшей музыкой». В музыке движутся звуки, меняя свой тембр, свою окраску, убывая и нарастая. Архитектура — это тоже движение. Стремительно взлетают вверх тонкие колонны, своды в готическом храме; внутренним движением, мощным и спокойным, пронизаны колонны храма в Пестуме.

Проходят века, а движение, заключенное в неподвижности каменных конструкций, остается. Неподвижное движение! Архитектура несет в себе величайший парадокс — движение, застывшее в вечном покое.

Советские зодчие стремятся создать прекрасную музыку архитектуры, но такую, которая была бы выражена с помощью стандарта. Задача необычайной сложности.

Я буду импровизировать. Два жилых дома. Два стандарта. Ими застраивается микрорайон. Один — четырехэтажный, длинный, горизонтальный, с обычными квартирами, предназначенными для многосемейных; другой — высокий, десятиэтажный, квадратный в плане, напоминающий башню, он предназначен для одиноких и малосемейных. Это так называемый башенный дом. В распоряжении зодчего имеется два типа домов: горизонталь (секционный дом) и вертикаль (башенный дом).

Горизонталь и вертикаль! Это контраст, а контраст — сильнейшее средство композиции. Горизонтальный дом более спокоен, менее активен. Он легко сливается с окружением. Не таков вертикальный дом, напоминающий башню. Он энергично утверждает свое существование и смело противопоставляет себя окружающему. Он имеет иное звучание — звучание вертикали. Если горизонталь можно сравнить с пиано, то вертикаль — с форте; если горизонталь — это минор, то вертикаль — мажор. Чередуя горизонтальный дом с вертикальным (если это, конечно, функционально оправдано), получим одну композицию. Сопоставляя два вертикальных дома с горизонтальным, будем иметь нечто совсем иное. Здания башенного типа, собранные вместе в центре квартала, будут «звучать» так, как звучат фанфары в оркестре, — громко и торжественно.

Но это еще не все. Дома строятся из крупных блоков (или панелей), горизонтальных и вертикальных. Первые расположены над окнами и образуют сплошную горизонтальную полосу, а вторые помешаются между окнами. Теперь проделаем следующее: облицуем горизонтальные блоки белым морблитом, серым и черным. Это будет не просто три варианта цветового решения блоков, это будет уже система, цветовая гамма, построенная на закономерном нарастании, — белое, серое, черное.

Представим себе микрорайон, застроенный такими домами. Мы идем по одной из улиц, ведущей в центр. Торцами к улице стоят крупноблочные дома. Они белые, матовые. Горизонтальные блоки тоже белые, но облицованы морблитом. Белые блестящие полосы морблита. Они мягко подчеркивают разное назначение блоков и тем самым выявляют тектонику стены. Между «строчками» домов справа видна школа, слева — детский сад.

Строй домов прерывается зеленым сквером. Посредине высится башенный дом. Здесь расселены малосемейные и одиночки. В первом этаже, сплошь застекленном, расположен кафетерий и магазин полуфабрикатов. Это вертикаль. Это мажор.

Двинемся дальше. Опять секционные дома. Однако белые горизонтальные блоки

стали серыми. Горизонталь зазвучала энергичнее, но в пределах той же конструктивной структуры.

Снова зеленый сквер, на этот раз он большего размера. На нем стоят три башенных дома. Три мощные вертикали, три мощных аккорда. В плане дома образуют треугольник. Первые этажи объединены воедино; в них столовая, библиотека, читальня, красный уголок.

А вот теперь мы видим дома, построенные из крупных блоков, однако горизонтальные блоки из серых стали черными. Блестящие черные полосы морблита, посередине пропущена золотая керамическая «нитка» Горизонталь звучит еще определеннее, еще энергичнее.

Мы пришли в центр микрорайона. Озеро. Вокруг него башенные дома. Симфония вертикалей! Центр — это парк, в зелени которого расположены общественные здания: клуб, кино, универсам, почта...

В этой застройке, которую я здесь описал, есть движение, есть развитие. Здесь стандарт начинает выступать в новом качестве. Он не только разнообразен, не только красив, но и способствует возникновению ансамбля. Это не просто выставка красивых фасадов, это уже одна из возможностей создания архитектуры, которую мы могли бы назвать звучащей, а не застывшей музыкой. Архитектура, созданная с помощью стандарта.

...Я закрываю глаза, и передо мной встает архитектура будущего. Ее очертания неясны и расплывчаты. Но кое-что можно увидеть более или менее четко.

Бросается в глаза новая конструкция зданий. Она работает в основном на растяжение, а не на сжатие, как раньше. Здесь висят стены, висят перегородки. Они легкие, гибкие, прозрачные, тепло- и звукопроницаемые. Их можно убрать и вновь повесить. В хорошую погоду стены поднимаются, солнце и свежий воздух наполняют комнату, весь дом. Сыро и холодно — стена опускается. Можно опустить только часть стены — получим открытое окно, причем любых размеров и в любом месте. В сильный холод подвешивается еще и вторая стена.

Стоит нажать кнопку — и перегородка взлетает вверх, подобно шторе. Несколько комнат превращаются в одно большое помещение (пришли гости). Опустите две перегородки — и вот вам изолированная комната. Опускаете еще одну «штору» — вторая комната...

Я смотрю на эту архитектуру и вспоминаю лилию. Утро. Лилия раскрывает свои объятия солнцу, ее лепестки развернуты. Солнце движется, и за ним поворачивается цветок. Кончается день, солнце скрылось — и лепестки лилии начинают медленно свертываться, образуя теплое укрытие.

Человек всегда пытался сделать свою архитектуру органичной. Он стремился строить жилища, города по законам живой природы. Это стремление нашло свое выражение и в египетской колонне, и в античном ордере, и в готическом храме.

Но в руках строителя был только мертвый, инертный материал. И конструкция здания, естественно, подчинялась законам этой мертвой природы. Оно было неподвижно и неизменно, подобно каменной глыбе или скале.

И лишь только теперь, когда люди научились создавать совершенно новые строительные материалы и принципиально иные конструкции, с появлением вариантных стандартов, возникла вполне реальная возможность сделать нашу архитектуру подвижной, подобно живому существу, которое легко и просто приспосабливается к меняющимся условиям. Архитектура становится органичной не только по форме, но и по существу.



---

---

И. ЗЫКОВ

★

## ЗЕЛЕНый ПОЯС

(Из книги о лесах) \*

### ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

**Б**ыло время, когда участь подмосковных лесов казалась мне плачевной. За последние двадцать — двадцать пять лет я был свидетелем того, как парки и леса в самой Москве и ее окрестностях топчутся, портятся, изреживаются, отравляются дымом, умирают. Мне не раз приводилось писать об этом. Я составлял скорбный список распавшихся и погибших зеленых массивов.

Все это было верно. Распад древостоев — факт.

Но я в ту пору не сумел правильно осмыслить факты. Мне не хватало лесоводственной грамотности — считаю обязанным чистосердечно в этом сознаться. Смотрел я на вещи по-обывательски. Мне казалось, что леса и парки погибли навсегда и безвозвратно.

И тут я ошибался. Прошли года, и все оказалось не так, как я ожидал.

Вот примеры.

Началось с Сокольников. Это очень знаменитый издавна зеленый массив. В старом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона читаем: «Сокольники — вековой сосновый бор, примыкающий к городу Москве с северо-восточной стороны. Значительная часть бора разделана под парк, окруженный массою дач. Сокольники с XV века были заповедной рошей для сокольных царских охот; любимым местом гулянья для москвичей они сделались со времен Петра Великого».

Вполне понятно: раз цари переселились в Петербург — охоты прекратились, и отпала причина отгонять народ от прекрасного бора.

Я еще застал Сокольники в полной силе. Там не было ни одной сосны, которая появилась бы на свет позже времен Петра Первого. Можете представить, какие могучие стояли великаны в густых зеленых шапках. Гордые они такие были, красивые. Ведь и седина может украшать старика.

Сосны на закате жизни выглядели великолепно. И вот почему. У растущих деревьев верхинки тянутся вверх и всегда бывают острыми. А у сосен, остановившихся в росте, нет уже острых верхушек. Некуда больше им стремиться, дошли они до предела; ветки раскидываются вширь, и кроны становятся кудрявыми. С точки зрения биологической, эти кудри — признак угасающей жизнедеятельности, а для глаза приятно.

Но быстро тускнеют роскошные краски заката, и наступает неизбежная ночь. Никого не щадит тяжелая рука времени. Сосны, вступившие в третье столетие своего существования, начали умирать. А с тридцатых годов, когда крепко сгустился над Москвой индустриальный дым, стали поспешать друг за дружкой. Последние скончались лет двадцать пять назад, и даже пней от них теперь не осталось.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

Дольше продержались березы да дубы. Те были помоложе. Но и они начали распадаться, как их ни лечили. А молодой смены не было. Оголились удручающие взор лустыри. Я зашел в Сокольники после войны, в 1946 году, и закаялся больше туда ездить. Какая же радость глядеть на унылые плешины да на изреженный больной суховершинник с почерневшими голыми сучьями? Тяжелое зрелище!

Только справа от Сокольников — в прежней Оленьей роще — да немного подальше, на Ширяевом поле, стоят изреженные сосны. Они совсем еще не стары — до ста не дотянули, но уже суховершинят. А вековой Сокольниковый бор весь погиб.

Я занес Сокольники в скорбный список «поминовения за упокой», и никогда в мою голову не приходила мысль, что они могут возродиться. Думалось, все погибшее невозстановимо.

Я считал Сокольники кладбищем былого великолепия и, возможно, никогда больше не попал бы туда. Если выпадал летом свободный день, я ехал в какое-либо лесное место получше: Рублево, Раздоры, Николо-Урюпино, в тамошние великолепные боры. Хорошо пройти пешком из Архангельского через Воронки до Опалихи; на этой дороге вы увидите интересную смену ландшафтов и не соскучитесь от однообразия. Да мало ли под Москвой очаровательных мест с молодыми лесами, с пригорками и овражками, с густыми чащами и с широкими перспективами, красиво сочетающими светлую ярь полей с темной зеленью перелесков! Неплохо, например, уехать на катере из Химок в Тишково, а оттуда пешком вокруг Учинского водохранилища выйти на Северную железную дорогу. Вообще разумнее совершать кольцевые маршруты: уехать из Москвы по одной дороге, возвратиться по другой. Наиболее приятные места с хорошими лесами лежат всегда между дорогами, а вдоль дорог они пообшарпаны.

Нет, в Сокольники я больше не собирался. Но в 1959 году там открылась Американская выставка. Я отправился поглазеть, попал в парк и ахнул от удивления: Сокольники стали изумительными. Посажено множество молодых деревьев. Сочетания разнообразны и красивы: лиственницы, березы, липы, каштаны, кедры. Всюду зелено и весело, а в последующие годы станет еще зеленее и веселее: деревья-то ведь год от году хорошеют. Долгая им теперь обеспечена жизнь. Мера времени у них крупнее, чем у человека. Несколько поколений людей увидит их зелеными, здоровыми, сильными. И так долго продлится пора расцвета, что люди, целое столетие глядя на их неизменную свежесть и силу, снова забудут о том, что деревья смертны, опять начнут думать, что, ежели не рубить, они могут стоять вечно.

Любимым москвичами и чрезвычайно оживленным местом была прежде сосновая роща, тянувшаяся от пруда в Кускове до Вешняков. Чего же лучше? И зелень и вода. И гулянье и купанье. Народу по выходным дням собиралась тьма тьмушая.

И не спешили возвращаться в Москву. Самый дорогой час в природе — предзакатный. В красных лучах низкого солнца всякий лес хорош, а лучше всех сосновый; уж очень ему к лицу солнечная краснота, легшая на стволы, и на алых столбах еще ярче выделяются тогда венчающие их зеленые шапки.

Ну а потом пришел черед — стал сосняк быстро распадаться, оголился пустырь, а уцелевшие деревья разбрелись по нему на полкилометра друг от друга.

Во время войны вода прососала плотину, и пруд вытек. Обсохло серое глинистое дно.

Совсем испортилась местность: ни воды, ни зелени. Перестал туда народ ездить. Я записал Кусковскую рощу в разряд навсегда погибших и тоже не бывал там лет пятнадцать.

В позапрошлом году понадобилось мне побывать в Кусковском музее. Приехал, гляжу — пруд налит до краев, вода сверкает, рябь от ветра ложится синими полосами. Все честь честью. И не похоже, чтобы за прудом был пустырь; что-то там зеленеется.

Пошел поглядеть — всюду посажен молодняк.

Пришлось вычеркнуть Кусковскую рощу из списка погибших. Сделал я это, конечно, с радостью.

Так же пришлось поступить с Нескучным садом в Москве: вписать, потом вычеркнуть.

И распавшийся, вырубленный, всеми горько оплаканный Лосиный Остров.

Я считаю его состояние в настоящий момент настолько хорошим, что этот самый большой и самый малолюдный из всех вплотную примыкающих к Москве лесных массивов стал сейчас для меня и моих друзей любимым местом прогулок.

Тому, кто ухмыльнется, услышав такое заявление, предлагаю не пощадить ног и поглядеть.

Грустить о былом богатстве этого знаменитого в прошлом массива так же бесполезно, как о прошлогоднем снеге. Было да прошло.

Но возвращается! Искусственные посадки сделаны только на окраинах, в глубине сажать не приходится: там из земли прет в неисчислимом количестве «младое племя» — березки, дубки, липки, сосенки. В будущем разрастется хороший смешанный лес. Говорят, что в смешанном насаждении молодые сосны будут устойчивы, да и дыма становится вроде поменьше: не ходят по железным дорогам дымящие паровозы, заводы переведены на газ и на электроэнергию.

Хочется, чтобы Лосиный Остров остался таким же малолюдным хотя бы еще лет пять, а лучше десять, и тогда окрепшему молодняку сам черт не будет страшен.

С беспокойством смотрю на строящуюся в Лосином Острове целую кучку школ-интернатов. Уж очень озорной поселяется народец. Ломают у молодых сосенок верхушки, даже разжигают в лесу костры. Несмышлениши! Могут спалить весь лес. Надо с этим как-то бороться.

По законам Петра Первого за разжигание костра в лесу полагался кнут, а если костер служил причиной пожара — смертная казнь.

Нам такие строгие наказания не к лицу, но бороться надо. Воспитатели и пионервожатые должны понять, что нет ничего глупее, безобразнее и опаснее, чем игра с огнем. «Пионерские костры» надо строго-настрого запретить, а песню «Взвейтесь кострами, синие ночи!» — накрепко забыть. Найдите менее опасные забавы! А то ведь у ребятишек сложилась привычка: как попадут в руки спички да встретится что-либо горячее — сейчас же зажигать.

В послевоенные годы меня ужасно тяготило плохое состояние лесов вдоль Северной железной дороги.

Что такое Северная дорога? Из всех «хвостов», приросших к столице, это самый большой, плотный и густо населенный. Когда-то стояли вдоль дороги отдельные дачные поселки, а потом слились в сплошную полосу с крошечными кое-где интервальныхками, и появился невообразимо длинный поселок, растянувшийся от Москвы до Софрина и даже до самого Загорска.

Ясно, что леса здесь подверглись наибольшему перерождению. Ведь вон сколько лет стоят между соснами дома. Еще с прошлого века. Деревья отмирают, изреживаются, а пополнения-то нет. Едешь, бывало, и смотришь из окна электрички на пустыри да редины.

Подальше Пушкина настолько был изрежен в одном месте дрезостой, что сквозь стволы виднелся горизонт. Осталось, вероятно, по одной сосне на каждом гектаре. Зато пней было много. Глаза бы на это дело не глядели!

Да я и перестал глядеть. Просто-напросто не стал ездить без крайней необходимости с Ярославского вокзала.

В позапрошлом году, возвращаясь поездом из Архангельска, я взглянул в окно на последнем перегоне от Загорска к Москве и заметил на пустырях зеленые шарички молодняка.

Захотелось поглядеть не из окна поезда, а поближе. Вскоре я за несколько приемов прошел по обе стороны железнодорожной линии от Пушкина до Абрамцева и внимательно пригляделся. Будущее подмосковных лесов вырисовалось совсем не в мрачном тоне. Восстановлением древостоев занимаются крепкие и умелые руки. Осматривая участки с молодыми сосенками и елочками, я задавал сам себе вопросы: можно ли сдвигать иначе, можно ли посадить больше, лучше? И приходилось отвечать: нельзя! Всяду, где можно посадить лес, он посажен. А больше и сажать негде.

Огромная работа, проделанная лесоводами, мало заметна из окна поезда. Чтобы ее увидеть и оценить, надо именно походить пешком.

Вот, например, проезжая мимо станций Правда и Зеленоградская, мы не подозреваем, что к западу от дороги, за старым еловым лесом, находится широчайшее пространство превосходных десятилетних и пятнадцатилетних посадок сосны, ели и лиственницы в самых разнообразных сочетаниях с другими древесными породами. Сюда никогда не заносится никакой дым, и здесь выгоднее разводить хвойные породы.

А был период, когда я шибко впал в панику и готовился похоронить все леса Московской области оптом. Сильно я тогда струсил и побаивался, что придется поставить крест вообще на всех лесах Европейской России. У страха, как говорится, глаза велики.

В пятидесятых годах в лесах юга и юго-востока размножился непарный шелкопряд. Сильным ветром его занесло и к соседям. В 1957 году прожорливый вредитель появился в Московской области. Первыми пострадали юго-восточные районы, расположенные за Окой. А там и лесов-то мало, поэтому внезапное нашествие непрошенных гостей было особенно заметно.

В Зарайском районе я вошел в дубовую рощицу и был изумлен громким шумом крупного и частого дождя. На небе ни облачка, ярко светит солнце, неоткуда быть ливню, но дробно и часто стучат по листьям и по земле капли: кап-кап, чок-чок.

В чем дело? А вот в чем. На дубовых ветках ползало множество волосатых гусениц величиной с папиросу. Они, эти твари, одержимы претензиями на украшения и нарядность. Вдоль всей спины идут парами яркоцветные бородавки: на передней половине тела — пять пар синих, на задней — шесть пар красных. И вот эти пестро раскрашенные шеголихи непрерывно грызут листья и так же непрерывно извергают из себя комочки переваренной пищи. Падая дождем, они издают звуки чоканья капель.

Неприятно ходить под такими деревьями. Унизительно для человека: как-никак венец творения и властелин Земли, и вдруг какие-то паршивые червяки посыпают тебя сверху дрянью, которую и называть-то неприлично, ну, мягко выражаясь, своим навозом.

Через несколько дней роща стояла совсем голая.

Погибнут ли объединенные дубки? После одного раза уцелеют, хотя жизнеспособность на время ослабится. Но если гусеницы обгрызут листья и в последующие годы, тогда деревья, конечно, засохнут. А именно такую программу и затевают прожорливые вредители.

Прикончив дубовые листья, гусеницы окуклились, а недели через две из них вылетели бабочки — крупные белокрылые самки и маленькие коричнево-серые самцы. За эту непохожесть самцов и самок шелкопряд и получил название непарного.

На нижней части стволов той же объединенной рощицы, почти у самой земли, бабочки начали откладывать кучки яичек. На одном дубе мы насчитали сто восемь кучек, и в каждой было до полутысячи яиц. Вот что готовилось к будущему году. Яички переносят зиму; весной из них выводятся гусеницы.

Боролись. Из могоров автомашин взяли отработанное и загрязненное масло. Лесник и его помощники — школьники — всю осень ходили с ведерками и кистями, обмазывали каждую замеченную кучку.

И все же в 1958 году шелкопряда стало больше. В больших лесах разве осмотришь каждое дерево, увидишь каждую кладку?

Все процессы в природе развиваются диалектически. Шелкопряды разных мастей давно бы сожрали все деревья на земном шаре, если бы у них не было врагов. Одновременно с размножением шелкопряда размножаются его враги: паразиты, болезнетворные бактерии. Через несколько лет они одолевают шелкопряда, и каждая вспышка угасает естественным путем. Большую роль играют также резкие перемены погоды.

Но, конечно, каждая вспышка наносит урон лесам. В Сибири, где на тысячи километров простирается неисхоженная и неизмеренная тайга, живущая без надзора, сибирский хвоегрызущий шелкопряд — близкий родственник непарному — с 1950 до 1956 года уничтожил восемь миллионов гектаров кедра, пихты, сосны и ели. Вспышка



прекратилась от непрерывных дождей в 1956 году. Бабочки с намокшими крыльями не могли летать, спариваться и откладывать яйца. Дождь прибил их к земле. Утонул, можно сказать, в то лето сибирский шелкопряд.

И вот не успели забыть сибирское бедствие, а оно началось и в Центральной России. Трудно было предвидеть, до каких размеров дойдет размножение вредителя, сколько времени продлится вспышка и какой принесет ущерб. Ну как тут не тревожиться? Я склонен был обвинять лесное начальство в беспечности и не слишком полагался на успокоительные заверения, что «потерь нет и не будет, все обойдется благополучно».

А ведь на самом деле все обошлось благополучно и без потерь.

В половине мая 1959 года самолеты опылили зараженные леса дустом «ДДТ».

Странное у нас отношение общественности к лесным делам. Публика ничему не верит и всем недовольна. До опыления возмущались:

— Почему не опыляют? Погибнут леса!

После опыления наперебой заговорили:

— И зачем опыляли? Напрасно истратили двенадцать миллионов рублей по одной только Московской области. Ведь все равно опыление не помогло, после опыления гусеницы оставались живыми. А сдох шелкопряд от мороза.

По этому поводу могу сказать следующее: после опыления гусеницы действительно оставались живыми, но грызть листья перестали. Очевидно, в их жизнедеятельности наступил какой-то перелом, а может быть, листья, посыпанные ядовитым порошком, казались невкусными.

После мороза, ударившего в двадцатых числах мая, гусеницы тоже остались живыми. Я набрал замерзших гусениц в папиросную коробку, и были они такие мерзлые, что потрясешь — стучат внутри, как орехи. А позже, в теплой комнате, оттаяли и, к моему неописуемому удивлению, зашевелились.

После спада мороза они оттаяли и на деревьях, тоже зашевелились, но листьев не грызли и умирали медленной смертью в холодную погоду, наступившую после заморозков.

Мне кажется, что этих живучих тварей погубила вся совокупность обрушившихся на них несчастий: опыление, заморозки, длительный холод. Трудно сказать, какое из несчастий оказалось наиболее тяжким и достаточно ли было какого-либо одного.

Во всяком случае, надо радоваться полной ликвидации вспышки. Нет больше шелкопряда. Это ли не радость?

Неприятен бывает ремонт квартиры, в которой живешь, если некуда на время работы выселиться, если все происходит на твоих глазах. Даже простая побелка потолка приносит много огорчений. А если что-либо более серьезное и долгое, ну, например, когда пол перебирают, стену рубят или чинят штукатурку на потолке, так это уж совсем мука. Передвигаешь свое ложе с места на место, спишь, живешь, ешь посреди мусора да мела и отчаиваешься: «Да кончится ли когда-либо это безобразие?»

Но ремонт необходим. И знаешь, что после него станет лучше.

Так же вот и в подмосковных лесах. Засыхающие деревья, редины, пни — все это только мусор капитального ремонта, происходящего на наших глазах. Не может же лес существовать без смены поколений.

И хоть истомно смотреть десятки лет на постепенно изреживающиеся древостой, нельзя сетовать на медленность ремонта.

На Тверском бульваре и в Александровском саду новые деревья взамен умерших подсаживаются быстро. Там производится индивидуальный уход за каждым деревом и наблюдается полное соответствие между рубкой и посадкой: то и другое ведется отдельными деревьями. На десятках тысяч гектаров пригородных лесов такой способ обошелся бы в баснословные, совершенно немыслимые суммы. Там приходится вести посадки не отдельными деревьями, а площадями и ждать пока местность достаточно оголится. А происходит это не быстро. Ведь деревья умирают не в одно время. Получается разрыв между способами рубки и способами восстановления: рубки производятся отдельными деревьями, посадки — площадями.

Ускорить могло бы только более энергичное хирургическое вмешательство: срубить сразу целые гектары и быстро засаживать. Тогда разрыв был бы ликвидирован. Но на такую меру в пригородных лесах и лесопарках не решаются. Сколько, например, времени продлится распад лесопарков в районе Балашихи? Лет двадцать, а может, и все тридцать. Стало быть, в конце столетия наши дети увидят там молодняк. Сами же мы не увидим.

### НАС ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ

Как легко перелезть через изгородь!

В Измайлове внутри загороженного квартала человек шесть или семь затеяли игру в мяч среди свежих посадок лиственницы и липы. Подкидывают, ловят, отшибают. Мячик вылетает за пределы круга играющих, падает, ударяется в одну липку, подскакивает, задевает другую. Он же безглазый. За ним стремглав, не разбирая пути, кидаются игроки. Слышен шум веток, летят сорванные листья.

Ах, как нехорошо, молодые люди! В загороженные кварталы и входить-то нельзя, не то что играть в мяч. Отсюда пять минут ходьбы до речки Серебрянки, и там много открытых полян, удобных для игры.

Каждая молодая липка куда важнее стоящих рядом высоких старых берез с гнилью. Тем веку осталось пять лет, у молодых липок впереди целое столетие.

Если так обращаться с посадками, никаких финансов не хватит.

В Кусковском парке, не в том свободном, без оград, что лежит за прудом и где люди привыкли чувствовать себя чересчур вольно, а в так называемом регулярном парке, расположенном на территории музея, обнесенном железными решетками, посаженном по типу Версальского, украшенном скульптурами и цветочными клумбами и требующем от посетителей строгой подтянутости, поставлено много диванов с удобными сиденьями и спинками, на которых так хорошо отдыхать. Но публика желает свободно пользоваться всеми благами природы и ложится рядом с диванами на одеяла.

В дальнем уголке я заметил среди молодых посадок группу молодежи человек в тридцать. Должно быть, экскурсия старших школьников или студентов техникума, и с ними пожилой руководитель с бородкой.

Я подошел и говорю:

— Ну, молодежь туда-сюда, она беспонятная, но тут сам предводитель на травку уселся! С бородой! Давит посадки! А потом начнет ханжествовать: гибнут у нас леса, стонут от топора, спасать надо леса! Да ваши зады злее любого топора!

Несколько девушек вскопили на ноги с готовностью покинуть облюбованное местечко, но предводитель не пожелал ронять свой авторитет в глазах питомцев. Он уселся еще плотнее, вытянул ноги и огрызнулся.

— Да вы просто очумели! Какие посадки? Кто их давит? Сидим мы на даровой самородной траве.

— А липки, к которым вы прислонились?

— Тоже какие-то самородные кустики. Сами выросли, никто не сажал.

Попытался я объяснить, что совершенно безразлично, сажал ли кто кустики или не сажал, но они одинаково дороги, потому что в них будущее парка. Ничего не добился, с места не согнал, зато всей компании крепко настроение испортил.

И очень много ломают веток, везут в Москву охапками. В начале лета привлекает свежий запах березы и липы, осенью обдирают больше кленовник из-за красоты покрасневших листьев. Даже на рынках продают древесные ветки.

Все это с молодняка. Нет с лестницами же ходят в лес, не лезят на кроны высоких, взрослых деревьев. Нет, дерут то, что легко достать рукой.

Существует еще обычай под Новый год тащить в дом срубленную елку и устраивать около нее праздничные церемонии. Боже ж мой, сколько срубается елового молодняка! Я не знаю в точности, как это отражается на состоянии подмосковных лесов, но около Архангельска, которому полагалось бы стоять кругом в лесах, не сыщешь теперь на тридцать километров ни одной молодой елочки — остались голые гопкие болота.

Ничего умного, по-моему, в этом обычае нет. Масленичные блины, пасхальные куличи можно оставить, а елку зачем? Вовсе она даже и не новогодняя, а рождественская. На другой праздник ее передвинули, на соседний, поскольку рождество уже не празднуется.

В Измайлове видел я однажды, как интеллигентная супружеская пара разорила муравейник, добывая муравьиные «яйца» на корм комнатной птичке в клетке. А ведь муравьи — старательные защитники леса от всяких шелкопрядов.

Постоял я, посмотрел, спросил, какой породы держат птичку, и не решился обругать: бородатый и очкастый супруг похож на академика, а супруга — вылитая народная артистка СССР.

Вот такая нерешительность, нежелание портить себе и людям настроение и мешают искоренить непорядки. Как часто мы проходим мимо, стараясь не замечать!

Как уже говорилось, в Москве и ее окрестностях живет восемь миллионов человек. Сколько из них бывает в лесах и парках? Подавляющее большинство. Люди всех возрастов от мала до велика не чураются леса. Граждане до одного года предпочитают появляться в колясочках.

Посмотрите в том же Измайлове, сколько детских экипажиков ездит в самых заповедных местах — за изгородями, среди молодняка. И такое соединение — четыре колесика да две мамини ножки — действует посильнее, чем простая пара ног.

Лес существует для человека. Он и ценен-то потому только, что приносит людям пользу. Недопустимо навешивать на него замок; пусть пользуются.

Но пользоваться можно по-разному.

Где сила, которая смогла бы держать человеческую ораву в рамках разумной дисциплины? Лесная охрана? Милиция? Да где же им уследить? Ведь мы, москвичи, многочисленнее всех вооруженных сил всего Советского Союза.

Нет, эта сила — мы сами. Нельзя взваливать все на администрацию, стыдно просить: «Последите за нами, мы за себя не ручаемся!» Сами мы должны за собой следить, не распускаться и не позволять соседу делать, чего не положено.

Если большинство из нас проникнется идеей сохранения леса и станет понимать, что лесу полезно и что вредно, многолюдье в лесу может играть положительную роль. Оно удержит недисциплинированную часть публики от бесчинств.

В одном отношении оно уже полезно: в людных местах не бывает самовольных воровских рубок. Браконьеры творят свое грязное дело исподтишка, в укромных уголках. Огромную роль в борьбе с ними играет общественность. Вот и выходит, что сила многолюдья способна оберегать лес.

Она, эта сила, направлена пока на сбережение крупного и видимого глазу. Ах, если бы все понимали, что в охране нуждается не только высокое гордое дерево, но еще больше — крошечный росток, выглядывающий из земли.

Четыре года сидит юный дубочек маленьким пучком листьев, похожим на ботву редиски. Он гонит в землю корень и не торопится расти в высоту, а потом, укрепившись, за одно лето вымахивает на целый метр.

Но пока сидит он, малозаметный среди травы, приходит человек, раскидывает одеяло или газетные листы, ложится — и нескольких десятков юных дубков как не бывало. И делают это самые ярые «защитники лесов», любители почесать языком о непорядках в нашем лесном хозяйстве и вообще по поводу «оскудения живой природы».

Пусть все поймут, что во многих местах Подмосковья задача сохранения леса равнозначна сохранению молодняка.

## НЕ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ И НЕ СТРИЧЬ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ

На перегоне между станциями Ромашково и Раздоры Усовской ветки поезд бежит через роскошный лес. Он манит к себе, когда вы глядите из вагона электрички. Уж очень свеж, красив и густ великолепный сосняк с дубом и березой в нижнем ярусе. Вы толкаете локтем своего спутника, киваете головой в окно и говорите:

— Вот сюда и пойдем, тут и погуляем, в этом прекрасном лесу!

А поезд бежит. Дорога извивается зигзагами, поднимается на высокие насыпи, спускается в коридоры выемок. Вот наконец поезд тормозит у станции Раздоры, вы слезаете, но тот лес, что поманил вас к себе через вагонное окно, остался позади за сколько-то километров, да и путь к нему отрезан глубокими оврагами. И ваш спутник вполне резонно заявляет:

— Ну, чего мы станем пробиваться через сильно пересеченную местность с весьма сомнительной надеждой на успех? Пойдем лучше, куда все люди идут! Вот рядом тоже лес. Правда, он какой-то не такой, как тот, но ведь и здесь можно неплохо отдохнуть.

Так я ездил мимо прекрасного леса тридцать пять лет, любовался им только с поезда. Попал я в него первый раз в прошлом году и убедился, что там никто никогда не бывает и на земле нет следов человеческой ноги. Девственный, нетронутый лес.

Вот какие места сохранились в Московской лесопарковой зоне, под самым боком у столицы, через две остановки после Кунцева.

И представьте, гулять там неинтересно. Темновато, тесновато, трудно продираться по лесной целине через чащи кустарников, без тропинки. Глаз не видит, куда ступит нога, и потому движения у вас неуверенные, опасливые: а вдруг впереди яма!

И всюду одно и то же. Слишком ограничен кругозор, всегда видны только ближние стволы да кустарники. Чувствуете себя, как крот в норе. Нет простора ни для глаза, ни для движений. И вы начинаете понимать, что обжитой лес с тропинками, с травянистыми лужайками, со сменой картин, с открывающимися перед взором широкими перспективами куда удобнее для гулянья и отдыха.

Не относитесь, граждане, свысока к паркам!

В предыдущих главах мы рассматривали жизнь лесопарков в ближайших окрестностях Москвы, и, думается, лесопарки того стоят. Из всех важных лесов это, быть может, наимажнейшие, потому что они у нас под рукой и пользу от них получают миллионы людей. И это, как говорилось, очень трудные и дорогие леса. А мы знакомимся преимущественно с самыми трагическими обстоятельствами а с роковыми периодами их жизни, когда леса чрезмерно вытаптываются, перерождаются, рedeют, когда отмирают престарелые древостои, когда они преждевременно гибнут от сыплющейся сверху заводской копоти и ядовитых газов.

В каждом явлении могут быть и темные и светлые стороны. Человека, например, подстерегают тяжкие болезни: рак, туберкулез, тиф, холера и множество других, приводящих к смерти. Кладбище — факт. Но человеческий род не прекращает своего существования и неизменно увеличивается в числе. Это тоже факт.

Так же и с лесом.

В Подмоскowie хорошие леса отодвинулись от железных дорог и дачных мест, на виду остались плохие. Да и вообще один гектар испорченного леса заметнее сотни гектаров хорошего, он так же лезет в глаза, как пятно или дыра на добротном костюме.

Но надо отдавать отчет в весомости тех или иных явлений в общем строе жизни. Нельзя забывать вот чего. В разряд лесопарков, то есть лесов с трудным и дорогим образом жизни, в Московской области переведено пока только шестьдесят пять тысяч гектаров, то есть незначительная часть всех лесов Московской области. Да и не все лесопарки страдают от чрезмерного вытаптывания, не на все сыплется копоть, а такая беда, как смерть от старости, приключается, во всяком случае, не чаще одного раза в столетие. Стало быть, не так уж велик удельный вес темных сторон.

Все ужасы, какие были описаны в предыдущих главах, существуют, но в общей картине московских лесов они занимают какую-то ничтожную долю процента.

В зеленой зоне Москвы есть много лесов молодых и полнокровных, живущих во вполне нормальных условиях и не испытывающих никаких неудобств. Стоят они, растут, распространяют свежесть и прохладу. То шумят листьями на ветру, то беззвучно дремлют в ночной тиши, и никаких больше событий в их жизни не происходит. Там нет драм и конфликтов, так что и сказать о них особенно нечего.

Вообще леса существуют разные. Подмосковный дачник рискует, как говорится, сесть в калошу, если, разглядывая пень на дворе своей дачи, начнет судить обо всех лесах Московской области по своим дачным меркам, а тем паче делать обобщения во всесоюзном масштабе.

Вот, например, есть в Московской области городок Бронницы. Он находится в пятидесяти километрах к юго-востоку от столицы и стоит на берегу Москвы-реки. Но железная дорога прошла в тринадцати километрах, и это, конечно, не способствовало ни росту населения, ни развитию промышленности с ее дымом, ни наплыву дачников с их беспощадными каблуками. Тихий городок с населением в десять тысяч.

Около Бронниц есть леса. Там перед лесоводами стоят совсем иные задачи.

### КАК УЛУЧШАЮТ ЛЕСА

Сейчас у нас старички неплохо обеспечены пенсией, живут в достатке. И многие пожилые люди ждуг-мечтают: «Вот доживу до шестидесяти лет — уйду с работы, стану получать пенсию, буду гулять, отдыхать, жить в свое удовольствие при полной свободе и без всяких забот и хлопот».

Бронницкому лесничему П. И. Дементьеву уже шестьдесят три года. Однажды я его спросил:

— Как, Павел Иванович? Не собираетесь на пенсию?

— Ну что вы! — всполошился лесничий. — Мне нельзя. Не все еще сделано. Сейчас работа в моем хозяйстве на полном ходу, так чего же я брошу ее на полдороге? Нет, мне надо позаниматься еще хотя бы десяток лет.

Дело, которому служит лесничий Дементьев, — реконструкция древостоев Бронницкого лесничества, замена растущей там дрянной и жалкой осины красивыми и ценными древесными породами.

Дементьев достает из шкафа три карты. Они такие большие по размерам, что нам пришлось сдвинуть вместе столы, и только тогда удалось развернуть листы и положить рядом. На всех трех изображена одна и та же местность. Из угла в угол тянется извилистая голубенькая полоска Москвы-реки, в центре помечен кружок с надписью «Город Бронницы», а кругом островами расположились леса. Но годы на картах разные: 1936, 1947, 1957.

Я сказал:

— Как у чеховского доктора Астрова. Там тоже три карты последовательного изменения лесов.

— Есть аналогия, — ответил лесничий, — но карты чеховского доктора надо понимать все же символически, а не буквально. Врач, загруженный своим лечебным делом, не мог заниматься геодезическими съемками. Если он и составлял карты, да еще за пятьдесят лет, то не на основе измерений, а только по рассказам старожилов. А наши карты — точные. Имейте в виду, что мы не сами их составляем. Это не мои отчеты, а акты ревизии, составленные моими строгими контролерами. Раз в десять лет проводится лесоустройство. Это ревизия, переучет. Не какой-либо поверхностный, а весьма глубокий. Приезжают специалисты-таксаторы, люди зоркие, умеющие понимать лес с первого взгляда, и в то же время достаточно искусные в производстве картографических съемок. Они измеряют и считают, сколько гектаров занимает лес, сколько деревьев стоит на каждом гектаре, какие это деревья, каких пород, какого возраста, каков объем стволов, как велик запас древесины на гектаре и каков прогноз на будущее. Работа длится долго. В результате ее появляется вот такая карта и целый том словесных и цифровых дополнений. Поэтому имейте к этим картам доверие. Вы видите, лес делится на пронумерованные квадратики. На такие же точно кварталы разделен просеками и натуральный лес. Как товары в складе лежат на полках, так наше древесное имущество хранится в пронумерованных клетках кварталов.

Я внимательно разглядываю все три карты, сравниваю. Очертания лесных островов изменились мало, по-прежнему на левом берегу Москвы-реки видна Бояркинская лесная дача, а на правом — Меньшовская, но резко бросается в глаза разница в цвете

кварталов. На карте 1936 года все леса окрашены светло-зеленой, а местами синей краской. Это осина и береза. Осина преобладает. На карте 1947 года появились желтые, лиловые и темно-коричневые пятна, обозначающие сосну, лиственницу, ель и дуб. А на карте 1957 года таких пятен стало гораздо больше, они выросли и порядком потеснили светлую зелень осины. Хвойные деревья заняли семьсот семнадцать гектаров, а дуб — семьсот тридцать пять.

За время работы в Бронницком лесничестве Павел Иванович Дементьев заметным образом перекроил и перешил свои леса. Часть осины срубил, на ее место посадили быстрорастущую лиственницу, сосну, ель. Дуб не сажали, он размножался естественным путем, но в обычных условиях он заглушается осиной, а Дементьев производил рубки ухода, удалял осину, создавал благоприятные условия для роста дуба, давал ему свет, и дуб во многих кварталах занял господствующее положение.

Благодаря смене древесных пород на значительной площади Бронницкие леса стали намного красивее.

И увеличилась их хозяйственная ценность.

При реконструкции леса и рубках ухода было срублено и сдано народному хозяйству сто восемьдесят пять тысяч кубических метров древесины. Но это пошло не в ущерб, а на пользу лесу. Замена осины быстрорастущими хвойными породами увеличила ежегодный прирост древесины. Хотя хвойные деревья посажены недавно, они еще молоды, но дают о себе знать. Запас древесины на корню постоянно увеличивается. В 1936 году в Бронницких лесах было триста шестьдесят четыре тысячи кубических метров, в 1947 году — четыреста двадцать пять тысяч, а в 1957 году стало уже четыреста восемьдесят три тысячи кубических метров. Сейчас запас, конечно, еще больше увеличился.

Вот это и есть один из результатов двадцатипятилетней работы лесничего П. И. Дементьева. Но лесничий не удовлетворен, не считает свою задачу выполненной, не уходит на пенсию. Ведь в лесничестве остается еще три тысячи гектаров осины. Красы в ней мало, а хозяйственной пользы еще меньше. Она растет только до тридцати лет, а потом ствол ее заживо загнивает, и хотя она живет и сохраняет листья до шестидесяти, но древесина ее годится только на очень плохие дрова. То ли дело лиственница или сосна. Они и красивы и полезны. И хочется Павлу Ивановичу посадить еще хотя бы тысячки полторы гектаров этих ценных деревьев, а там можно и на покой.

Я спрашиваю:

— Так зачем же дело стало? Или пороху не хватает?

— Пороху-то хватило бы, да вот препятствуют, не позволяют развернуть работу на всю нашу мочь.

— Кто же встает вам поперек дороги?

— Закон, правила рубки. Ведь чтобы посадить лиственницу да сосну, надо прежде вырубить осину. А наши леса входят в пригородную зону Москвы и относятся к первой, наиболее охраняемой группе. Здесь рубки сплошными площадями запрещены, можно срубить только умершие деревья. Мы с трудом, можно сказать — с кровью, вырываем разрешения на рубку дрянного леса для замены его хорошим, да и то на очень маленькие площади. В этом году нам, правда, разрешили срубить двадцать четыре гектара самого плохого по состоянию леса, а в предыдущие годы мы успехом считали, если удавалось получить разрешение на восемь гектаров. С одной стороны, нас заставляют реконструировать лес, заменять осину хвойными породами, а с другой стороны, ставят препятствия. Предлагают вводить хвойные породы в состав леса узкими коридорчиками среди осины. Это все равно как бочку дегтя сдабривать ложками меда.

Я удивился:

— При таких темпах реконструкция леса затянется у вас на сто лет. Но как же все-таки вам удалось посадить семьсот гектаров хвойных?

Лесничий поправил:

— Я посадил не семьсот, а целую тысячу. Но по новому разделению триста гектаров отошли к соседнему лесничеству. Спрашиваете, как удалось посадить? Так ведь у нас прежде имелись кое-какие пустырики, прогалины. А в грудную пору войны до

зарезу понадобилась древесина, и тогда произвели значительные рубки. Вот на этих площадях мы и посадили. А сейчас разрешения на рубку дают туго.

Я говорю:

— Вот видите! А у нас плачутся, что лесов не берегут, все их вырубил. Да и сами вы, Павел Иванович, иной раз о том же поговариваете.

— Так ведь слухи такие ходят.

— Слухи слухами, а на деле-то получается, что чересчур берегут, с излишком, без толку и даже во вред. Но чем же мотивируют отказы? Ведь вы же доказали, что рубяете не для уничтожения, а для улучшения леса. Вот эти карты свидетельствуют.

— Выдумали неверную и вредную теорию о том,— сказал лесничий Дементьев,— что при замене старой осины молодыми сосенками и лиственницами временно, на несколько лет, уменьшается количество листы. Нам говорят: «Осина, пусть она гнилая и старая, но на ней много листьев, и она озонирует воздух, а вы посадите маленькие фитюльки, и когда они еще вырастут да начнут освежать!» Не хотят люди понять, что надо поддерживать прогрессивную линию, которая даст улучшение. Через десяток лет каждый посаженный нами гектар станет освежать воздух лучше, чем нынешний древостой. А людям приятнее гулять по вечнозеленым соснякам, чем по гнилым и уродливым осинникам. Нет, вздорная теория! Если так рассуждать, то нельзя ремонтировать и заливать асфальтом разбитые, ухабистые дороги, потому что перестройка временно затруднит движение; нельзя ремонтировать грязные квартиры, потому что ремонт создаст временные неудобства жильцам; нельзя строить в городах новые, хорошие дома вместо развалившихся хижин. Много в нашем лесном деле консерватизма. Но я надеюсь, что люди поймут и перестанут чинить препятствия хорошему и нужному делу — замене плохих лесов хорошими.

Но если внутреннее переустройство встречает затруднения, почему лесничий не наращивает свои леса вширь? На карте видно, что острова лесов окружены свободными, безлесными пространствами; бумага там оставлена белой, незакрашенной — стало быть, вокруг лесов лежат пустыри. Почему не посадить лес на новых местах? Я сказал об этом Дементьеву.

Павел Иванович удивился необычайно.

— Вы говорите — пустыри? Какие же это пустыри? Это земли колхозов. Они переданы по актам навечно. Это же драгоценный капитал! С каждого гектара колхозы должны взять и берут определенное количество хлеба, овощей, молока, мяса и масла. Разве пищевые продукты стали нам не нужны? Как же я полезу на чужую землю? У меня есть почти пять тысяч гектаров своей территории — тоже немалый капитал, на ней я должен вести свое лесное хозяйство, и нечего разевать рот на чужой каравай. А хозяйство надо вести разумное, высокопродуктивное. Как колхозы должны стараться взять с каждого гектара больше молока и мяса, так и мы обязаны выращивать на каждом гектаре больше своей лесной продукции. Когда я пришел на работу в Бронницкое лесничество, на один гектар приходилось в среднем по восемьдесят кубических метров древесины, сейчас стало по сто шесть. Если посадить хвойные породы, запас древесины через некоторый промежуток времени увеличится до двухсот, а впоследствии и до трехсот кубических метров на каждом гектаре. Спелая лиственница способна дать тысячу. Сейчас общий запас древесины в нашем лесу равен полумиллиону кубических метров, а можно довести его до миллиона, до полутора миллиона, а в отдаленном будущем еще больше. В такой же пропорции увеличится и другая полезность леса: его красота, освежающее действие на воздух. Вот в чем смысл реконструкции лесов, вот путь развития нашего лесного хозяйства, и мы по нему идем, идем неуклонно, хотя и не с такой быстротой, как хотелось бы. Но я надеюсь на быстрый расцвет этого дела в самом ближайшем будущем.

Я спросил:

— Но ведь на реконструкцию леса, на новые посадки нужны огромные денежные средства?

— Какие там средства? Новый лес можно создавать за счет производительной силы земли, на которой он растет. Земля-матушка все оправдает. Она постоянно дает про-

дукцию. Я могу сажать новый лес без государственных ассигнований, мобилизацией своих внутренних ресурсов.

— Как же?

— Подите и поглядите!

Я уже говорил о том, как трудно разводить лес в засушливых сталинградских полупустынях и как дорого сажать деревья на асфальтированных улицах Москвы в соседстве с густыми толпами пешеходов и вереницами бегущих автомобилей.

Трудность и дороговизна происходят там из-за того, что деревья вселяют в необычные для них места и неподходящие для их жизненных потребностей условия.

Совсем другое дело в средней полосе России. Влаги здесь хоть отбавляй, и деревья чувствуют себя вполне дома. И конечно, есть большая разница между закованным в бетон и асфальт городом и вольной природой. Во внегородской обстановке средней полосы России сажать и нетрудно и недорого.

Можно просто разбросать древесные семена по оголенной от травы земле, и вырастет лес. Но такой способ годится для выращивания дикого, а не хорошего, культурного древостоя. При посеве семенами молодые деревца разместились бы в беспорядке — местами чересчур густо, местами слишком редко, а это затруднило бы последующий уход и приведение насаждений в культурный вид. Да и семян на посев тратится много лишних, а они довольно дороги.

Поэтому целесообразно применить тот же самый способ, каким у нас на огородах выращивают капусту и помидоры, — метод рассады.

Кто видал, как сажают капусту? Ее не сеют, а именно сажают. Семена были высеяны заранее в парниках, там они проросли, из них вывелись молоденькие растеньица с корешками, стебельками и листочками. Когда же приходит пора, эти маленькие растеньица переносят на поле или на грядки, где им суждено свершить полный круг их жизни.

Точь-в-точь то же самое делают и при посадке леса. Тоже выращивают сначала из семян древесную рассаду, а потом высаживают правильными рядами на тот участок земли, который должен стать лесом.

Ничуть не сложнее, чем с капустой. Даже проще, потому что в смысле подготовки почвы, удобрений, ухода деревья менее прихотливы, чем капуста. Но дольше: капуста вырастает за одно лето, детство деревьев длится несколько лет.

Итак, первое звено лесоводства — выращивание рассады из семян. Оно тоже проще, чем для помидоров и капусты: не нужны ни парники, ни теплицы — посев производится под открытым небом, в так называемых питомниках.

Питомник Бронницкого лесничества таков же, как питомники всех других небольших лесничеств: прямоугольная площадка в полтора гектара, обнесенная оградой, чтобы не зашел ни посторонний человек, ни корова, ни дикий лось, и там, внутри, — порядок, чистота, прямые дорожки и вообще все выведено по линейке. И нет ни одной травинки — вся она давно истреблена усердными руками полольщиц.

По голой приглаженной земле тянутся рядами узенькие ленточки ярко-зеленого пушистого плюша. Наклоняетесь, присматриваетесь, и оказывается, что ворс плюша состоит из сосновых хвоннок.

На другом участке прямыми рядочками расположились темно-зеленые ершистые пальчики с иголочками. Это лезут из земли новорожденные елочки.

И есть еще полоски лиственницы, липы и остролистого клена — ряды веточек с нежными хвоннками или зелеными листочками.

Всем этим хозяйством ведает умелая работница Наталья Михайловна Бутылкина, накопившая за двадцать лет работы в питомнике замечательную сноровку. Она нянька в яслях для древесных крошек. Ее питомцы хорошо растут и ничем не болеют.

Если железной лопатой (или каким-либо механизированным орудием, которые применяются на более крупных питомниках в больших лесничествах) поднять живую зеленую полосу вместе с глубоким пластом почвы, рыхлая земля развалится на комочки, а плюшевый валик рассыплется на отдельные сосновые веточки — каждая длиной с карандаш или чуточку покороче, а снизу висят ниточки корней.



Вот это и есть сосновые сеянцы, готовые к переселению на место будущего и уже постоянного жительства, где им суждено вырасти в могучие деревья и поднять свои верхушки над землей на сорок метров. А на освободившемся месте в питомнике умелая Наталья Михайловна посеет новые семена и к будущей весне выведет новые сеянцы.

Питомник в лесничестве один, а лесные острова — крупные и маленькие — раскинулись широко.

Лесничество делится на объезды, объезды — на обходы. Хозяин обхода — лесник. Он ответственное лицо за целостность, здоровье и самочувствие полутысячи гектаров леса. Это не «нижний чин», не прежний сторож-обходчик, а младший командир и руководитель всех работ, производимых в лесу, в том числе, конечно, и лесных посадок. А самые работы, их физическая сторона, выполняются под присмотром лесника рабочими.

Впрочем, есть в Бронницах лесник Сергей Лапнин, бывший военный моряк, человек крупного роста и большой физической силы. Он не довольствуется ролью надсмотрщика, а всегда наравне с рабочими принимается сажать молодняк сам, своими руками.

— Приятное дело! Посадишь мелюзгу, а потом видишь, как они растут. Это же радость! Так с какой стати я стану себя ее лишать?

Первая обязанность лесника — доставка сеянцев из питомника к месту посадок. Их везут на телеге в особых посудинах и корни смачивают торфяной жижей, чтобы не пересохли.

Я тоже взгромоздился на телегу и вместе с лесником и сеянцами поехал к месту посадки. Мы долго тряслись в телеге и слушали скрип колес, пока не выехали на прогалину среди леса; в разных концах ее копошились женщины с каким-то инструментом в руках, похожим на лопаты.

На посадке Сталинградской государственной лесной полосы я привык глядеть на работу могучих механизмов. Там по степям ходят вслед за тракторами целые табуны лесопосадочных машин — идут широким, развернутым фронтом, и сзади, где прошли, появляется лес.

В Бронницком лесничестве нет никаких машин. Перевозка сеянцев из питомника к месту посадки оказалась единственной работой, которая выполняется лошадиной силой; все остальное делают человеческие руки. Даже землю не обрабатывают плугом, а вскапывают лопатой.

Главная причина в том, что посадки в Бронницах ведутся малыми площадями. Негде развернуться тракторам и машинам. Да и пеньки мешают, всюду они торчат из травы. Ведь новый лес сажают на месте вырубленного старого.

И вот мы на поляне, где работают женщины. Для них мы привезли дневную порцию сеянцев.

Вся поляна полосатая, как ткань, из которой шьют пижамы: узенькие серо-желтые полоски чередуются с широкими зелеными. Желтое — оголенная земля, зеленое — земля нетронутая, заросшая молодой майской травой.

Еще в прошлом году на поляне разметили ряды, где встанут будущие деревья, и на этих рядах простыми лопатами вырезали дернину квадратами величиной пятьдесят на пятьдесят сантиметров, и каждый квадрат, не размельчая, перевернули наизнанку — травой вниз, голой землей вверх; вот и получились серо-желтые полоски. А между полосками землю не трогали, она осталась, как была, с пеньками и травой.

Вот и вся обработка земли. Какое из культурных растений согласится поселиться на почве, обработанной столь примитивно? А для деревьев в зоне их естественного географического распространения этого вполне достаточно. Иной раз сажают даже в совершенно необработанную почву.

Недостаток в обработке почвы компенсируется тем, что в этой негостеприимной на первый взгляд земле для каждого сеянца пробивают довольно глубокую посадочную лунку. Корни дерева будут сидеть не в перевернутом пласте, а значительно ниже. Что касается пласта, то его перевернули наизнанку только для того, чтобы заглушить траву, чтобы не росла она вокруг сеянца и ему не мешала.

Пожилая женщина вонзает в середину перевернутого пласта дернины железный бур, поворачивает, вынимает вместе с вырезанным столбиком, вытряхивает — остав-

ся круглая дырка, и рядом с нею появляется кучка земли. Так идет она вдоль земляной полоски, оставляя за собой, как след, ряд дырок с кучками земли.

Я подхожу, заглядываю в эти пробитые работницей колодцы. Они такой величины, что туда можно поставить мой поллитровый термос, и он входит по самую макушку — как раз впору, словно по одной мерке делали.

Потом женщина принимается за посадку: берет из своей посуды сеянец — сосновую веточку длиной в карандаш с висящими, как нитки, корешками, — опускает в лунку, встряхивает, чтобы расправились корешки, и засыпает землей. Вся кучка, что была вынута из лунки, снова возвратилась в лунку.

Движения точны, размеренны, быстры. Видна большая сноровка.

Я знаю, что весенние посадки — дело спешное. Их надо закончить в неделю. Женщина, чью работу я наблюдаю, получила от лесника тысячу сеянцев и должна посадить их сегодня же. И я знаю, как мешают работающим людям докучливые расприсосы. Назойливый корреспондент с блокнотом в руках — что может быть хуже этой помехи для работающего человека? И потому я не решаюсь заговорить, отхожу в сторону, пристраиваюсь на пеньке и начинаю пить горячий чай из своего термоса размером точно в посадочную лунку.

Или пример заразителен, или время подошло, но работница положила свой инструмент, достала кошелку и тоже принялась завтракать. И тогда я без стеснения подошел и вступил в разговор.

Домашняя хозяйка из Бронниц, Нина Васильевна Шикulina, лет пятидесяти. Работает сезонницей на лесопосадках с 1936 года. Как и все другие сезонники, ежегодно сажает весной один гектар (такая здесь норма), а летом ухаживает за ним и, кроме того, ведет уход еще за двумя гектарами, посаженными ею же в прошлом и позапрошлом годах. Таким образом, каждый посаженный гектар три года находится под ее присмотром. За время работы с 1936 года Нина Васильевна посадила и выходила восемнадцать гектаров лиственницы вместе с сосной и елью; этот, на котором сидим, — девятнадцатый.

— Могла бы больше, да в военное время мало сажали. Опять же я не все годы занималась посадками, приходилось и почву готовить — подрезать и переворачивать дернину. Тоже дается по гектару на лето. Когда готовишь почву, в тот год посадок не прерывают.

Я спрашиваю, что труднее.

— Трудностей особых нет. Гектар в лето — это немного, через силу не работаем. А самое хлопотное дело — истребить осину. Ведь мы сажаем на вырубленных участках срубят старый лес, а сок-то живой в корнях деревьев остался, деваться ему некуда, вот он и гонит из каждого пня новую поросль, да не по одному, а по пятку да по десятку побегов. И могут вырасти те побеги за одно лето в человеческий рост, а листья-то крупные, как у лопуха. Сказка такая сказывается про Змея Горыныча: отрубят ему одну голову — вырастает взамен срубленной десяток новых голов. Не иначе эта сказка сложена, как про рубку леса лиственных пород. И от березовых, и от дубовых, и от кленовых, и липовых пней вырастает поросль. А у срубленной осины не только появляется поросль от пня, но и от корней идут отпрыски. Пень-то он вон где, далеко в стороне, а корни под землей разошлись на много метров, и когда осину срубят — повсюду из земли лезут десятки новых осин. Такое въедливое это дерево, цепкое, никак с места не сгонишь.

— А вам она мешает?

— Очень даже мешает. Наши сосенки да лиственницы в первые годы имеют совсем малый рост: человеку до колена. А осиновая да березовая поросль может подняться выше головы, и ее тьма тьмущая. Ежели дать волю осиновою поросли, она задавит наши культуры. И потому мы ее истребляем. Срубаем первую, и она лезет вновь. В то же лето приходится срубать второй раз. На второй год тоже рубим, на третий год снова рубим, и только после многих рубок иссякает наконец злая сила осины. Так вот мы и побеждаем Змея Горыныча. Это самое главное для жизни посаженных нами лесокультур.

Я сказал, что в Ленинграде есть профессор Н. Е. Декатов. Он разработал химические способы уничтожения осины ядом. Почему их не применяют в Бронницком лесничестве?

— Пробовали,— ответила работница,— да у нас плохо получилось. Нам такой способ не подходит.

— Почему же не подходит? — спросил я.

— Так ведь порошки-то эти не одну осину уничтожают. Трава тоже пропадает.

— Вот и хорошо,— заметил я.— Получается полная прополка от всех сорняков, от всех помех.

— Ишь ты какой хитрый! — возмутилась вдруг работница.— Траву уничтожать! А чего ради мы станем работать? Мы же траву косим, коровушек держим, из-за того и работаем. Расценки маленькие, деньгами мы совсем не интересуемся. Само собой у самых сеянцев не даем траве расти, мотыгой рыхлим, для того и пласт земли перевернут. А в междурядьях, где земля не перевернутая, там трава лесокультурам не мешает, если ее выкашивать. Так и лесничий Дементьев объяснял: в засушливых степях нельзя в междурядья траву пускать, потому она расходует воду и сушит землю, а у нас степи, у нас дождичков идет богато, земля всегда сырая, хватает воды и для лесокультур и для травы. Через несколько лет, когда сосенки да лиственницы поднимутся вверх, трава пропадает, потому что не может она без солнышка расти. А покада она есть, мы ее косим да молочко попиваем. Молоденькая осиновая поросль, если ее два раза в лето срезать, тоже в корм корове годится, хотя и не ахти какой. Не одни домашние хозяйки в лесу работают, рабочие и служащие отпуска весной берут, чтобы в лесу поработать да получить сенокос. А как же иначе корову станешь держать? Мы не колхозники, мы горожане, другого сенокоса у нас нету. Есть для нас выгода работать на посадках. Да и государство, я думаю, не в убытке: через нашу работу оно получает хороший лес.

В городах мы привыкли к тому, что содержание деревьев в садах и парках требует больших расходов.

Иначе обстоит дело в вольной природе. Там лес и земля, на которой он растет, служат источниками многих благ, дают многостороннюю пользу и приносят доход.

Бронницкое лесничество ведет большую работу. Лесничий П. И. Дементьев — опытник. Кроме обычных посадок, какие встретите в любом другом лесничестве, потому что всюду теперь сажают много леса, Дементьев занимается еще семеноводством и сортоиспытанием лиственницы.

Лиственница — дерево привозное, в средней полосе России ее разводят только искусственно, а семена получают с Севера и из Сибири. Существуют разные формы этого ценного дерева. И вот важно выяснить, какие формы лучше для условий Московской области. Для этой цели в Бронницком лесничестве под руководством энтузиаста и пропагандиста посадок лиственницы профессора В. П. Тимофеева на громаднейшем участке длиной больше километра высажено на пробу более сорока различных форм лиственницы из семян, полученных из разных мест Советского Союза и из-за рубежа. Каждая разновидность посажена в самых разнообразных сочетаниях: и в чистом виде, и вместе с сосной, елью, липой, кленом. Ведутся наблюдения, созревают выводы.

И создан огромный семенной участок, где лиственницы, акклиматизировавшиеся в Московской области, плодоносят и дают семена для дальнейших посадок. Это очень важно.

Профессор В. П. Тимофеев два раза в лето приезжает в Бронницы — поглядеть, посоветовать.

Я спросил крупнейшего знатока лиственницы, в чем заключается ценность этого дерева.

— Лиственница,— ответил профессор,— дерево более позднего происхождения по сравнению с другими хвойными породами. На ступенях эволюционной лестницы она стоит как бы зыше, чем сосна и ель, и потому лучше приспосабливается к условиям. Она научилась ежегодно сбрасывать хвою и выращивать новую, а это имеет немалое

значение для жизнеспособности. Если шелкопряд объест хвою, сосна погибает, а лиственница нет: на следующий год она выбрасывает новую. По той же причине переносит дым.

Профессор рассказал, что лиственница привыкла существовать в суровых климатических условиях Сибири. Когда мы ее разводим в более мягких и благоприятных условиях Средней России, она растет лучше, чем у себя на родине.

Хвоя лиственницы более активна, более старательно вырабатывает сахар и клетчатку из углекислого газа. Сосна в течение лета растет сорок восемь дней, лиственница — девяносто. Отсюда ежегодный прирост древесины по весу в полтора раза больше, чем у сосны и ели. Гектар лиственницы дает в год прироста десять кубических метров.

А древесина лиственницы — крепкая, не гниет в воде. На Дунае сохранились лиственничные сваи моста, построенного две тысячи лет назад.

Потому-то и выгодно разводить лиственницу. В зеленой зоне Москвы посажено сейчас четырнадцать тысяч гектаров. В разведении лиственницы успешно участвует Бронницкое лесничество.

У меня нет места для перечисления всех работ Бронницкого лесничества. Я хочу только подчеркнуть, что объем их велик. На большую работу, казалось бы, нужны и большие денежные средства. Между тем Бронницкое лесничество не только не сидит на иждивении у государства, но получает значительную прибыль. Годовой расход в старых деньгах — триста тысяч рублей, приход — полмиллиона.

Деньги получают за срубленную древесину и даже за хворост. Но особенную выгоду дает выращивание молодых деревьев для озеленения города Москвы. Лиственницы, которые вы видите в парке нового здания университета на Ленинских горах, привезены из Бронниц. Для парка в Лужниках взято в Бронницах восемь тысяч лип.

Но объем работ, выполняемых лесничеством, значительно шире, чем его денежный бюджет. Сверх денежных расходов в хозяйстве происходит еще внутренний безналичный обмен натуральными ценностями. Сезонные рабочие, как мы уже видели, берут себе траву на площадках лесокультур; лесничество получает взамен продукт их труда — новые посадки.

Такой способ расплаты с сажальщиками деревьев широко практикуется во многих лесничествах Московской области, и он в принципе заслуживает одобрения, потому что посадку леса в этом случае оплачивает сама земля. Она ведь постоянно продуцирует, рождает для человека ценности.

Однако нельзя допускать в этом деле перегибов, а они возможны. Сенокосение и выращивание леса — это два зайца. Пока они бегут рядышком, можно гнаться одновременно за тем и за другим. А если прыскают в разные стороны, то надо тогда пренебречь сенокосом и заботиться исключительно о выращивании леса.

## КАК РАСТЕТ ЛЕС

За последние годы я начал замечать, что в некоторых лесничествах Подмосковья при посадках леса начинают увеличивать расстояние между рядами деревьев. Прежде сажали через полтора метра, теперь расширяют междурядья до двух с половиной.

Широкие междурядья выгодны для сенокосения. А как они влияют на рост леса? Чтобы решить этот вопрос, надо поглядеть, как растет лес.

В Рублевском бору множество самородного соснового молодняка разных возрастов. И есть там участок сосновых культур. Самые молоденькие стоят отдельными деревцами, не касаясь друг друга. Целый день на них смотрит солнце, прогревая каждую сосенку, и все они растопоршились густыми ветками от самой земли до макушки.

А в другом месте сосенки постарше, повыше, пошире. И так как стоят они близко друг к другу, то они сошлись ветками, сомкнулись. Теперь солнечные лучи не проникают сквозь густую хвою к нижним веткам и освещают одни только верхушки. И это новое обстоятельство коренным образом изменило условия жизни и дальнейший ход

роста сосенок. До сих пор они росли медленно, а теперь наперегонки кинулись вверх. Каждая тянется верхушкой к свету и словно бы боится отстать от соседок. Отстать — значит очутиться в темноте и погибнуть без солнечного света. Можете себе представить, какое жаркое идет соревнование. Стволы становятся высокими, стройными, прямыми, натянутыми, как струны.

Одновременно идет очищение ствола от сучьев. Войдите в сосняк пятнадцати лет. Там внутри даже в ясный солнечный день господствует полутьма. На земле лежит толстый слой пожелтевшей хвои и сухих прутьев. Нижние ветки уже несколько лет не освещаются солнцем, хвоя на них давно не работает, она пожелтела и свалилась. Ветки усохли, часть уже лежит на земле, часть еще держится на стволе тоненькими, усохшими прутиками. Но недолго им суждено держаться, скоро упадут и они. Происходит освобождение организма от частей, ставших ненужными и отмерших.

На другом участке того же лесничества, около станции Раздоры, есть участок двадцатипятилетних. Там зеленый потолок подпирают высокие прямые колонны, и нет уже ни намека, что эти гладкие столбы когда-то во все стороны топорщились ветками до самой земли. Сучки в нижней части стволов отвалились и покрылись новыми годовыми кольцами древесины.

Эти сосны были посажены густо, стоят они одна от другой не дальше полутора метров, и теснота способствовала быстрому росту и формированию высоких, прямых, гладких стволов.

И там же, в Раздорах, на краю глубокого оврага, в котором прячется речка Чачинка, есть самородные сосны, выросшие, как лесоводы говорят, «в редком стоянии». Это низкие деревья без прямых стволов со множеством крупных ветвей. Многие из них имеют кустообразную форму, некоторые уродливы. Есть, например, одна курьезная сосна, похожая на лиру. На высоте полуметра от земли отходит вправо сук такой же точно толщины, как основной ствол; на полметра выше отделяется влево такой же толстый сук; потом еще сук вправо, еще влево. Их всего семь штук, и они не торчат во все стороны, а почему-то расположены в одной плоскости — вправо и влево. Вначале они отходят от ствола горизонтально, а потом изгибаются вверх и образуют очертания лиры.

Вот такие деревья вырастают на свободе. Становится понятной мысль классика лесной науки Г. Ф. Морозова о том, что забота о высоком качестве будущего леса «заставляет лесоводов при образовании насаждений создавать густой древостой, чтобы деревца возможно скорее сомкнулись и стали бы обнаруживать взаимное влияние друг на друга. Тьлько при этом условии возможно боковое отенение, благодаря которому деревья не только не разрастаются в сучья, но быстро очищаются от них и растут быстрее в высоту».

Поэтому опыты разреженной посадки мне лично кажутся рискованными. Деревья должны расти в тесноте.

Но понятия «теснота» и «простор» изменчивы, они зависят от возраста деревьев.

В самородных лесах из упавших на землю семян вырастают на гектаре десятки тысяч крошечных сосенок. Вначале им достаточно просторно, а потом, как подрастут, становится тесно, не хватает для всех места, и часть сосенок неминуемо должна погибнуть. Происходит естественное самоизреживание леса. К двадцати годам на гектаре остается шесть-семь тысяч штук. А деревья продолжают расти, все больше и больше требуется места для корней и крон каждой сосны, поэтому отмирание лишних деревьев продолжается, и все больше накапливается сухостоя и упавшего на землю валежника. К ста годам на гектаре остается семьсот—восемьсот живых деревьев, а при особо быстром росте — всего пятьсот.

Погибают, конечно, слабейшие; выживают сильнейшие. Но борьба за место отнимает силы и у выживающих экземпляров.

Так бывает в таежных лесах, растущих без присмотра, без вмешательства человека, без ухода.

Лесовод, выращивающий культурный лес, ведет его по тому же пути, указанному самой природой, но ведет ускоренно и облегченно. Он держит древостой в разумной и полезной для роста густоте, но не допускает, чтобы густота стала чрезмерной, изну-

рительной и гибельной. Поэтому приходится периодически изреживать древостой, вырубая лишние деревья. Такие изреживания называются рубками ухода.

Отбор деревьев в рубку требует от лесовода умения и вдумчивости. В группе рядом стоящих деревьев надо верно наметить, какие экземпляры наиболее перспективны для дальнейшего роста, какие мешают им расти, какие помогают. Неверный выбор принесет не пользу, а вред.

Рубки ухода улучшают условия существования оставшихся деревьев, ускоряют их рост, улучшают качество.

Кто занимался огородничеством, тот знает, что морковь, репу и свеклу надо сеять густо, а потом по мере роста периодически изреживать, иначе урожая не получишь. В начале лета приходится выдергивать морковки да свекотки и выбрасывать, потому что слишком они мелки и никуда еще не годятся. А при следующих прореживаниях, когда они становятся покрупнее, их уже кладут в суп.

То же самое делается и при выращивании леса. И точно так же вырубаемые деревья пускают в дело, хоть и мелки они, как недозревшие морковки.

У нас распространены неверные взгляды на лесное хозяйство, сплошь и рядом наша общественность считает рубки ухода «истреблением леса». А на самом-то деле они необходимы, но, к сожалению, не везде их ведут, а в старые годы и совсем не вели; из-за этого много леса испорчено.

Особенно необходимы рубки ухода в смешанном хвойно-лиственном молодняке, если на одной и той же площади вырастает попеременно молодняк разных пород и одна порода глушит другую. Профессор В. П. Тимофеев рассказывал мне о многих случаях, когда осина заглушала сосну, ель и дуб; боры и дубравы превращались в гнильце осинники только потому, что не вели рубок ухода.

Вообще при разумном вмешательстве человека лес растет лучше, чем в диком состоянии. Ростом леса надо управлять.

### БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Значение зеленых зон, окружающих города, огромно. Они служат народу. И сейчас на них обращено особое внимание.

В 1960 году Главлесхоз РСФСР постановил расширить зеленые зоны вокруг городов на тринадцать миллионов гектаров и приспособить три миллиона гектаров новых лесов для отдыха горожан. Площадь пригородных лесов увеличится за пять лет более чем в два с половиной раза, потому что к началу 1960 года в зеленых поясах городов и промышленных центров РСФСР насчитывалось девять миллионов гектаров насаждений.

Вот сколько свежего воздуха придет в наши города, и вот какое будет людям раздолье!

И конечно, не будет забыта Москва. Вынесен целый ряд решений: о расширении границ столицы, о едином генеральном плане строительства и озеленения, об увеличении Московского лесопаркового пояса и улучшении ухода за ним. Это не какие-либо декларации с отвлеченными пожеланиями, а вполне конкретные планы, подкрепляемые реальными делами по реконструкции лесов, их благоустройству, новым посадкам.

Выделяется больше сил, больше средств, больше машин.

Мы еще погуляем с вами по хорошим подмосковным лесам!





Стоило, например, молодому человеку сказать в разговоре, что сейчас ему **надо** пойти ну хотя бы к сапожнику, и старики сердито кричали ему:

— Не надо, а **надобно!** Зачем ты коверкаешь русский язык?

Наступила новая эпоха. Прежние юноши стали отцами и дедами. И пришла их очередь возмущаться такими словами, которые ввела в обиход молодежь:

**даровитый,  
отчетливый,  
голосование,  
человечный,  
общественность,  
хлыщ.**

Теперь нам кажется, что эти слова существуют на Руси спокон веку и что без них мы никогда не могли обойтись, а между тем в тридцатых—сороковых годах минувшего столетия то были слова-новички, с которыми тогдашние ревнители чистоты языка долго не могли примириться.

Теперь даже трудно поверить, какие слова показались в ту пору, например, князю Вяземскому низкопробными, уличными. Слова эти: **бездарность** и **талантливый**. «**Бездарность, талантливый**,— возмущался князь Вяземский,— новые площадные выражения в нашем литературном языке. Дмитриев правду говорил, что «наши новые писатели учатся языку у лабазников».

Если тогдашней молодежи случалось употребить в разговоре такие неведомые былым поколениям слова, как:

**факт,  
результат,  
интересный,  
ерунда,  
солидарность,**

представители этих былых поколений заявляли, что русская речь терпит немалый урон от такого наплыва вульгарнейших слов.

«Откуда взялся этот **факт?**— возмущался, например, Фаддей Булгарин в 1847 году.— Что это за слово? Латинское, исковерканное».

Яков Грот уже в конце шестидесятых годов объявил безобразным новоявленное слово **вдохновлять**.

Даже такое слово, как **научный**, и то должно было преодолеть большое сопротивление старозаветных пуритов, прежде чем войти в нашу речь в качестве полноправного слова.

Старики требовали, чтобы вместо **научный** говорили только **ученый**: **ученая** книга, **ученый** трактат. Слово **научный** казалось им недопустимой вульгарностью.

Впрочем, было время, когда даже слово **вульгарный** они готовы были считать незаконным. Пушкин, не предвидя, что оно обрусееет, сохранил в «Онегине» его чужеземную форму. Вспомним знаменитые стихи о Татьяне:

Никто б не мог ее прекрасной  
Назвать; но с головы до ног  
Никто бы в ней найти не мог  
Того, что модой самовластной  
В высоком лондонском кругу  
Зовется *vulgar* (Не могу...  
Люблю я очень это слово,  
Но не могу перевести;  
Оно у нас покаместь ново,  
И вряд ли быть ему в чести.  
Оно б годилось в эпиграмме...)

Переводить это слово на русский язык не пришлось, потому что оно само стало русским.

И долго не могли старики примириться с таким словосочетанием, как **литературное творчество**, которого не знали ни Державин, ни Жуковский, ни Пушкин.



Конечно, старики были неправы. Теперь и слово **надо**, и слово **ерунда**, и слово **факт**, и слово **голосование**, и слово **научный**, и слово **творчество**, и слово **обязательно** (в смысле **непреренно**) ощущаются всеми — и молодыми и старыми — как законнейшие коренные слова русской речи, и кто же может обойтись без этих слов!

Теперь уже всякому кажется странным, что Некрасов, написав в одной из своих повестей **ерунда**, должен был пояснить в примечании: «Лакейское слово, равнозначительное слову — **дрянь**», а «Литературная газета» тех лет, заговорив о чьей-то виртуозной игре, сочла себя вынужденной тут же прибавить, что **виртуозный** — «новомодное слово».

## 2

Но вот миновали годы, и я в свою очередь стал стариком. Теперь по моему возрасту и мне полагается ненавидеть слова, которые введены в нашу речь молодежью, и вопить о порче языка.

Тем более, что на меня, как на всякого моего современника, сразу в два-три года нахлынуло больше новых понятий и слов, чем на моих дедов и прадедов за последние два с половиной столетия.

Среди них было немало чудесных, а были и такие, которые казались мне на первых порах незаконными, вредными, портящими русскую речь, подлежащими искоренению и забвению,

---

Помню, как страшно я был возмущен, когда молодые люди, словно сговорившись друг с другом, стали вместо до свидания говорить почему-то **пока**.

---

Или эта форма: **Я пошел** вместо **я ухожу**. Человек еще сидит за столом, он только собирается уйти, но изображает свой будущий поступок уже совершенным.

С этим я тоже долго не мог примириться.

---

В то же самое время молодежью стал по-новому ощущаться глагол **переживать**. Мы говорили: «я переживаю горе» или «я переживаю радость»; а теперь говорят: «я так **переживаю**» (без дополнения). И это слово означает теперь: «я волнуюсь», а еще чаще — «я страдаю», «я мучаюсь».

Такой формы не знали ни Толстой, ни Тургенев, ни Чехов. Для них **переживать** всегда было переходным глаголом. А теперь я слышал своими ушами следующий пересказ одного модного фильма о какой-то старинной эпохе.

— Я так переживаю! — сказала графиня.

— Брось переживать! — сказал маркиз.

---

Так же коробило меня выражение **я кушаю**. В мое время то была учтивая форма, с которой человек обращался не к себе, а к другим:

— Пожалуйста кушать!

Сказать же о себе **я кушаю** — это было все равно, что сказать:

— Я настолько великодушен и милостив, что снисходительно вкушаю мою пищу.

---

Тогда же в просторечии возникло словечко **обратно** — с безумным значением: **опять**.

Помню: когда я впервые услышал из уст молодой домработницы, что вчера вечером пес Бармалей «**обратно** лаял на Марину и Тату», я вообразил, будто Марина и Тата первые залаяли на этого пса.

---

Вдруг неожиданно-негаданно не только в устную, разговорную, но и в письменную, книжную речь вторглось новое словосочетание в адрес — и в течение нескольких месяцев вытеснило прежнюю форму по адресу. Мне с непривычки было дико и странно слы-

шать: «она сказала какую-то колкость в мой адрес», «раздались рукоплескания в его адрес».

Такой же гнев вызвала во мне на первых порах форма: **выборá** (вместо **вы́боры**), **договорá** (вместо **договóры**), **лекторá** (вместо **лѐкторы**).

В ней слышалось мне что-то залихватское, бесшабашное, забубенное, ухарское.

Напрасно я утешал себя тем, что эту форму уже давно узаконил русский литературный язык. Ведь, говорил я себе, прошло лет восемьдесят, а пожалуй, и больше с тех пор, как русские люди перестали говорить и писать: **дóмы**, **дóкторы**, **учѐители**, **профѐссоры**, **слѐсары**, **юнкеры**, **пѐкари**, **пѐсары**, **флѐгели**,— и охотно заменили их формами: **домá**, **учителѐя**, **профессорá**, **слесарѐя**, **флигелѐя**, **юнкерá**, **пекарѐя** и т. д.

Мало того. Следующее поколение придало ту же залихватскую форму новым десяткам слов, таким, как: **бухгалтерѐя**, **тóмы**, **кáтеры**, **тóполи**, **лáгери**, **дѐзели**. Стали говорить и писать: **бухгалтерá**, **томá**, **катерá**, **тополѐя**, **лагерѐя**, **дизелѐя** и т. д.

Еще Чехов не признавал этих форм. Для него существовали только **инженеры** и **тополи**, а если бы он услышал **томá**, он подумал бы, что речь идет о французском композиторе Амбруазе **Томá**.

Казалось бы, довольно. Но нет. Пришло новое поколение, и я услышал от него: **шоферá**, **авторá**, **библиотекарѐя**, **секторá**...

И еще через несколько лет: **выходá**, **супá**, **планá**, **матерѐя**, **дочерѐя**, **секретарѐя**, **площадѐя**, **плоскостѐя**, **скоростѐя**, **ведомостѐя**, **возрастá**.

В то же время я хорошо понимал, что протестовать против этих слов бесполезно. Я мог сколько угодно возмущаться, выходить из себя, но нельзя же было не видеть, что здесь на протяжении столетия происходит какой-то безостановочный стихийный процесс замены безударного окончания **ы** (**и**) сильно акцентированным окончанием **а** (**я**).

И кто же поручится, что наши правнуки не станут говорить и писать: **кранá**, **актерá**, **медведѐя**, **желудѐя**.

Наблюдая за пышным расцветом этой ухарской формы, я не раз утешал себя тем, что эта форма завладевает главным образом теми словами, которые в данном профессиональном (иногда очень узком) кругу упоминаются чаще всего: форма **планá** существует только среди чертежников; **тортá**— в кондитерских; **супá**— в ресторанных кухнях; **площадѐя**— в домовых управлениях, **скоростѐя**— у трактористов и шоферов.

Не станем сейчас заниматься вопросом, желателен ли этот процесс или нет, куда нам важно отметить один многозначительный факт: все усилия бесчисленных ревнителей чистоты языка остановить этот бурный процесс или хотя бы ослабить его до сих пор остаются бесплодными. Если бы мне даже и вздумалось сейчас написать:

«крымские **тополи**» или «**томы** Шекспира»—

я могу быть заранее уверенным, что в моей книге напечатают так:

«крымские **тополѐя**», «**томá** Шекспира».

Ибо и **тополи** и **томы** уже так устарели, что современный читатель почуял бы в них стилизаторство, жеманность, манерничанье.

### 3

Не стану перечислять все слова, какие за мою долгую жизнь вошли в наш родной язык буквально у меня на глазах.

Скажу только, что среди этих слов было немало таких, которые встречал я с любовью и радостью. О них речь впереди. А сейчас я говорю лишь о тех, что вызывали во мне отвращение. Поначалу я был твердо уверен, что это слова-выродки, слова-отщепенцы, что они искажают и коверкают русский язык, но потом, наперекор своим вкусам и навыкам, попытался отнестись к ним гораздо добрее.

Стерпится— слюбится! За исключением слова **обратно** (в смысле **опять**), которое никогда и не притязало на то, чтобы войти в наш литературный язык, да пошлого выражения **я кушаю** все прочие из перечисленных слов могли бы, кажется, мало-помалу завоевать себе право гражданства и уже не коробить меня.

Это в высшей степени любопытный процесс — нормализация недавно возникшего слова в сознании тех, кому оно при своем появлении казалось совсем неприемлемым, грубо нарушающим нормы установленной речи.

Очень точно изображает этот процесс становления новых языковых норм академик Яков Грот. Упомянув о том, что на его памяти принялись такие слова, как

деятель,  
представитель,  
почин,  
влиятельный,  
сдержанный,—

ученый справедливо говорит:

«Ход введения подобных слов бывает обыкновенно такой: вначале слово допускается очень немногими; другие его дичатся, смотрят на него недоверчиво, как на незнакомца; но чем оно удачнее, тем чаще начинает являться. Мало-помалу к нему привыкают, и новизна его забывается: следующее поколение уже застаёт его в ходу и вполне усваивает себе. Так было, например, с словом **деятель**; нынешнее молодое поколение, может быть, и не подозревает, как это слово, при появлении своем в 30-х годах, было встречено враждебно большою частью пишущих. Теперь оно слышится беспрестанно, входит уже и в правительственные акты, а было время, когда многие, особенно из людей пожилых, предпочитали ему **делатель** (см., напр., сочинения Плетнева). Иногда случается однако ж, что и совсем новое слово тотчас полюбит и войдет в моду. Это значит, что оно попало на современный вкус. Так было в самое недавнее время с словами: **влиять (и повлиять), влиятельный, относиться к чему-либо так или иначе и др.**».

Почему бы этому не случиться и с теми словами, о которых я сейчас говорил?

Конечно, я никогда не введу этих слов в свой собственный речевой обиход. Было бы противоестественно, если бы я, старый человек, в разговоре сказал, например, **договорá** или **томá**; или: **я так переживаю**; или: **ну, я пошел**; или: **пока**. В моих устах эти слова прозвучали бы нестерпимой фальшью. Но почему бы мне не примириться с людьми, которые пользуются таким лексиконом?

Право же, было бы очень нетрудно убедить себя в том, что слова эти не хуже других: вполне правильны и даже, пожалуй, желательны.

— Ну что плохого,— говорю я себе,— хотя бы в коротеньком слове **пока**? Ведь точно такая же форма прощания с друзьями есть и в других языках, и там она никого не шокирует. Великий поэт Уолт Уитмен незадолго до смерти простился с читателями трогательным стихотворением «So long!», что и значит по-английски — «Пока!». Французское «à bientôt!» имеет то же самое значение. Грубости здесь нет никакой. Напротив, эта форма исполнена самой любезной учтивости, потому что здесь спрессовался такой (приблизительно) смысл: будь благополучен и счастлив, **пока** мы не увидимся вновь!

Да и с выражением **ну, я пошел** не так уж трудно примириться, как чудилось мне в первое время.

Великий языковед А. А. Потебня еще в 1874 году отыскал образцы этой формы в литовских, сербских, украинских текстах, а также в наших старорусских духовных стихах:

Молися ты господу, трудися,  
За Алексея божия человека,  
**А я пошел** во иншую землю.

Увидя это **я пошел** в древней песне, существующей по меньшей мере четыреста лет, я уже не мог восставать против этого — как теперь оказалось — далеко не нового «новшества», узаконенного нашим языком с давних пор и совершенно оправданного еще в семидесятих годах одним из авторитетнейших наших лингвистов.

И сказать ли? Я даже сделал попытку примириться с русским падежным окончанием слова **пальто**.

Конечно, это для меня трудновато, и я по-прежнему тяжело страдаю, если в моем присутствии кто-нибудь скажет, что он нигде не находит **пальта** или идет к себе домой за **пальтом**.

Но все же я стараюсь не сердиться и утешаю себя таким рассуждением.

— Ведь,— говорю я себе,— вся история слова **пальто** подсказывает нам эти формы. В повестях и романах, написанных около середины минувшего века или несколько раньше, слово это печаталось французскими буквами:

«Он надел свой модный *paletot*».

«Его ветхий *paletot* был в пыли».

(Ср. в «Анне Карениной»: «У Алексея будет *atelier* хороший».)

По-французски *paletot* — мужского рода, и даже тогда, когда оно стало печататься русскими буквами, оно еще лет восемь или десять сохраняло мужской род и у нас. В тогдашних книгах мы могли прочесть:

«Этот красивый **пальто**».

«Он распахнул свой осенний **пальто**».

Но вот после того, как **пальто** стало очень распространенной одеждой, его название сделалось общенародным. Едва только народ ощутил это слово таким же своим, чисто русским, как, скажем, **яйцо**, **колесо**, **молоко**, **толокно**, он стал склонять его по правилам русской грамматики: **пальта**, **пальту**, **пальтом** и даже **пóльта**.

— Что же здесь худого? — говорил я себе и тут же пытался убедить себя новыми доводами.— Ведь русский язык настолько жизнеспособен, здоров и могуч, что тысячу раз на протяжении веков самовластно подчинял своим собственным законам и требованиям любое иноязычное слово, какое ни войдет в его орбиту.

В самом деле. Чуть только он взял у татар такие слова, как **тулуп**, **халат**, **кушак**, **амбар**, **сундук**, **туман**, **товар**, **армяк**, **арбуз**, ничто не помешало ему склонять эти чужие слова по законам своей русской грамматики: **сундук**, **сундука**, **сундуком**.

Точно так же поступил он со словами, которые добыл у немцев, с такими, как **фар-тук**, **бляха**, **парикмахер**, **курорт**.

У французов он взял не только **пальто**, но и такие слова, как **бульон**, **пассажир**, **лабаз**, **спектакль**, **пьеса**, **кулиса**, **билет**,— так неужели он до того анемичен и слаб, что не может распоряжаться этими словами по-своему, изменять их по числам, падежам и родам, создавать из них такие чисто русские формы, как **пьеска**, **закулисный**, **безбилетный**, **лабазник**?

Конечно, нет! Эти слова совершенно подвластны ему. Почему же делать исключение для слова **пальто**, которое к тому же до того обрусело, что тоже обросло исконно русскими национальными формами: **пальтишко**, **пальтецо** и т. д.

Почему же не склонять это слово, как склоняются, скажем, **шило**, **коромысло**, **весло**? Ведь оно принадлежит именно к этому ряду существительных среднего рода.

Пуристы же хотят, чтобы оно оставалось в ряду таких несклоняемых слов, как **домино**, **грюмо**, **манто**, **бюро** и т. д. Между тем оно уже вырвалось из этого ряда, и нет никакого резона переносить его обратно в этот ряд.

## 4

Так убеждал я себя, и мне казалось, что все мои доводы неотразимо логичны.

Но, очевидно, одной логики мало для оценки того или иного языкового явления. Существуют другие критерии, которые сильнее всякой логики.

Мы можем сколько угодно доказывать и себе и другим, что то или иное слово и по своему смыслу, и по своей экспрессии, и по своей грамматической форме не вызывает никаких нареканий. И все же по каким-то особым причинам человек, который пронесет это слово в обществе образованных, культурных людей, скомпрометирует себя в их глазах навсегда. Конечно, формы словоупотребления чрезвычайно меняются, и трудно предсказать их судьбу, но всякий, кто скажет, например, в 1961 году **выборá**, сразу зарекомендует себя как человек не очень высокой культуры.

И как бы ни были убедительны доводы, при помощи которых я пытался оправдать склоняемость слова **пальто**, все же, едва я услышал от одной очень милой медицинской сестры, что осенью она любит ходить без **пальта**, я невольно почувствовал к ней антипатию.

И тут мне сделалось ясно, что, несмотря на все свои попытки защитить эту, казалось бы, совершенно законную форму, я все же в глубине души не приемлю ее. Ни под каким видом до конца своих дней я не мог бы ни написать, ни сказать в разговоре: **пальта**, **пальту** или **пальтом**.

И нелегко мне почувствовать душевное расположение к тому человеку — будь он врач, инженер, литератор, учитель, студент, — который скажет при мне:

— Он смеялся в **мой адрес**.

Или:

— Ваше письмо было **зачитано** на общем собрании.

Может быть, в будущем, в семидесятых годах, эти формы окончательно утвердятся в обиходе культурных людей, но сейчас, в 1961 году, они все еще ощущаются мною как верная примета бескультурья.

Что же касается таких форм, как **пока**, **я пошел** и других, их, несомненно, пора амнистировать, ибо их связь с той низменной, мешанской средой, которая их породила, успела уже всеми позабыться, и таким образом из разряда просторечных, жаргонных они уже прочно вошли в разряд литературных — и нет ни малейшей нужды изгонять их оттуда.

## 5

В наших нынешних спорах о родном языке больше всего поразительна их необыкновенная страстность.

Чуть только дело дойдет до вопроса о том, не портится ли русский язык, не засоряется ли он такими словами, которые губят его красоту, самые спокойные люди вдруг начинают выходить из себя. С гневом и тоской заявляют они, что наш выразительный, звучный и красивый язык переживает ужасный период упадка, что он одичал, опошлел и что требуются какие-то чрезвычайные меры, чтобы вернуть ему прежнюю величавую мощь.

Вы только вслушайтесь, каким трагическим голосом — словно произошла катастрофа! — говорит писатель Константин Паустовский о тех мучительных чувствах, которые ему пришлось испытать, когда до его слуха донеслись вот такие две фразы, сказанные кем-то над летней рекой:

— Закругляйте купаться!

и

— Лимит времени прошу соблюдать!

Едва только писатель услышал эти фразы, с ним произошло что-то страшное:

«Солнце в моих глазах померкло от этих слов. Я как-то сразу ослеп и оглох. Я уже не видел блеска воды, воздуха, не слышал запаха клевера, смеха белокрысых мальчишек, удивших рыбу с моста. Мне стало даже страшно...»

В своем праведном гневе, которому я, конечно, глубочайше сочувствую, писатель так пылко возненавидел того, кто произнес эту фразу, что стал обвинять его в преступном цинизме и даже в равнодушном отношении к родине.

«Я подумал, — пишет он, — до какого же холодного безразличия к своей стране, к своему народу, до какого невежества и наплевательского отношения к истории России, к ее настоящему и будущему нужно дойти, чтобы заменить живой и светлый русский язык речевым мусором».

Как ни относиться к этим резким суждениям писателя о двух фразах, услышанных им, необходимо признать, что суждения эти чрезвычайно характерны для тех горячих, тревожных — я бы сказал, неистовых — чувств, которыми так часто бывают окрашены все нынешние наши разговоры и споры о родном языке.

Достаточно вспомнить, с какой непримиримой враждебностью относился покойный писатель Гладков ко всякому, кто, например, ставил неправильные ударения над сло-

вом **реку́** или употреблял выражения **пара минут, пара дней**. Как-то около месяца я провел с ним в больнице и с большим огорчением вспоминаю теперь, какой у него сделался сердечный припадок, когда один из больных (по образованию геолог) вздумал защищать перед ним слово **учёба**, к которому Федор Васильевич питал самую пылкую ненависть.

Подобных случаев я наблюдал очень много. Люди стонут, хватаются за сердце, испытывают лютые муки, когда в их присутствии так или иначе уродуется русская речь.

Причем замечательно, что наряду с уродливыми словами и фразами они зачастую ненавидят и тех, кто ввел этих уродов в свою речь.

— Я бы ей, мерзавке, глаза выцарапала,— сказала одна старая женщина (обычно весьма добродушная), когда услышала, как некая дева с искренним восторгом закричала подруге:

— Смотри, какие **шикарные похороны!**

Дева действительно была воплощением пошлости: ее восклицание носило на себе отпечаток самых затхлых низин обывательщины. За это — и только за это — старуха отнеслась к ее словам с такой злобой.

Ибо очень часто тот или иной речевой оборот бывает нам люб или гадок не сам по себе, но главным образом в связи с той средой, которая породила его.

О подобных случаях хорошо говорил еще в двадцатых годах один из талантливейших наших филологов.

«Это,— говорил он,— борьба не против слова, а против того, что **за ним**: против душевной пустоты, против попытки заткнуть словом прорехи мысли и совести».

И более подробно о том же:

«Чаще всего наше чувство протестует не столько против самых словечек, сколько против того, что за ними. Их неточность и неправильность, их безграмотность и чужеродность не были бы так несносны, если бы не были очевиднейшим выражением внутренней пошлости и кривляния, неискренности и легкости в мыслях необычайной».

Вот в какой атмосфере раскаленных страстей уже с двадцатых — тридцатых годов происходят у нас разговоры о красотах и уродствах нашей речи.

Так огромна в настоящее время заинтересованность советских людей в высоком качестве своего языка. Чувствуется, что слова, против которых они восстают, терзают им не только слух, но и сердце.

С каждым годом эти раскаленные страсти становятся все сильнее. До какого накала дошли они нынче, я убедился, так сказать, на собственном опыте.

Стоило мне напечатать в «Известиях» небольшую статью о некоторых тенденциях современного языкового развития, и я получил от читателей десятки ругательных писем, где вопросы о родном языке дебатировались с беспримерной запальчивостью.

Например, московский житель Герасим Афанасьевич Бальбук, найдя в моей статье выражение, которое показалось ему неудачным, именует меня в письме **шарлатаном** и другими еще более едкими прозвищами. А кандидат наук Борис Вячеславович Мелас, обличая меня в дикой безграмотности, всячески поносит меня за то, что я позволил себе внести в свою статью такие слова, как **мне сдается, угнездились, отшибить**, хотя, право же, они чисто русские, простые и ясные.

Вообще всем этим письмам — умным и глупым равно — свойственна повышенная эмоциональность, взволнованность. Обвиняют ли читатели неряшливый газетный жаргон, приводят ли они вопиющие примеры тех искажений, которые встречаются в речи учителей и учащихся, указывают ли на речевые погрешности радио — ясно, что для каждого из них это жгучий вопрос, который они не могут обсуждать хладнокровно.

## 6

Пристально вчитавшись в эти письма, я увидел, что суждения, которые излагаются в них, легко можно распределить по таким (очень отчетливым) рубрикам.

Одни читатели непоколебимо уверены, что вся беда нашего языка в иностранщине, которая будто бы вконец замутила безукоризненно чистую русскую речь. Избавление от этой беды представляется им очень простым: нужно выбросить из наших книг, раз-

говоров, статей все нерусские, чужие слова — все, какие есть, — и наш язык тотчас же выздоревает и вернет себе свою красоту. Эти борцы с иностранщиной настроены очень воинственно, и когда я позволил себе насмешливо выразиться о каком-то литературном явлении **снобизм**, я был во множестве писем осыпан самыми злыми упреками.

Другие читатели требуют, чтобы мы спасли нашу речь от чрезмерного засилия вульгаризмов — таких, как **шамать**, **волынить**, **буза**, **на большой палец**, **железно** и проч.

Третьи видят главную беду языка в том, что он чересчур засорен диалектными, областными словами.

Четвертые, напротив, негодуют, что мы слишком уж строги к областным диалектам и гоним из литературного своего обихода такие живописные речения, как **лонись**, **осе-нёсь**, **кортомыга**, **невздоха**, а также старорусские: **всуе**, **доколе**.

Пятым хочется, чтобы русский язык был жеманнее, субличнее, чопорнее. Их до глубины души возмущают такие выражения, как **дрянь** или **дрыгнуть**. Прочтя в моей статье слово **пакостный**, новочеркасский пенсионер П. Тимофеев поспешил сделать мне начальственный выговор: «Это слово не должно быть (так и написано: не должно быть.—К. Ч.) в разговоре, а тем более в печати, в серьезной статье». А бакинский читатель А. Д. Джебраимов, сделав мне такой же упрек, высказал в своем письме пожелание, чтобы русская литература была возможно скорее избавлена от тех грубостей, какие встречаются в стихах Маяковского. «Разве,— пишет он,— такие выражения, как «Облако в штанах», «Я волком бы выгрыз бюрократизм», «Я достая из широких штанов» и т. д. и т. д., могут дать ценное для освоения русской речи?»

Шестые обрушиваются на сложно-составные слова, такие, как **Облупрпромпродто-вары**, **Ивгосшвейтрикотаажупр**, **Урггоррудметпромсоюз** и т. д. Причем заодно достается даже таким, как **Детгиз**, **диамат**, **биофак**.

Конечно, очень трогательна эта забота современных читателей о своем родном языке, о его процветании, красоте и здоровье.

Но можно ли считать безупречным поставленный ими диагноз? Нет ли здесь какой-нибудь невольной ошибки? Ведь в медицине это случалось не раз: лечили от мнимых болезней, а подлинной не распознали, не заметили. И пациенту приходилось своей жизнью расплачиваться за такие заблуждения медиков.

Никто не спорит: наша нынешняя русская речь действительно нуждается в лечении. К ней уже с давнего времени привязалась одна довольно неприятная хворь. Но на эту хворь очень редко обращают внимание. Зато неутомимо и самонадеянно лечат большую от несуществующих, воображаемых немощей. Это очень легко доказать. Нужно только подробно, внимательно, с полным уважением к читателю рассмотреть один за другим те недуги, от которых нам предлагают спасти наш язык.

Но прежде чем приступить к разговору об этом, не худо бы вспомнить с великой признательностью, как чудесно обновила наш язык революция.

Она очистила его от таких омерзительных слов, как **жид**, **малоросс**, **инородец**, **про-стонародье**, **мужичье** и т. д. Из действующих слов они сразу же стали архивными.

А вместе с ними и такие рабы, подобострастные формулы, как **милостивый государь**, **ваш покорный слуга**, **покорнейше прошу**, **покорнейше благодарю**, **соблаговолите**, **соизвольте**, **извольте...**

А также **ваша светлость**, **ваше сиятельство**, **ваше благородие**, **ваше высокопревосходительство** и т. д.

Изгнано слово **жалованье**, которое заменилось **зарплатой**, ибо в **жалованье** с давних времен сохранялся оттенок унижительной милости:

— Государь жалует тебя (землей или чином).

И нужно ли говорить, каким огромным содержанием насыщены такие новые слова, которые вошли в языки всего мира, как **советы**, **советский**, **колхоз**, **комсомол**, **спутник**, **прилуниться** и т. д.

Вообще впервые в истории нашей планеты русский язык мало-помалу становится языком всемирного значения. Трудно представить себе в настоящее время какой-нибудь университет или колледж во Франции, в Италии, в Англии, в США, где не было бы кафедры (или нескольких кафедр) русского языка и словесности и где эти кафедры не привлекали бы самую широкую массу студенчества.

И можем ли мы позабыть, что такие народы, как таджики, узбеки, азербайджанцы, казахи, дагестанцы, туркмены и многие другие, охотно и радушно ввели в свой речевой обиход тысячи русских слов, философских, общественно-политических, научных, технических терминов, а также иноязычных, уже обруселых.

Поэтому особенно горько, что как раз в эту пору небывалых триумфов родного языка приходится говорить о его недугах, грехах и ошибках.

## II. ПРОТИВ ХАНЖЕЙ И КЛИКУШ

### 1

И первый его недуг: иностранщина.

По общераспространённому мнению, в ней-то и заключается главная беда нашей речи.

Действительно, чужезычные слова могут вызвать досадное чувство, когда ими пользуются зря, бестолково, не имея для этого никаких оснований.

И да будет благословен Ломоносов, благодаря которому иностранная перпендикула сделалась маятником, из абриса стал чертеж, из оксигениума — кислород, из гидрогениума — водород, а бергверк превратился в рудник.

И, конечно, это превосходно, что такое обрусение слов происходит и в наши дни, что

аэроплан заменился у нас на глазах самолетом,  
геликоптер — вертолетом,  
грузовой автомобиль — грузовиком,  
митральеза — пулеметом,  
думпкап — самосвалом,  
голкипер — вратарем,  
шофер — водителем

и т. д.

И что педагоги, которые прежде бранили детей за недисциплинированность, неорганизованность, все чаще заменяют эти вялые, чужие слова очень выразительными русскими: расхлябанность, разболтанность и проч.

И было бы дико, если бы я не отнесся с полнейшим сочувствием к протесту писателя Бориса Тимофеева против казенно-иностранного словца пролонгировать, которое и в самом деле отдает канцелярией.

Точно так же, думается мне, прав этот автор, восставая против слова субпродукты, которые при ближайшем исследовании оказались русской требухой.

И как не радоваться, что немецкое фриштикаль, некогда столь популярное в обиходе столичных (да и провинциальных) чиновников, всюду заменилось русским завтракать и ушло б из нашей памяти совсем, если бы не сбереглось в «Ревизоре», а также в «Скверном анекдоте» Достоевского.

И что французская индигестия, означавшая несварение желудка, сохранилась теперь только в юмористическом куплете Некрасова:

Питаясь чуть не жестию,  
Я часто ощущал  
Такую индигестию,  
Что умереть желал.

И кто не разделит негодования Горького по поводу сплошной иностранщины, какой до недавнего времени часто шеголяли иные ораторы, как, например, «тенденция к аполитизации дискуссии», которая в переводе на русский язык означает простейшую вещь: «намерение устранять политику из наших споров».

Маяковский еще в 1923 году выступал против засорения массовых газет такими словами, как апогей и фиаско. В своем стихотворении «О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах» он рассказывает, что крестьяне деревни Акуловки, прочтя в газете



фразу «Пуанкаре терпит фиаско», решили, что Фиаско — большая персона, недаром даже французский президент его «терпит»:

Американец, должно.  
Понимаешь, дура?!

## 2

Все это так. Но значит ли это, что иноязычные слова, иноязычные термины, вошедшие в русскую речь, всегда во всех случаях плохи? Что **фиаско**, раз оно не понятно в деревне Акуловке, должно быть изгнано из наших книг и статей навсегда? А вместе с ним неисчислимое множество иноязычных оборотов и слов, которые давно уже усвоены нашими предками?

Имеем ли мы право решать этот вопрос по-шишковски, сплеча: к черту всякую иностранщину, какова б она ни была, и да здравствует химически-чистый, беспримесный, славяно-русский язык, свободный от латинизмов, галлицизмов, англицизмов и прочих кощунственных **измов**?

Такая шишковщина, думается мне, просто невысказана, потому что, чуть только мы вступим на эту дорожку, нам придется выбросить за борт такие слова, унаследованные русской культурой от древнего Рима и Греции, как **республика**, **диктатура**, **амнистия**, **милиция**, **пропаганда**, **космос**, **атом**, **грамматика**, **механика**, **тетрадь**, **фонарь**, **лаборатория** и т. д., и т. д.

А также слова, образованные в более позднее время от греческих и латинских основ: **геометрия**, **физика**, **зоология**, **интернационал**, **индустриализация**, **политика**, **экономика**, **стратосфера**, **термометр**, **телефон**, **телеграф**, **телевизор**.

И слова, пришедшие к нам от тюркских народов: **армяк**, **артель**, **аршин**, **балаган**, **бакалея**, **базар**, **башмак**, **караул**, **кутерьма**, **чулан**, **чулок** и т. д. и т. д.

И слова, пришедшие к нам из Италии: **почта**, **кабинет**, **бюллетень**, **скарлатина**, **газета**, **симфония**, **касса**, **кассир**, **галерея**, **балкон**, **опера**, **тенор**, **сопрано**, **сценарий** и другие.

И слова, пришедшие из Англии: **митинг**, **бойкот**, **клуб**, **чемпион**, **рельсы**, **руль**, **агитатор**, **лидер**, **спорт**, **вокзал**, **ростбиф**, **бифштекс**, **хулиган** и т. д.

И слова, пришедшие из Франции: **наивный**, **серьезный**, **солидный**, **массивный**, **эластичный**, **репрессия**, **депрессия**, **партизан**, **декрет**, **батарея**, **сеанс**, **саботаж**, **авантюра**, **авангард**, **кошмар**, **блуза**, **бронза**, **лабаз**, **метр**, **сантиметр**, **декада**, **парламент**, **браслет**, **пудра**, **одеколон**, **вуаль**, **котлета** и т. д.

И слова, пришедшие из Германии: **бутерброд**, **брудершафт**, **бухгалтер**, **вексель**, **штраф**, **флейта**, **мундир**<sup>1</sup>.

Не думаю, чтобы нашелся чужак, который потребовал бы, чтобы мы отказались от этих нужнейших и полезнейших слов, давно ощущаемых нами как русские.

Почему же в стране, где весь народ принял и превосходно усвоил такие слова, как **революция**, **социализм**, **коммунизм**, **демократия**, **пролетарий**, **капитализм**, **буржуй**, **интернационал**, **агитация**, **империализм**, **колониализм**, **марксизм**, и не только усвоил, а сделал их русскими, родными, своими, все еще находятся люди, которые буквально дрожат от боязни, как бы в богатейшую, самобытную русскую речь, не дай бог, не проникло еще одно слово с окончанием **ист** или **изм**?

Такие страхи бессмысленны хотя бы уже потому, что суффиксы **изм** и **ист** ныне ощущаются нами как русские: очень уж легко и свободно стали они сочетаться с чисто русскими, коренными словами — с такими, как, например, **правда**, **служба**, **очерк**, **уклон**, **связь**, **отозвать** и другие, — отчего сделались возможны следующие, прежде невысказанные, русские формы:

правдист  
связист  
очеркист

<sup>1</sup> Подробнее об этом см.: Б. Казанский. В мире слов. Л. 1958, стр. 119—179; К. И. Былинский. Практическая стилистика языка газеты (в книге «Язык газеты» М.—Л. 1941, стр. 151—152).

уклонист  
отзовист  
службист

Из чего следует, что русские люди мало-помалу привыкли считать суффикс *ист* не чужим, а своим, таким же, как *тель* или *чик* в словах *извозчик*, *служитель* и проч.

Даже древнее русское слово *баян* и то получило в народе суффикс *ист*: *баянист*.

Окончательно убедил меня в обрусении этого суффикса один пятилетний мальчишка, который, впервые увидев извозчика, с восторгом сказал отцу:

— Смотри, лошади**ст** поехал!

Мальчик знал, что на свете существуют трактористы, танкисты, таксисты, велосипедисты, но слова *извозчик* никогда не слышал и создал свое: *лошади**ст***.

Так же обрусел суффикс *изм*. Вспомним: большевизм, ленинизм. В сочинениях В. И. Ленина: *боевизм*. Академик В. В. Виноградов указывает, что в современном языке этот суффикс «широко употребляется в сочетании с русскими основами иногда даже яркой разговорной окраски: *хвостизм*, *наплеvizм*»<sup>1</sup>.

И *царизм*.

Или вспомним, например, иностранное *ория* в таких словах, как *оратория*, *история*, *консерватория*, *обсерватория* и т. д., и т. д., и т. д.

Не замечательно ли, что даже эти окончания, крепко припаянные к иностранным корням, настолько обрусели в последнее время, что стали легко сочетаться с исконно русскими, славянскими корнями. По крайней мере у Александра Твардовского в «Стране Муравии» вполне естественно прозвучало крестьянское словцо *суетория*:

Конец предвидится ай нет  
Всей этой *суетории*?

Очень верно говорит современный советский лингвист:

«Если оставить в стороне научные и технические термины и вообще книжные «иностранные» слова, а также случайные и мимолетные модные словечки, то можно смело сказать, что наши «заимствования» в большинстве вовсе не пассивно усвоенные готовые слова, а самостоятельно, творчески освоенные или даже заново созданные образования»<sup>2</sup>.

В этом и сказывается подлинная мощь языка. Ибо не тот язык по-настоящему силен, самобытен, богат, который боязливо шарахается от каждого чужеродного слова, а тот, который, взяв это чужеродное слово, творчески преображает его, самовластно подчиняя своей собственной воле, своим собственным эстетическим вкусам и требованиям, благодаря чему слово приобретает новую экспрессивную форму, какой не имело в родном языке.

Напомню хотя бы новоявленное слово *стиляга*. Ведь как создалось в нашем языке это слово? Взяли древнегреческое, давно обруселое *стиль* и прибавили к нему один из самых выразительных русских суффиксов — *яга*. Этот суффикс далеко не всегда передает в русской речи экспрессию морального осуждения, презрения. Но здесь он становится в ряд с такими неодобрительными суффиксами, как *ыга*, *юга*, *уга* и проч., что сближает *стилягу* со словами *прощельяга*, *подлюга*, *хапуга*, *выжига*, *ворюга*<sup>3</sup>.

Спрашивается: можно ли считать это слово иноязычным, заимствованным, если русский язык при помощи своих собственных — русских — выразительных средств придал ему свой собственный — русский — характер?

Этот русский характер подчеркивается еще тем обстоятельством, что в нашей речи свободно бытуют и такие чисто русские национальные формы, как *стиляжный*, *стиляжничать*, *достяляжиться* и т. д.

<sup>1</sup> В. В. Виноградов. Русский язык. М.—Л. 1947, стр. 111.

<sup>2</sup> Б. Казанский. В мире слов. Л. 1958, стр. 143.

<sup>3</sup> См. также В. В. Виноградов. Русский язык. М.—Л. 1947, стр. 75—76; В. Г. Костомаров. Откуда слово «стиляга»? «Вопросы культуры речи», Вып. 2, М. 1959, стр. 168—175.

— Вот ты и **достигаяжился!** — сказал раздраженный отец щеголеватому сыну, когда тот за какой-то зазорный поступок угодил в отделение милиции.

Или слово **интеллигенция**. Казалось бы, латинское его происхождение бесспорно. Между тем оно изобретено русскими для обозначения чисто русской социальной прослойки, совершенно неведомой Западу, ибо интеллигентом в те давние годы назывался не всякий работник умственного труда, а только такой, быт и убеждения которого были окрашены идеей служения народу <sup>1</sup>.

Иностранные авторы, когда пишут об этом слове, вынуждены **переводить его с русского**: «*intelligentia*». «Интеллидгентсиа» говорят англичане, взявшие это слово у нас. Мы, в качестве создателей этого слова, распоряжаемся им, как своим, при помощи русских окончаний и суффиксов: **интеллигентский, интеллигентность, интеллигентщина, интеллигентничать** и т. д. <sup>2</sup>

Или слово **шеф** — уж до чего иностранное! Оно даже не слишком ладит с нашей русской фонетикой. Но можно ли говорить, что мы пассивно ввели его в свой лексикон, если нами созданы такие чисто русские формы, как **шефство, шефствовать, шефский, подшефный** и проч.?

Русский язык так своенравен, силен и неутомим в своем творчестве, что любое чужеродное слово повернет на свой лад, оснастит своими собственными, гениально-экспрессивными приставками, окончаниями, суффиксами, подчинит своим вкусам, а порою и прихотям.

Язык — чудотворец, силач, властелин, он так круто переименовывает по своему произволу любую иноязычную форму, что она в самое короткое время теряет черты первородства; не дико ли дрожать и бояться, как бы случайно не повредило ему какое-нибудь залетное, чужеродное слово!

### 3

**В истории русской культуры** уже бывали эпохи, когда вопрос об иноязычных словах становился **так же** актуален и жгуч, как сейчас.

Такой, например, была эпоха Белинского — тридцатые и особенно сороковые годы минувшего века, когда в русский язык из-за рубежа ворвалось множество новых понятий и слов. Полемика об этих словах велась с ожесточенной страстью. Белинский всем сердцем участвовал в ней и внес в нее много широких и мудрых идей, которые и сейчас могут направить на истинный путь всех размышляющих о родном языке.

К сожалению, сложная позиция Белинского в этом сложном вопросе изображается в большинстве случаев чрезвычайно упрощенно. Не знаю, в силу каких побуждений пишущие о нем зачастую выпячивают одни его мысли и скрывают от читателей другие. Получается зловредная ложь о Белинском, искажающая подлинную суть его мыслей.

Чтобы понять эти мысли во всем их объеме, мы должны раньше всего ясно представить себе, как огромно было количество иностранных оборотов и слов, вторгшихся в тогдашнюю русскую речь.

Их вторжение страшно тревожило и сердило пуристов, которые из недели в неделю, из месяца в месяц выражали стихами и прозой свою свирепую ненависть к ним.

Вот, например, какую мозаику составил из них некий разъяренный пурист, выхвативший их из журнальных статей того времени:

**«Гуманные элементы человеческого сюжета и прогрессивное воззрение, не допуская мелочного анализа, так сказать, будучи замкнуты в грандиозности мировых феноменов жизни, сосредотачиваются в индивидуальной единичности. Отторгаясь от своих субъективных интересов, личность наша стремится в мир объективных фактов и идей, и здесь-то доктрина умов великих, универсальных, здесь-то виртуозность творения достигает своих высоких результатов».**

<sup>1</sup> Реакционные журналисты Погодин, Катков, князь Мещерский вполне подходили под рубрику «работники умственного труда», но никому и в голову не пришло бы в семидесятих годах назвать кого-нибудь из них интеллигентом.

<sup>2</sup> См. подробную историю этого слова в книге Л. Борового «Путь слова», М. 1960. стр. 247—263.

«И это русский язык половины XIX века! — ужасался блюститель чистоты русской речи. — Читаем и не верим глазам своим! Что бы сказали, если б жили, А. С. Шишков и другие поборники русского слова, что бы сказал Карамзин?»

Сильно изумится современный читатель, узнав, что этим «поборником русского слова» был пресловутый мракобес Фаддей Булгарин, реакционнейший журналист той эпохи, который очень плохо владел русской речью и постоянно калечил ее во всех своих романах, рассказах, статьях.

А тем писателем, от которого он защищал эту речь, был гениальный стилист Белинский, один из сильнейших мастеров русского слова.

Ибо в ту пору Белинский из пламенной любви к русской речи упорно внедрял в нее философские и научные иностранные термины, так как видел здесь одну из непоследних задач своего служения интересам народа.

Именно эта задача заставила Белинского высказывать в своих статьях сожаление, что в русской речи еще не вполне утвердились такие слова, как **концепция**, **ассоциация**, **шанс**, **атрибут**, **эксплуатировать**, **реванш**, **ремонттировать** и т. д., и т. д., и т. д.

Откуда же у великого критика такое упорное тяготение к иностранным словам, против которых вместе с Фаддеем Булгариным бешено восстала в ту пору вся свора реакционных писак?

Ответ на этот вопрос очень прост: такое обогащение словарного фонда вполне отвечало насущным потребностям разночинной интеллигенции тридцатых и сороковых годов XIX века.

Ведь именно тогда под могучим воздействием крестьянских восстаний и народных потрясений на Западе, русские разночинцы, несмотря ни на какие препоны, страстно приобщались к идеям революционной Европы, и, естественно, им понадобилось огромное множество слов для выражения этих новых идей.

Рядом с Белинским над обогащением национального словаря трудились такие революционеры, как Петрашевский и Герцен. Петрашевский в своем знаменитом «Карманном словаре иностранных слов» (1845) утвердил в русском литературном обиходе слова **социализм**, **коммунизм**, **терроризм**, **материализм**, **фурьеризм** и проч.

Герцен приучил читателя к таким еще не установившимся терминам, как **эмпиризм**, **национализм**, **политеизм**, **феодализм** и проч.<sup>1</sup>

Без этого колоссального расширения русской лексики была бы невозможна пропагандистская работа Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Вооружив русскую публицистику, русскую философию и критику этими важнейшими терминами, Белинский, Петрашевский и Герцен совершили великий патриотический подвиг, ибо благодаря им «народные заступники» сороковых — шестидесятых годов могли наиболее полно выражать свои стремления и чаяния.

Здесь была бессмертная заслуга Белинского. Не прошло и двадцати лет с той поры, как Пушкин с огорчением писал, что «ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись», — и вот они наконец-то заговорили по-русски — вдохновенно и ярко.

Нанесен ли этим хоть малейший ущерб русскому национальному чувству? Напротив. Справедливо говорит об этом современный советский исследователь:

«Чуждый низкопоклонства перед Западом, подлинный и страстный патриот, веривший в могучие силы и величие русского народа, Белинский понимал, что иноязычные слова, в которых имеется настоятельная потребность, не смогут ослабить самобытность русского языка и принизить достоинство русского народа. Он понимал, что «опекуны слова», неистовствуя против иноязычных слов, проявляют ложный патриотизм»<sup>2</sup>.

«Бедна та народность, — писал Белинский в 1844 году, — которая трепещет за свою самостоятельность при всяком соприкосновении с другою народностью!»

<sup>1</sup> А. И. Дубяго. Иноязычная лексика в языке М. В. Буташевича-Петрашевского. «Ученые записки Калининградского пединститута», вып. VII, Калининград. 1960, стр. 103—121.

<sup>2</sup> А. Ф. Ефремов. Белинский и русский литературный язык. «Ученые записки Саратовского гос. университета. Саратов. 1952, т. XXXI, стр. 222.

«Наши самозванные патриоты,— настаивал он,— не видят, в простоте ума и сердца своего, что, беспрестанно боясь за русскую национальность, они тем самым жестоко оскорбляют ее...» «Естественно ли, чтоб русский народ... мог утратить свою национальную самобытность?.. Да это нелепость нелепостей! Хуже этого ничего нельзя выдумать!»

Между тем, повторяю, новейшие наши пуристы, не считаясь с реальными фактами, демагогически внушают легковерным читателям, будто Белинский только и делал, что протестовал против «обиностранивания» русской писательской речи.

Этого не было. Дело было, как видим, совсем наоборот.

Протестовали против иностранных речений представители самой черной реакции, о чем свидетельствует, например, такой документ, как секретная записка шефа жандармов графа Алексея Орлова, представленная царю в 1848 году.

В этой записке о Белинском и писателях его направления сказано, что, «...вводя в русский язык без всякой существенной надобности (!) новые иностранные слова, например, **принципы, прогресс, доктрина, гуманность** и проч., они портят наш язык и с тем вместе пишут темно и двусмысленно: твердят о современных вопросах Запада, о «прогрессивном образовании», разумея под прогрессом постепенное знакомство с теми идеями, которые управляют современной жизнью цивилизованных обществ... но в молодом поколении они могут поселить мысли о политических вопросах Запада и коммунизме».

Страх перед «политическими вопросами» революционного Запада и особенно перед «призраком коммунизма», который уже начал «бродить по Европе», внушил этому защитнику душегубной монархии притворную заботу о чистоте языка.

Можно не сомневаться, что Булгарин и вся его клика, все эти Гречи, Межевичи, Бранты, вопили в десятках статей о засорении языка иностранщиной — по прямым и косвенным указаниям охранки.

Белинский отдавал себе полный отчет, какие классовые интересы скрываются под их заботой о чистоте языка, и, невзирая на цензурные рогатки, громко обличал лицемеров.

«Есть еще,— писал он,— особенный род врагов «прогресса» — это люди, которые тем сильнее чувствуют к этому слову ненависть, чем лучше понимают его смысл и значение. Тут уже ненависть не к слову, а к идее, которую оно выражает...»

А также к людям той социальной формации, которая является носителем этих идей.

#### 4

Нынешние наши пуристы любят цитировать строки Белинского, написанные им незадолго до смерти:

«Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания противна здравому смыслу и здравому вкусу...» «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово,— значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус».

При этом постоянно указывается, что Белинский горячо осуждал употребление иностранного слова **утрировать** и требовал, чтобы вместо этого слова употребляли русское **преувеличивать**.

Но любители подобных цитат почему-то умалчивают, что цитаты эти заимствованы ими из того самого текста, где Белинский без всяких обиняков издевается над безуспешными попытками тогдашних опекунов языка русифицировать иноязычные слова, заменив эгоизм — **ячеством**, факт — **бытом**, инстинкт — **побудкой** и т. д.

Эти фальсификаторы мнений Белинского равным образом предпочитают скрывать, как едко высмеивал он тех ревнителей русского слова, которые требовали, чтобы **брильянты** именовались **сверкальцами**, **архипелаг** — **многоостровием**, **геометрия** — **землемерием**, **индивидуум** — **неделимым**, **философия** — **любомудрием**. Белинский хорошо понимал всю ненужность и безнадёжность попыток обрусить эти привычные слова, которые и без того давно уже сделались русскими.

«Какое бы ни было слово,— повторял он не раз,— свое или чужое — лишь бы выра-

жало заключенную в нем мысль,— и если чужое лучше выражает ее, чем свое,— давайте чужое, а свое несите в кладовую старого хлама».

Как видите, это ничуть не похоже на те узкие, однобокие мысли, какие приписывают Белинскому многие современные авторы.

Так как писатели из реакционного лагеря постоянно кричали о том, что иноязычная лексика якобы недоступна простому народу, Белинский в блестящей полемике с ними рассеял их лицемерные доводы, напомнив, что даже темные крепостные крестьяне отлично понимают такие пришлые, чужие слова, как **паспорт, квартира, солдат, кучер, маляр, ассигнация, квитанция, губерния, фабрика**, которые до того обрусели, **что ощущаются как более русские, чем чисто русские слова**. Например, указывал Белинский, исконно русское слово **возница** кажется русскому простолюдину гораздо более чужим, чем иностранное **кучер**.

«Что такое алмаз или **брильянт**,— это знает всякий стекольщик, почти всякий мужик; но что такое **сверкальцы**,— этого не знает ни один русский человек».

Замечание Белинского об иностранных словах, которые нам кажутся более русскими, чем русские слова с тем же значением, прозвучало бы для меня парадоксом, если бы мне не пришлось наблюдать точно такие же случаи.

Взять хотя бы слово **водомер**. Недавно я читал в одной школе рассказ, где это слово встречается дважды. Иные школьники не поняли, что оно значит (двое даже смешали его с пулеметом), но один поспешил объяснить:

— **Водомер**— это по-русски сказать: **фонтан**.

**Фонтан** они приняли за русское слово, а **водомер** за чужое.

Или вот другое слово: **зодчий**. Коренное старорусское слово, крепко спаянное с целой семьей таких же: **здание, создатель, созидатель, зиждитель** и т. д.

Но (это было в двадцатых годах) прохожу я как-то в Ленинграде по улице Зодчего Росси и слышу, как один из сезонников спрашивает у другого, постарше, что это такое за **зодчий**.

— **Зодчий**,— задумался тот,— это по-русски сказать: **архитектор**.

Было ясно, что русское **зодчий** звучит для них обоих чуждым звуком, а иностранное (с греческим корнем, с латинским окончанием) **архитектор** воспринимается ими как русское.

И тут я вспомнил, что в детстве я точно так же объяснял себе слово **ваятель**: был уверен, что оно иностранное и что в переводе на русский язык оно означает **скульптор**. Это несколько не огорчило бы великого критика, ибо он не устал повторять:

«Что за дело, какое и чье слово, лишь бы оно верно передавало заключенное в нем понятие! Из двух сходных слов, иностранного и родного, лучшее есть то, которое вернее выражает понятие».

«Хорошо,— пояснял он,— когда иностранное понятие само собою переводится русским словом, и это слово, так сказать, само собою **принимается**: тогда нелепо было бы вводить иностранное слово. Но создатель и властелин языка — народ, общество: что принято ими, то безусловно хорошо».

## 5

Таким образом, говорить, будто Белинский всегда и везде ратовал за изгнание иностранных слов из русской речи, значит заведомо лгать, ибо и в теории и в писательской практике он чаще всего выступал как горячий сторонник расширения словаря русской науки, публицистики, философии, критики новыми терминами, среди которых было много иностранных.

Но изображать его безоглядным приверженцем «западной» лексики тоже никак невозможно.

То была бы еще худшая ложь, так как при всем своем тяготении к интернациональным словам, без которых было бы немислимо приобщение нашей молодой демократии к передовым идеям европейской культуры, Белинский любовно и бережно охранял русский язык от всяких чуждых народному вкусу заимствований.

Во всей его проникновенной лингвистике, разработанной им с изумительной тонкостью, представляющей собой стройную систему идей, больше всего поражает то «единство противоположностей», единство двух, казалось бы, несовместимых тенденций, которое и составляет самое существо его диалектической мысли.

Никакой односторонней ограниченности в своих трудах по русской филологии Белинский никогда не допускал.

Для нас потому-то и ценно широкое гостеприимство, оказанное им иностранным словам, что сам-то он был по всему своему душевному складу одним из «самых русских людей», каких только знала история нашей словесности. Недаром Тургенев, вспоминая о нем, так сильно подчеркивает в нем эту черту.

«Вся его повадка,— сообщает Тургенев,— была чисто русская, московская... Он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа... Да, он чувствовал русскую суть, как никто... Ни у кого ухо не было более чутко; никто не ощущал более живо гармонию и красоту нашего языка».

Далее Тургенев говорит о той «русской струе», которая была во всем существе знаменитого критика, о том, как велико было в нем «понимание и чутье всего русского»,— и потом через несколько страниц повторяет опять и опять, что Белинский был «вполне русский человек», что «благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзвѣвы».

Все это да послужит уроком нашим современным пуристам, которые даже в самом умеренном тяготении к иностранным словам видят чуть ли не измену России и в сердечной простоте полагают, что русский патриотизм несовместим с усыновлением иноязычных речений.

## 6

Для решения вопроса о допустимости тех или иных иноязычных оборотов и терминов нужно непременно учитывать, к какому читателю обращена та или иная литературная речь, каков его умственный уровень, какова степень его развития, образования, начитанности.

Этим — и только этим — решается вопрос о допустимости чужезычных речений в ту или иную эпоху.

Петрашевский, Белинский и Герцен (в сороковых годах) обращались исключительно к интеллигенции: к разночинной молодежи, к передовым дворянам, студентам, офицерам, чиновникам. Мечтая о тех временах, когда мужик

Белинского и Гоголя  
С базара понесет.—

Некрасов хорошо понимал, что это «желанное времечко» наступит еще очень нескоро. Да и Белинский в самых своих дерзновенных мечтах, конечно, не смел и надеяться, что ему выпадет счастье обращаться непосредственно к народу.

Если бы он дожил до этого счастья, он непременно изгнал бы из своего словаря всякие иноязычные термины и заговорил бы на том ясном, простом, понятном для всех языке, которым владел с таким непревзойденным искусством величайший народный трибун — В. И. Ленин.

Конечно, В. И. Ленин не был бы вождем миллионов, если бы не обладал гениальной способностью обращаться к массам с наипростейшей речью.

Но и Ленин в тех теоретических научно-философских трудах, которые были обращены не к широкой читательской массе, а к образованным читателям, широко пользовался специальными научными и философскими терминами, доступными в ту пору лишь узкому кругу людей.

Такова, например, его книга «Материализм и эмпириокритицизм», направленная против реакционного учения русских махистов.

Правда, иные из терминов, которые встречаются в ней, были чужды его словарю, и ему пришлось иметь с ними дело лишь потому, что они были взяты на вооружение неприятельским лагерем: таковы эмпириомонизм, панпсихизм, панматериализм, трансцензус и т. д. Но и там, где В. И. Ленин говорит от себя, он не избегает таких выра-

жений, как субъективный идеализм, философская схоластика, имманентная школа и т. д. Эта лексика была совершенно доступна тому кругу читателей, к которому обращался Ленин со своим философским трудом.

Здесь — повторяю — все дело именно в том, к кому, к какой аудитории адресуется автор.

В знаменитом памфлете «Шаг вперед, два шага назад» Ленин уже на первых страницах пользуется такими словами, как дискредитировать, суверенный, анонс, превалировать, квалифицировать, эвфемистически, гипертрофия централизма и т. д., так как статья была предназначена главным образом для читателя с высоким образовательным цензом. Ленин обильно вводил в ее текст без всякого перевода на русский язык даже такие слова, как *quasi*, *a priori*, *credo*, *versumpft*, *pruderie*, *Zwischenruf*, *ipso facto*.

Если же аудиторией Ленина была миллионная — в то время темная, отсталая, неграмотная (или полуграмотная) — деревенская Русь, словарный состав ленинского языка был совершенно иным, хотя самый язык оставался все тем же — ленинским «набатным» языком. Из него, естественно, изгонялись все малопонятные слова, он становился высочайшим образцом простоты и прозрачности, идеально доступным для всех, даже обойденных культурой умов. Отсюда беспрестанные требования Владимира Ильича к «пропагандистам и агитаторам»:

— говорить «языком без книжных слов, просто, по-человечески...»

— говорить с крестьянами «не по-книжному, а на понятном мужику языке...»

«...Для масс надо писать,— твердил он,— без таких новых терминов, кои требуют особого объяснения», и т. д. и т. д.

«...Меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу)».

Именно ради наибольшего влияния на массы Ленин настойчиво требовал, чтобы во всех обращениях к ним — к крестьянам, красноармейцам, городской, фабричной «улице» — звучал безыскусственный, свободный от всяких напыщенных вычур, правильный русский язык.

В Первой государственной думе один депутат-крестьянин употребил иностранное слово «прерогативы», ошибочно полагая, что оно означает «рогатки». Ленин отнесся к его ошибке без всякого гнева. «...Ошибка была тем простительнее,— заметил он,— что разные «прерогативы»... являются, на самом деле, рогатками для русской жизни». Но с величайшим негодованием высмеял Владимир Ильич думского октябриста Люца, который, желая шегольнуть иностранным словом, безграмотно употребил глагол будировать. Будировать (от французского *budé*) означает дуться, сердиться. А Люц (как и многие неучи) вообразил, будто это значит возбуждать, тормошить, будить, и брякнул перед всеми депутатами, будто большевики стремятся будировать (!) чувства рабочих.

Это было в 1913 году. Ленин тогда же восстал против этой безграмотности — и снова вспомнил о ней, уже в советское время, в статье «Об очистке русского языка»:

«Перенимать францужски-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык».

Найдя в одной из статей выражение **сенсуалистический феноменализм**, Ленин написал на полях: «Эк его!»

В обстоятельной статье Б. В. Яковлева «Классики марксизма-ленинизма о языке и стиле» приводятся многочисленные примеры того, с какой великолепной находчивостью В. И. Ленин заменял в своих и чужих рукописях иноязычные слова и выражения русскими.

Например, бретерство заменил он наездничеством, прожектерство — праздномыслием, кокетничание — заигрыванием, характерный инцидент — поучительным происшествием.

Вместо: толпа симпровизировала — толпа составила без всякой подготовки.

Вместо: не делает себе иллюзий — не боится смотреть в глаза правде.

Вместо: квази парламентская — игрушечно парламентская.

Иногда он переводил одно иностранное слово тремя-четырьмя русскими: написав



слово **ликвидировать**, он поставил в скобках: «т. е. распустить, разрушить, отменить, прекратить»<sup>1</sup>.

«К чему говорить «дефекты»,— возмущался он,— когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?»

Сурово осуждая ненужную иноязычную лексику, недоступную широкому слою читателей, Ленин, естественно, стремился к тому, чтобы утвердить в обиходе трудящихся масс русские партийные термины, созданные русской народной традицией.

Не раз выражал он радость, что главным определяющим термином для нового строя сделалось чисто русское слово «совет», вошедшее во всемирную лексику.

«...Везде в мире,— писал он,— слово «Совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся».

Русское слово **ячейка** введено в качестве партийного термина Лениным в 1911 году.

«...Слово, хорошо выражающее ту мысль, что внешние условия предписывают большие, очень гибкие, группы, кружки и организации...»

Позднее это исконно русское слово вошло — именно в качестве партийного термина — и в татарский, и в таджикский, и в марийский, и в башкирский, и во многие другие языки многоязычных советских народов.

Когда в 1917 году одна из петроградских газет применила к банкирам и другим эксплуататорам старорусское слово **тунеядцы**, Ленин встретил его очень сочувственно:

«...Удивительно хорошее слово попало под перо — в виде исключения — редакторам «Известий»,— писал он.

С горячим одобрением отнесся он к таким подлинно русским словам, как **разруха**, **уклон**, всякий раз отмечая их выразительность, ясность и точность.

Даже в его научно-философских трудах, изобилующих иноязычными терминами, все время чувствуешь русскую языковую стихию, которая то и дело прорывается такими словами, как, например, в «Материализме и эмпириокритицизме»:

«...Мудрененько было бы...»; «...Мах именно на этом пункте свихнулся...»; «**Читали — читали и переписать — переписали, а что к чему, не поняли**» и т. д. (Подчеркнуто мною.— К. Ч.)

Таких примеров можно привести очень много, и дико было бы спрашивать, какой из этих двух столь различных стилей ценнее, целесообразнее, выше, так как оба они превосходны.

Каждый, кто без всякого предубеждения изучит типические особенности ленинской лексики, непременно придет к убеждению, что Ленин строго делил иноязычные слова, входящие в состав русской речи, на нужные и ненужные, в зависимости от того, к кому, к какой аудитории была обращена эта речь.

В одних случаях его лексика вполне допускала такие, например, выражения, как **анализ принципиальных тенденций ортодоксии**, а в других он даже слово **кокетничание** заменял более легким словом и считал необходимым восстать против слова **дефекты**, требуя, чтобы обращающиеся к массам ораторы заменили его русским синонимом.

## 7

Из чего опять-таки следует, что мы никогда не имеем права судить о ценности того или иного слова, того или иного оборота чохом и голословно, вне связи с другими элементами данного текста. Очень верно сказано об этом у Пушкина:

«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».

Люди же, лишенные вкуса и языкового чутья, всегда воображают, что об отдельных словах они всегда, во всех случаях могут судить независимо от той роли, которую эти слова призваны играть в данном тексте. Им кажется, например, что борьба за чистоту языка заключается в «безотчетном отвержении» всех иностранных речений только за то, что они иностранные.

В. И. Леннну такая шишковщина была, как мы видим, совершенно не свойственна.

<sup>1</sup> «Язык газеты», М.—Л. 1941, стр. 97—111.

Те, кто утверждает, будто они **всегда и везде, решительно при всех обстоятельствах** изгоняли из своих книг и статей слова, заимствованные из чужих языков, сознательно отступают от истины — в угоду заранее придуманным схемам.

И неужели мы должны позабыть, что, говоря о нежелательности мудреных терминов и непонятных речений, В. И. Ленин употребил оптимистическое слово **еще**.

«...С[оциал]-д[емократы],— писал он,— должны уметь говорить просто и ясно, доступным массе языком, отбросив решительно прочь тяжелую артиллерию мудреных терминов, иностранных слов, заученных, готовых, но непонятных **еще** (подчеркнуто мною.— К. Ч.) массе, незнакомых ей лозунгов, определений, заключений».

Если сказано **еще** — значит существует уверенность, что это явление временное, что **еще** непонятное когда-нибудь станет понятным.

Со времени этого **еще** прошло более полувека: приведенные строки написаны в 1906 году. Сменилось уже пять поколений, и нынешняя молодежь — внуки и правнуки тех, к кому обращался Ленин, — как она непохожа на прежнюю! Нынешняя не может даже и представить себе, в какой страшной, беспросветной темноте был тогда русский народ. Всеобщая грамотность, обязательное бесплатное обучение в школах — об этом не смели тогда и мечтать. А тысячи вузов, а кино, а телевизор, а радио, а миллионные тиражи центральных, республиканских, районных газет, а дворцы культуры, а библиотеки, а избы-читальни, а иностранные языки в каждой школе, а институты иностранных языков — нет, это **еще** осталось далеко позади, и современный читатель, на образование которого государством тратятся несметные суммы, даже права не имеет заявлять притязания на то, чтобы с ним говорили, как с недорослем, на каком-то упрощенном, облегченном, обедненном языке, свободном от всяких наслоений всемирной культуры. Термины, которые были «мудреными» для широких народных масс в то отдаленное время, теперь уже вошли в обиход каждого из советских людей, достигших среднего культурного уровня: недаром во всех вузах так детально штудируются труды классиков марксизма-ленинизма, требующие от читателя отнюдь не мимолетного знакомства с иноязычными словами и «мудреными» терминами.

Итак, никто из нас не может сказать, что он за эти слова или **против**. В иных случаях — за, в иных случаях — **против**. Все зависит от того, где, когда, при каких обстоятельствах и с каким собеседником ведется наш литературный разговор.

Конечно, я не говорю о невеждах, употребляющих иностранные слова невпопад, наобум, без толку, без всякой нужды. Они достойны осмеяния и презрения, но принимать их в расчет невозможно. На наши суждения об иностранных словах не могут же воздействовать вот такие уродства:

— Товарищ Иванов с **апогеем** рассказывал.

— Он говорил с **экспромта**.

— Он **абстрагировался** от комсомольской среды.

— Он тут разводил **метафизику**, что план **нереален**<sup>1</sup>.

И даже:

— У нее, знаете, муж **аллигатор** с большим стажем (вместо **ирригатор**)<sup>2</sup>.

Речь, конечно, идет не об этих анекдотических неучах, достойных наследниках того депутата, который оскандалился со словом **будировать**. Здесь мы говорим о подлинно культурных, образованных людях и об их праве широко и свободно пользоваться всеми ресурсами родного своего языка.

Никто не может заподозрить меня в особенном пристрастии к иноязычным словам. Я всегда добивался того, чтобы в моих книгах, каковы бы они ни были, звучала чистая, простая и ясная русская речь.

Но сильнейшее негодование вызывают во мне те тартюфы обоего пола, которые, играя на патриотических чувствах читателя, упорно внушают ему при помощи подтасовки цитат, будто вся беда русского языка в иностранщине, будто и Ленин, и Белинский, и вообще все наши великие люди во всякое время, всегда питали к ней одну только

<sup>1</sup> В. З. Овсянников. Литературная речь. М. 1933, стр. 7.

<sup>2</sup> Лев Успенский. Слово о словах. М. 1957, стр. 376.

ненависть. Даже Петра I, насаждавшего в России такие слова, как **баталия**, **виктория**, **фортеция**, **политесс**, **ассамблея**, **империум** и проч., даже его изображают они на основании какой-то случайной цитаги суровым врагом этой лексики!

И есть у них особый прием, при помощи которого они одерживают множество дешевых побед. Стоит кому-нибудь сказать или написать ну хотя бы **французская пресса**, и они негодуют с наигранным пафосом: зачем нам это лишнее иностранное слово, если существует отечественное слово **печать**? И зачем **махинация**, если существует **продажка**? Все эти сердитые «зачем?» рассчитаны на простаков и невежд. Ибо и здесь все зависит от обстоятельств места и времени. Кому же в самом деле не ясно, что русский язык не терпит ни малейшего убывка оттого, что наряду со словом **вселенная** в нем существует **космос**, наряду с **плясками** — **танцы**, наряду с **вопросами** — **проблемы**, наряду с **воображением** — **фантазия**, наряду с **полосою** — **зона**, наряду со **словесностью** — **литература**, наряду со **справочником цен** — **прейскурант**?<sup>1</sup>

Нужно быть беспросветной ханжой, чтобы требовать изгнания подобных синонимов, которые щедро обогащают язык.

Вопрос о том, какой из этих синонимов следует ввести в нашу речь, решается всякий раз по-другому: как подскажет нам чувство стиля, чутье языка. Все дело в «соразмерности и сообразности», то есть в тех конкретных литературных задачах, которые ставит перед собой данный автор в каждом данном конкретном случае.

Поэтому, когда нам встречаются в «Правде» гордые заявления о том, что советские люди — **пионеры космических трасс**, мы считаем эту «иностраницу» совершенно уместной и не испытываем никакой неприязни к трем иноязычным словам, которые именно благодаря нашей советской культуре давно уже сделались русскими.

Мы восстаем против таких слов, как **бомонд**, **комильфо**, **мезальянс**, совсем не потому, что они завезены к нам из Франции, а потому, что они отражают в себе чуждый нам великосветский паразитический быт.

Точно так же, если в бытовой, обывательской речи нас коробят все эти **пролонгировать**, **лимитировать**, **аннулировать**, то отнюдь не потому, что они иностранные, а потому, что они вошли в нашу речь из обихода всевозможных канцелярий и на них слишком ясно видна печать бюрократизма.

### III. И ХОРОШО, И ПЛОХО

#### 1

Итак, оказывается, что засилие чужезычных речений не грозит нашему языку ни малейшей опасностью — уже хотя бы потому, что никакого засилия нет.

Точно так же не способны испортить его те сложно-составные слова типа **загс**, **управдом**, **поссовет**, которые начиная с Октябрьских дней хлынули в него широчайшим потоком.

Правда, среди этих слов попадаются порой отвратительные. Например, **облуппромпродтовары**, которое так рассердило смоленскую жительницу Татьяну Шабельскую, что она вместе с гневным письмом прислала мне коробку витаминов, на которой без зазрения совести начертано это бездарное слово.

Я вполне разделяю негодование Татьяны Шабельской, но значит ли это, что нам подобает огулом, не считаясь ни с чем, осуждать самый метод образования слов из нескольких начальных слогов или букв?

Ведь многие из них уже успели войти в исконно русскую бытовую и литературную речь: **СССР**, **РСФСР**, **ЦК**, **вуз**, **комсомол**, **колхоз**, **трудодень**. Они уже не кажутся искусственно склеенными, а живут такой же естественной жизнью, как, скажем, слова **человек** или **дом**.

Справедливо сказал о них Эммануил Герман в 1919 году, то есть в то самое время, когда возникли лучшие из них:

<sup>1</sup> Но, конечно, совершенно напрасно у нас в магазинах на видном месте в красивейших рамках вывешиваются безграмотные «прейскуранты цен» (хотя **прейс** и значит **цена**).

В словах, доселе незнакомых,  
 Запечатлен великий год —  
 В коротких Циках, Совнаркомах  
 И в грузном слове: Наркомпрод...

Дивлюсь словесному цветенью,  
 И все б внимал! И все б глядел!  
 Слова ложатся вечной тенью  
 От изменяющихся дел.

Говорят, **что** все эти новые словообразования возникли оттого, что «изменяющиеся дела» революции внесли в сознание русских людей столько новых, небывалых понятий.

Но разве не примечательно, что точно такому же сжатию подверглись и те комбинации слов, которые существовали задолго до Октябрьских дней?

Вот несколько примеров.

В России **сберегательные кассы** были учреждены в 1841 году, но лишь после 1917 года, то есть после того, как они просуществовали лет восемьдесят, они, подчиняясь новым темпам общественной жизни, стали именоваться в народе **сберкассами**.

Такова же участь **Литературного фонда**, который превратился в **Литфонд**. Литературный фонд был основан А. В. Дружининым в 1859 году, и в дореволюционное время семьдесят с чем-то лет ни у кого не было ни желания, ни надобности называть его сокращенно **Литфонд**.

И еще пример такого же запоздалого словесного сплава. Московский Художественный театр лет двадцать был Московским Художественным театром и только в советскую пору сделался для каждого **МХАТом**. Прежде в домашнем кругу мы для скорости говорили: «Художественный», отбрасывая первое и последнее слово:

— Достали билет в Художественный?

— В Художественном нынче «Дядя Ваня».

Но до **МХАТа** никто не додумывался. А если бы и додумался, слово это повисло бы в воздухе и не вошло бы в широкий речевой обиход, так как такое сцепление букв еще не стало массовой привычкой<sup>1</sup>.

Все эти примеры показывают, что был такой краткий период, когда вдруг стали сростаться не только те словосочетания, которые создала революция для новых учреждений и профессий, но и те, которые были созданы в дореволюционное время и, не теряя никаких сокращений, жили десятки лет в своих первоначальных формах.

Значит, самый дух языка изменился. Значит, та небывалая тяга к теснейшему сцеплению слов, благодаря которой у нас появились **колхоз**, **комсомол**, **профсоюз** и т. д., была в то время так сильна и активна, что заодно подчинила себе даже такие слова, которые в готовых сочетаниях существовали задолго до советской эпохи.

Сколько десятков лет я смолоду слышал выражение: **квартирная плата**. Но только в двадцатых годах новый дух языка превратил квартирную плату в **квартплату**.

Такому же обновлению подверглась и старинная форма **главный бухгалтер**, которая, подчиняясь новым тенденциям речи, неожиданно преобразилась в очень устойчивую форму: **главбух**.

Скажут, что происхождение этих слов чисто административное и что их главный источник — распоряжение государственной власти.

В иных случаях это вполне справедливо, но далеко не всегда.

Вспомним, например, каким образом создалось хотя бы такое словосочетание, как «Республика Шкид». Здесь никакого начальственного воздействия не было. **Шкид** — это сокращенное наименование **Школы имени Ф. М. Достоевского**, созданное самими учащимися.

Опять-таки характерно, что хотя школы «имени Достоевского» существовали в старой России лет тридцать, но только в революционные годы это название спрессовалось в короткое **Шкид** без всякого участия школьных властей.

Новичок, попавший в эту школу, спросил у одного из учащихся:

<sup>1</sup> Даже не три, а четыре слова превратились в односложное **МХАТ**: **Московский Художественный академический театр**, то есть из шестнадцати слогов стал один!

— А почему вы школу зовете Шкид?

— Потому,—ответил тот,—что это, брат, по-советски.

Так же самочинно, так сказать, по воле народа возникали в ту пору бесчисленные агрегаты имен и фамилий. Сотни лет существовали в России всякие Иваны Ильичи Косоротовы, но до двадцатых годов и в голову никому не приходило, что из этих традиционных трех слов можно сделать одно: **Ивилькос**.

И что Марию Егоровну Шатову можно превратить в **Маешат**.

Но в ту пору, про которую мы сейчас говорим, это стало обычным явлением, опять-таки не имеющим никакого касательства к административным источникам, о чем свидетельствует хотя бы такой диалог, воспроизведенный в «Республике Шкид»:

«— Как зовут заведующего?

— Виктор Николаевич...

— А почему же вы его не сократили? Уж сокращать так сокращать. Как его фамилия?

— Сорокин,—моргая глазами, ответил Воробышек.

— Ну, вот: **Вик. Ник. Сор**. Звучно и хорошо.

— И правда, дельно получилось.

— Ай да Цыган!

— И в самом деле, надо будет **Викниксором** величать».

Таким же манером Элла Андреевна Люмберг была превращена в **Эланлюм**. Константин Александрович Меденников — в **Косталмеда** и проч.

И эта тяга к сокращению имен наблюдалась тогда не только в «Республике Шкид». В другой школьной повести, относящейся к той же эпохе, читаем:

«В школе, где я преподаю, такие сокращения, как **Алмакзай** (Александр Максимович Зайцев) или **Пёпа** (Петр Павлович), давно завоевали себе права гражданства».

Такая наступила тогда полоса в жизни русской разговорной и письменной речи: всякие сращения слов вдруг сделались чрезвычайно активными. Активность выразилась именно в том, что сращениям подверглись даже старинные словосочетания, никогда не сраставшиеся в прежнее время.

Произошло это без всяких административных нажимов, «в порядке самостоятельности масс».

Самодетельность проявлялась порой в самых неожиданных и смешных буффонадах.

Маяковский, например, рассказывал мне, будто молодые москвички, назначая randevу своим поклонникам, произносят два слова:

— **Твербуль Пампуш!**

И те будто хорошо понимают, что так называется популярное место любовных свиданий: Тверской бульвар, памятник Пушкину.

Этот **Твербуль Пампуш** был мне особенно мил, потому что в нем слышалось что-то украинское.

Вообще такие новообразования нередко имели для русского уха какой-то иноязычный оттенок, и, когда Кооператив сахарной промышленности стал сокращенно называться **Коопсах**, Маяковский ощутил это слово как библейское имя:

Например  
вот это —  
говорится или блещется?  
Синемордое,  
в оранжевых усах,  
Навуходоносором  
библейцем —  
**«Ноопсах»**.

(«Юбилейное»).

Сравни у Алексея Толстого:

Катя «боялась некоторых слов: например, совдеп казался ей свирепым словом, ревком — страшным, как рев быка».

Словесные агрегаты так часто встречались в тогдашнем быту, что даже самые

простые слова воспринимались как склеенные. В. И. Качалов рассказывал, что, увидев на двери какого-то учреждения надпись ВХОД, он остановился в недоумении, размышляя про себя, что же может оно означать, и в конце концов решил, что это: Высший художественный отдел дипкурьеров.

## 2

Филологи, говоря об этих сращениях слов, любят указывать, что они существовали и прежде: «Российское общество пароходства и торговли» называлось **РОПИТ**, а «Южно-Русское общество торговли аптекарскими товарами» — **ЮРОТАТ**. Такие сокращенные наименования были присвоены еще нескольким коммерческим фирмам: **ЛЕНЗОТО**, **РУСКАБЕЛЬ**, **ПРОДУГОЛЬ**, **ПРОДАМЕТ**.

Мне кажется, эти примеры никак не подходят к настоящему случаю. Раньше всего потому, что их слишком уж мало. Они ничего общего не имеют с массовой, я бы сказал эпидемической, тягой к сращению слов, какая обнаружилась в двадцатых годах, когда даже старые слова, относящиеся к старым понятиям, стали сочетаться по-новому.

Но в том-то и беда, что наряду с революционными массами за словотворчество взялись и канцелярские выдумщики, не раз сочинявшие такие комбинации слов, которые были прямым издевательством над русской речью. Например, из скромного названия **школьный работник** они сварганили бесстыдное **шкраб**.

Будь я педагогом, я сильно обиделся бы, если бы кто обозвал меня таким какофоническим словом.

Ибо одно дело — рабочий, работник, а другое дело — раб.

Шершавое звукосочетание ШКР начисто отвергается русской народной фонетикой.

Лев Боровой цитирует драгоценный отрывок из воспоминаний А. В. Луначарского: «Я помню, как однажды я прочел ему (В. И. Ленину. — К. Ч.) по телефону очень тревожную телеграмму, в которой говорилось о тяжелом положении учительства где-то в северо-западных губерниях. Телеграмма начиналась так: «Шкрабы голодают».

— Кто? Кто? — спросил Ленин.

— Шкрабы, — отвечал я ему, — это новое обозначение для школьных работников.

С величайшим неудовольствием он ответил мне:

— А я думал, что какие-нибудь крабы в каком-нибудь аквариуме. Что за безобразие назвать таким отвратительным словом учителя! У него есть почетное название — народный учитель; оно и должно быть за ним сохранено!<sup>1</sup>

Такой же несоветский, плантаторский смысл имеет дикое словечко **рабсила**.

Вообще канцелярская пошлость немало навредила и здесь.

Стихийное, живое словотворчество она превратила в бездушное плетение слов, отвратительное для русского слуха.

Появились такие чудовищные сочетания звуков: **Омтсгаушорс**, **Вридзампло**, **Мортихозупр**, **Лабортехпромтехснабсанихр** и сотни других.

Вся эта тошнотворная чушь навязывалась и навязывается русскому языку безнаказанно. «Вот я открываю наугад «Список абонентов ленинградской городской телефонной сети», — пишет Борис Тимофеев в 1960 году, — и сразу натыкаюсь на **Ленгормегаллоремпромсоюз** и на **Ленгоршвейтрикотажпромсоюз**».

Хороши «сокращения» из двадцати шести слогов!

В них ни складу, ни ладу, ни благозвучия, ни смысла. Они совершенно непонятны читателям и превращают русскую речь в тарабарщину.

В. И. Ленин, который охотно пользовался такими сокращениями, как **ЦК**, **ЦИК**, **эсдеки**, **кадеты** и проч., с негодованием отвергал мертворожденные чиновничьи вычурь. Так, на X конференции партии Владимир Ильич иронически упомянул о некоторых товарищах, которые говорят, «что теперь у них есть «южбум» и что они воюют против этого «южбума».

Еще через год, на XI съезде партии, Ленин сослался на «пример нескольких гострестов (если выражаться этим прекрасным русским языком, который так хвалил Турге-

<sup>1</sup> Л. Боровой. Путь слова, М. 1960, стр. 168.

нев)» и обрушивался на «коммунистическое чванство — комчванство, выражаясь тем же великим русским языком».

«Южбум», «гостресты», «комчванство» — Владимир Ильич жестоко высмеял эти слова, искажающие и засоряющие русский язык, «который так хвалил Тургенев».

Ленин с негодованием отзывался о журналистах, уродующих язык надуманными, произвольными сокращениями. «На каком языке это написано? Тарабарщина какая-то?! Волапюк, а не язык Толстого и Тургенева»<sup>1</sup>.

Тарабарщина эта была не только непонятна, но и антихудожественна, безобразна, безвкусна. Маяковский именно для того и выдумал словечко **Главначпупс**, чтобы заклеить эти чиновничьи вычуры. Главначпупс — Главный начальник по управлению согласованием.

Против бездушного склеивания разнокалиберных слов, производимого всевозможными завами, советские люди протестовали по-своему — не только в газетно-журнальных статьях, но и в устных пародиях, причем пародистами нарочно подбирались такие слова, чтобы при их сокращении непременно получалась нелепость.

Когда в начале революции возник Третий Петроградский университет, студенты, смеясь, говорили, что сокращенно его следует называть **Трепетун**.

Биржевую барачную больницу прозвали **Би-Ба-Бо**.

Ильф и Петров, издеваясь над эпидемией канцелярского «сократительства», довели этот прием до абсурда: подвергли такому сокращению тургеневских Герасима и Муму и получили озорное **Гермуму**. Они же выдумали пародийное **политкарнавал** и придали «Театру инфекции и фармакологии» сокращенное название **ТИФ**.

Помню, как добродушно смеялся Ал. Блок, когда поэт М. Лозинский, прощаясь с ним, сказал ему с величайшей серьезностью: «ЧИК!» — и пояснил, что по-новому это означает: «Честь имею кланяться».

В настоящее время всеобщая маниакальная страсть к сокращению слов мало-помалу потухла. Тем детям, которые при рождении нарекались такими экзотическими именами, как **Аванчел** (Авангард человечества), **Слачела** (Слава челюскинцам), **Новэра** (Новая эра), **Долкап** (Долой капитализм), **Эвира** (Эпоха войн и революций) и проч., теперь уже лет сорок, не меньше, и своих детей они называют уже по-человечески Танями, Олями, Володями, Ванями.

Кроме того, многие из этих агрегатов оказались временяками и ныне отодвинулись в историю: **нэп**, **РАПП**, **Пролеткульт**, **рабфак**, **комбед**, **продразверстка**, **ликбез**. Выросло целое кладбище слов, где они похоронены вместе с теми явлениями, которые были обозначены ими.

И совсем без следа исчезли слова-фигуры, слова-пузыри, изготовленные в канцеляриях всевозможных начпупсов. Органическими, живыми словами им не удалось побыть, они умирали еще до рождения.

Кто помнит теперь, например, смехотворное слово **Ужслопогас**, внушающее мысль об угасании ума?

Или колченогое **Гвытм**, которым пробовали было обозначить Государственные высшие театральные мастерские.

Это не то что такие слова, как **загс**, **трудодень**, **стенгазета**, которые уже прочно вошли в нашу лексику как полноправные, законные слова.

К слову **загс** до того все привыкли, что стали забывать, из каких четырех слов оно составлено. Я, например, совершенно забыл.

Итак, все эти словесные агрегаты не могут нанести языку никакого ущерба, ибо народ строжайшим образом контролирует их и сохраняет лишь те, которые вполне соответствуют духу языка, его природе, и без жалости отбрасывает от себя всякую словесную нечисть.

Из всего этого вывод один: при суждениях о нормах нашей нынешней речи никак нельзя выносить приговоры огулом. Нельзя говорить: **все** «склеенные» слова хороши. Или: **все** они плохи. Среди них есть отличные, выдержавшие испытание временем,

<sup>1</sup> Вл. Бонч-Бруевич. Как работал Владимир Ильич (Из воспоминаний). «Читатель и писатель», 1928, № 2.

пользующиеся всенародным признанием, а есть и гомункулы, изготовленные бюрократическим способом; от них так и несет мертвечиной.

Конечно, только тупой старовер может восставать против всех этих слов.

Но кто же не порадует, видя, как сотнями проваливаются в тартарары всякие мертворожденные **Заммортеххозупы**.

---

...Многие другие болезни нашей нынешней русской речи оказываются, если всмотреться внимательно, несуществующими, мнимыми, выдуманными.

Но от одной болезни ее действительно нужно спасти — и чем скорее, тем лучше.

Болезнь эта истощает язык, из-за нее он теряет свою выразительность, красочность, гибкость и меткость, лишается живых интонаций, живых эмоциональных оттенков.

Болезнь эта называется канцелярской немочью. Ее главный симптом — тяготение к стандартным словам бездушного жаргона чиновников.

Но это особая тема, и о ней особый разговор.





---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛАКШИН

★

## СПОР С ВЕТХОЙ МУДРОСТЬЮ

**Н**еяркая красота северного лета, болотистые низинки, комары, покосы, короткие погожие дни, когда трава никнет от зноя, и долгие белесые сумерки с острым холодком, набегающим с лугов. Кажется чувствуешь, как пахнет сыростью, сосняком, свежескошенной травой... Открыв повесть Ф. Абрамова «Безотцовщина» («Звезда», № 1, 1961), уже по первым описаниям, деталям, верно и точно высмотренным, по спокойной простоте тона рассказчика, не стремящегося, как видно, к внешней эффектности и занимательности, получаешь доверие к автору. «Не нужно больше одного глотка, чтобы понять — вода или вино налиты в сосуде», — говорил какой-то мудрец. Он забыл только прибавить, что результат этой пробы и определит наше отношение к содержимому: будем ли мы пить его или оставим в сторону.

Отдав поначалу должное художественной наблюдательности писателя и правдивой безыскусности его рассказа, мы уже читаем повесть не отрываясь, потому что чем дальше, тем больше занимает нас сама ее мысль, ее внутреннее содержание.

Немного забог у Володьки, сторожащего избу на покосе в Грибове, куда в эту страдную пору приезжает работать бригада колхозников. Развести костер, согреть чайники да за лошадьми присмотреть — невеликое это дело. Смышленный и крепкий пятнадцатилетний деревенский парнишка, сирота, безотцовщина, рано бросивший школу, томится от безделья, сам того не сознавая. Ему бы, развернув плечи, косить вместе со всеми на пожне, а он вместо того до изнеможения гоняется за белкой со своим псом Пухой, подглядывает за купальщицами или так просто дурет от сна в душной сосновой избе. Молодые, нерас-

граченные силы играют в Володьке. От нечего делать он может устроить бешеную скачку на лошади за грузовиком с девчатами, догнать машину и вытянуть плеткой хохотушку-Нюрочку. И неизвестно, чего тут больше — наивного молодечества или пустой бессмысленности, тупости.

Может показаться, что Володька живет своей праздной, растительной жизнью совершенно безотчетно, бессознательно, покаясь лишь молодым инстинктам. Но на деле этот парнишка не так прост, как кажется. У него есть свои понятия о жизни, не очень сложные и совсем не новые, но достаточно прочные и определенные по его молодым летам. Так, к примеру, он не сомневается в том, что работа дураков любит, что надо блюсти свою выгоду, а лучше всего стараться, чтобы тебя оставили в покое. «Нет, если ты не хочешь, чтобы на тебе ездили, покажи зубы сразу — это Володька хорошо усвоил за свои пятнадцать лет». Отлынивая от всякого дела, он умел, когда надо, и огрызнуться и сироту разыграть — и при своей природной смекалистости делал это довольно ловко. Он знал, что бригадир Никита бранит его больше для видимости, и тем успешнее была Володькина система самообороны, маленьких уверток и хитростей.

Но откуда набрался Володька этой мудрости, сам ли до нее додумался или просветился где на стороне, — вот что должно заинтересовать читателей. И нет ли художественного просчета в том, что Володька наделен автором какой-то порою не совсем детской психологией? Нет, мы верим писателю, что он не ошибся, не погрешил против правды. Деревенские ребяташки часто взрослеют рано, соединяя с чисто ребяческой непосредственностью недетскую

рассудительность и серьезность. Все дело в том, какими впечатлениями питалось сознание подростка, какого рода мудрость мог заимствовать он в своем ближайшем окружении. И тут легко заметить, что Володькина мудрость тоже не своя, вытекающая из его натуры, а заемная, обиходная. Это «грибовская» мудрость, если вспомнить название того покоса, где без подъема и с лещой отработывает свои трудовни бригада Никиты. В Грибове не торопятся работать, до позднего утреннего часа вся изба там «трещит от храпа», потом нехотя, с шутками, с разговорами идут на ближайшую пожню, работают, сколько положено, а там уж торопятся назад, в избу, где каждый спешит уткнуться в свой котелок. Верно, окажись Володька в другом селе, в другой бригаде, среди людей по-новому, по-социалистически относящихся к самим себе и к труду, он и на жизнь смотрел бы иначе, потому что нельзя же предположить, чтобы задатки бездельника и эгоиста были фатально свойственны ему от природы. Но он получил первые уроки жизни именно здесь, в Грибове, и они крепко засели у него в сознании.

Собственно, вся повесть Ф. Абрамова и написана о том, как Володька, хотя и с трудом, не сразу, меняет «грибовскую» мудрость на человеческую, социалистическую, коллективистскую. Однако как повезло Володьке, что ему вовремя встретился такой человек, как Кузьма, заставивший его и на себя и на жизнь взглянуть по-другому! А ведь сперва Кузьма показался ему среди грибовцев каким-то чудачком, «не от мира сего». Поначалу Володька немного даже презирал Кузьму, «презирал за житейскую простоватость, за неумение схитрить, вернуться где надо. Ну не дурак ли в самом деле? Где хуже да труднее работа — туда и его. На Шопотки, например, сроду никто с косилкой не ездил — дорога туда грязная, с выломками, зимой едва доберутся, — а этого председатель в один присест окрутил. «Кузьма Васильч, выручай — кроме тебя никто не проедет... Кузьма Васильевич и раскис». Володька пытается мерить Кузьму на привычный, грибовский аршин, и с этой точки зрения тот кажется ему человеком то непостижимо простодушным, то неожиданно жестоким. Ну, пускай Володька был виноват, удрал с Пухой в лес, не уберег лошадей, но как решился Кузьма взять на себя право суровой отцов-

ской выучки, как мог ударить его — сироту, которого и пальцем никто не смел тронуть! Но еще необъяснимее — зачем после всего этого он согласился взять с собою Володьку, от которого все рады избавиться, на дальний покос в Шопотки?

Володьку увозят из Грибова почти силком, и, подпрыгивая на корнях и кочках неразъезженной лесной дороги за спиной у Кузьмы, Володька ненавидит эту широкую, несокрушимую спину и каменное спокойствие своего недруга. Он еще не понимает, что Кузьма уже одержал над ним первую победу, разбил его равнодушие, заставил, пусть против воли, поступиться своей выгодой. Да, в Шопотках, в заброшенной, скособочившейся, поросшей крапивой избушке, грибовское вольготное, бездумное житье кажется утерянным раем. А тут еще Кузьма со своей требовательностью и непонятными «городскими привычками».

Надо, однако, сказать особо о Кузьме. Ставя рядом с Володькой фигуру человека, который переламывает и перевоспитывает его, легко было впасть в искус назидательности и идеализации. Ф. Абрамов счастливо избежал этой опасности, и Кузьма вышел у него живым, неходульным. Нам нравится этот человек, один из тех, что посланы партией в деревню, с его чуть-чуть флегматическим спокойствием, рабочей, мастеровой хваткой и шепетильной честностью труженика. Кузьма всей душой ненавидит грибовские порядки, и в этой его убежденности, что жить надо по-другому, весь секрет его воздействия на Володьку.

Воспитание воспитанию рознь. В Грибове Володьку тоже пытались воспитывать: кто жалел мальчонку-сироту, а кто нещадно ругал, но все одинаково бестолково. Жалость позволяла Володьке не чувствовать за собою ответственности, ругань озлобляла его и заставляла выкручиваться и хитрить. Дать понять сообразительному и самостоятельному подростку, что его собираются воспитывать, — это самый верный способ погубить дело. Но Кузьма как раз и не пытался специально перевоспитывать Володьку, не думал брать его под свою опеку. В его отношениях с Володькой не было педагогических хитростей, уловок. Он просто стал обращаться с ним так, как привык обращаться с другими людьми, — с серьезностью и доверием. А воспитание, оказывается, тогда только и действует,

когда это не понуkanie и поучение, а доверие к человеческой самостоятельности, не выражение своего превосходства, а товарищеское дружелюбие.

И еще — мальчишке всегда по сердцу безоглядная дерзость решений.

Кузьма поразил воображение Володьки своей смелостью и изобретательностью, проехав с косилкой прямо по песчаному дну реки и тем миновав безнадежно непроходимую болотистую дорогу. Но невольное уважение еще борется в Володьке с недоверием к Кузьме. Голыми руками этого мальчонку не возьмешь, «грибовские» понятия глубоко въелись в него. Вот Володька и Кузьма садятся ужинать у костра: «Володька достал из мешка бутылку с постным маслом, налил в кружку, запустил туда ржаной кусок.

— Единичниками будем? — сказал Кузьма, снимая с огня котелок с кашей.

Володька ниже наклонил голову к кружке. И какого черта ему надо? Может, еще как жрать учить будет?» Володька упорно сопротивляется, бормоча под нос: «У меня свое есть» — это первый завет собственнической морали. Ему все кажется, что Кузьма готовит какую-то хитрость, подвох, иначе зачем предлагать делиться? Володькиными сухарями и треской немного поживишься — значит, корысть не в том, строит догадки Володька, а, верно, он хочет мириться, просить прощения за пощечину. «На Грибове всегда так делали: сначала прикормка, а потом примирение». Пока Володька смотрит на Кузьму, как привыкли смотреть на людей в Грибове, он остается для него личностью загадочной, а все его поступки — необъяснимыми.

Но так или иначе, а если с тобой говорят с доверием и серьезностью, как с равным, если ни в чем нет обмана и все делится поровну, это не может не нравиться. Когда же Кузьма, словно забыв и о несолидном возрасте и о дурной славе Володьки, дает ему самолично попробовать работать на косилке, а потом даже оставляет его одного — Володька начинает чувствовать себя другим человеком. Доверие, полное и безраздельное доверие рождает праздничную радость свободного и самостоятельного труда, а с нею вместе и сознание ответственности перед людьми. «Володька остался один — один на покосе. Полный хозяин! Вот как жизнь обернулась. А потом приедут люди и будут сгребать сено — сено, накошен-

ное им. Надо только почище косить. Чтобы не говорили потом: «Володченко тут, бес, чертил. Что с него взять?» Володька трудится увлеченно, самозабвенно, до седьмого пота, а когда Кузьма заболевает, он старается работать за двоих и по-мальчишески гордится своей необходимостью для дела. Он уже завзятый патриот Шопотков и вместе с Кузьмой беспокоится, скоро ли придет подмога убирать накошенное сено, и с тревогой смотрит на пасмурное, грозящее дождем небо.

Володька работает не за страх, а за совесть, и потому так обидны ему слова «на счет дисциплинки», которые небрежно цедит посланный из Грибова Колька — его ровесник и давний недруг. Кстати сказать, этот Колька — не по возрасту благоразумный и липнувший к начальству — представляет собою грибовца новейшей формации. Ему легко живется, потому что свою верность «грибовской» мудрости он умеет замаскировать показной добродетелью и правильными лозунгами. Володькины несложные хитрости кажутся простодушными уловками дикаря в сравнении с Колькиным умением использовать в своих выгодах эффект звонкой «идейной» фразы. Именно от Кольки обитатели Шопотков узнают, что бригадир не торопится посылать им в помощь людей убирать сено. И хотя Колька увиливает и темнит, Володьке не надо объяснять, в чем тут дело. Завтра престольный праздник и из Грибова все укатят в деревню. «Как Ильин день, так людей на цепях не удержишь на сенокосе».

До сих пор, рассказывая о судьбе Володьки, Ф. Абрамоз словно шел по изведанному во многом пути. Несознательный молодой герой, встреча его с умным и благожелательным наставником, перевоспитание в труде — сюжет жизненный, но не новый. Однако не стоит торопиться упрекать писателя в банальности, потому что раньше чем читатель начинает скучать от мысли, что его везут по изъезженной колее, автор круто поворачивает действие.

Мы привыкли уже к тому, что перевоспитание молодого героя в труде обычно изображается как непрерывное восхождение по прямой, характер человека меняется к лучшему с завидной последовательностью. Конечно, хорошо, если бы так всегда и случалось в жизни, но несравненно чаще процесс изживания старых понятий — дело болезненное, трудное, знающее свои реце-

дивы, возвращения вспять, особенно если речь идет не об одной лишь личной, индивидуальной психологии, не о казусах и прихотях природы. Поэтому не зря Ф. Абрамов, казалось бы подведя повесть к благополучному концу, показав Володьку на косилке, счастливого и гордого своим трудом, вдруг ставит героя перед трудным искусом, обольщением, грозящим вернуть его к прежним понятиям.

Сложное чувство овладевает Володькой после наезда в Шопотки Кольки, с появлением которого словно бы пахнуло знакомым грибовским ветром. Ему становится досадно, что в колхозе и не догадываются, что с ним случилось, не знают, что он косит в равную с Кузьмой, что вообще он стал другим человеком. Он смертельно обижается на Кузьму за то, что тот ни слова не сказал об этом наглому и самоуверенному Кольке. Муть «грибовских» понятий о жизни, казалось навсегда погребенная, снова поднимается со дна его души. Он готов подозревать Кузьму в том, что тот хочет присвоить себе заслугу его труда. «Ты ишачь, а трудодни дяде. Ловко придумано», — вдруг приходит на ум Володьке злая, несправедливая мысль. А тут еще соблазнительные картины гулянья в деревне начинают мерещиться ему: «Песни, пьяные — со всех сенокосов люди выедут. А в клубе-то веселье... Да, начнут гулять, не дожидаясь Ильи. Да и кому этот Илья нужен?» Писатель верно видит, что для Володьки, да и не для него одного важны не какие-то пережитки религиозного чувства. В современной деревне не так уж много народу истово и убежденно верит в бога. Сама возможность погулять, поспрашивать, пообщаться с людьми, когда нет настоящего чувства хозяйской ответственности за свое дело, за пропадающее общее добро, за сено, которое обречено сгнить, если не убрать его вовремя.

Давно не приходилось нам читать ничего равного по жесткой правдивости изображения этой картине деревенского праздника. Во всех домах огни, из раскрытых окон летят песни, слышится женский смех, а потом веселье выплескивается на улицу, и с шутками, с разговорами, шлепая в темноте по лужам, односельчане тянутся к клубу, где хмельные бабенки выбивают под гармонику пыль из половиц. И в этой толчее, шуме, оглушающей суматохе один только Володька, прискакавший сломя голову со сводкой

из Шопотков, чувствует себя каким-то потерянным, лишним. Всем отчего-то не до него. Председатель, даже не взглянув на сводку, выбрал его за опоздание, Нюрочка пренебрежительно рассмеялась, когда Володька гордо выпалил ей, что привез сводку, а подвыпивший бригадир Никита тупо сострил: «Сводку? А я думал, водку». Да это бы еще ладно, можно утешиться тем, что нынче праздник, надо гулять, веселиться. Но в том-то и дело, что такое привычное настроение бесшабашной веселости в этот раз нейдет к Володьке, праздник, на который он так горючился, не тешит, не греет его, оказывается ему не нужен, потому что половину своего сердца он оставил на Шопотках, где в покосившей избенке лежит больной Кузьма, а в лугах мокнет под дождем сено. Только тут, может быть, ощутил Володька до конца перемену, какая произошла в нем. Ему становятся ненавистны пьяная гуляба, шум, смех, самодовольный Колька в куртке с замочками, с которым он, словно бы без всякого повода, начинает драку в клубе. «Хулиган! — кричит Нюрочка. — Чудо горохово!» Но никто и не подозревает, что «бес Володченко», шалопай, безотцовщина, даже в нелепой драке этой по своему сознанию и совести стоит высоко над подгулявшей, развеселой толпой.

Конец у Ф. Абрамова не только «венчает дело», но концентрирует, как в фокусе, все содержание повести. В самом названии «Безотцовщина» угадывается теперь более широкий и общий смысл, чем кажется поначалу. Безотцовщина не только Володька — безотцовщина и колхоз, возглавляемый нерадивым председателем, и бригада, которая косит в Грибове. Если мы верно поняли мысль автора, он хочет сказать о том, какой ущерб делу, самому отношению людей к труду, наносит безалаберное руководство. Это потери, которые трудно измерить лишь центнерами урожая и гектарами нескошенных лугов. Нет большей вины для руководителя, чем поселить в душах людей недоверие к общему делу, безразличие к своему труду. Надо ли говорить, насколько своевременна эта мысль. И вместе с тем повесть Абрамова заставляет задуматься о том, что недостаточно только сменить одного бригадира на другого, как о том мечтает Володька. («Нет, с этими порядочками надо кончать. Вот общее собрание будет, и он первый шумит: хватит, побригадирил.

Антипина предлагаю.) Важнее всего, чтобы сами грибовцы растались с остатками старозаветной «мудрости», чтобы они в полной мере осознали себя хозяевами своего труда и своей судьбы.

Ф. Абрамов хорошо чувствует художественную силу контрастных по настроению картин. Только что бушевал и разливался по деревне разгульный праздник, и вот уже холодный и сырой рассвет, догорающее в клубе веселье, отрезвление, усталость и чувство молодой злости и отчаяния, охватившее Володьку при виде пьяного бригадира, храпящего у ступенек сельпо. Как разбудить его, напомнить о Шопотках? Чем пронять людей, чем их потревожить? И, повинуясь порыву чувства, не раздумывая, не рассуждая, Володька бросается к брусу, повешенному на случай пожара, и бьет в набат.

Писатель вовремя ставит точку. Бунт Володьки с житейской, практической точки зрения вряд ли к чему поведет, разве что продерет глаза да выругает его Никита. Перемен следует ждать не от этого стихийного мальчишеского порыва. Но в эмоциональном, художественном смысле убедительность такого конца безупречна. Вместе с автором читатель верит в неизбежную победу коммунистической сознательности над остатками «грибовской» психологии.

Рядом с повестью Ф. Абрамов напечатал три рассказа, объединив их под общим названием «На северной земле». О рассказах «Собачья гордость» и «В Питер за сарафаном» мы не станем говорить, потому что они написаны профессионально — и только. Притча о том, как бабка Филиппьевна ходила в Петербург за ситцем, и рассказ о гордой собаке пригодны для занимательного чтения, но не для серьезного размышления о жизни. (Кстати, жалостные и поучительные «собачьи» сюжеты уже успели обратиться в штамп. Что касается Ф. Абрамова, то нам вполне хватило сообразительной Пухи из «Безотцовщины».) Другое дело рассказ «Однажды осенью», по сюжету не имеющий ничего общего с повестью, но близкий ей по духу, по главной своей мысли.

Этот рассказ нельзя пересказывать — его надо прочесть. В нем нет никаких событий, хитросплетений, а попросту описан один заурадный осенний вечер, проведенный рассказчиком в незнакомой компании, и два женских лица, совсем не схожих между со-

бою. Здесь ровно ничего не происходит, если не считать того, что незаметно для себя рассказчик по-новому узнает двух людей, меняет свои начальные симпатии и антипатии. Из-под поверхностных, грубых, намалеванных первым впечатлением штрихов проступают, вырисовываются совсем иные, чем казалось поначалу, жизненно несомненные лица — и в этом особая художественная тонкость рассказа.

Кажется, трудно представить себе натуры более противоположные, чем Зина и Шура. Молодая хозяйка хутора Зина — девушка расторопная, дельная, бодрая. Все в доме у нее как-то особенно ладно, чисто, аккуратно. По сравнению с ней скромная, невзрачная Шура кажется неудачницей, растяпой. К тому же Зина нравственно безупречна, тогда как за Шурой идет недобрая слава «гулены», и Зина не пропускает случая подчеркнуть ее сомнительную репутацию. Однако оказывается достаточно провести вместе два часа за столом, чтобы увидеть этих женщин совсем в другом свете.

Шуре, потерявшей мужа, не легко жить, но она сохраняет душевную открытость и искренность, доверчивость к людям, даже к той же Зине, которая почти откровенно презирает ее. В ней есть та трогательная беззащитность и доброта простого сердца, которая делает ее отзывчивой на всякое горе и радость. Шура легко смеется и легко плачет. Она не цепляется за свое добро и готова ради доброй компании тут же бежать и продать своего гуся, чтобы купить водки, хотя, должно быть, это не очень добродетельно и совсем не практично.

Зато Зину грызет мешанская ненависть к соседке, к ее доверчивости, близости с людьми, мягкости. Сама Зина не раскидает ни при каких обстоятельствах, она твердо знает, что ей нужно. А в этот момент ей больше всего нужно прибрать к рукам жениха — тракториста Аркашу, и незваные гости ей явно досаждают. Ее водка, припрятанная где-то в шкафчике, не для всех, а для оболыщения жениха. И эта прозаическая расчетливость, может быть, всего в ней противнее.

Зина является в ореоле своего благополучия: кровать с никелированными шарами, белоснежные покрывала, лакированные лодочки, которые она, сняв после ухода жениха, протирает ватой. И ее отношение к

людям определено той же твердой материальной мерой. «Столько зарабатывает,— говорит она об Аркадии,— а кроме мотоцикла да приемника—шаром покати. Пальта себе завести не может». (Мы собрались было упрекнуть здесь автора за то, что его Зина выговаривает свои убеждения слишком уж «в лоб», да вовремя вспомнили, сколько раз в жизни случалось нам слышать еще более «лобовое» и бесстыдно примитивное исповедание тех же мыслей.) Образом Зины с ее культом вещей, личного благосостояния Ф. Абрамов как бы доказывает то, что могло остаться не вполне ясным из «Безотцовщины».

Те черты отсталой психологии, которые мы условно назвали «грибовскими», связаны, оказывается, не с одной деревенской заскорузлостью, невыветрившимся запахом дедовских сундуков. Зине нужны уже и шифоньер, и телевизор, но это не значит, что она далеко ушла вперед по сравнению с самым отсталым колхозником из Грибова. Корни грибовского нерадения, равнодушия к труду, к общему благу и Зинина бережливость, мещанская озабоченность своим благосостоянием, культ вещей близко родственны друг другу. Это черты собственностической, антиобщественной психологии, чуждые нормам коммунистической нравственности.

И хотя в повседневной житейской практике встретиться с этим не редкость, но собственничество, эгоизм, индивидуализм как несложная философия жизни— это те принципы, которые не могут возбуждать

сочувствия у настоящих людей и потому обречены. Читая о том, как, не попросившись, решительным шагом пошел из Зинино дома Аркаша, принимаешь это как протест живой жизни, живого чувства против прозаической расчетливости, мещанского благоденствия. И тут же вспоминается вихрастый Володька из «Безотцовщины», размахнувшийся палицей, чтобы ударить по чугунному брусу. В этих финалах есть очень острое ощущение нравственного возмездия «грибовщине». Людям не по душе эта черствость, отъединенность, эгоизм.

Пусть кажется Зине, что звенящие ночью сосульки пророчат ей близкое счастье. Счастье— не для нее, а для тех, кто верит в силу человеческой общности, бескорыстие и дружескую поддержку!

Ф. Абрамов выступил со своей первой большой книгой «Братья и сестры» около трех лет тому назад. Эта первая вещь уже давала основание говорить о правдивости и чуткости автора, о большом запасе у него свежих наблюдений над жизнью советской деревни. Но еще трудно было предугадать дальнейшую судьбу писателя: не останется ли он автором одной книги?

Новая повесть «Безотцовщина» и рассказ «Однажды осенью» позволяют думать, что успех Ф. Абрамова не случаен. Увереннее стало его мастерство, глубже и острее мысль. Но прежде всего, думается, своей удачей он обязан тому честному и мужественному направлению, какое принял его талант.



Ю. МАНН

★

## ПОЭЗИЯ КРИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

**С**тарая истина — нет ничего труднее, чем применение общих понятий к конкретным фактам, — подтверждается сегодня лишним раз на примере критики.

В последнее время у нас все чаще и больше говорят о мастерстве литературной критики. О том, что ей должна быть присуща художественность. О том, что продуманная композиция, тщательная, филигранная отделка деталей — все это вещи не лишние и в применении к критическим работам. Говорят и об эмоциональности языка критика, об употреблении им метафор, эпитетов, сравнений и других средств образной выразительности.

Что же, подобные требования справедливы, и польза их очевидна. Эта польза была бы еще больше, если бы в разговорах о «мастерстве критики» порою не переступалась та черта, за которой незаметно средства превращаются в цель, искомое предполагается найденным, а сами контуры явления расплываются и тают в пространстве...

Впрочем, этот «перекосяк» наблюдается не только в литературной критике. Ведь сегодня о «нехватке мастерства» охоту рассуждают не только критики и литературоведы, но и представители других наук, скажем, историки и юристы. Мастерство литературной формы становится универсальным понятием. Мастерство фетишизируется, превращается в волшебный ключик, который может отомкнуть любые двери.

Приведу только один свежий пример — статью доктора исторических наук В. Турока «Историк и читатель» («Литературная газета» от 4 февраля за 1961 год). Автора

статьи беспокоит то, что историческая литература за последнее время утратила значительную долю своей популярности у читателя. Автор ставит вопрос: почему «потенциальные читатели» сохранили «отмеченную еще Эмерсоном беспредельную способность человеческого ума сопротивляться внедрению знаний и не набрасываются на публикуемую в достатке социально-экономическую литературу»? «Почему не гремят литавры при выходе в свет каждой исторической монографии»? Причину этих бед, как нетрудно догадаться, В. Турок видит в недостатке мастерства. В том, что историки ныне пишут сухо и «незанимательно». В том, что они чураются ярких оборотов, мало употребляют эпитетов и афоризмов.

Примеры, приводимые автором статьи из ряда новейших исторических книг, когда, скажем, положение крестьян в годы аграрного кризиса характеризуется одним и тем же набором стандартных фраз, — эти примеры действительно красноречивы. «Можно было бы разрезать эти строки двух учебных пособий и дать какому-либо ребенку вытягивать полосы из коробки, как это делают обычно при лотереях. Потом можно наклеить ярлычки с названием стран, и далеко не каждый читатель заметит перемену текста в главе», — справедливо говорится в статье. Однако в отличие от доктора исторических наук мы не думаем, чтобы названным книгам помогло оживление — например, введение какого-нибудь эффектного сравнения или даже целой беллетристической сценки из жизни разоряющегося мужика. Дело ведь совсем не в том, чтобы функции историко-художественной литературы перенимала литература научная и научно-популярная. Каждому свое, и, види-

мо, не отсутствие «достаточной живости и занимательности», а прежде всего отсутствии какой бы то ни было самостоятельности мысли, новой трактовки фактов, не говоря уже об оригинальности концепции, составляет главный недостаток перечисленных в статье книг. И если «широкий читатель» сохранил «отмеченную еще Эмерсоном» беспредельную способность сопротивляться «внедрению» в его сознание подобных монографий и учебников, то можно только порадоваться за «широкого читателя». Значит, в нем сохранились и здравый смысл, и вкус, и подлинная жажда нового, которую не проведешь никаким «мастерством». Было бы гораздо хуже, если бы при появлении каждой такой книги, вопреки пессимистической картине В. Турока, «гремели литавры» и читатели приходили бы в состояние экстаза.

В разговорах о мастерстве литературной критики (а нередко применительно к социологии, философии и другим гуманитарным наукам), естественно, всегда ссылаются на Белинского. А между тем он-то и должен был прежде всего заставить подумать над тем, все ли правильно в наших расчетах и выкладках по части «мастерства». Ох, как необычен и сложен этот «пример»! И как много в нем такого, что даже при самой тщательной подгонке никогда не уложится в наши традиционные представления о мастерстве критики!

Продуманность композиции, гармоничное расположение частей? Но в статьях Белинского всего менее чувствуешь такую гармонию. Они начинаются внезапно и так же внезапно обрываются. В сущности, каждую статью критика можно воспринимать как продолжение предыдущей и под каждой поставит помету: «Продолжение следует».

Строго логический ход мыслей? Но, кажется, нет ничего свободнее, чем логика любой статьи Белинского. Намечившаяся было последовательность тотчас же нарушается самим автором. Провозглашенная в начале статьи задача незаметно отходит на второй план, а иногда и просто забывается. Во второй статье «Речь о критике», например, Белинский намеревается сделать «историческое обозрение русской критики, от начала ее до нашего времени», но вместо этого увлекается Сумароковым и чуть ли не всю статью посвящает ему одному. В следующей статье той же «Речи» Белин-

ский выдвигает новую задачу — «обозначить постепенность процесса формирования и развития нашей поэзии и литературы» в новейшее время, но опять тотчас же оставляет исторический способ рассмотрения. Белинский признавался в письме В. Боткину: «Все лучшие мои статьи несколько не обдуманы, это импровизации», — и надо сказать, что, несмотря на преувеличение, в этих словах много верного.

Разнообразие критических жанров? Но нет: и об этом меньше всего задумывался Белинский, никак не предвосхищавший нашей современной практики по части строгого разделения рецензий, «проблемных статей», литературных портретов и т. д. «Представляя отчеты наши публике, — писал Белинский, — о всех более или менее примечательных явлениях русской литературы, мы не будем несколько заботиться, что выйдет из нашего разбора — критика или рецензия. Пусть сами читатели наши решают это, каждый по своему вкусу и разумению».

Так, может быть, красочность сравнений, афористичность формулировок? Действительно, ярких образов и необычайно емких афоризмов немало у Белинского; но наряду с этим критик ничуть не чуждается обычных, можно сказать, тривиальных оборотов речи. Ему ничего не стоит для передачи поэтического очарования какого-нибудь произведения просто воскликнуть: «Как хорошо, например, это взятое из низкой природы сравнение» (далее — цитата). Или: «Как прекрасна у него вот эта «низкая природа» (опять цитата).

А заголовки статей Белинского, опять-таки столь непривычные для современного слуха! «О русской повести и повестях г. Гоголя», «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя», «Сочинения Александра Пушкина», «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя...». Они не претендуют ни на неожиданность, ни на афористичность. Они называют тему работы, но не ее идею; они не передают то неповторимое, «особенное», что есть в каждой статье. Казалось бы, какое вопиющее нарушение требований о «зажигательности слова» критика!

А потом эти огромные, на несколько страниц, выписки Белинского из разбираемого сочинения (которые, наверно, привели бы в ужас современного редактора); или прощенный — опять-таки на страницу — пере-



чень «всех» удачных и «всех» неудачных произведений писателя; или же подробный пересказ содержания романа, поэмы, повести...

Мы уже не говорим о торопливом, мятущемся, стремительном стиле Белинского, где неточно сказанная фраза не изымается, но исправляется следующей, где, в сущности, нет ни беловика, ни черновика, а есть черновик, становящийся беловиком на наших глазах. Читая Белинского, ясно чувствуешь, как он писал свои статьи: стоя у конторки, наспех, чуть ли не на глазах у присланного из типографии рассыльного.

И при всем этом каким неотразимым совершенством исполнена почти каждая из работ Белинского, как она высока по мастерству!

Этим мы вовсе не хотим сказать, что недоработанность является непременным атрибутом стиля Белинского, приметой его мастерства. Наоборот, без нее статьи критика были бы еще лучше, совершеннее. Так, кстати, считал и сам Белинский, от души завидовавший тем литераторам (вроде Самарина), которые имели вдоволь времени обтесывать и отчеканивать каждую свою фразу. Белинский, к сожалению, этой возможности не имел. «Дайте мне время обработать эту импровизацию,— писал он об одной своей статье.— Вы не узнаете ее: живость и теплота в ней останутся, а силы ума и таланта прибавится на 20 процентов».

Но если даже и в такой, неокончательной редакции «критики» Белинского производили и производят столь сильное впечатление, то этот факт говорит сам за себя. Попробуйте прочитать по недоработанной редакции какое-нибудь классическое художественное произведение, например гоголевского «Ревизора». Вересаев это сделал, и вот как передал он свое впечатление: «Ну, как возможно было так бледно и неуклюже изображать то самое, что знаешь таким прекрасным и стройным? Приходит даже мысль: так-то, пожалуй, и всякий мог бы написать». «Всякий мог бы так написать» — о «недоработанных» статьях Белинского при всем желании никто так не скажет.

Это не значит, что критерии мастерства при входе в заповедную зону критики теряют свою силу. Но это значит, что они существенно меняются в связи с новыми условиями и задачами.

Понятие мастерства должно обнимать

собою суть явления. Если же оно затрагивает только внешнюю его форму и сводится к проблемам «деталей», то это верный признак того, что мы имеем дело не с мастерством, не с творчеством, а всего только с технической отделкой, напоминающей работу фуганком или напильником. Фуганком и напильником можно хорошо обстругать и отшлифовать готовую доску, но даже простой табуретки с помощью этих инструментов не сколотить. Равным образом бессилён раскрыть «тайны мастерства» такой метод, который рассматривает мастерство в отвлечении от самой специфики явления. В данном случае — от специфики критики.

Лессинг писал в свое время: «Я утверждаю, что назначением искусства может служить только то, для чего приспособлено исключительно и только оно одно, а не то, что другие искусства могут исполнить лучше его. У Плутарха... я нахожу сравнение, которое очень хорошо поясняет мою мысль. Тот, говорит он, кто захочет ключом наколоть дров, а топором открыть дверь, не только испортит оба эти орудия, но и сам лишит себя пользы, какую они могут приносить».

Замечание Лессинга применимо не только к искусству в целом, но и к каждой его отрасли, равно как и к каждому явлению вообще, имеющему свою специфику и призванному, следовательно, только через раскрытие своей специфики обнаруживать свою силу. Разве литературная критика не принадлежит к таким явлениям?

## 2

В русской литературе специфика критики как таковой была впервые выявлена Белинским. Именно поэтому мы называем его основоположником русской критики, хотя формально она началась задолго до него и была почти ровесницей собственно «изящной словесности». Что же нового внес Белинский в русскую критику с точки зрения самого ее метода?

Еще до Белинского критика научилась судить о произведении как о едином целом, рассматривать поэтические «красоты» — отдельные фразы, стихотворные строчки, образы — в связи с общим духом вещи или даже всего творчества писателя. Именно так в лучших своих статьях поступал Мерзляков.

Равным образом еще до Белинского русская критика обнаружила довольно сильное стремление стать теоретической критикой, разбирать каждое произведение с точки зрения коренных начал искусства, выработать — в противовес эмпирическому, случайному знанию — цельную эстетическую теорию. Назовем статьи Веневитинова, Ивана Киреевского и прежде всего Надеждина.

И проницательные оценки, точно определяющие то или другое произведение, схватывающие главные особенности дарования их авторов, — такие оценки русская критика тоже умела давать еще до Белинского. Вспомним отзыв Бестужева-Марлинского о «Горе от ума» или же заметки Пушкина по поводу первых повестей Гоголя.

Мы уже не говорим о том, что задолго до Белинского передовая русская критика стремилась рассматривать развитие литературы в связи с успехами просвещения, подводила итоги определенного периода, года; знала самую форму годового обозрения... Могут сказать, что все эти тенденции только намечались, проявлялись робко, подчас отдельно одна от другой, в то время как в критике Белинского они впервые раскрылись со всей силой. Все это так, и однако же количественное изменение еще не создает новаторства, и если бы критика Белинского исчерпывалась названными выше элементами, то мы должны были бы видеть в нем лишь продолжателя наметившейся тенденции, но никак не основоположника новой. А между тем заслуга Белинского состояла в том, что он обновил самый метод литературной критики.

В статье «Речь о критике» Белинский писал: «Критиковать — значит искать и открывать в частном явлении общие законы разума, по которым и чрез которые оно могло быть, и определять степень живого, органического соотношения частного явления с его идеалом».

Вдумаемся в это определение. Вспомним прежде всего, что означали в ту пору для Белинского («Речь о критике» написана в 1842 году) понятия «общие законы разума», «идеал». Они менее всего были просто эстетическими категориями. Они были равны понятию о всеобщей идее, закономерно и последовательно реализующейся в самой действительности, в «вещественности». И критика, по Белинскому, обязана в первую очередь соотносить «частные явления», все многообразие фактов с Идеей, видеть в них ее

проявление. Если перевести это положение на материалистический язык — а такой перевод был сделан впоследствии самим Белинским, — то оно означает следующее: критиковать — это прежде всего обнаруживать в конкретных фактах, в разрозненных, частных событиях проявление общей закономерности исторического развития.

Это был вывод огромного потенциального значения: одним ударом он выводил критику из собственно литературного ряда, ставил ее в совершенно новые взаимоотношения и с искусством и, с другой стороны, с жизнью. Даже самые передовые современники Белинского, включая Пушкина, который остро ощущал необходимость реформы критики, далеки были от того, чтобы поручать ей столь высокие обязанности. Вот какое определение давал Пушкин критике:

«Критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы».

Она основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений».

Иными словами, критика должна была освободиться от поверхностных оценок, случайных мнений, опираться на глубокие знания, руководствоваться не призрачным, а истинной любовью к искусству — стать наукой. Но, сосредоточиваясь главным образом на собственно эстетическом разборе, критика оставалась для Пушкина подчиненной по отношению к искусству и литературе. Для Белинского же, как мы видели, критика — это наука открывать в частных явлениях общие исторические закономерности.

С другой стороны, когда о выявлении закономерности, поисках системы говорили критики до Белинского, то они преимущественно имели в виду собственно эстетические закономерности и эстетическую систему. Связь искусства с общественной жизнью понималась в самой общей форме; речь шла о связи целого периода истории искусства с неким общим духом эпохи, скажем, как у Надеждина, о связи классического искусства с древностью, романтического — со средневековьем, искусства, объединяющего в себе сильные стороны классицизма и романтизма, — с новейшим временем. Белинский же впервые подошел к художественному произведению не с точки зрения его соответствия

или несоответствия выдвинутой эстетической теории; даже не с точки зрения поисков в его содержании «духа эпохи», а прежде всего с точки зрения конкретного исследования в нем (или точнее — с помощью его) окружающей реальной жизни. Дух времени перестал быть фикцией, абстрактным понятием, применяемым столь же широко, сколь неопределенно; он, так сказать, материализовался, ожил во плоти и крови. И этой его плотью и кровью была живая ткань художественного произведения, сами литературные герои...

«Что такое Иван Васильевич?» — спрашивал Белинский о главном герое повести Соллогуба «Тарантас». И вот как он отвечал на этот вопрос: «...Иван Васильевич — один из тех червячков, которые имеют свойство блестеть в темноте. В глуши провинции вы обрадовались бы, как неожиданному счастью, знакомству с таким человеком; даже в столице, куда вы недавно присхали и всему чужды, вы поздравляли бы себя с подобным знакомством. Сначала вы очень полюбили бы Ивана Васильевича, и не могли бы довольно нахвалиться им; но скоро вы с удивлением заметили бы, что в нем ничего не обнаруживается нового, что он весь высказался и выказался вам, что вы его выучили наизусть, и что он стал вам скучен, как книга, которую вы, за неимением других, сто раз перечли и наизусть знаете. Сначала вам покажется, что он добр, даже очень добр; но потом вы увидите, что доброта в нем — совершенно отрицательное достоинство, в котором больше отсутствия зла, нежели положительного присутствия добра, что эта доброта похожа на мягкость, свидетельствующую об отсутствии всякой энергии воли, всякой самостоятельности характера, всякого резкого и определенного выражения личности».

То, что Белинский не комментирует соллогубовскую повесть, а разбирает ее, исследует выведенный в ней главный образ, — это ясно. Но только ли литературный образ исследует он? Не говорит ли эта настойчивая апелляция к опыту читателя, эти разветвленные, построенные по принципу обобщения периоды, что образ Ивана Васильевича был для критика только окном, сквозь которое можно было широко и свободно взглянуть на реальную жизнь?

Для мысли Белинского не существовало ограничений: поступки героя, сюжетные кол-

лизии служили ему отправной точкой для перехода к самым широким обобщениям, к определению главных тенденций русской общественной жизни — в данном случае (в статье о «Тарантасе») тех, которые способствовали появлению славянофильства. Впрочем, выражение «отправная точка для обобщения» здесь недостаточно точное: весь смысл этого перехода заключался в том, что он совершался не после литературного разбора, даже не в результате его, но именно в нем, в его рамках. Говоря о художественном произведении, Белинский уже тем самым говорил о жизни. И это снова позволяет ощутить ту грань, которая отделяет метод Белинского от предшествующей ему критики.

Когда критика до Белинского выходила за пределы «изящного» и касалась различных жизненных вопросов — от проблем воспитания до норм правописания, от распространения «добродетели» до системы запретительной торговли, — то делала она это независимо от собственно эстетического разбора. В лучшем случае последний служил только поводом для различных экскурсов в жизнь, для реплик в сторону, замечаний à propos. Когда эстетическая критика хотела быть и общественной, публицистической критикой, то она образовывала только конгломерат разнородных элементов. Она не давала анализа жизненного содержания в самом искусстве, в самой художественной ткани. И оттого она не была подчас ни общественной, ни публицистической, ни собственно литературной критикой.

«Критика должна быть одна, — писал Белинский, — и разносторонность взглядов должна выходить у нее из одного общего источника, из одной системы, из одного созерцания искусства». У критики Белинского была эта общая основа: образное содержание искусства. Именно в нем искал автор реальное содержание жизни, а не рядом. Это делало его критику не только сильнее, но и по-настоящему цельной, синтетической.

Может показаться, что приведенный выше пример со статьей о «Тарантасе» не является типичным. Ведь работа аналитической мысли Белинского была здесь осложнена «сверхзадачей»: намерением поразить реального Ивана Васильевича — славянофила И. В. Киреевского, — в связи с чем критик сознательно трансформировал содержание повести. Но, во-первых, при всем переосмыс-

лении соллогубовского «Тарантаса» Белинский все же опирался на его основу, на нарисованные писателем картины; недаром он говорил, что «наблюдательный талант автора (разрядка моя.— Ю. М.) торжествует... везде, где приходится ему изображать». А кроме того, и в других случаях, когда художественная концепция произведения полностью или почти полностью принималась Белинским, он оставался верен своему критическому методу, дававшему ему возможность прошупать через художественную ткань данного произведения жизненные закономерности и тенденции. Так поступал он всегда, во всех своих статьях. И в разборе «Обыкновенной истории» Гончарова, где, прослеживая жизненный путь Александра Адуева, Белинский приходил к выводу, что тот должен был вопреки финалу книги остаться романтиком, а всего вернее — сделаться славянофилом. И в анализе «Героя нашего времени», где, перечисляя черты Грушницкого как общественного типа, «идеального молодого человека», Белинский вдруг добавлял одну черту «от себя»: Грушницкий из тех, кто должен любить и почитать Марлинского! И в разборе «Евгения Онегина», где, «раскрывая по возможности отношение поэмы к обществу, которое она изображает», Белинский фактически не раз вступал в спор с автором. Словом, в той или другой форме «элемент переосмысления» присутствует у Белинского всегда, и коренного различия между его статьями о «Тарантасе» и другими его работами в этом отношении нет.

Выработанный Белинским метод литературной критики вовсе не предполагает, как мы иногда думаем, непосредственную сверку художественного материала с жизненным. Чтобы быть верным этому методу, совсем не обязательно перемежать художественный разбор с разного рода житейскими историями, долженствующими доказать: «А вот я знаю случай, который опровергает (или подтверждает) ситуацию повести...» Или: «Я встречал человека, тоже инженера (или бухгалтера, учителя, водителя такси, выпускника школы и т. д.), который похож (или непохож) на героя произведения»... Как раз это самый ненадежный путь: примеров, подтверждающих или опровергающих определенную мысль, ситуацию, можно найти сколько угодно — все зависит только от желания и времени. Однако же количество не даст самого главного

— ощущения закономерности, которое одно только может служить достаточным аргументом в разборе художественного произведения. Белинский избирает другой путь: в самой художественной основе вещи он вскрывает жизненную логику, словно проверяя вслед за автором правильность его расчетов, поправляя его там, где тот допустил ошибку. И поэтому тогда, когда Белинский непосредственно переходит к публицистическим отступлениям, размышлениям о самой жизни, мы почти не ощущаем этого перехода — настолько он естествен и легок. Ведь интонация разговора не изменилась, не сделала никаких резких колебаний; его опорой осталась та же логика действительности, с позиций которой критик говорил и о литературе.

Вообще же не только эта, но многие чисто стилистические особенности критики Белинского коренятся в самом его методе, в его новизне.

«О Василии Ивановиче! О великий практический философ, отроду не философствовавший! Как, со своею безграмотностью, как умнее ты этого полуграмотного фертика!.. Ах, если бы знал ты, как умен твой глупый ответ...», «О единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок, многозначительнее, чем Фауст! Ты представитель просвещения и образованности всех людей, которые «любят потолковать об литературе, хвалят Булгарина, Пушкина и Греча...» Да, господа, дивное словцо этот — Пирогов!»

Откуда это обращение к герою, как к живому человеку, хорошему знакомому? Что это: необычайная страстность, исключительная эстетическая восприимчивость критика? Конечно. Но дело не только в этом. Ведь литературный герой интересен критику как представитель жизненного явления, тенденции, и эта радость открытия общественного типа, радость узнавания того, что уже смутно носилось в воздухе, и вот теперь наконец схвачено художником, невольно запечатлелась в самом стиле Белинского.

По той же причине критике Белинского не страшны огромные выписки и цитаты: ведь он не содержание произведения разбирает, а прежде всего запечатлевшиеся в нем жизненные явления. Выписки и цитаты оказываются включенными в систему его рассуждений, становятся тем строительным

материалом, который хотя и заимствован, но применен для построения своей концепции.

Интересно, что до Белинского критика нередко рассматривалась как часть художественной литературы вообще, как «младшая» ветвь словесности. Аналогичный подход был, кстати, и к истории. Принимаясь за «Историю» Карамзина, иной читатель думал, что в его руках просто увлекательный, в манере Вальтера Скотта, роман, который займет его фантазию, унесет бог знает куда, в тридцатое сказочное царство, хотя и называемое древней Россией. Не ставил перед собой четких научных установок и сам Карамзин, и оттого — особенно в первых томах — достоверные факты перемежались у него с темными догадками, документированное повествование — с беллетристическими, сентиментальными эффектами. Равным образом и литератор, принимавшийся за критическую статью, не всегда отдавал себе отчет, чем она должна быть, — его задачей было только создать нечто по разряду изящной словесности, родственное любому поэтическому произведению. И оттого часто не получалось ни критики, ни художественного произведения.

Белинский первый с такой определенностью провел мысль о самостоятельных задачах критики, которые не могли быть решены каким-либо другим видом литературы, хотя моменты сближения критики и художественной литературы Белинский не раз подчеркивал — мы потом увидим, почему. И поскольку была найдена собственная сфера критики, она смогла занять положение, равноправное с художественной литературой. Белинский «придал русской мысли силу», — сказал Герцен.

### 3

Выявив специфику критики как таковой, Белинский сумел соединить в своих работах тончайший анализ с самым широким синтезом. Анализ перестал быть произвольным разъединением элементов, равно как синтез — их произвольным объединением. Поскольку вся критика была перенесена на прочную основу жизненных закономерностей, то синтез и анализ также стали предполагать объединение и разъединение в критике того, что уже было объединено или разъединено в самой жизни. Из приема риторики, состоявшего в эффектном сопостав-

лении предметов и явлений, анализ и синтез превратились в средства познания, установления действительных связей. И это общило мысли Белинского не только дополнительную силу, но, если можно так сказать, дополнительную поэзию.

Соединение анализа и синтеза осуществлялось у Белинского через учение о «пафосе», имеющее огромное значение для сегодняшней нашей критики, но, к сожалению, не оцененное в полную меру.

Коль скоро произведение вышло «из глубокой творческой природы», а не переходящего настроения, не из заданной мысли, тезиса, то оно обладает замкнутостью и цельностью микромира. Существует множество примет этой цельности, но, пожалуй, самая удивительная та, что мы сохраняем единство впечатления от художественной вещи даже тогда, когда из памяти изглаживаются и перипетии сюжета, и поступки героев, и самые их имена. Выяснить, в чем состоит это единство, каковы те законы, по которым существует и движется каждая мельчайшая частица этого микромира, — значит раскрыть пафос произведения. Но это только первая задача критики. Как подлинный диалектик, Белинский умеет абстрагироваться от всего многообразия внешних связей, выбрать для исследования «одну клетку», но задержаться на ней ровно столько, сколько нужно для последующего перехода к более крупным явлениям.

Каждое произведение художника включено в систему всего его творчества, где через снятие противоречий частного и обнаружение новых связей возникает другое, несравненно более сложное единство. Понять его — значит раскрыть пафос художника. Но и на этом не заканчивается процесс исследования в критике. Смешно и наивно подходить к изучению макромира, каким является творчество каждого большого художника, со своими априорно составленными понятиями, — нужно прежде всего проникнуть в этот мир, «пожить» в нем, чтобы определить, какие единицы измерения адекватны его законам. Но не менее смешно навсегда запереть себя в этом мире, не попытаться посмотреть на него со стороны, с позиций той большой действительности, чьи закономерности преломились в творчестве художника. Исследовать особенность этого преломления — значит дать художнику историческую и вместе с тем эс-

тетическую оценку. Никакой, даже самый крупный, писатель не делает этого по отношению к самому себе — это всецело обязанность критики.

Но из всего сказанного вытекает, что для той специфической области, которой является критика, единство анализа и синтеза означает исследование связи между художественной формой и содержанием; между мельчайшими, подчас кажущимися техническими деталями повествования и художественной концепцией писателя, его творческим сознанием и, далее, лежащими вне его явлениями реального мира. В этом, а не в высчитывании промахов и удач писателя (носящем неизбежно субъективный характер) состоит собственно эстетическая функция критики, мера проникновения ее в художественную ткань произведения.

«Истинно художественные произведения не имеют ни красот, ни недостатков,— отвечал Белинский на распространенное заблуждение.—...Только близорукость эстетического чувства и вкуса, неспособная обнять целое художественного произведения и теряющаяся в его частях, может в нем видеть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность».

В обнаружении такой связи «художественного» и «идеологического» сказывается вся тонкость мысли критика. Это оселок, на котором общие эстетические теории проверяются «на прочность», на соответствие законам и фактам самого искусства. Вспомним объяснение Белинским финала «Евгения Онегина». Для предшествующей ему критики незаконченность — всегда недостаток; в лучшем случае — просто непонятное явление. («Что же это такое? Где же роман? Какая его мысль? И что за роман без конца?»). Но в разборе Белинского, где анализ и синтез пронизывают друг друга, сама эта «незаконченность» предстает как признак высокого совершенства, его художественной цельности: «Мы думаем, что есть романы, которых мысль в том и заключается, что в них нет конца, потому что в самой действительности бывают события без развязки, существования без цели, существа неопределенные...»

Или объяснение «одной реплики» Грушницкого, когда этот трусливый и мелочный человек вдруг дерзко бросает в лицо Печорину: «Стреляйте!.. я... вас ненавижу». Коль скоро нельзя прочертить между этой репликой и характером Грушницкого пря-

мой линии, можно было бы просто отнести ее за счет противоречивости человеческой природы. Сколько раз встречаешься в нашей критике с тем, что самое указание на «противоречие» («Но позиции писателя были противоречивы...» или «Но этот образ противоречив...») уже претендует на его объяснение! Но в действительности только сведение противоречия к его источнику и таким путем снятие этого противоречия может исчерпать суть дела. Послушаем, как объясняет Белинский реплику Грушницкого, «противоречащую» его характеру:

«Да, это гениальная черта, смелый и мощный взмах художнической кисти.. Не забудьте, что у Грушницкого нет только характера, но что натура его не чужда была некоторым добрым сторонам: он не способен был ни к действительному добру, ни к действительному злу; но торжественное, трагическое положение, в котором самолюбие его играло бы напропалую, необходимо должно было возбудить в нем мгновенный и смелый порыв страсти. Самолюбие уверило его в небывалой любви к княжне и в любви княжны к нему; самолюбие заставило его видеть в Печорине своего соперника и врага; самолюбие решило его на заговор против чести Печорина... самолюбие заставило его выстрелить в безоружного человека: то же самое самолюбие и сосредоточило всю силу его души в такую решительную минуту и заставило предпочесть верную смерть верному спасению через признание. Этот человек — апофеоз мелочного самолюбия и слабости характера: отсюда все его поступки,— и, несмотря на кажущуюся силу его последнего поступка, он вышел прямо из слабости его характера».

В этом объяснении критик конгениален художнику: он ухватил всю диалектическую противоречивость характера при его определенности, нашел закономерность в самом отступлении от нее. Вместе с тем, раскрывая поэтичность романа, Белинский невольно раскрыл и собственную поэтичность критики, таящуюся в неотступной последовательности мысли, развединающей и синтезирующей на наших глазах разнородные элементы, находящей между ними реальные связи. Один университетский товарищ Белинского хорошо определил эту его черту как способность «мыкать» идею, «преследовать» ее до ее конечных выводов.

Представители бурно развивающейся сей

час у нас научно-художественной литературы высказывают мнение, что поэзию мысли рождает лишь раскрытие процесса ее формирования, введение «в творческую лабораторию» исследователя. Но это не всегда так. Работы Белинского (в которых ведь тоже главный герой — это пытливая мысль исследователя) построены по другому принципу. Критик без усталости, страстно искал истину; ходячая фраза «его мучили сомнения», по словам Тургенева, была особенно применима именно к Белинскому: «Сомнения его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его... Он дено и ношно бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе». Каждая из статей критика — это итог мучительной и глубокой внутренней работы, но именно итог, а не ее история. Белинскому несвойственно введение читателя во внутренний, субъективный процесс формирования своей мысли, он ставил его перед результатом, выводом, и собственно с развития и углубления этого вывода начиналось «действие» его статей.

В одной из статей о Пушкине критик писал: «Наше дело — раскрыть перед читателями не процесс нашего изучения Пушкина, а оправдать результат этого изучения». В этих словах — ключ к свойственной Белинскому манере изложения. Критик переносит центр тяжести с поисков «результатов» на их «оправдание», доказательства. Не показывая субъективного процесса перехода к истине, Белинский сосредоточивает свое внимание на ее развитии, детализации. Являясь в каждой из своих статей убежденным сторонником уже найденной, открытой точки зрения, он посвящает все усилия ее отстаиванию, защите. Разумеется, это уже чисто индивидуальная особенность, не исключавшая возможности других способов изложения; однако она очень важна для Белинского, и без нее не понять принципов и манеры его критики.

Главный герой и, так сказать, действующий герой статей Белинского — это мысль, созревшая, убежденная в своей силе, работающая в полную меру. А главная их тема — это само развитие мысли, охватывание ею разнообразных сторон действительности, соединение на наших глазах скрупулезного анализа и широкого синтеза.

В конце сороковых годов девятнадцатого века на Белинского обрушился Валерий Майков, говоривший о том, что критик не

столько убеждал, сколько «выражал симпатию», что его слово не было «оправдано» собственными доказательствами». Плеханов показал, что этот упрек Майкова был вызван отходом его от идеологических принципов Белинского: не согласный во многом с убеждениями критика, Валерий Майков обратил главное внимание на его «тон». Но дело в том, что и самый «тон» его критики Майков не понял. Ее страстная убежденность, авторитетность не исключали сомнений, поисков, «преследования истины», а как раз вырастали из них. Тема поисков была запрятана внутрь его статей и только изредка прорывалась наверх то как воспоминание о внутренней борьбе, то как полный выстраданной силы упрек тем, для кого истины неподвижны, мертвы, как вещи... Это было мимолетное отступление, но оно окрашивало статьи Белинского глубоким лиризмом и позволяло если не заглянуть в его «творческую лабораторию», то по крайней мере услышать совершающуюся в ней трудную работу.

Но что из того, что раскрытие этой самой «творческой лаборатории» не являлось для Белинского главной задачей? О чем это говорит? Только о том, что пути реализации научной и критической мысли почти столь же многообразны, как и мысли художественной, и что, в частности, развитие и отстаивание выдвинутого положения способно придать работе ничуть не меньше интереса и блеска, чем проследивание самого процесса формирования идеи или теории. Белинский и был в русской критике первым, кто раскрыл поэзию развития, доказательства и отстаивания идеи. Недаром в его статьях такое большое место занимает диалог с воображаемым оппонентом — диалог, в котором, строго говоря, нет двух спорящих, а есть один человек: критик, развивающий и через «тезу» и «антитезу» доказывающий свои выводы. О нем можно сказать словами Брехта:

Этот подражатель  
Никогда не растворяется в подражаемом.  
Он никогда  
Не преображается окончательно в того,  
кому он подражает. Всегда  
Он остается демонстратором, а не  
воплощением.

Он никогда не растворяется в «подражателе» потому, что ни на секунду не упускает из виду главную свою задачу: исчерпать все доводы, могущие быть выдвинутыми

против его тезиса, снова и снова возвратиться к нему, не оставить ни одного сомнения без разрешения и ни одного возражения без ответа, развить идею до подробностей, до конечных выводов.

«Тонкость мысли, ловкость диалектики при изложении в высшей степени изящном...» — этот отзыв Белинского о статьях Н. Ф. Павлова показывает, с какими критериями «художественности» подходил он к критике, и вместе с тем служит точной автохарактеристикой его собственных работ, их мастерства. Мастерство в критике — это не украшение, не оживление с помощью беллетристического элемента; это развитие, изменение, течение, отстаивание — словом, жизнь самой критической мысли.

## 4

Почему же сам Белинский не раз — особенно в последние годы своей деятельности — сближал критику и искусство, говорил, что «теперь искусство становится мышлением в образах, а критика — искусством»? Нельзя ответить на этот вопрос, отвечая только на него.

Для взглядов Белинского вообще характерен был акцент на сходстве, взаимопроникновении, взаимопереходе различных явлений: лирики и эпоса; романа и других эпических жанров; вымысла и действительности; наконец, науки и художественного творчества в целом. В этом проявлялся подвижный, насквозь диалектичный ум Белинского, чуждый всякой схеме и априорно составленных понятий. «На свете нет ничего безусловно важного или неважного... — писал критик. — Поэтому безусловный или абсолютный способ суждения есть самый легкий, но зато и самый ненадежный; теперь он называется абстрактным или отвлеченным». Но если отвлеченный способ суждения ненадежен, то, следовательно, ненадежно и отвлеченное суждение о сходстве. Важно и здесь понять конкретные закономерности сходства.

Скажем, в работе «Разделение поэзии на роды и виды» Белинский относит лирику к самостоятельным родам поэзии, но потом вслед за Жан-Поль Рихтером выделяет лирическое начало в драматургии и эпосе. Так что же, отменяется ли первое положение вторым? Да, но только в том смысле, что последнее явилось следствием развития первого. Это развитие не уничтожило лири-

ку как самостоятельный род поэзии; равным образом оно не сделало, скажем, из драматургии суммы двух элементов — драматического и лирического. Лирика, подобно «обрастающей крови», вошла в драматургию, прировнившись к новым условиям и обогатив, со своей стороны, этот род поэзии.

Или вопрос о сходстве науки и художественной литературы в целом. В русской критике никто больше Белинского не защищал и не развивал мысли о поэзии как о самостоятельной сфере сознания, для которой смертельны риторические поучения, дидактика, подчинение заданной цели. И тот же Белинский провозгласил во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» свое знаменитое положение, что разница между наукой и искусством только в форме, но не в содержании: то, что ученый доказывает с фактами в руках, писатель показывает образами. Противоречие? Да, но только опять в том смысле, что одно положение явилось следствием развития другого. Искусство может служить общественным потребностям, не иначе как выявив свою собственную специфику. Прежде чем быть чем-нибудь, не раз говорил Белинский, поэзия должна стать самой собой. Можно буквально по годам проследить, как в его статьях в противовес мысли о самостоятельности, неподчиненности искусства все сильнее звучало требование социальной и воспитательной его направленности. И объяснялось это, разумеется, не только эволюцией взглядов критика: к поэзии, ощутившей уже свою собственную силу, можно было предъявлять требования «по большому счету».

Для того чтобы расти, приобретать чьи-то черты, с чем-то сближаться, каждое явление должно быть самим собою. Сформировавшемуся явлению не страшны чуждые влияния, как не страшны они и одаренному, нашедшему собственную дорогу художнику, они только расшевелият в нем, приведут в действие новые источники творческой энергии, но не сомнут его, не подчинят «чуждой воле». И если критика — и в частности литературная критика — принадлежит к таким явлениям, то разве не на этих путях должно искать ответы на вопрос о сближении ее с собственно художественной литературой?

Субъективно в Белинском жило много от художника, и его по меньшей мере трехкратное намерение вступить на собственно поэтическое поприще — вначале со стиха-



ми, потом с драмами «Дмитрий Калинин» и «Пятидесятилетний дядюшка» — не было прихотью минуты. Белинского отличала и тонкая наблюдательность, и глубокое проникновение в психологию, и способность художнически запоминать и фиксировать отдельные сцены и подробности, не говоря уже о его огромной эмоциональной, поэтической отзывчивости. Но при этом в нем не было чего-то важного, завершающего. Об одном из известных писателей своего времени Белинский шуточно заметил, что если для составления полного таланта нужно «100 долей», то природа отпустила ему только «99<sup>3</sup>/<sub>4</sub>» — «стало быть, недостает пустяков, всего одной четверти, а все же недостает!» Чтобы стать писателем, Белинскому тоже недоставало «пустяка». Что же это был за пустяк?

Для той специфической деятельности, какой является художественное творчество, особое значение имеет ощущение произведения как целого. Если хотите, это ощущение композиции, но только не в том узком значении, какое придается у нас этому понятию. Ощущение целого, которое возникает еще до того, как писатель садится за письменный стол (но которое в процессе работы вывернется, растет, крепнет), — это прежде всего ощущение всей горизонтальной картины, смысл которой может и должен быть реализован только через нее самое, через развитие самого процесса изображения, в его событиях, образах, красках. Такое художническое ощущение целого уступало в Белинском место логическому, понятийному представлению о нем.

Но ведь и у Герцена, у которого, по известному выражению Белинского, «талант и фантазия ушли в ум», логическая сторона была сильнейшей! Это так, но у Герцена мысль — философская и политическая — лишь вела за собой образ, но не подменяла его; оттого рисуемые им картины проникались светом сознательных убеждений, приговора над действительностью, но не переставали существовать как целое.

Во времена Белинского в применении к художественному творчеству было употребительно хорошее слово «изобретение» (вспомним пушкинское: «смелость изобретения») — изобретение подробности, образа и, наконец, изобретение целого, «создания», «где план обширный объемлется творческой мыслью...» Этого «высшего» рода «изобретения» — целого, «создания» —

не было у Белинского, а без такой опоры не могли проявиться ни его художническая зоркость, ни понимание психологии, ни другие его способности. Больше того, подчиненные искусственному плану вместо творчески свободного развития действия, они нередко приводили к результатам совсем неожиданным; так получилось, что в «Пятидесятилетнем дядюшке» Белинский выступил со «слезливо-нравственной» комедией — род литературы, который он сам же беспощадно преследовал как критик. Но в этом противоречии таланта Белинского таились большие и, к счастью, реализовавшие себя возможности. Будучи перенесенными на почву сознательной мысли, составляющей основу критики, смогли проявиться и собственно художественные, поэтические элементы его натуры. Но проявились они, разумеется, уже по-другому.

Когда задумываешься над так называемыми образными выражениями Белинского, то видишь, что они представляют собою как бы сгустки его критической мысли, поднимающейся до высокого синтеза, до постижения сущности.

«...Он (Александр Адуев.— Ю. М.) был трижды романтик — по натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни, между тем как и одной из этих причин достаточно, чтобы сбить с толку порядочного человека и заставить его надевать тьму глупостей».

«...Это один из тех людей, которые иногда и видят истину, но, рванувшись к ней, или не допрыгивают до нее, или перепрыгивают через нее, так что бывают только около нее, но никогда в ней».

«...Отличие людей такого рода, как Дон Хуан, в том и состоит, что они умеют быть искренно страстными в самой лжи и неприлично холодными в своей страсти, когда это нужно. Дон Хуан распоряжается своими чувствами, как полководец солдатами: не он у них, а они у него во власти и служат ему к достижению цели».

Такие «образы» — это вспышки мысли Белинского. Вырастая из всего его таланта, психики, характера с его эмоциональной впечатлительностью и художническим инстинктом, они все же главную свою силу черпают от его мысли. Поэтому они всегда вызывают дальнейшее развитие всего хода рассуждения или, наоборот, являются его следствием: при магниевой вспышке можно увидеть много нового, чего не заметишь при обычном освещении, но, чтобы

рассмотреть, изучить это новое, необходимо более длительное время. И образы Белинского — это только узлы его общей концепции.

Особенно наглядно это видно в статьях о Пушкине. Изумительны те сравнения, метафоры, эпитеты, которые находит Белинский для характеристики творчества поэта: шестистопным ямбом Пушкин «воспользовался... словно дорогим паросским мрамором для чудных изваяний...»; муза Пушкина — «это девушка-аристократка, в которой обольстительная красота и грациозность непосредственности сочетались с изяществом тона и благородною простотою...»; стих Пушкина «нежен, сладостен, мягок, как ропот волн, тягуч и густ, как смола, ярк, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руках богатыря» и т. д. и т. п.

Но грубую ошибку допустил бы тот, кто увидел бы в этих примерах только меткие, глубокие оценки различных сторон пушкинской поэзии и упустил бы теснейшую связь подобных образов с общей концепцией критика. Ведь историческая роль Пушкина, по мысли Белинского, заключалась в том, что он должен был «усвоить навсегда русской земле поэзию как искусство», как «художество»; что стих его был по преимуществу «поэтический, художественный, артистический стих». Отсюда нетолько общий характер применяемых критиком по отношению к Пушкину образов, но и самый их тон, эмоциональная окраска, стиль — в своем роде тоже глубоко артистический и пластически ясный. Сквозь «образы» и сравнения Белинского словно прошел ток его критической мысли, и оттого они не только приобрели общую направленность, «одинаковый заряд», но и невольно стали частицами неразделимого целого.

Быть может, никто не оказал на стиль Белинского столь большого влияния, как Гоголь. Гоголь не пишет, а рисует, говорил Белинский. Гоголевский стиль восхищал критика своей рельефной осязаемостью, когда хотелось прикоснуться рукой к каждому слову, как к складке одежды, поверхности предмета. И вот эта осязаемость, рельефность изложения даже вместе с длинной, тянущейся фразой, при каждом новом ответвлении которой, как при повороте дороги, открывались новые подробности и предметы, — эта рельефность и осязаемость

изложения, приобретаю более динамический характер, стала неотъемлемым свойством стиля Белинского. Но выполняли они у критика совсем иную роль, нежели у Гоголя.

Чтобы увидеть это, не обязательно вспоминать «Мертвые души» или «Ревизор» — достаточно сравнить стиль Белинского со стилем собственно ученых статей Гоголя. Сходство налицо — и при этом какая глубокая, принципиальная разница! В своем описании явления Гоголь подчас не идет дальше ассоциаций, сравнений, «образов», разбрасываемых щедрой, но, увы, не слишком точной для исследования рукой художника, тогда как у Белинского это или предощущение мысли, так сказать, первый этап формирования, или, наоборот, ее ответвление, развитие. Во всех случаях это части его концепции, ее принадлежность, ее душа и тело. Следы гоголевской художественной манеры, таким образом, можно увидеть в стиле Белинского только как влияние, преломленное в другую плоскость.

Вот почему сближение критики с искусством в смысле повышения ее выразительности, яркости и т. д. — это не механическое перенесение приемов искусства в критику, а развитие ее собственных возможностей. Это не применение художественности для мысли, но прежде всего поиски художественности в самой мысли, в ее развитии. Сходство, как это часто бывает в таких случаях, является здесь прямым следствием углубления противоположности.

Быть может, ничто так не пояснит нашу мысль, как следующий пример, имеющий к тому же непосредственное отношение к сегодняшней литературе. Всякому видно то сходство, которое имеет документальная биография того или другого выдающегося деятеля с художественным биографическим романом или повестью. Казалось бы, что может быть проще в таком случае, как превратить биографию в роман: там дать вымышленную сценку встречи нашего героя с мужиками, здесь нарисовать пейзаж, пересыпать все повествование фразами типа: «Он вздохнул», «Он улыбнулся», «Он подумал, что...» и т. д. — и вот роман готов. Что получается в результате такой операции, мы говорить не будем: читатель, вероятно, сам встречал подобные «межеумочные» эклектичные произведения, переставшие быть документальными биографиями, но, увы, и не сделавшиеся от этого романами или повестями. А с другой стороны, акаде-

мик Тарле в «Наполеоне» или «Талейране» не разбавлял фактов вымыслом, не силился превратить биографию в повесть или роман, и, однако же, его книги насыщены подлинной поэтичностью, излучаемой развитием и углублением самой концепции монографии. Равным образом исторические повести Тынянова, будучи всецело художественными произведениями, овеяны духом высокой научности. Сходство и сближение в обоих названных случаях явилось следствием верности авторов своим исходным установкам — в основе диаметрально противоположным друг другу.

Изменяемость, текучесть, подвижность законов искусства говорит только об их сложности, но не об их отсутствии, и смешивать одно с другим все равно что смешивать диалектику с эклектикой — с «пошлой эклектикой», как сказал бы Белинский.

Оружие критика — сознательная мысль, и только с ее помощью он может померяться силами с художником. Вырывать из рук чужое оружие и забывать об усовершенствовании своего — нерасчетливо. Это все равно, что пытаться «ключом наколоть дров, а топором открыть дверь», — намерение неразумное не только с точки зрения сохранения «ключа» и «двери», но и с точки зрения успешного выполнения самого дела.

## 5

Литература знает примеры, когда в отдельные периоды ее истории прогресс совершался прежде всего через критику и критиков. «Предисловие к «Кромвелю» Гюго — именно предисловие, а не сама драма — стало предисловием ко всей «юной литературе» Франции. «Лаокоон» и «Гамбургская драматургия» Лессинга предварили появление Гердера, Шиллера, Гёте. Эти периоды, в которые критика спорила в своем значении с самой поэзией, измерялись годами, десятилетиями, иногда всей деятельностью литератора — например, того же Лессинга.

Но не было еще в истории литературы примера, когда на протяжении нескольких десятилетий — от первых шагов Белинского в тридцатые годы до последних статей Добролюбова, Чернышевского и Писарева, — когда на протяжении столь длительного срока критика стояла наравне с веком и с литературой. И с какой литературой! Вспомним, что в эти годы началась и за-

вершилась творческая деятельность Гоголя и Лермонтова, стали уже широко известны имена Тургенева, Гончарова, Островского, Льва Толстого...

И задумываясь над столь необычным явлением, над силой и мастерством классической русской критики, мы должны в числе первых причин назвать ее верность своему назначению, выработанному Белинским критическому методу. Ведь когда Добролюбов формулировал задачи «реальной критики», которая «относится к произведению художника точно так же, как к явлениям действительной жизни: она изучает их, стараясь определить их собственную норму», то он, конечно, развивал известные нам положения Белинского о том, что критика не определяет «красоты» и «недостатки» произведения, но изучает его целое, соотносит изображенные в нем частные явления с общими закономерностями жизни.

Мы уже говорили, какой это был важный, далеко идущий по своим последствиям вывод. Ведь одним ударом он развязывал руки критику, разрушал тысячи преград, отделявших его от художественного произведения, — преград, сооруженных всевозможными пинтиками и эстетиками. Вместо зыбкой, колеблющейся почвы, составленной априорными системами и построениями, под ногами критика был теперь прочный, жизненный фундамент. Критик впервые получил возможность в самом художественном разборе стать исследователем жизни — и именно поэтому исследователем поэзии. Вместе же с упрощением основы критики в ней установилось соответствие анализа и синтеза, единство идеологического и собственно эстетического разбора.

В дальнейшем развитии нашей критики это соответствие было не всегда таким гармоническим. В критике последних десятилетий прошлого века анализ стал уже заметно брать верх над синтезом; частные аспекты исследования стали преобладать над общими. Когда мы говорили об обобщающих названиях статей Белинского, фиксирующих внимание на всем произведении, на всем творчестве писателя, даже на всем данном отрезке развития литературы, то эта черта (кстати, характерная для последующей революционно-демократической критики) была, разумеется, не только стилистической. В ней отражалось стремление к максималь-

ному охвату литературных явлений наряду с их раздроблением и детализацией — критик иначе и не представлял своей задачи, никогда он не чертил перед собой границы, дальше которой не должен был простираться его взгляд. Критик же последующих времен нередко начинал свою работу с того, что ограничивал, сужал предмет своего исследования.

Отчасти этот процесс объясняется гносеологическими причинами. Белинский был Пушкиным нашей литературной науки: в нем почти все ее начала и истоки, все элементы ее последующего развития. Как это свойственно зачинателям, основоположникам какой-нибудь науки или отрасли культуры, он охватил своим взором все поле, еще никем не перепаханное и не поделенное на участки. Даже если мерить целыми дисциплинами и отраслями литературной науки, то общий источник всех их — в критике Белинского: помимо собственно литературной критики, он заложил основы литературоведения (истории русской литературы), теории и эстетики, психологии художественного творчества, психологии чтения и т. д. Естественно, что в последующие десятилетия пришел срок более углубленному, детальному изучению частностей, преобладанию анализа над синтезом. Явление это не новое, оно аналогично, скажем, тому, как в естествознании семнадцатого — восемнадцатого веков получил преобладающее значение анализ — после продолжительного господства синтеза. И тот и другой факт являются частным проявлением отмеченной еще Энгельсом постепенности развития знаний: от синтеза — через анализ — к более широкому и углубленному синтезу.

То, что известное раздробление, разукрупнение литературного исследования неминуемо должно было привести к объединению, к синтезу, подтвердилось уже в новейшее время. Громадное значение работ Ленина и Толстого, на наш взгляд, состоит еще и в том, что они дали пример всеохватывающего, не виданного до тех пор синтеза. Частности, противоречия толстовского творчества, в которых запутывалась мысль десятков буржуазных критиков, были сведены в ленинском анализе к их источнику — отражению интересов и настроений русского крестьянина накануне буржуазной революции — и, таким образом, объяснены как целое, синтезированы. «...Правильная оценка Толстого, — писал В. И. Ленин, — возможна

только с точки зрения того класса, который своей политической ролью и своей борьбой во время первой развязки этих противоречий, во время революции, доказал свое призвание быть вождем в борьбе за свободу народа... возможна только с точки зрения социал-демократического пролетариата». Марксизм, таким образом, явился той основой, на которой оказалось возможным осуществление нового, более высокого синтеза. И если в этом направлении нашей критикой проделано еще немного, если перспективы, открытые ленинскими работами, еще не реализованы, то это говорит только о громадности задач, но не об их неисполнимости...

Накопление знаний расширяет фронт исследований, привлекает к ним новых и новых людей, заставляет их кооперироваться и объединять свои усилия — это старая истина. Но как же быть в таком случае с трудом литераторов, критиков, который был и до сих пор является индивидуальным? Не таятся ли здесь причины, которые замедляют синтезирующую работу нашей критики, ограничивают ее кругозор?

Если встать на почву аналогий, то на этот вопрос надо ответить положительно. Представители естественных и точных наук все чаще говорят сейчас о том, что времена выдающихся индивидуальных открытий прошли или проходят; что ныне такие открытия все больше становятся коллективными открытиями, в которых трудно даже выделить индивидуальный труд исследователя; что выдающиеся ученые часто превращаются из исследователей в организаторов науки.

«Совершенно неизбежно, что по мере расширения наших знаний та их доля, которой в состоянии овладеть один человек, будет убывать», — говорит Джордж Томсон в своей книге «Предвидимое будущее» и предлагает по мере расширения границ науки ставить на ее стыках «связных», а в тылу заводить особые «тыловые команды».

Разве литературная наука составляет здесь исключение? Разве со времен Белинского не возросли — в десятки, в сотни раз — наши знания по всем ее разделам, накопленный многими поколениями «литературный материал». — мы уже не говорим о росте, развитии самой литературы. Конечно, как в старые времена, так и сейчас непрерывным условием развития науки является появление людей, способных охватить и, следовательно, синтезировать больший круг

фактов и проблем; но если по мере расширения наших знаний убывает та доля, которой в состоянии овладеть обыкновенный человек, то она соответственно убывает и по отношению к человеку выдающемуся — разница тут только в степени.

И все же мы бы не стали путем аналогии устанавливать сходство названных тенденций в литературной и других науках.

Прежде всего нужно четко провести черту, отделяющую специфические задачи критики от некоторых других отраслей литературной науки. Скажем, написание сравнительной истории литератур народов СССР действительно невозможно сейчас без объединения труда нескольких, может быть, многих специалистов — слишком широко поле исследования, слишком много проблем и фактов. Но вот критика с присущими только ей задачами, с постижением через литературу закономерностей сегодняшнего дня и объяснением таким путем художественных явлений — здесь отступление от синтеза означает отступление от самих задач критики. В том-то и состоит специфика критики, что синтез равносильен здесь постижению глубины, проникновению до самого корня явления — на данном, ограниченном, конкретном участке, будь то одно произведение, все творчество писателя или целый литературный год. Стоит ли бурить скважину, если не ставить перед собой задачу дойти до слоя нефти? Способен ли оправдать себя в полной мере самый тонкий, самый изощренный художественный анализ, если он не доведен до сути, до постижения реального содержания, того, что и составляет душу каждой художественной вещи. Любое «количественное» увеличение литературы — а в будущем, надо думать, оно еще возрастет — никогда не освободит критика от этой задачи.

Твердая опора на реальное содержание сообщает критике и такую необходимую черту, как основательность, убедительность. Это одна из самых верных примет мастерства критики. Если хотите, она аналогична той убеждающей, внушающей силе произведений искусства, когда вы чувствуете, что каждый поступок, реплика героя действительно могли или должны были быть. Но ведь и в разборе критика вы постоянно должны ощущать такую же железную (хотя уже не художественную, а логическую) необходимость — в том-то сила и «искусство» этого разбора. И даже в тех случаях, когда

в каких-то выводах вы расходитесь с критиком, вас не должна покидать уверенность, что вы говорите с ним на одном языке, стоите на твердой земле, а не витаєте в облаках, где можно строить какие угодно теории и предположения. Этой твердой землей является само реальное содержание художественного произведения. Опираясь на него, Белинский, по слову Плеханова, смог «руководствоваться не тем, что кажется, а тем, что есть на самом деле, не мнением, а мыслью».

К чему приводит отступление от этого простого правила в нашей сегодняшней критике, убедительно, на многих примерах показано в статье И. Виноградова о романе Тендрякова «За бегущим днем» («Вопросы литературы», № 1, 1961). Сам критик подошел к произведению Тендрякова не с точки зрения априорно выдвинутой теории, а с точки зрения исследования его реального содержания, и это не только придало его выводам широту, синтетичность, но и сообщило им необходимую, к сожалению, не частую в нашей критике убедительность.

Опора на реальное содержание... Казалось бы, это общеизвестная истина. Ну кто будет против нее спорить, кто станет утверждать, что излишне изучение «пафоса художника», что не нужны критике убедительность и доказательность, что, напротив того, произвол и априорность должны быть возведены в высшие принципы художественного разбора... Но вот вы читаете недавно опубликованную статью Т. Наполовой «Стиль. Манера. Оригинальность» («Звезда», № 1, 1961) и убеждаетесь в том, что если эти вещи и не утверждаются, то только потому, что теоретическое мышление иной раз отстает от практики, не поспевает за ней. Вот каким образом доказывает Т. Наполова зависимость романа Тендрякова «За бегущим днем» от творчества Ремарка:

«...Приехав в деревню учительствовать, герой Ремарка и герой Тендрякова испытывают совершенно одинаковое чувство отчаяния.

Ремарк: «Внезапно чувствую приступ душевной слабости. Вот завтра мы пройдем местоимения, думаю я, а на следующей неделе напишем диктовку; через год вы будете знать пятьдесят вопросов из катехизиса...» (и дальше — рассуждения о бесплодности таких уроков).

Тендряков: «А меня снова охватывает чувство беспомощности... Снова долбить то, что долбил двадцать минут назад, вчера, позавчера, третьего дня...»

Ремарк: «И это жизнь? Вот эта монотонная смена дней и часов? Неужели я всегда буду сидеть здесь, и незаметно надвигается старость, а там и смерть?»

Тендряков: «Я стал уставать от уроков... Каждый прожитый день мне казался потерей. Неужели я только для того родился на свет, чтобы терпеливо, скучно прожить огромное количество дней, прожить и... свалиться в могилу?» И дальше совсем, как у Ремарка, герой тоскует оттого, что дни идут однообразно и размеренно».

Из этого сопоставления делается далеко идущий вывод — разумеется, не в пользу Тендрякова; хотя нельзя сказать, чтоб и к особой чести Ремарка:

«...В переживаниях героя Ремарка есть правда. Он работал и жил в то время, когда немецкие правящие круги готовили фашистский переворот в стране, когда школьные программы были рассчитаны на подготовку будущей военной силы. В переживаниях же героя Тендрякова этой правды нет».

Мы бы не удивились, если бы, идя таким путем, Т. Наполова доказала влияние на Тендрякова Шопенгауэра, Ницше и даже Фомы Аквинского. Со своей стороны, мы могли бы тоже провести сходство между их трудами и названной статьей, благо сделать это, как показала Т. Наполова, совсем нетрудно: нужно только иметь сильное желание увидеть то, что еще никому видеть не удавалось. Но чего действительно нет в статье «Стиль. Манера. Оригинальность», так это влияния критического метода Белинского, хотя имя его, как легко можно догадаться, упоминается в ней — и не раз.

Совершенно справедливо замечает И. Виноградов: «Может быть, мы давно избавились бы от некоторых наших бед, если бы поменьше клялись в своей верности традициям наших великих предшественников и почаще следовали им на деле». Во всяком случае, в отношении Белинского и извлекаемых подчас из него «критических уроков» дело обстоит именно так.

Мы далеки от того, чтобы проецировать на современность все без исключения черты стиля Белинского. Понятие «современный стиль» в применении к критике так же реально, как в применении к художественной литературе, и ничего, кроме незаконной экстраполяции, такое перенесение не означало бы. Однако «река времен» в своем течении уносит далеко не все; время относится к различным литературным формам, в общем-то, избирательно: иные из них уплывают тотчас, а другие остаются еще надолго в пределах видимости поколений... Когда мы в начале статьи говорили о некоторых внешних чертах стиля Белинского, таких, как отсутствие четких жанровых подразделений, нарушение последовательности изложения и т. д., то тем самым мы менее всего выносили рекомендацию насчет их немедленного внедрения в нашу «практику». Мы лишь хотели сказать, что коль скоро эти черты и некоторые наши устойчивые представления о мастерстве критики расходятся, то не стоит ли, во-первых, поискать секреты мастерства поглубже, в самой сущности критики Белинского, а во-вторых, внести коррективы в самые наши представления о «секретах». Это неизбежно приводит к анализу самого метода великого критика, значение которого гораздо больше и долговременнее, чем любой самой яркой его стилистической черты. Именно в нем нужно искать источники вдохновения и силы критики. И, конечно, ее мастерства.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Э. Кузьмина.** Строгая доброта.— **Н. Пияшез.** Ценное издание и его недостатки.— **Н. Динушина.** Книга о дружбе.— **А. Липелис.** Плоды учености.— **А. Белкин.** Судьба Войнич и ее книги.— **И. Соловьева.** «Простая пьеса» Жана Ануяя.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Хавин.** Зеркало технической революции.— **М. Цунц.** Новое о «Молодой гвардии».— **А. Чернян,** кандидат исторических наук. Воспоминания старейшины советских физиков.— **В. Молчанов.** Шарпевильская бойня и ее последствия.— **В. Цветов.** Захватчики на Окинаве.

## Литература и искусство

### СТРОГАЯ ДОБРОТА

Нора Адамян. Ноль три. Повесть. «Москва», № 1, 1961.

«**Н**оль три». Телефонный звонок — и через минуту уже мчится по вызову машина «скорой помощи». Сколько вызовов за день! И «каждый день одно и то же», как говорит врач Алексей Андреевич Колышев: ушибы, переломы, ожоги... Записать один такой день — это, пожалуй, дело диспетчера «скорой», а не писателя. В повести Н. Адамян перед нами как будто совершенно раздробленные эпизоды рабочего дня врача. Проследим, есть ли какая-то общая нить, которая свяжет мелькающие сцены в законченную картину?

Мы увидим прежде всего, что героиня повести Ксения сталкивается не просто с переломами и ушибами, но с обрывками человеческих судеб. Пусть на миг — тем сложнее: все равно, чтобы помочь пациенту, она непременно должна понять душевное состояние человека, его прошлое, его отношения с теми, кто его окружает. Это не преувеличение.

Мальчик принял яд. Что диктует медицина? Промывание желудка. Все? Помощь оказана? Нет. Также необходимо, чтобы

Ксения поняла мучительную неловкость первых минут, когда Владик пришел в себя и стыдится открыть глаза. Помощь — когда она охраняет его от расспросов, от любопытства посторонних. И что еще важнее — Ксения заставила отца Владика задуматься о том, как оберечь душу подростка от своей «доброй» мешанки-жены.

Столкновение героини с самыми разными человеческими судьбами каждый раз словно высекает искру, освещая какую-то новую грань ее души. И потому из вереницы «разрозненных» эпизодов незаметно возникает живой, цельный образ сердечного, открытого людям человека. Образ этот вылеплен точно и тепло.

Но жить с людьми — это не только отдавать им себя. Все, что видит Ксения вокруг, наслаивается на ее личные заботы и тревоги, оставляет свой незримый след. Вот Ксения берет в машину «скорой» Андриюшу Колышева, о котором его отец, влюбленный в Ксению, говорит ей: «Там так мало моего сердца». Ксения даже не успела и поговорить с мальчишкой, но они вместе помогли

человеку, вовремя сумели избавиться от лишних волнений его семью. И уже Ксения и мальчик оказались как бы в одном лагере, а Алексей Андреевич Колышев остался по другую сторону незримой черты, и больше Ксения не верит его красивым словам о любви. Вот и попробуй раздели, где кончается «общественное» и начинается «личное». Показать эту нераздельность живой, чувствующей души всегда стремится Н. Адамян. Проследим, как это ей удастся.

Обычно ее считают писательницей скорее личного, интимного плана. В самом деле, она с удивительной точностью и тонкостью умеет говорить о том сложном и важном, что скрыто в человеческих сердцах, о любви и честности перед собой, о подлинности чувств и отношений. Вернее, «говорить» не то слово. Н. Адамян не говорит о чувствах, не рассуждает, не рассказывает. Она умеет выбрать те необходимые, единственные детали, жесты, поступки героев, которые говорят сами за себя.

Ксении почудилось, что в ее жизнь пришла новая любовь. Ее точит неотступно вина перед мужем, перед сынишкой, она думает, что нужно все ломать. И вдруг оказывается, что этого от нее никто не требует: «А когда мы повторим тот волшебный вечер?» Только и всего. Оказалось, что это лишь «приятные события» после работы. Одна фальшивая нота — и доктор Колышев стал ясен и нам и Ксении: так не может говорить человек, который любит.

А как точно, одной деталью, показаны отношения Ксении с мужем. Утром Вадим ушел, не притворив дверь, чтобы скрип ее не потревожил Ксюшу. Из-за этого ее будит весь шум большой квартиры. Тут и трогательная забота и неумелость, из-за которой так часто многое не ладится в семье. И все это в одном точном штрихе, а не в лобовых, прямолинейных описаниях.

Бесспорно мастерство Н. Адамян в изображении «малого мира» человеческой души, хотя в чем-то хотелось бы и предостеречь здесь писательницу. Не грозит ли ей опасность начать повторять себя? Конечно, каждый писатель возвращается мыслью к каким-то образам и проблемам, которые ему особенно близки. Тем важнее не пойти по своим собственным следам, не сбиться на знакомые ситуации, привычные психологические ходы. Снова и снова — хорошая, умная, сердечная женщина, у которой так или иначе не ладится личное счастье, и человек,

который недостойн или не может стать с ней рядом: не слишком ли часто встречается один и тот же мотив у Н. Адамян?

Поэтому особенно важно, что в своей новой повести Н. Адамян пробует выйти за пределы несколько узкого круга своих лирических раздумий и наблюдений. По-своему, в своем ключе писательница стремится передать широту и многообразие нашего мира, современного человека.

Ведь повесть Н. Адамян — это своего рода «двадцать четыре часа из жизни женщины». Но как все изменилось! Это новая женщина хотя бы потому, что она уже не может жить только своим личным счастьем или горем. У нее много обязательств перед миром. Она должна уметь сжать себя в кулак, забыть о своей слабости, потому что где-то чужой человек ждет ее помощи. Она должна не растеряться, столкнувшись с грязью, с затопленной в пьянстве судьбой, с самодовольным куражищимся чванством. И тут взгляд писательницы не менее зорок и меток.

На минуту возникает в повести фигура вахтера, которого просят о столь немногом: нужно позвонить по телефону, от этого может зависеть чья-то жизнь. Но как не насладиться тем, что имеешь право «не пускать»? «Что мне «скорая помощь»? Или начальство оно мне, или что?» И человек этот уже стоит, как живой, перед глазами, и все в тебе требует, чтобы не было таких.

Вовсе не появляется в повести некий Васька, тот, что вызывает среди ночи «скорую помощь», чтобы подшутить над приятелем. Так легко! Что стоит набрать «ноль три»? И вот едет через весь город на ложный вызов усталая, измученная женщина, которую мы уже приняли как близкого человека. Мы сами ощущаем пустыньность спящих московских улиц и бесконечные ступени, ведущие на десятый этаж, куда все-таки добирается эта ненужная помощь. И невидимый Васька превращается в наизусть знакомое существо из плоти и крови: это та подлость от равнодушия и бездумья, с которой нужно воевать, не зная покоя. Скрытая взрывная сила любви к людям и ненависти к бездушию, подлости — вот самая сердцевина творчества Н. Адамян, и нужно уметь расслышать все это в сдержанном, негромком, «будничном» голосе писательницы.

Всем своим творчеством Н. Адамян борется за человечность, истинность, справедли-



вость в отношениях между людьми, не парадную, не показную, а повседневную, в каждом будничном проявлении. Потому и сама она не проповедует высокопарно святые истины, а заставляет увидеть их отсвет в скромном обличье «мелких» житейских происшествий.

Сюжеты рассказов Н. Адамян всегда очень просты. В беззаботной дачной компании («Белый гриб») царит приветливая ясноглазая Лиза, напоминающая маленькой Кате «тургеневскую девушку». Но вот Борис и Толя загорелись идеей починить соседке старинные часы, и обиженная Лиза, оказавшаяся вдруг не в центре внимания, тайком закинула в колодец нужный винтик, чтобы затея сорвалась. А Наташа, которой бы простительнее обижаться (ведь Борис, поглощенный Лизой, не замечает ее первого чувства), совершенно естественно, не задумываясь, не говоря ни слова, спасает дело, вычерпав ночью колодец и достав винтик. И мы уже видим самое зерно характеров обеих девушек, их отношение к чужой беде и своей маленькой славе, к любимому человеку, к его делу, больше — к творчеству. И красивая Лиза с ее мелким себялюбием совершенно отступает перед внутренней красотой угловатой, безыскусственной Наташи.

Стремление проникнуть в суть характера, в то, что скрыто под эффектной оболочкой, всегда движет писательницей. Это определяет и своеобразное построение ее рассказов: внешне — ровное течение жизни, никаких крупных событий, и в то же время внутренняя динамика, решительные перевороты, переломы в душевном состоянии героев, в их отношениях между собой и в нашем отношении к ним.

Не так важно, что именно послужило поводом для конфликта: в отношениях между людьми нет пустяков. По тому, как ведет себя человек в самой малой проверке, невзначай устроенной жизнью, мы видим, что правит им: требовательность или расчет, равнодушие или жаркая причастность ко всему, что происходит вокруг. Непримиримое требование человеческой чистоты — главное в произведениях Адамян. Наиболее открыто, обнаженно выступает эта тема в рассказе «Вина непрощенная...». Иван Ногайцев умирает. И кажется черствостью и жестокостью отказ Уварова прийти проститься с бывшим другом: перед смертью кончаются все старые счета. Прощает вину Ивана некогда брошенная им жена, приез-

жая облегчить его последние минуты. «Так неужто твоя обида больше моей?» — говорит она Уварову. Но не свою личную обиду не может забыть Уваров. Когда-то его бывший друг толкнул на гибель невинного человека, переложив на него свою вину. Клевету, предательство не спишет даже смерть. «Не позволено жизнь на земле пачкать», — твердо говорит Уваров.

В рассказах Н. Адамян очень определенно противопоставлены светлое и темное, хорошие и плохие люди. Это вызвано желанием дать в краткой зарисовке и конфликт и его разрешение. Но иногда это переходит в прямолинейность, и тогда рассказ превращается в беглую иллюстрацию какого-то пункта прописной морали. Так, герои «Перевала» очень дружно по воле автора исключают Гиги из своего прямодушного братства: он оказался отрицательным. Нам, читателям, сообщили, что он женат и тем самым обманул доверие полюбившей его Ирины.

Но ведь сам по себе подобный факт возможен в жизни разных людей, и выводы из этого положения тоже могут быть различные в каждом случае, а мы о Гиги ничего, кроме этого факта, так и не узнали. А судьба героев интересует читателя только тогда, когда под внешним рисунком событий ощущается скрытое глубоководное течение, напряженная внутренняя жизнь. Хочется напомнить о произведении, где эта задача решена писательницей с особым мастерством.

Горько проходит день рождения Рузанны. Уже не желает ей отец «счастья, полного до верха, как этот стакан», и сама она пытается шутить: «Вы уж как-нибудь примиритесь с тем, что ваша дочь осталась в старых девах». Ей тридцать три года, и кажется, что уже ничего не будет впереди. Что ж, и это может стать темой глубокого, человеческого произведения искусства. Повесть Норы Адамян называется «Девушка из министерства» — и с первых страниц мы видим Рузанну в кипящем водовороте деятельности. За любым делом, будь то организация нового кафе или распределение квартир, она видит живых людей, чья судьба, труд, отдых зависят и от нее. Только это ощущение своей нужности, полезности людям помогает Рузанне выносить и боль одиночества, и обязательское сочувствие к ее положению «старой девы». Именно работа дает Рузанне возможность быть пусть не очень счастливым, но таким независимым, энергичным,

полноценным человеком. Так по-новому решается еще одна «вечная проблема».

Но основная тема повести начинает звучать дальше. Героине как будто улыбнулось счастье. Рузанна и Грант полюбили друг друга. Это нелегкая любовь. Внешне самое сложное здесь то, что Рузанна на восемь лет старше Гранта. В подспудном, внутреннем течении повести главное — это раздумье о том, как сочетаются большой, требующий человека целиком талант и большая любовь, поможет или помешает личное счастье творческому возмужанию молодого художника. И призвание, и возраст Гранта, и самый его характер — все это, по мнению его сестры Аник, никак не подходит для семейной жизни. «Когда он веселый, весь мир готов тебе отдать. Когда грустный — всю душу твою возьмет. А на каждый день ему никто не нужен», — говорит она Рузанне. И Рузанна решает оставить Гранта, не сказав ему даже, что у них будет ребенок. Пусть его ничто не связывает, думает она, пусть и вправду насытятся его глаза и созреет сердце.

Права ли Рузанна?

Кто из них прав и кто виноват, когда Грант делится с Рузанной горькими сомнениями в себе, в своей работе, а она пытается по-женски — лаской, поцелуем — успокоить его и слышит в ответ: «Почему-то всем женщинам кажется, что именно так надо утешать мужчин...»

Или вот семейный праздник в доме Рузанной. Она так ждала его, хотела объявить родным о своих отношениях с Грантом. А он приходит с шумной незнакомой компанией, чужие люди пьют за какую-то неведомую Вану.

Поломаный праздник, от которого остается вместо начала новой жизни лишь неразбериха, грязная посуда и папиросный дым в комнате. И за всем этим без слов унижение и смятение Рузанной, стыд перед родными, сознание страшной далекости, отчужденности Гранта. Так мальчишеская беспечность его оборачивается душевной глухотой. А может быть, это надо простить, если потом он появляется вновь, влюбленный, окрыленный, — он посвящает ей свою картину «Любовь». Быть может, Рузанна должна была бороться за свое счастье?

Писательница предоставляет и героям и читателям по-своему решать это, как приходится решать в жизни, когда по немно-

гим приметам нужно постичь существо другого человека, и так легко ошибиться, и каждый принимает на себя всю весомость ответственности за свои решения: ведь в жизни рядом не стоит заботливый, все объясняющий и налаживающий автор. Поэтому повесть Н. Адамян так задевает людей, заставляет думать, спорить.

Сама писательница одобряет решение Рузанной. В ее поведении она видит то новое, что отличает советского человека. Веками это считалось страшным несчастьем для девушки — оказаться без мужа, с ребенком на руках, всеми презираемой. И вот новая женщина — не брошенная, не обманутая, сама избравшая трудную судьбу, потому что думает не о себе, не о том, «что скажут люди», но о будущем дорогого ей человека. И при этом она вовсе не считает себя несчастной жертвой, в ней есть твердость и независимость женщины, ставшей равноправным членом общества, способной воспитать своего ребенка, зная, что на нем не будет пятна «незаконности», отверженности. Так исподволь проступают в повести чистые, человеческие законы нашего общества. Не буква закона, подчас не совсем справедливая — недаром столько споров ведется в печати о «метриках с прочерком», — но дух, моральные основы самой жизни нашей. И достоинство книги Н. Адамян в том, что эти важные, прекрасные черты нашего строя даны не в торжественных декларациях, а угадываются во всем облике героев, в их чувствах и поступках.

От книги к книге писательница стремится решать волнующие ее морально-этические проблемы на все более широком жизненном материале. В этом направлении важным этапом, логичным и закономерным мостиком от «Девушки из министерства» к новой повести «Ноль три» служит рассказ, или скорее повесть, «Покинутый дом». Сюжет его обычен для Адамян. Но не просто разница вкусов, трения между невесткой и свекровью привели к тому, что Джемма покинула дом Марутянов. Все казалось так мирно, благополучно в этой изысканной квартире. На свадьбе Варвара Товмасовна говорила проникновенно: «Я горжусь своим сыном не как мать, а как человек. И сейчас, на пороге новой жизни, я повторяю ему: будь честным, будь принципиальным, будь мужественным... От моей Джеммы я требую только одного: чтобы она была полезным членом нашего общества». И она за-

прещает гостям кричать «горько», говоря: «Мещанству нет места в нашем доме».

Все идет правильно в этом доме. «Правильными» словами уговаривает Варвара Товмасовна невестку, к которой вдруг пришла непрощенная поздняя любовь: нельзя разрушать семью, нельзя забывать о ребенке. И никому не важно, что семья эта — только видимость. Постепенно Джемма привыкает к этому кукольному дому. Принять гостей, отдать в чистку костюм мужа, купить нафталин — вот чем заполнена ее жизнь. И уже легко за примеркой модного платья вспоминает она о своей разрушенной любви, и ее располневшее розовое лицо ничего не выражает.

«Правильно» воспитывается и сын Джеммы. Мальчика водят на сольфеджио и не дают ему денег — ведь дети от этого портятся, — и не возят в школу на машине, потому что это непедагогично.

И все же именно открытая всему душа ребенка, как лакмусовая бумажка, показывает неблагоприятное в доме Марутянов. Как случилось, что столь заботливо лелеемый ребенок становится дерзким, циничным и наконец попадает на преступлении? К этому ведет все. Когда его отец угощал в своем доме «нужных» людей и превозносил их достоинства, десятилетний мальчик напряженно пытался все осмыслить и спрашивал мать: «Они все врут?» Этот детский вопрос вскрывал самое главное в стиле жизни этих людей: ложь, фальшь.

Эти люди обо всем умеют говорить высокими, идейными, прочувствованными словами. Но все это маска, мимикрия. Надо назвать их по имени — это те же мещане, копошащиеся в своем затхлом, нафталиновом быту, те, с кем так страстно воевал Горький, кого хлестал своим бичующим стихом Маяковский. Только теперь они еще лучше научились произносить правильные слова об общественном долге, о принципиальности и даже при случае цитируют Маяковского. Именно такими высокими фразами отговаривает Варвара Товмасовна своего сына спорить — вместе со всем заводским коллективом — с директором, защищать честного старого работника, которого хотят уволить из-за каких-то бумажных, анкетных соображений. Причем это не просто трусливые «воздержавшиеся», это подлость активная, воинствующая. «Ты ни в коем случае не можешь промолчать Ты

как раз непременно должен выступить» — выступить против того, что он минутой раньше хотел защищать!

Всем ходом повести автор разоблачает аморальную, беспринципную психологию этих людей «двойного дна». Мещанство живуче, и нужно бороться с ним напористо, страстно. И очень важно, что Н. Адамян ведет эту борьбу с гневной непримиримостью и огромной верой в то, что вся здоровая сила и чистота нашего строя победят ржавчину мещанства. Недаром эпиграфом к «Покинутому дому» взяты мужественные, утверждающие слова Горького: «Хотя ложь еще живет, но совершенствуется только правда».

И в «Покинутом доме» и в «Ноль три» мы видим, что во имя тех, кого она любит, писательница учится «быть злой», мужественной, учится непримиримости к плохому. Но все же порой эта мужественность изменяет ей. Н. Адамян вдруг становится очень жаль своих героев, когда им плохо, и она пробует их немножко утешить, непременно свести концы с концами. Она побоялась оставить Ксению («Ноль три») на перепутье, поспешила с символической счастливой концовкой: «Ксения быстро пошла навстречу мужу». Но тут внешний знак душевных переживаний потерял обычный у Н. Адамян глубокий смысл, он не поддержан всем развитием отношений. Ведь не решено главное, что внесло разлад в семью: как уберечь любовь от повседневности, от привычки, от прозы, как не заменить ее будничными хлопотами: поешь, заплати за квартиру... А ведь об этом приходится задумываться почти каждой семье.

Так же неожиданно все устроилось в «Покинутом доме»: непонятно, неизвестно, как же сумели стать на ноги, начать самостоятельную, настоящую жизнь Джемма и ее сын. И даже Рузанне, которую мы оставляем в тяжелый для нее момент, Н. Адамян подкидывает в утешение заграничную командировку: поезжай, рассеешься, забудешься...

Не нужно этих приклеенных благополучных концовок! В рассказе «Золотая масть» один герой говорит о друге: «Мы его строго любим». Хочется пожелать писательнице, чтобы она всегда именно так относилась к своим героям. Надо верить им, они сильные, они все выдержат и преодолеют!

Э. КУЗЬМИНА.

## ЦЕННОЕ ИЗДАНИЕ И ЕГО НЕДОСТАТКИ

**В. В. Воровский. Фельетоны. Составление и комментарии О. В. Семеновского. Ответственный редактор И. С. Черноуцан. Издательство Академии наук СССР. М. 1960. 376 стр.**

Летом 1920 года Вацлав Вацлавович Воровский тяжело заболел. Он лежал в Кремлевской больнице, здоровье его ухудшалось с каждым днем. Навестить больного приходили В. И. Ленин, А. В. Луначарский, В. Д. Бонч-Бруевич и многие другие друзья и товарищи. Их встречал худой, изможденный человек с улыбкой на бледном лице. Превозмогая боль и слабость, Вацлав Вацлавович шутил и иронизировал над своим «аховым» положением. В. И. Ленину он отрекомендовался «голодающим индусом», а А. В. Луначарского изумил мужеством и присутствием духа в трудную для него минуту жизни. «С совершенным изумлением сидел я у ног больного, — вспоминал А. В. Луначарский, — и слушал нескончаемый град шуток, — причем шутил он над собой, над своими, быть может, последними вздохами, над всяким страхом смерти, над всяким бредом о бессмертии. Спокойная шутка и необычайно веселая улыбка Фавна на этом исхудавшем лице с печатью наступающего конца показались мне каким-то победным гимном...». «...Рядом с глубинной серьезностью в Воровском всегда жил какой-то блестящий смех».

Личность писателя остается в его произведениях. Когда читаешь публицистику Воровского, то поражаешься иронии автора, его неистощимому юмору. Он то негодует, то подтрунивает, то мягко и тепло улыбается. Сатирическая манера письма сквозит и в его серьезных статьях на политические темы, и в литературно-критических статьях, и в его заметках по международным вопросам. Но особенно сильно смех Воровского звучит в пародиях, памфлетах и фельетонах — жанрах сатирической публицистики, собранных недавно воедино О. В. Семеновским и выпущенных Издательством Академии наук СССР. Перед нами ярко раскрывается новая грань литературного таланта Воровского — сатирическая. Раньше, встречая фельетоны Воровского вперемежку со статьями на общеполитические и литературные темы, можно было поражаться злой шутке их автора, удачной остроте, ловкому каламбуру, тонкой издевке. А собранные вместе, фельетоны дают нам целостное представление о диапазоне смешного у Воровского, о

силе его сатирических образов, о рельефности саркастических мазков, о средствах и приемах сатирика, о развитии им традиции русской революционно-демократической сатиры в большевистской публицистике.

Почти все фельетоны, представленные в сборнике, относятся к 1907—1910 годам, то есть периоду столыпинской реакции, когда большевистская легальная печать была задушена. Большевистским литераторам, оставшимся в России, приходилось или совсем молчать или выступать в либеральной печати и с помощью эзоповского языка говорить людям правду... Требовалось большое искусство и мастерство, чтобы, обходя рогатки царской цензуры, проводить идеи партии Ленина, разоблачать врагов и приспособленцев. В этих условиях сатира была весьма действенным оружием. Воровский ловко высмеивал пороки и гниль капиталистического общества. Он выступал то под видом благомыслящего обывателя, то как «профан», то как «недоумевающий», но в ходе дела выяснялось, что этот «простак» на голову выше «вершителей судеб» России.

Находились читатели, которые не догадывались, на чьей же стороне стоит «Мухомор», «Фавн», «Профан», «Кентавр» (псевдонимы Воровского). Они посылали письма в газеты «Одесское обозрение», «Наше слово», «Ясная заря» и другие, в которых сотрудничал Воровский, и просили разъяснить им, что к чему. И Воровский по поводу фельетона «Финал съезда», например, остроумно отвечал: «Многие читатели — тоже, кажется, не из титулованных, — не разобрав, какого рода красная шапка сидит на моей ножке (фельетон был подписан «Мухомор». — Н. П.), недостаточно вдумались в мое осторожное отношение к неосторожному вопросу и приняли меня чуть ли не за самого г. Крамера или за его двойника». (Жаль, что в примечаниях к фельетону этот факт не приведен.) Иногда Воровский делал приписки к своим фельетонам вроде следующей: «Примечание для Винницы: Я не сторонник розог».

Несмотря на то, что все «столпы» реакционной России — Пуришкевич, Дубровин, Чельшев, Бобринский и другие — давно канули в Лету, сметенные волной революции,

фельетоны Воровского продолжают жить, и их интересно читать не только специалистам историкам или литературоведам. Они живут своей жизнью как мастерски сделанные литературные произведения. Сама печальная действительность тех лет подсказывала Воровскому сюжеты и темы его фельетонов, а характер обстановки заставлял фельетониста переосмысливать сатирические типы русских писателей и наполнять их новым содержанием.

Гоголевский Ноздрев, буян и гуляка, под пером Воровского становится помещиком-черносотенцем, погромщиком и реакционером. Иван Александрович Хлестаков выступает в роли провокатора, он хвастает тем, что умеет устраивать провокации и покушения; он, мол, сам Азеф, он Гапон... А ссора октябриста Гучкова с кадетом Милоковым приравнена Воровским к ссоре гоголевских Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Гневный смех Воровского был направлен против основ существующего строя и разоблачал всю иллюзорность конституционных подачек царя. А что за парламент в России? Высмеиванию Государственной думы Воровский посвятил много фельетонов, а один из них так и назван: «Веселый пансион» (Жаль, что этот фельетон не включен в сборник.)

Очень разнообразна литературная форма фельетонов Воровского: они написаны и в виде диалога двух обывателей, и в виде драматических сценок, и в виде письма, и в виде дневниковых записей, и в виде дополнительного акта к пьесе писателя. Чтобы высмеять пошлую пьесу Е. Чирикова «Марья Ивановна», Воровский сочинил к ней пятое действие и сделал шутовское примечание, в котором «объяснил», почему дирекция театра от постановки этого пятого действия отказалась.

Сборник фельетонов состоит из двух разделов. В первый из них включены фельетоны на общественно-политические темы, во второй — фельетоны по вопросам литературы и искусства. Но, как известно, Воровский писал фельетоны и о международной жизни, особенно в годы Советской власти. Нам кажется, следовало бы выделить и третий раздел, включив в него фельетоны на международные темы.

Из 149 фельетонов сборника 124 включаются в отдельное издание впервые. В этом большая и несомненная ценность данного труда. Составитель проделал значительную

работу, разыскав и собрав воедино фельетоны Воровского, рассеянные по различным дореволюционным газетам.

Но важное и нужное издание не лишено, к сожалению, и некоторых существенных недостатков.

Составитель О. В. Семеновский пишет: «Все фельетоны сверены с первопечатными источниками (рукописи не сохранились)».

Однако, читая сборник, натыкаешься на безграмотные фразы и начинаешь сомневаться в тщательности его подготовки. На странице 45 значится: «Благодарю тебя за то, что ты лишил меня только одну ногу, ибо ты мог сломать мне обе ноги»; на странице 99: «И зачем я с этим фефелой сказала?» (вместо «связалась»); на странице 133 «генеральный мундир» вместо «генеральский»; на странице 247 вместо «свергнуть иго» — «согнуть иго».

А когда начинаешь сверять фельетоны с первопечатными источниками, обнаруживаешь еще более серьезные дефекты.

В сборнике на странице 337 есть фраза: «И над претензиозными погугаами модничающих гениев, и над кровью сердца страждущего художника», а в газете «Одесское обозрение» за 8 января 1909 года значится: «И над претензиозными потугами модничающих гениев, и над кровью сердца страдающего художника». В сборнике: «Один — толстый, русяный, гладенький, опрятно одетый, с лоснящимся лицом» (стр. 73), а у Воровского: «Один — толстый, румяный, гладенький, опрятно одетый, с лоснящимися щеками». На странице 75 пропущено предложение «Можно еще только существовать» и допущены другие искажения. В фельетонах «Тайны самарской бани», «Мысли вслух», «Из записной книжки публициста» № 45 также есть пропуски и ошибки. В фельетоне «В кривом зеркале» № 46 гоголевский Петр Петрович Петух превратился в Петухова (стр. 143); «Запах оппононакса» (сорт духов из эфирного масла) превратился в... «запах ваксы» (стр. 55).

Подобные примеры можно было бы продолжить. Еще хуже дело обстоит с иностранными текстами: на страницах 53, 149, 239, 301 и других пропущены целые фразы.

Трудно объяснить возникновение подобных текстологических ляпсусов в столь ответственном издании. Вероятнее всего, составитель не очень тщательно сверил тексты фельетонов с источниками или невни-

мательно читал корректуру. Во всяком случае, ошибки вкрались недопустимые.

В книге есть справочный аппарат. Однако автор примечаний не всегда дает толкование событий, мало известных современному читателю, и раскрывает те намеки, которые делал в свое время Воровский.

В фельетоне «Торжище суеты» есть такая фраза: «Лет десять тому назад М. Горький дал резкую отповедь ротозейной толпе, полезшей в грязных галошах в его личную жизнь». Хотелось бы знать, что имеет в виду Воровский. И это нетрудно было сделать: достаточно взять трехтомник его сочинений и прочесть статью «О М. Горьком». Речь идет о письме М. Горького в редакцию «С.-Петербургских Ведомостей» от 22 ноября 1901 года, в котором писатель негодовал против буржуазного критика Ляцкого, в одной из своих статей приписавшего Горькому взгляды и поступки воров и бродяг.

В фельетоне «Высшая мудрость» Воровский ловко высмеивает журналиста-кадета из газеты «Речь», некоего г. Штильмана, призывавшего не критиковать Думу. У Воровского есть фраза: «Уже по самой фамилии ему подобает быть смиренномудрым». Читателю, не знающему немецкого языка, непонятен каламбур фельетониста, его надо было объяснить. «Штильман» в дословном переводе с немецкого — тихий, молчаливый человек.

Не объяснено также, почему «Тульский пряник» — это граф Бобринский (стр. 154). Дело в том, что В. Бобринский, депутат Государственной думы от Тульской губернии, был сахарозаводчиком. В шутку фельетонист и назвал его тульским пряником.

Нуждаются также в переводе и многие

иностранные выражения. На странице 332 читаем: «*Du choc des opinions jaillit la verité,*— говорят французы. Что в переводе на русский язык значит: «при столкновении мнений получается мордобой». Комментатору следовало бы указать подлинный смысл французской пословицы: «При столкновении мнений выявляется истина». Тогда стал бы ясен каламбур фельетониста.

На странице 151 упоминается немецкая газета, выходившая в Мюнхене, «*Allgemeine Zeitung*», о которой Воровский сказал, что она даже в самом Мюнхене пользуется славой «*Gemeine Zeitung*». Составитель не только не дает перевода, но и не комментирует этого выражения фельетониста. А оно нужно. В нем также скрыт злой каламбур Воровского. «*Allgemeine Zeitung*» — это «Всеобщая газета», «*Gemeine Zeitung*» — это «Общая газета», но у слова «*gemeine*» есть и другое значение: подлая. Отсюда ясен сарказм фельетониста.

В примечаниях встречаются и ошибки. На странице 320 в фельетоне «В кривом зеркале» говорится: «По сцене бродят солдубовские тихие бледные мальчики» — и к ней примечание: «Намек на героев романа Ф. Сологуба «Мелкий бес». Но в «Мелком бесе» никаких «бледных мальчиков» нет. Они из романа-трилогии «Творимая легенда» (первая часть «Навыи чары»).

Таким образом, существенные недочеты есть и в примечаниях к фельетонам Воровского. А следовало и тексты фельетонов напечатать безупречно и примечание дать без пропусков и ошибок. Надо ли говорить, что читатель вправе предъявить такие требования к любой книге. Тем более к сборнику произведений В. В. Воровского, выпущенному Издательством Академии наук СССР.

Н. ПИЯШЕВ.

★

## КНИГА О ДРУЖБЕ

**А. Фадеев. Письма дальневосточникам. А. Фадеев в воспоминаниях. Приморское книжное издательство. Организация материала, составление сборника и примечания В. Т. Кучерявенко. Владивосток. 1960. 632 стр.**

«Дальневосточный край — почти моя родина, — говорил А. Фадеев. — Здесь находится село, в котором я вырос, здесь я прошел школу партизанской войны, вступил в партию, оформился как большевик. Здесь живые люди — герои моего романа, колхозники, партизаны, которые мне известны. судьбу которых я могу проследить».

Естественно, что читатель с особым интересом знакомится с вышедшим в конце прошлого года во Владивостоке объемистым сборником, в котором земляки Фадеева бережно собрали материалы, связанные с его жизнью и деятельностью на Дальнем Востоке.

В книгу вошло более ста писем Фадеева:

матери, сыновьям и главным образом друзьям-дальневосточникам, соратникам его мятежной юности, а также воспоминания о писателе. Некоторые из писем и воспоминаний уже были в свое время опубликованы, большая часть печатается впервые. Объединенные вместе, эти материалы составили цельный и хорошо задуманный сборник, впервые так широко и полно освещающий годы юности Фадеева.

Сборник этот можно было бы назвать книгой о дружбе. Дружба — лейтмотив и писем Фадеева и воспоминаний о нем.

Большая часть воспоминаний принадлежит боевым друзьям Фадеева, тем, кто бок о бок с ним работал в подполье, кто шел с ним по дорогам гражданской войны, — З. Станковой, З. Секретаревой, Т. Головинной, Т. Цивилевой, Г. Цапурину, М. Губельману, Н. Ильяхову, И. Самусенко и другим. Сестры писателя Т. Фадеева и В. Сибирцева (Шушарина) рассказывают о семьях Фадеевых и Сибирцевых, где протекали детские годы будущего писателя. Интересны «Воспоминания учителя» С. Пашковского — преподавателя литературы в коммерческом училище Владивостока, где учился Фадеев.

Из опубликованных писем А. Фадеева и воспоминаний о нем мы узнаем новые подробности, касающиеся и «Разгрома» и «Последнего из удэге» — произведений, непосредственно связанных с Дальним Востоком, — и «Молодой гвардии», романа, лирический строй которого рожден не только героической борьбой молодежи Краснодона, но и чистыми и светлыми воспоминаниями о прошлом.

Разумеется, было бы не очень плодотворно отыскивать в письмах и воспоминаниях прототипы героев Фадеева или какие-то отдельные события, нашедшие то или иное отражение в произведениях писателя. И если иные факты (например, приводимое в воспоминаниях М. Губельмана донесение командира партизанского отряда о героической гибели партизан Морозова и Ещенко или рассказы Т. Головинной, З. Станковой и других о большевистском подполье, о расклейке молодежных прокламаций в занятом белыми Владивостоке) живо напоминают читателю соответствующие эпизоды из романов Фадеева, это свидетельствует лишь о реальной жизненной основе его произведений, но не о том, что художник копировал действительность. В этом отношении любопытно письмо Фадеева к Г. Цапурину, в ко-

тором он рассказывает о встрече с племянником Цапурина, задавшим писателю вопрос: «Правда ли, что вы в своем романе «Последний из удэге» описали моего отца?»

«Беда в том, — писал Фадеев Г. Цапурину по этому поводу, — что он, как многие, не понимает, как создается художественное произведение, не понимает, что материал берется из жизни, но очень разный и комбинируется, преобразовывается автором».

В другом письме тому же Г. Цапурину он писал: «Нельзя рассматривать мой роман «Молодая гвардия» только как описание действительных событий. Ведь в нем немало и выдумки».

Книга о Фадееве показывает, какое колоссальное воздействие оказало все пережитое им в юности на формирование его личности, на его книги. И не только на «Разгром» и «Последний из удэге», но и на «Молодую гвардию». И хотя роман «Молодая гвардия» нередко причислялся к произведениям документально-художественного жанра и воспринимался чуть ли не как история краснодонского подполья, ясно, что и он вобрал в себя впечатления молодости.

Фадеев обладал чудесным даром — «памятью сердца» и душевной молодостью. И молодогвардейцы, обладающие всеми приметами своего времени, вместе с тем, конечно же, родственны тем «соколятам», которые в 1917 году выступили на бой с капитализмом.

Несмотря на то, что большинство напечатанных в сборнике воспоминаний относится к годам гражданской войны, а письма самого Фадеева написаны значительно позже, двадцать или тридцать лет спустя, между письмами и воспоминаниями нет разрыва, противоречий. Фадеев-подросток, начинавший свой жизненный путь в большевистском подполье Владивостока, и Фадеев — зрелый, с мировым именем писатель были едины в главных и самых своих существенных чертах. Глубокая преданность революции, принципиальность и честность, страстная убежденность в правоте дела партии, огромное жизнелюбие — эти духовные качества были присущи Фадееву на протяжении всей его жизни.

Пожалуй, наиболее ярко проявились в письмах Фадеева к друзьям его удивительная доброта, отзывчивость, сердечность, душевная щедрость. И не потому ли Фадеев сумел так поэтически описать суровую и мужественную дружбу большевиков Петра

Суркова и Алеши Чуркина, юношески прекрасную дружбу молодогвардейцев, что сам он умел быть настоящим и надежным другом? Он умел помочь товарищу, поддерживать его в трудные минуты, и делал это всегда просто, без рисовки и позы, проявляя душевную деликатность и такт.

Радуюсь появлению рецензируемой книги и отмечаю большую работу, проделанную ее организатором-составителем В. Кучерявенко, нельзя не отметить и частных недочетов издания. Так, примечания к письмам и воспоминания могли бы быть, так сказать, более активными. Это позволило бы уточнить некоторые факты, вернее характеризовать отдельных лиц, упоминаемых в публикуемых материалах, и оговорить некоторые допущенные в книге ошибки.

Т. Фадеева (сестра покойного писателя) сообщает, что А. Фадеев учился в сельской школе в с. Саровке (стр. 210), а Ф. Мышаков в своих воспоминаниях рассказывает, как он учился вместе с А. Фадеевым в сельской школе в Чугуевке (стр. 225—227). Налицо явное противоречие. В комментариях было бы легко указать, что Ф. Мышаков ошибается. Сам А. Фадеев писал: «Учился я в сельской школе не в Чугуевке, а в Саровке — мы приехали в Чугуевку, когда я уже учился в коммерческом училище» (А. Фадеев. «За тридцать лет», стр. 919).

Б. Беляев в своей статье «Встречи с Але-

ксандром Фадеевым» пишет, что в Москве на доме, где жил А. Фадеев, установлена мемориальная доска, на которой «изображен писатель, работающий над рукописью» (стр. 615). Здесь все правильно, кроме слов «работающий над рукописью». Слова эти нимало не соответствуют действительному изображению писателя на мемориальной доске. Такого рода ошибок, конечно, следовало бы избежать.

Книга, выпущенная во Владивостоке, освещает наиболее полно годы юности Фадеева, но в ней нашли отражение и последние годы его жизни, когда он, как и прежде, продолжал вести большую общественную работу и писал свой последний роман «Черная металлургия». Сюда включены также воспоминания П. Максимова о ростовском периоде жизни Фадеева, Ю. Либединского, рассказывающие о Фадееве в двадцатых — начале тридцатых годов, и Б. Полевого — о Фадееве в годы войны. Эти воспоминания очень интересны и содержательны, но, думается, они все же несколько «выпадают» из главной — дальневосточной — темы сборника, нарушают цельность книги. Место этих воспоминаний — в книгах, которые еще должны выйти и которые продолжат начатый дальневосточниками большой и интересный разговор об Александре Фадееве, его жизни и творчестве.

Н. ДИКУШИНА.

★

## ПЛОДЫ УЧЕНОСТИ

А. Галявин. Юмор и сатира в советской поэзии. Редактор А. И. Царев. Ульяновское книжное издательство. 1960. 94 стр.

Появление первой обобщающей работы о советской сатирической поэзии заслуживает всяческих приветствий. Правда, разговор у А. Галявина идет преимущественно о стихах двадцатых годов, лишь в последней главе касаясь современной сатиры, и сводится в основном к выяснению «особенностей сатирической типизации» (таков подзаголовок книжки). Но и в этих суженных границах тема остается актуальной.

Что касается центральной идеи автора, то она не вызывает никаких возражений: развитие советской сатирической поэзии, доказывает А. Галявин, шло в двадцатые годы от схематических олицетворений и «образов-масок» к психологически конкретному типу-характеру, причем не путем отрицания одного другим, а в порядке преемственности

и взаимообогащения. Маяковский, сказано в брошюре, развивал, а не отбрасывал свой предыдущий опыт.

Итак, тема — новая и нужная, идея — правильная и плодотворная, о чем же еще говорить? Остается привести несколько примеров, иллюстрирующих основную мысль брошюры, высказать ряд конкретных одобрительных суждений, поспорить по некоторым частным вопросам и — поставить точку. Но не будем торопиться.

Начнем с отступлений автора за пределы его непосредственной темы. Особой надобности пространно рассуждать о полезности сатиры у А. Галявина не было, и все-таки он это делает — рассуждает, цитирует, пересказывает и даже вступает иногда в полемику. Что ж, на то его авторская воля.



Но пыл у А. Галявина заемный, потому что он с пафосом вращается в кругу тех положений и цитат, с которыми внимательный читатель уже знаком по работам Я. Эльсберга, Л. Ершова, Ю. Борева, А. Павловского и других. Даже предпринятая А. Галявиным критика западных философов, в разное время недопонимавших «объективную сущность комического», и та в основной своей части только перепев соответствующих страниц все тех же Эльсберга, Борева, Павловского. То, что в этой критике принадлежит собственно А. Галявину, сводится чаще всего к той самой точке над «и», под знаком которой нередко идет вульгаризация. И это другая характерная особенность брошюры.

Верный тезис — «сатире не чужд психологический анализ» — доказывается так усердно, что начинает восприниматься как нечто сомнительное. Разбирая стихотворный фельетон С. Васильева «Верхогляд», А. Галявин пишет: «О том, что «герой» внутренне (?) переживает после неудачного выступления перед колхозниками, свидетельствует и авторский комментарий: на обратном пути Яровой «повесил нос, длинный, как паяльник».

Склонность к преувеличениям сквозит и в рассуждениях А. Галявина о «ряде сатирических стихотворений Маяковского» (речь идет о «Письме к любимой Молчанова» и других), где «юмор язвительный, колкий, однако цель его одна — помочь тому, кто подвергается осмеянию, избавиться от собственных недостатков и слабостей». В названных стихотворениях Маяковского дело обстоит, конечно, сложнее; столь жестокая «целевая генерализация» — плод излишнего старания самого критика.

В другом месте сугубыми рационалистами объявляются уже читатели: популярность сатирических и юмористических произведений, уверяет Галявин, объясняется тем, что нашим людям «присуще стремление глубоко осмыслить те причины, которые порождают порочное и отрицательное в жизни, и найти наиболее эффективные средства своевременного обнаружения, разоблачения вредных явлений».

Так, доводя до крайности верные в общем мысли, А. Галявин только компрометирует их.

В книге А. Галявина множество ссылок на сочинения Луначарского, Шедрина, Чернышевского, Белинского, Горького, на

работы критиков и литературоведов, на диссертации, на самые различные архивные материалы. А. Галявин сетует, что «до настоящего времени вопросу о... не уделено необходимого внимания» и что другой «вопрос... остается в тени», он проводит сопоставления беловых и черновых вариантов, ссылается на «ед. хр.» и прочие не всем известные вещи и т. д. и т. п. Эрудиция подавляющая. Но на что она работает?

Вот автор пишет: «В записной книжке 1925 года № 33 (хранится в библиотеке-музее Маяковского) есть дата: «26/VI. Атлантический океан». В тот день поэт сочинил фельетон «б монахинь». Что легло в основу этого произведения? Действительный факт...» И далее идет пересказ известного стихотворения Маяковского. В этом пересказе ни «дата», которая есть в «записной книжке № 33», ни сама записная книжка, которая хранится в библиотеке-музее Маяковского и которую — охотно верим — имел случай рассматривать А. Галявин, никакой решительно роли не играют.

От всех этих сопоставлений и ссылок остается впечатление школярской игры в науку. Чтобы стать наукой, им не хватает целесообразности.

Теперь о том, как ведется в брошюре эстетический анализ.

У А. Галявина прямо-таки катастрофическое пристрастие к терминологии. Со страниц брошюры не сходят «образы персонализированные и собирательные», «авторские характеристики», насыщенные «метафоричностью», «гиперболизация» и «гротескность», «контрасты», «анalogии» и «антитезы», «литота», «ассоциативные связи», «создание ложного пафоса», «комическая тавтология», «развертывание сюжетных комических ситуаций» и т. п. Перечислить все обнаруженные им «приемы» Галявин считает своим неперменным долгом. Вот почему в его брошюре они однообразно мелькают, то взятые отдельно, то — чаще — «слитые воедино».

Но беда не в одной бессистемности перечисления: оказывается, поэты только то без конца и делают, что «используют», «употребляют» и «применяют» «различные художественные средства». Маяковский, например, в одном из стихотворений «применил целую систему художественных средств с комической окраской», в другом «... и збрал самый подходящий жанр — стихотворный памфлет», в третьем он «и с-

пользовал ...прием социальной маски», но тут уж вслед за ним и Безыменский «использовал тот же прием создания типа бюрократа». Все вместе эти определения выражают представление о художественных образах, как о чем-то внешнем, только «оформляющем» мысль писателя. Впрочем, А. Галявин так прямо и пишет: «Сатира немислима без художественной изобретательности в оформлении и мыслей писателя, поэта». Сомнительно, чтобы такое представление о существе творческого процесса способно было кого-то обрадовать.

Главное же — совершенная бесполезность такого «анализа». Автор перебирает великое множество «использованных» в басне или фельетоне «средств» и «приемов», но убедить нас, что эта басня или фельетон хороши, по-настоящему художественны, он не может: качества стихотворения количеством «приемов» не измеряются.

Не удается А. Галявину уловить особенность сатирической поэзии и тогда, когда он оставляет в покое «приемы» и берется за пересказ. Вот как он излагает, например, фельетон Д. Бедного «Смотри в корень!»: «Один бюрократ жалуется другому: «Трудно нашему брату! Вот как нас атаковали!» Но он считает себя невиновным в бюрократизме. Таково, мол, наследие капитализма, от него не избавишься. Без бумаги и волокиты не обойтись. Оправдывая свои действия, говорит: «Мне нужно спастись, тоже отписаться».

На таком же уровне идет «анализ» и других текстов: элементарный, чисто внешний пересказ — ни в чем не убеждающий, вполне безразличный, уравнивающий действительно талантливое и острое с бесцветным и вялым, — и к нему несколько глубокомысленных фраз насчет того, что «сюжетное раскрытие поведения персонажей... стало... особенностью басни», что у Д. Бедного есть «мастерство... раскрытия характеров», а в его произведениях житейские случаи «связаны с раскрытием образов», что в басне «Лукерья» «цель раскрытия... образа» — заклеить меньшевиков и что «подобный принцип раскрытия политической сущности» их действий лежит в основе других басен, в которых так же «раскрываются антисоветские цели в политике международной буржуазии». (Следует, пожалуй, отметить, что все эти примеры взяты с двух (!) соседних страниц, шестидесятой и шестиде-

сят первой, на других автор бывает более разнообразен, то есть к излюбленному им глаголу «раскрывает» добавляется более решительный «вскрывает» — см. стр. 54, 57 и др.)

О языке брошюры. Думается, что некоторое представление о нем у читателя уже сложилось. Но две особенности его стоит подчеркнуть.

Вместо того чтобы скромно заявить: «Сатирик должен быть остроумным», А. Галявин начинает «формулировать»: «Писатель-сатирик проявляет свое подлинное сатирическое дарование при том условии, если насыщает произведение глубоким остроумием, различными оттенками иронии и юмора». Истина азбучная, а выглядит вполне научно и даже чуточку непонятно. Или еще: «Художественные средства выразительности языка основаны на таких ассоциативных связях, которые вскрывают подлинную сущность обличаемых явлений, осмеивают их». Когда через несколько строчек знакомишься с примером, разъясняющим эту формулу, испытываешь чувство некоторого разочарования: дело-то сводится к тому, что «один из бюрократов-бездельников сравнивается с петухом...»

Случается, что отвлеченная, наукообразная фразеология идет у А. Галявина впереди мысли: «Резкие комические контрасты и сопоставления, художественные параллели, карикатурное изображение, гиперболические и гротескные фигуры, доходящие иногда до абсурдности, но выражающие иносказание (?), реалистическую сущность отрицательных жизненных явлений (?), — вот чему подчинены художественные средства сатиры». Средства, таким образом, подчинены... средствам.

Кроме наукообразности, А. Галявина то и дело тянет на штампы и канцелярские обороты: «льет воду на мельницу эксплуататоров», «колесо истории движется не по Лефевру», «с особой яркостью раскрывает подлое нутро вражеского типа», «вскрывает все их подлое нутро», «подлое нутро подхалима», «по причине отсутствия постановки и решения», «положила хорошее начало в разработке», «лесной народ» соблюдает очередность в получении жилья», «лица, которой угрожало снятие с работы в тресте...», «выдвигает ложную концепцию об отсутствии перспективы сатиры восходящего класса (пролетариата)».

В иных местах брошюра элементарно безграмотна: «образы изображались», «образ... как типичный характер изображен», «революционные демократы... видели подлинную сатиру как острейшее оружие в борьбе со всякой физостью и пошлостью, оскверняющих человеческое достоинство, мешающих освобождению народа от рабства и угнетения», «пока человек слаб над врагом, он не смеется над ним» и т. д.

Как же так получается? Ведь высказывает иногда автор здравые мысли, а общее впечатление от его работы даже не двой-

ственное, а угнетающе однообразное... Не будем ставить точку над «и», скажем только, что так писать об искусстве нельзя, недопустимо.

И последнее: книжка А. Галаявина — не уникальное изделие. Как говорится, перед нами яркий, но вполне типический отрицательный факт. Еще пишутся и издаются у нас такие брошюры и статьи. Они не только бесполезны, но и очевидно вредны. Вредны тем, что убивают всякий интерес к своему предмету.

А. ЛИПЕЛИС.

★

## СУДЬБА ВОЙНИЧ И ЕЕ КНИГИ

Е. Таратута. *Этель Лилиан Войнич. Судьба писателя и судьба книги.*  
Редактор Е. Мельникова. Гослитиздат. М. 1960. 291 стр.

Недавно вышедшая книга Евгении Александровны Таратуты «Этель Лилиан Войнич» во многих отношениях своеобразна: жанр ее не поддается точному определению. Эта своего рода творческая биография Этель Лилиан Войнич, автора популярнейшего романа «Овод», далеко вышла за рамки собственно беллетризированной биографии. Может быть, иные литературоведы, воспитанные в пуритански строгих академических правилах, откажут этой книге в названии литературоведческого труда.

На самом же деле книга Е. Таратуты, написанная живо, увлекательно, доступным для любого читателя языком, представляет собой подлинное научное исследование. Многие годы понадобились ее автору, чтобы воссоздать по крохам, по уцелевшим письмам, по разбросанным в различных мемуарах сведениям, по неопубликованным архивным материалам удивительный образ писательницы Войнич. Порой интересно следить не только за содержанием книги по существу, а за тем, как нанизывает автор одно свидетельство современника на другое, как за названной в каком-либо письме фамилией тянется ниточка к важному факту, а за ним еще к одному значительному деятелю эпохи.

Для Е. Таратуты нет мелочей, как нет мелочей, допустим, для ученого, ведущего эксперимент. Иное отклонение в опыте может привести к решающим открытиям. Так и в книге Е. Таратуты кажущийся несущественным мелкий факт может открыть интересные черты облика Войнич, а за ней и целой эпохи. Приведу несколько примеров.

Историкам русской общественной мысли известна личность Марии Константиновны Цебриковой. Менее известна она историкам литературы. Во всяком случае, когда Е. Таратуте понадобились подробные сведения о Цебриковой, то частично ей смог дать их только такой знаток русского революционного движения, как профессор-историк (ныне покойный) Б. П. Козьмин. Таратута обнаружила, что в первом номере журнала «Свободная Россия», который Степняк-Кравчинский начал издавать в Лондоне, было напечатано изложение «Письма к Александру III», составленное Цебриковой. Но какое отношение имеет Цебрикова к Войнич? Степняк был ближайшим другом Э. Л. Войнич в Лондоне, он оказал огромное влияние на ее мировоззрение. Это убедительно доказано в книге Е. Таратуты. В основе образа самого Овода лежат художественно переосмысленные черты Степняка. И это отлично показано автором книги. Войнич (тогда еще носившая девичью фамилию Буль) деятельно работала в редакции «Свободной России».

Е. Таратуте удалось обнаружить письмо Цебриковой к Лили Буль. Оно столь значительно для понимания психологии Цебриковой и заодно для понимания революционного народничества, что хочется привести отрывки из него. «Когда я была молода, моя английская приятельница Мэри М., бывало, говорила мне: «Вы, русские, рождены быть рабами». Я отвечала ей: «Мы рождены рабами, но не рождены, чтобы быть рабами». И я решила, что когда-нибудь я это докажу. Но не это является истинным мотивом мо-

их действий. Истинным мотивом является то, что я в долгу перед моим народом, и я плачу этот долг, говоря слово в его защиту, нанося моральный удар в лицо деспотизму». Цебрикова была заключена в царскую тюрьму. Знала ли об этом Лили Буль? Да, знала. Сообщение об этом, оказывается, попало в газету «Таймс», которую читала Буль и экземпляр которой разыскала Е. Таратута. Сообщение о письме Цебриковой к Александру III было напечатано в крупнейших английских и французских газетах, а письма от нее получили Дж. Кеннан в Америке, Георг Брандес в Берлине, П. Лавров в Париже и Лили Буль в Лондоне. Нет ли связи между этими людьми? Е. Таратута стремится и это исследовать.

Знакомство Войнич с Цебриковой — один из многих эпизодов в истории русского революционного движения, один из примеров зарубежных связей русских революционных эмигрантов.

В книге рассыпано множество ранее не известных фактов из истории общественной мысли, значительных и интересных самих по себе. Казалось бы, какое отношение могут иметь английские писатели Оскар Уайльд и Бернард Шоу к русским народникам? Оказывается, в доме Степняка, где Лили бывала ежедневно, она познакомилась с Бернардом Шоу, очень любившим и ценившим этого русского революционера. Шоу называл Лили Буль в шутку «нигилисткой». Бывал в этом доме и Уайльд. Русские читатели, вероятно, впервые узнают, что этот изощренный эстет, автор «Портрета Дориана Грея», первую свою пьесу написал о нигилистах и назвал ее «Вера». Е. Таратута убеждена, что это в честь Веры Засулич, хотя аргументации она не приводит. Ей известно лишь, что Уайльд интересовался русскими революционерами, симпатизировал Степняку, увлекался Кропоткиным.

Чтобы показать, как звено за звеном сплетались вместе и в итоге получилась связанная цепь жизни Войнич, приведу несколько иллюстраций хода мыслей автора.

Откуда могло появиться в романе «Овод» сопоставление образа итальянского революционера и его казни с распятием Христа и с казнями русских революционеров-заговорщиков? Е. Таратута выяснила, что, когда Степняк-Кравчинский был в США, там находился и русский художник Верещагин,

с которым он собирался встретиться. На выставке картин Верещагина в Лондоне демонстрировалась его «Трилогия казней»: первая картина изображала распятие Христа, вторая — казнь русских революционеров, третья — расстрел англичанами восставших сипаев в Индии. Была ли Лили на выставке? Нет, она в это время была в России, но сестра писала ей об этом. Не мог не рассказывать ей об этом и Степняк. Революционная жертвенность, готовность на гибель во имя своих идей была одной из ведущих черт в характере русских революционеров. У многих из них она облакалась (и это было естественно в ту пору) в образы христианского мученичества. Жертвенное служение делу свободы покорило Лили Буль в образах итальянских революционеров. Джузеппе Мадзини был ее героем с детства. В юности Лили прочла также книгу французского утописта священника Ламеннэ «Слова верующего», учившего, что спасение человечества от угнетения и нищеты — в христианской нравственной чистоте и подвижнической вере. К слову сказать, книгу Ламеннэ хорошо знали и в России. В сороковые годы ее читали петрашевцы. Когда Лили была в России, она не раз приносила своим друзьям — узникам Петропавловской крепости передачи. Так постепенно, шаг за шагом, раскрывает перед нами автор книги все окружение Лили Буль, все впечатления, отложившиеся в ее сознании, — и нам в конце концов становится ясной творческая история романа «Овод», становление и развитие мировоззрения его создательницы Войнич.

Кстати, мимоходом Е. Таратута приводит такой любопытный факт. Степняк подарил Самуэлю Клеменсу (Марку Твену) свою книгу «Подпольная Россия» и в ответ получил письмо, свидетельствующее о восторженном преклонении М. Твена перед русскими революционерами. Е. Таратута цитирует отрывки из него: «это такой вид подвижничества, которого нет ни в одной другой стране, кроме России».

Какие поразительные факты! И как щедро разбрасывает их Е. Таратута в своей книге, если они хоть в малой степени раскрывают атмосферу, которой дышала Войнич!

Но, может быть, все это досужие беллетристические вымыслы? Чтобы убедиться в том, что это исторические факты, прочтите «Приложение» к книге, составляющее около

пятидесяти страниц убористого текста. Вероятно, издательство было немало озадачено характером этого странного «Приложения»: не то примечания, не то ссылки на источники — во всяком случае, нечто необычное для книг подобного типа. Но оно все же появилось в книге, и теперь мы видим, как это «Приложение» уместно и важно. Здесь опять факты, цитаты из многих, порой неизвестных документов, история архивных разысканий, точные ссылки на источники — русские, английские, американские, польские (ведь муж Лили Буль — Михаил Войнич был польским революционером), на беседы наших современников с автором книги, наконец, указания на личные письма Э. Л. Войнич к Е. Таратуте. Жаль лишь, что к книге не приложен именной указатель; он был бы здесь очень полезен.

Но книга Е. Таратуты это вовсе не нагромождение, пусть интереснейших, фактов. В ней есть стройный замысел, она пронизана определенными идеями. В предисловии, говоря об «Оводе», автор пишет: «Как же была создана книга, пламень которой вот уже более полувека зажигает сердца и не гаснет?... Почему роман об итальянских революционерах, созданный английской писательницей, нашел свою родину в России?»

Ответ на этот вопрос в книге о Войнич является поучительным и весьма актуальным и в настоящее время. Необыкновенная жизнь писательницы Войнич (которая сама может послужить темой для увлекательного романа) оказалась средоточием многих интернациональных революционных связей. До книги Е. Таратуты мы об этом почти ничего не знали. Богатейший исторический материал, который приводится в этой работе, выходит далеко за рамки собственно биографии автора «Овода». Когда прочитаешь эту книгу, яснее становится мысль Ленина: «Благодаря вынужденной царизмом эмигрантине, революционная Россия обладала во второй половине XIX века таким богатством интернациональных связей, такой превосходной осведомленностью насчет всемирных форм и теорий революционного движения, как ни одна страна в мире».

Значительную долю вложила в дело интернациональных свободолобивых идей и Э. Л. Войнич. Это доказывают не только ее связи с прогрессивными общественными деятелями различных стран, но и ее пере-

водческая деятельность. Она перевела на английский язык Гаршина, Салтыкова-Щедрина и многих других русских писателей. Сказку Щедрина «Пропала совесть» Лили Буль знала наизусть. Кстати, она присутствовала на похоронах Щедрина. Примечательно свидетельство Войнич в ее письме к Е. А. Таратуте в 1956 году: «Произведения Достоевского и Салтыкова произвели на меня глубокое впечатление».

Биография Войнич, творческая история и дальнейшая судьба романа «Овод» необычайно конкретно обнаруживают перед нами важную истину: идеи имеют, конечно, свою родину, почву, взрастившую их, но, однажды возникнув на родной почве, они могут обрести новую родину, оказавшись в соответствующих исторических условиях, в благоприятных обстоятельствах на новой почве, в иной стране. Книга Е. Таратуты посвящена благородным идеям интернационализма. Вдумаемся только в это удивительное сцепление: дочь английского ученого-математика, Лили Буль всю жизнь преклонялась перед русским революционером-народником Степняком-Кравчинским, вышла замуж за польского общественного деятеля Войнич, перевозила подпольную литературу из Лондона в Россию, прославилась романом об итальянском революционере и — ирония судьбы! — остаток жизни прожила в безвестности в США, где лишь несколько лет назад, перед ее смертью, с ней восстановили связь русские, советские журналисты, побывавшие в Нью-Йорке. Таким образом, на одной частной, хотя и замечательной жизни раскрывается историческая связь революционного движения, пробудившего народы и в Западной Европе и в России.

Но центром книги Е. Таратуты, является, конечно, история создания и анализ романа «Овод». Это первая серьезная попытка в нашем литературоведении дать анализ романа, популярность которого необычайно велика, который воспитывал русскую молодежь многих поколений в духе преданности благородным идеалам революционности и атеизма, который вдохновил драматургов, кинорежиссеров, композиторов на инсценировки, кинофильмы, оперы. Е. Таратута показывает, что роман «Овод» проникнут пафосом верности идеалам свободы. Эпиграфом к первой части своей книги она выбрала слова Уитмена, которые любила Войнич: «Свобода! Пусть другие не верят в те-

бя, но я верю в тебя до конца!» Эпиграфом ко второй части служат слова Степняка-Кравчинского о русских революционных народниках, «у которых преданность своему делу достигла степени высокого религиозного экстаза, не будучи сама по себе религией». В середине XX века, в эпоху, когда с новой силой столкнулись в борьбе за человеческий дух вера и знание, религия и наука, исторический материализм социалистического строя и идеалистические учения буржуазных государств,— мысль об «одержимости» человека идеей свободы, о верности ей до конца приобретает глубокий современный смысл.

Роман «Овод» — это роман по преимуществу интеллектуальный. Его конфликт определяется столкновением сына — атеиста и вольнолюбца — с отцом, фанатическим католиком. Идеологическая насыщенность «Овода» хорошо показана в исследовании Е. Таратуты. Однако в анализе романа я не могу согласиться с некоторыми существенными положениями автора. Е. Таратута стремится ответить на вопрос: какими художественными особенностями можно объяснить столь длительную и впечатляющую жизнь романа? Она пишет: есть книги-полководцы, книги-бойцы, к таким относится и «Овод». В чем своеобразие таких книг? Е. Таратута применяет к ним те же критерии художественности, что и к книгам другого эстетического плана. Но когда Е. Таратута стремится доказать, что пейзажная и портретная живопись в «Оводе», так же как и психологический анализ, полны реалистического мастерства, равно как крупнейшим реалистическим произведениям второй половины XIX века, то это звучит крайне неубедительно.

Несостоятельность подхода к принципам художественности романа особенно отчетливо видна на проблеме «Войнич и Достоевский». Очень верно показана в книге связь некоторых идеологических проблем романа Войнич и романов Достоевского. Однако нельзя было не подчеркнуть, что интеллектуализм Войнич, носящий романтически-психологический характер, конечно, не идет ни в какое сравнение с реалистически-философским интеллектуализмом Достоевского.

Вообще сравнение художественно-изобразительных средств Достоевского и Войнич может вызвать только улыбку по поводу некритической увлеченности исследовательницы своим материалом. Возражая авторам,

отмечавшим некоторую мелодраматичность героя романа Войнич, Е. Таратута пишет о «высшем реализме» «Овода», сопоставляя его с высказываниями Достоевского о роли исключительного и фантастического в его «высшем реализме». Е. Таратута не видит совершенно иной природы «исключительности» реализма Достоевского и романтической исключительности героя «Овода». Некоторая восторженность, проявляющаяся и в стиле книги Е. Таратуты, порой излишняя чувствительность в слого, сказывается и в более серьезных вещах — в недостаточно трезвом анализе творчества безусловно одаренной писательницы Войнич.

Есть книги, эстетическое воздействие которых определяется не пластической законченностью образов, не глубиной художественного проникновения в душевную жизнь героев, а другими, своими особыми качествами. Когда в книгу вложена страсть личной, реальной жизни художника, когда книга является неотъемлемой частью его практической революционной деятельности, когда читатель ощущает органическое единство художественного произведения с общественной деятельностью ее создателя, тогда возникает особого рода художественное воздействие. Как верно пишет Е. Таратута, «дыхание подвигов прошлого коснулось современности». Такие книги, опаленные дыханием подвигов их создателей, составляют особый ряд в мировой литературе. Е. Таратута сама называет их: «Что делать?» Чернышевского, «Спартак» Джiovанноли, «Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского, «Как закалялась сталь» Островского.

К этому ряду принадлежит и «Овод». Вот почему наиболее удачным и убедительным оказался анализ идеологических проблем романа: столкновение между сыновними и революционными чувствами, борьба между этикой религиозной и атеистической, преданность идее, побеждающей смерть, подвиг самоотречения во имя свободы.

Весьма поучительна третья часть книги, озаглавленная «Книга продолжает путь». Она насыщена богатым материалом о судьбе романа «Овод». В ней приведены отзывы выдающихся деятелей XX века — писателей и ученых, революционеров-большевиков, русских и зарубежных, — о благотворном воздействии романа на их мировоззрение, на воспитание воли, характера и преданности идее. Здесь имена Я. М. Свердлова и Г. М. Кржижановского, Ю. Либединского и

Л. Сейфуллиной, Г. Котовского и А. Маресьева и многих других. И в этом разделе поражает неутомимость автора, не только собиравшего книжные источники, но и сумевшего получить отклики и воспоминания наших живых современников. Интересны сведения о том, как еще недавно сама Е. Таратута вела переписку с Э. Л. Войнич, дожившей до глубокой старости, умершей 28 июля 1960 года в возрасте девяноста шести лет.

Последние мысли, которые высказала Э. Л. Войнич в своем поздравлении советской молодежи в 1956 году, перекликаются с пафосом романа «Овод»: «Будьте верны мечтам своей юности... Будьте в первую очередь искренни сами перед собой».

Книга Е. Таратуты о Войнич — это прекрасная воспитательная книга для нашей советской молодежи; она содержит в себе важный материал и для историков революционного народничества и для литературоведов, работающих, так сказать, «на стыке» наук — истории русской и зарубежной литературы. Для молодых исследователей она поучительна своей методикой — тщательностью и точностью подбора материалов, без скороспелых обобщений; общие суждения автора всегда основаны на большом материале — результате упорного повседневного труда и подлинной одержимости своей темой.

А. БЕЛКИН.

★

### «ПРОСТАЯ ПЬЕСА» ЖАНА АНУИЯ

Жан Ануй. Жаворонок. Пьеса. Перевод с французского К. Хеннина. «Искусство». М. 1960. 74 стр.

За последнее время русский читатель получил перевод четырех пьес современного французского драматурга Жана Ануйя. Три из них — «Ужин в Санлисе», «Антигона» и «Медея» — составили сборник, выпущенный в 1958 году «Иностранной литературой». Четвертая, «Жаворонок», опубликована недавно издательством «Искусство».

Ануй отдает новую пьесу в театр приблизительно раз в год. Он замечает сухо: писатель, взявшийся ставить нужный актерам ежевечерний материал, обязан выполнять эти поставки. «Если же ненароком выйдет шедевр, — тем лучше». Ануй боится высоких слов насчет профессии драматического поэта. Он вообще боится высоких слов. Они претят ему и преследуют его; его пьесы кишат словоблудниками, чьи тирады равно живы и традиционны. Буржуазное бытовое фразерство пользуется словарем школьного красноречия. Устраивая домашнюю сцену, устраивают действительно домашнюю сцену; когда в пьесе «Жил-был арестант» ждут возвращения Людовика после пятнадцатилетнего одиночного заключения, кажется, будто домочадцы пятнадцать лет готовили свой выход в картине возвращения блудного сына. Отцу приличествуют грим и ритмы трагедии: кажется, готов зазвучать корнелевский стих, когда он осыпает Людовика укоризнами («Старый Гораций», — умиленно замечает кто-то). Жена, Аделина, открывает возвратившемуся свои всепрощающие объятия — она

в образе героини мелодрамы. Она приносит мужу свою безукоризненность и свою косметику: на ресницах фиолетовая тушь, морщины подтянуты у лучшего хирурга. Родич встречает бывшего арестанта в амплу добродушного деляги из бытовой комедии: он готов поставить крест на прошлых прегрешениях зятя и ввести его в текущие коммерческие дела... Единственный человек, с кем можно чувствовать себя попросту, — это шокирующий приличное общество спутник Людовика, каторжник с отрезанным языком...

Возвращение блудного сына, капитуляция блудного сына — мотив, такой же постоянный у Ануйя, как мотив бегства блудного сына. Окружение героя — чаще всего это его семья — торопит необходимость бегства: с такими пропадешь, испакостишься в два счета. Такова семья Жоржа из «Ужина в Санлисе». Папа — транжир, любитель хороших сигар, театрал и болтун; мама без единой сединки, поддерживаемая усилиями массажистки экстравагантная пошлячка; друг Робер, прихлебатель и циник, для которого ничто не тайна в нем самом и в его приятеле, который одождается у Жоржа тем нахальнее, чем очевиднее, что Жорж живет с его женой... Такова семья Марка из «Иезавели»: снова папа, шиплющий горничных, разглагольствующий о своей несчастной жизни, пьющий аперитивы, планирующий свое будущее как будущее свекра миллионерши, бла-

го в Марка влюблена девушка с несметным состоянием (кстати, таковы обстоятельства и в «Ужине в Санлисе» — семья Жоржа заставляет сына оставаться в супружестве, поскольку его жена, Анриэтта, содержит в роскоши всю эту ораву). Снова мама, не желающая считаться с годами, в канареечном пеньюаре, накрашенная, скандальная, полупьяная...

«Ужин в Санлисе» — из череды «розовых пьес». «Антигона», «Медее», «Иезавель» — из тома «черных пьес». «Жаворонку» автор не дал места ни среди «розовых», ни среди «черных», ни среди «блестательных», ни среди «царапающих» драм (по авторским подзаголовкам). «Жаворонок» существует в творчестве Ануйя обособленно. Это очень серьезная и простая пьеса.

Сюжет ее хрестоматийен: рассказ о Жанне д'Арк, вернее конец его — суд и казнь. Жанне предлагают рассказать о себе, и по мере надобности на сцену выходят участники тех эпизодов, о которых она вспоминает: ее родители, дуралей Бодрикур, над которым Жанна одерживает свою первую победу, король и его придворные, добродушный зверюга солдат Ла Ир. Тут же постоянно присутствуют ее судьбы и обвинители.

Ануй в «Жаворонке», кажется, впервые обращается непосредственно к историческому материалу. Вообще же взаимоотношения Ануйя с историей достаточно остры и парадоксальны. Время действия его пьес обычно бывает размыто. Он свободно накладывает образ библейской погубительной царицы Иезавели на образ современной буржуазки — отравительницы из-за сотни франков, которые вымогает у нее проворовавшийся любовник. В «Антигоне» о ссорах в доме Эдипа рассказывается так, как говорят о семейных сценах в квартире, обставленной патриархальной плюшевой мебелью с бомбошками. Кормилица в начале «Медее» толкует о вине и о видах на урожай в тех же выражениях, в каких вели бы степенный разговор крестьяне тысячу-другую лет спустя.

Это не театральное представление древности в современных костюмах. Ануй одержим кошмаром буржуазности. Мы уже говорили, что его герои пытаются бежать от этого мира бонвиванов, бездельников, от любовстрания и от розовых туалетов старух. Но круг очерчен. Приемная дочь героя «Жил-был арестант», которую тошнит от

пятидесятилетней неувядаемости и пятидесятилетнего жантильничанья ее матери. ищет укрытия в лоне добропорядочнейшей семьи жениха: она хочет рожать каждый год, носить нитяные чулки, по вечерам записывать расходы и вязать. Неестественности, фальши матери ей нечего противопоставить, кроме такой вот естественности. Когда же решение героев Ануйя о побеге более круто — как в «Ромео и Жанетте», в «Эвридикке», в «Иезавели», — герои обнаруживают свою зараженность той средой, из которой вырвались. Юноши, которым омерзительны их родители-буржуа, тем острее переживают приступ омерзения, что в пакостниках отцах они видят собственное будущее. Антибуржуазный порыв героев — это возрастное явление, кризис совершеннолетия.

Буржуазность, ненавистная Ануйю, теряет у него свою социальную и временную определенность. Она становится категорией извечной. Она толкуется как исконное свойство человеческой природы. Именно отсюда — а не от театральной причуды — взаиморастворение времен в пьесах Ануйя. Нескончаемое вязанье тянется из-под спиц жены Креона в «Антигоне», кормилицы в «Медее», матери Жанны в «Жаворонке» — и точно так же хочет шевелить спицами, ни о чем не думая, Мари-Анна из «Жил-был арестант». Люди извечно поглощены своими занятиями, и занятия примерно те же; людям извечно дело только до себя. Вокруг героинь Ануйя, решающихся на подвиги, — бескислородная среда буржуазности, она гасит горение. Да и самый подвиг — это прежде всего бегство из жизни, потому что у Ануйя жизнь и буржуазность оказались трагически приравнены друг к другу...

В «Жаворонке» Ануй ломает это установившееся в его драматургии ложное тождество. Здесь жизнь и подвиг, воплотившиеся в Жанне, — заодно; заодно — против эгоистической стихии буржуазности.

Идет процесс Жанны д'Арк. О победах, одержанных ею, поминают только в пунктах допроса. Результат сделанного практически почти стерт, англичане рассчитывают в малый срок покончить с французскими неполадками. Король, которому хочет служить Жанна, всячески отнекивается от этого служения. Задачу наделить Карла VII мужеством — этого добивалась Жанна — выполняет хорошенькая Агнеса, обучая ко-



роля быть мужчиной для начала хотя бы в постели. И в ходе процесса обвинитель обратится к Орлеанской Деве с вопросом, взятым из подлинных протоколов руанского судилища, но многозначительным в ануйевской драме: «Неужто тебе не кажется, что лучше бы тебе сидеть за шитьем и вязаньем возле матери?»

В «Жаворонке» говорится и о том, что голоса, которые звали Жанну к подвигам, не такая уж неслыханная штука. Почти в каждой деревне найдется девочка, переживающая то же самое. Это, поясняют в суде священники, возрастное явление. Вроде ксри. Иногда это затягивается, но рано или поздно «мирно тонет в помоях за мытьем посуды», заглушается писком первенца... И вся единственность, вся необычность истории Жанны д'Арк — в одном: она не только слышала голоса, она сделала то, что они велели. «В один прекрасный день голоса сказали тебе что-то иное, что-то ясное...» — «Да, они велели мне спасти королевство Франции и выгнать англичан».

«Жаворонок» вводит те простейшие мотивировки подвига, которые до сих пор Ануй отсекал в своих драмах. Когда Жанну спрашивают, ради чего она совершала свои деяния, она пожимает плечами: «Разве так уж трудно понять?» Жанна не вздумает повторять ответ Антигоны: «Ни для кого. Для меня». Она жила хорошо, англичане никогда не заходили в их село, а о таких сложностях, как героическое самоутверждение, мужичка Жанна не рассуждает. «Так надо было», — упрямо толкует она и вкладывает в свое «так надо» самый простой смысл. «Вы ученые, вы слишком много думаете. Вам уже не понять простые вещи, понятные самому глупому из моих солдат». Вот ради этой цели, понятной самому глупому из солдат Жанны д'Арк, ради того, чтобы спасти родину, было сделано то, что было сделано Девой. И сделанное неотъемлемо — даже тогда, когда практические результаты кажутся разбитыми.

Осмысленному, простонародному подвигу Жанны приходится проламываться сквозь толщу буржуазности во всех ее проявлениях — от простейшей, «естественной» буржуазности, воплотившейся в папаше д'Арк, который молотит дочь кулаками. «Спаси Францию? Спаси Францию? А кто в это время будет пасти коров?.. Спасать, видите ли, Францию, когда наконец подростла и может помогать по хозяйству?.. Я тебе

покажу, как спасать Францию!..» После отцовских побоев Жанну, как ребенка, берет на руки мать, баюкает: «Ты все равно моя маленькая, та же, что так долго ходила за мной, ухватившись за мою юбку.. И всегда я давала тебе либо морковку натереть, либо вымыть тарелку, чтобы ты все делала, как я...» Надо пойти и против матери, нарушить скромные заповеди домашности, заповеди тихого ничтожества, оберегающего от ответственности. Жанне и ее подвигу приходится проламываться и через разумность политики, для которой — выкладки не лгут — победы разорительны, а капитуляция обеспечивает удобства. Жанне приходится столкнуться и с буржуазностью, облаченной в скепсис, с цинизмом короля, предпочитающего презирать себя: оно не хлопотно... И, наконец, столкновение с одним из самых страшных воплощений буржуазности: с безразличием, отравляющим массу. Когда Жанну страшат концом, ее пугают не только охапками хвороста, готовыми вспыхнуть: «Ты слышишь шум? Это толпа, ожидающая тебя с рассвета. Люди пришли спозаранку, чтобы занять места получше. Они закусывают принесенной из дому пищей, журят детей и шутят меж собой, спрашивая у солдат: «Скоро ли начнется?» Они не злые. Это те же, что пришли бы восторженно тебя приветствовать, если бы ты взяла Руан. Но события повернулись иначе. Вот они и приготовились смотреть, как тебя сожгут...»

Жанну уговаривают отречься, покаяться. Она подписывает — как оно и было в действительности — свое отречение. Это всех устраивает. Устраивает председательствующего Кошона, которому не хочется под старость лишний раз пятнать себя кровью. Устраивает эlegantного британского вельможу, инспирирующего процесс: для него это политическое дело, как всякое другое. Грязноватое. Неприятное. Тем более неприятное, что лично ему, Варвику, Жанна импонирует. Отречение Жанны — отличный выход. «Костер и эта маленькая, непобедимая, обьятая пламенем девочка выглядели бы до известной степени как торжество французского духа. А в отречении есть что-то жалкое. В общем, это прекрасно». «Жанна, дорогая Жанна, вы не можете себе представить, как мы рады этой удаче, я вас поздравляю», — лепечет Агнеса. — «Вы знаете, Жанна, жизнь так прекрасна...» И Жанна, сломленная, тоже готова убедить себя: «Ведь, на-

верно, это хорошо, когда живешь мирно, когда снят с тебя всякий долг и нужно лишь день ото дня влечить свое тело?..»

Жанне д'Арк предлагают ту самую жизнь, то счастье, о которых героини Ануйя с юным презрением говорят: «ваша жизнь», «ваше счастье»... «Вы себе представляете Жанну, прожившую жизнь, и так, чтобы все сгладилось... Жанну на свободе и, может быть, даже живущую при дворе Франции на маленькую пенсию?.. Жанна примирилась со всем... растолстела... стала лакомкой... А вы себе представляете Жанну раскрашенную, в дорогом головном уборе, нарядную, занятую своей собачонкой или мужчиной...»

Жанна отрекается от своего отречения, требует для себя костра, как требует казни Антигона. Но с иной целью.

Варвик пробует удержать Жанну, он брезгливо ужасается: бесполезное страдание, патриотические выкрики из пламени — это так вульгарно, так простонародно. «Тут уж ничего нельзя поделаться,— почти сочувственно бросает ему Жанна.— Мы с тобой не одной породы!» И если Жанна хочет умереть, вместо того чтобы в заточении «пухнуть, бледнеть и болтать глупости» и ждать, пока обстоятельства обернутся выгоднее, то опять же в ее решении есть смысл, понятный самому глупому из ее солдат. Дело не только в том, чтобы «остаться Жанной»,— дело в том, что Жанна не вправе отступить от совершенного ею.

Пламя костра уже занимается, «все происходит быстро и грубо, как убийство». Стоящий на коленях инквизитор, не решаясь взглянуть сам, спрашивает: «Она смотрит прямо перед собой?.. Все так же смело?.. И на устах ее что-то похожее на улыбку?..» Ему трижды отвечают: «Да!» «Я никогда не смогу его победить!» — глухо произносит вопрошавший.

Тут развязка центрального философского узла «Жаворонка». Инквизитор почти безмолвно следил за ходом допроса. Он был саркастичен, когда обвинителю всюду чудился серный запах и козни ада. Его не интересовали политические задачи процесса. Он молчал, пока речь шла о чертовщине и о притязаниях французской и английской короны, и взял слово, когда речь зашла о человеке.

«Итак, Жанна,— предостерегающе замечает Кошон,— ты оправдываешь человека. Ты мнишь его одним из величайших чудес

господних, а может быть, и единственным его чудом». Жанна отвечает: «Да». «Ты богохульствуешь!» — вопит обвинитель. «Человек — это грязь, подлость, непристойные видения! Ночью на ложе своем человек корчится от скотской похоти...» «Да,— опять отвечает Жанна.— И он грешит, и он гнусен. А потом... неизвестно почему (он так любил жить и наслаждаться, этот поросенок) он при выходе из дома разврата бросается наперерез несущейся лошади, чтобы спасти неизвестного ему ребенка, и с переломанными костями умирает спокойно... сияющий, чистый, и бог ожидает его, улыбаясь».

Преипрательство в суде перебивается появлением Ла Ира — товарища Жанны по битвам. Он огромен, от него разит потом, луком и вином. Точно так же пахнут стражники, сопровождающие на казнь Антигону, и она задыхается от вони и отвращения... А для Жанны это «хорошие, жевинные людские запахи».

«Человек — это грязь, подлость...» Во всяком случае, взрослый человек, переживший, как корь, свою юношескую чистоту, бывал именно таков в восприятии Ануйя до «Жаворонка». Построение сцены спора о человеке здесь изощренно и точно. Жанна выигрывает спор, сводя его с нарочитых высот, снова взывая к «простым вещам, понятным самому глупому солдату». Нет речи о человеке «вообще», независимо от того, что им сделано. Решает то, кидается ли человек спасти ребенка, сражается ли человек за отечество... Дело человека — первое и важнейшее. Прижатая к стене, Жанна повторяет: «От содеянного мной не отрекюсь».

Эти-то слова взрывают ее главного противника, инквизитора: «Вот видите, друзья мои, видите, как человек поднял голову?.. Он поворачивается к нам лицом, он не сгибается под пыткой, несмотря на унижение и побои, в звериных страданиях, на сырой подстилке в темнице. Он подымает глаза к непобежденному видению самого себя... ибо это его истинный бог, вот чего я боюсь! — и он отвечает (повтори, Жанна, тебе смертельно хочется это повторить): «От содеянного мной...» — «не отрекюсь!»

Подобно тому как он стесняется высоких слов, драматург стесняется простой утверждающей ноты: ведь буржуа обожает счастливые концовки... Ануй самым построением пьесы иронизирует над парадностью исторических книжек для первых учеников: трагический конец переигрывается, кто-то

кричит, что пропустили коронование в Реймсе, а его непременно надо сыграть. Вязанки костра растаскивают, Жанне вручают знамя, выстраивается чинное шествие... К содеянному Жанной можно примазывать, как и станет поступать коронованный ею циник, иронизируя и спекулируя зараз.

Ануй прост и серьезен, утверждая реальную ценность и «неотчуждаемость» дел человека. Ануй ироничен и горек, говоря о расхищении подвига, о буржуазном «присвоении» результата народного и героического дела...

Мы говорили про обособленность «Жаворонка» в творчестве писателя — может быть, обособленность не самое точное слово. «Жаворонок» развязывает многие темы, проходящие в иных пьесах Ануйя. Ануй из тех писателей, которые раскрываются не в одном каком-то произведении, а только во всей их последовательности — либо не последовательности. Это сложный писатель и очень крупный. Его надо знать, для этого надо переводить и издавать. Пока его и переводят и издают редко.

И. СОЛОВЬЕВА.

★

### Политика и наука

#### ЗЕРКАЛО ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Технический прогресс в СССР. 1959—1965. Под общей редакцией Ю. Е. Мансарева. Госпланиздат. М. 1960. 259 стр.

Каждый день приносит вести о все новых победах творческой мысли советских ученых, инженеров-конструкторов, проектировщиков, рабочих-новаторов. Эти выдающиеся достижения прокладывают неизведанные пути в технике. Некоторые из них поистине ошеломляют весь мир. Не сходят со столбцов крупнейших зарубежных газет отклики на подвиг майора Ю. А. Гагарина — первого человека, проникшего в космос. Мировую печать обошли и многие другие сообщения. Это не удивительно. Разве не поражает воображение, например, дерзновенный замысел — перебросить воды Печоры и Вычегды через Каму в Волгу? Если поворот течения северных рек на юг — дело будущего, хотя и недалекого, то смелый проект нефтепроводной магистрали протяжением около пяти тысяч километров, по которой нефть Поволжья двинется в Польшу, ГДР, Чехословакию, Венгрию, уже воплощается в жизнь.

Несколько месяцев назад в Кривом Роге введена в строй доменная печь, не имеющая равных в мире ни по своей мощности, ни по высокой степени механизации и автоматизации.

На берегу далекого Балхаша стала плавить медь первая в мире циклонная печь. Бушующий в ней огненный смерч плавит руду во много раз быстрее, чем в любой металлургической печи любой страны.

На Каспийском море пройдена самая глубокая в СССР нефтяная скважина — пять тысяч метров.

Эти и множество других славных побед — маяки, на которые равняются различные отрасли промышленности и которые освещают победный путь семилетки.

Семилетний план предусматривает последовательный, непрерывный и ускоренный технический прогресс. Между тем до настоящего времени важнейшие линии технической политики, положенные в основу семилетки, еще недостаточно освещены. С тем большим интересом читатель встретит рецензируемую книгу. В ее основу легли материалы, разработанные видными советскими специалистами.

Книга в основном построена по отраслевому принципу. За большим количеством фактов и цифр, как в зеркале, встает великая техническая революция наших дней. Мы видим, как по всему фронту промышленности идет неустанная творческая работа, направленная к новому крутому подъему производительности труда, к максимальному выигрышу времени в мирном экономическом соревновании с капитализмом.

Читатель получает богатейшие материалы для раздумья о славном пути, пройденном нашей Родиной, ее наукой и техникой. Книга позволяет сделать серьезные выводы, большие обобщения, особо ценные ныне, в преддверии XXII съезда КПСС.

Отчетливо выступают на страницах книги важнейшие тенденции и перспективы дальнейшего технического прогресса в нашей стране. Это широкая автоматизация и

комплексная механизация производства, химизация народного хозяйства, техническое перевооружение предприятий первоклассным оборудованием, применение сверхвысоких температур и давлений и максимальная интенсификация производственных процессов. Новая передовая технология даст большую экономию капиталовложений, позволит сэкономить огромное количество топлива, сырья.

Внимание читателя привлечет глава, посвященная механизации сельскохозяйственного производства, и в особенности раздел о механизации работ в животноводстве.

Заманчивые перспективы раскрываются перед новейшими отраслями техники. На большую дорогу выходит индустрия синтетических и искусственных волокон. В 1965 году по сравнению с 1957 годом будет выпущено в восемнадцать раз больше синтетических и почти в двадцать три раза больше ацетатных волокон. Широкое применение их обеспечит быстрый рост производства важнейших товаров народного потребления — хлопчатобумажных тканей, верхнего и бельевого трикотажа.

Молодая газовая индустрия несказанно улучшила быт миллионов людей и внесла коренные изменения в топливный баланс страны. Советские ученые нашли пути химической переработки газа, позволяющие экономить огромные массы зерна, картофеля, свеклы, потреблявшихся ранее для технических целей. Мы часто читаем о факелах, пламенеющих над нефтяными промыслами. Это бесполезно погибает газ, добывающийся попутно с нефтью. Ныне этот «попутный» газ становится основной сырьевой базой для развертывания производства синтетических материалов.

В книге приведен ряд фактов и цифр, помогающих сопоставить уровень техники по ряду отраслей промышленности, достигнутый в СССР и в крупнейших капиталистических странах.

Советская металлургия намного опередила американскую по использованию доменных печей, снижению удельных расходов кокса, производительности маргеновских печей. Производительность рельсобалочных станов в СССР почти вдвое выше, чем в США. Это результаты огромной творческой работы советских металлургов.

Рабочие нефтяных промыслов Татарской АССР вдвое превосходили американских рабочих по производительности труда. СССР — первая страна в мире, где освоена

техника и технология бурения глубоких скважин турбобурами, этим оригинальным изобретением советских инженеров. Читатель найдет в книге и ряд других выразительных сопоставлений.

Авторы сборника уделили особое внимание тем участкам, где советская техника еще отстает от зарубежной. В сборнике подчеркивается, например, что выпускаемые нашей промышленностью тракторы пока еще уступают некоторым лучшим зарубежным образцам. Успех борьбы за высокие урожаи в немалой мере решает количество удобрений. А между тем по производству оборудования для механизации таких трудоемких операций, как приготовление, погрузка, внесение в почву удобрений, наше сельскохозяйственное машиностроение значительно отстает от США. Еще полностью не решен ряд важнейших технических проблем гидротурбостроения.

В рамках журнальной рецензии невозможно исчерпать богатое содержание сборника. Нужно, однако, сказать и о ряде его недостатков.

Первейший и самый важный из них — «обезличенность» новой техники, отсутствие имен тех, кто ее создает. Авторы сборника приводят обширные материалы о принципиально новых технологических процессах, новых машинах, приборах, методах производства. А между тем в книге почти нет даже упоминания о творцах этой замечательной техники. В статьях по всем отраслям тяжелой промышленности названа, и то мимоходом, лишь одна фамилия.

Мы еще помним те времена, когда проекты советских предприятий разрабатывались за рубежом, когда нам дорогой ценой приходилось оплачивать иностранную техническую помощь. А теперь в нашей стране созданы и прошли испытания пятилеток свои замечательные, оригинальные научные школы в энергетике, черной металлургии, химии, машиностроении.

Ушли от нас создатели советской энергетике Г. М. Кржижановский, И. Г. Александров, А. В. Винтер, Б. Е. Веденеев, С. Я. Жук. Но их ученики и помощники строят Братскую, Красноярскую, Назаровскую, Томь-Усинскую и многочисленные другие электростанции. В стенах институтов по проектированию тепловых и гидравлических электростанций, научно-исследовательских учреждений трудится большой отряд ученых и инженеров. По составленным ими

замечательным проектам сооружаются новые уникальные электростанции.

Нет уже в живых основателей оригинальной советской школы черной металлургии М. А. Павлова, И. П. Бардина, А. А. Байкова, Н. Т. Гудцова. Но их ученики возводят в глубине степей Казахстана новую Магнитку, строят гигант металлургии в Западной Сибири. В Государственном институте проектирования металлзаводов разрабатывают смелые проекты, неустанно совершенствуют технологию на действующих предприятиях.

Умолчав обо всем этом, авторы обеднили рецензируемую работу.

Авторы сборника прошли мимо ряда проблем, имеющих первостепенное значение для технического прогресса. Можно ли говорить о семилетке, не упомянув о кооперировании и специализации предприятий, широкой стандартизации узлов и деталей в машиностроении? Новая система управления промышленностью, ликвидация ведомственных барьеров, как известно, открыли огромные возможности. Сейчас начата координация народнохозяйственных планов, специализация и кооперирование производ-

ства в масштабе всей мировой социалистической системы. Пленум ЦК КПСС в июне 1959 года отвел в своих решениях целый раздел дальнейшему развитию специализации и кооперирования, подчеркнув, что оно является одним из важнейших условий успешного выполнения заданий семилетнего плана. Состоявшийся в июле 1960 года Пленум ЦК КПСС вновь указал, что проведение экономически обоснованной специализации и кооперирования является неотложным делом. Тем более удивительно, что в сборнике эти вопросы даже не упомянуты.

В книге почему-то отсутствует раздел о строительстве, хотя план капитальных работ в немалой мере решает судьбы всей семилетки, нет разделов, посвященных столь важным отраслям промышленности, как лесозаготовительная, строительных материалов, бумажная.

Читатель ждет появления обстоятельного труда, раскрывающего пути ускоренного прогресса во всех отраслях народного хозяйства, ибо техническая революция — один из решающих факторов в строительстве технико-экономической базы коммунистического общества.

А. ХАВИН.

★

## НОВОЕ О «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

**Молодая гвардия. Сборник документов и воспоминаний. Редакторы Л. А. Грибова, Ф. М. Дынько. Издательство ЦК ЛКСМУ «Молодь». Киев. 1961. 280 стр.**

Пройдут годы, исчезнет с земли гитлеровская погань, будут залечены раны, угаснет скорбь и боль, но никогда не забудут советские люди о бессмертных подвигах организаторов, руководителей и членов подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». К их могиле не зарастет народная тропа.

Так писала «Правда» в сентябре 1943 года, когда страна узнала о легендарном мужестве и героической гибели подпольщиков Краснодона. Образы краснодонцев живут в нашей памяти и нашем сердце, они запечатлены на страницах книг, в кинофильмах и скульптурах, в драматическом и оперном искусстве. Они стали властителями дум новых поколений, и не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Недавно вышедший в Киеве документальный сборник «Молодая гвардия» расширяет, восполняет наши представления о краснодонском подполье, о молодогвардей-

цах, проживших такую короткую и такую большую жизнь. Читатель с интересом и волнением ознакомится со множеством документов и воспоминаний, публикуемых впервые. Гитлеровцы, как известно, перед бегством из Краснодона, стремясь замести следы своих преступлений, тщательно уничтожили все документы следствия, приговоры, вещественные улики, связанные с расправой над юными подпольщиками. Потребовались годы, чтобы правда была восстановлена во всей своей исторической полноте и точности.

Еще в 1956 году Луганский обком партии создал специальную комиссию, которая в течение ряда лет тщательно собирала материалы о краснодонском подполье. Эти материалы — воспоминания, письма, отрывки из дневников, листовки, приказы — и легли в основу сборника.

Подробно и полно рассказывают документы, как партия создавала подпольную орга-

низацию. Для работы во вражеском тылу и ведения партизанской борьбы в Ворошиловградской области было оставлено более тысячи двухсот советских патриотов. Заблаговременно создавались подпольные горкомы и райкомы партии с широкой сетью первичных организаций. Когда стало ясно, что район Краснодона может быть оккупирован, здесь началась подготовка к активному сопротивлению врагу. В Краснодон приехал секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Д. С. Коротченко для встречи с коммунистами, остающимися во вражеском тылу.

И вот мы знакомимся с отважными большевиками Краснодона. Воспоминания воссоздают благородный образ Филиппа Петровича Лютикова, который по поручению партии возглавил краснодонское подполье.

— Когда началась Великая Отечественная война,— рассказывает жена Филиппа Петровича,— мой муж был уже немолодым человеком. Зимой 1941 года мы готовились отметить его пятидесятилетие... 12 июля 1942 года Филипп Петрович проводил меня с тринадцатилетней дочкой Раей и матерью-старушкой в эвакуацию... Прощаясь, он сказал: «Уезжайте, вам нельзя здесь быть, а я должен остаться. Над страной нависла серьезная опасность, ты должна это понять». Я было возразила: «Ведь мы с тобой старики, в гражданскую войну тебе уже пришлось быть в партизанах. Может быть, найдется кто-нибудь помоложе!» Но он ответил: «Не будем больше говорить об этом. Я должен быть там, где прикажет партия».

Двадцатого июля 1942 года гитлеровцы захватили Краснодон, и уже через десять дней они ощутили решительное сопротивление подпольных сил, возглавляемых пламенным большевиком. Лютиков учил молодых гвардейцев смелости и бесстрашию в борьбе с оккупантами.

Арестованный одновременно с ними, Лютиков во время пыток в гестаповском застенке держался с поразительной стойкостью, поднимал дух своих юных соратников. Ф. П. Лютиков, коммунист ленинского призыва, был расстрелян вместе с юношами и девушками, только что получившими комсомольские билеты. Вместе они похоронены в братской могиле на центральной площади Краснодона.

Воспоминания и документы дают нам возможность впервые так близко познако-

миться и с другими большевиками — героями краснодонского подполья: инженером Николаем Бараковым, председателем городского Совета Степаном Яковлевым, закаленной большевичкой Налиной Соколовой, сражавшейся в годы гражданской войны в рядах Чапаевской дивизии, Марией Дымченко, которая по поручению Лютикова стала на учет в полиции для разведывания действий жандармерии и гестапо.

Непосредственную связь между коммунистами и юными подпольщиками осуществлял Евгений Мошков, по заданию партийной организации превративший местный клуб в штаб «Молодой гвардии».

Кто же он, двадцатидвухлетний герой-коммунист? В прошлом Мошков работал на одной из краснодонских шахт врубашинистом. Призванный незадолго до войны в армию, он стал стрелком-радистом штурмовой авиации. Храбро сражался Мошков с оккупантами. Летом 1942 года в районе Миллерова его самолет был сбит, но он продолжает борьбу: бежит из плена, добирается до Краснодона, участвует в самых опасных операциях подпольщиков, осуществляет связь между партийным и комсомольским руководством. Арестованный первым и первым подвергнутый пыткам, он плюнул в лицо следователю и гневно крикнул:

— Вы можете меня вешать! Слышите?! Все равно моим трупом вам не заслонить солнце, которое взойдет над Краснодоном!

Таков был этот молодой коммунист, который, по словам его матери, «страстно любил книги... читал много о героях гражданской войны» и преклонялся перед Чапаевым и Фурмановым.

Документы и воспоминания обогащают новыми черточками образы Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Любы Шевцовой, Ивана Земнухова и других юных героев. Содержательны воспоминания бывшего комиссара интендантского отдела 18-й армии Говорущенко, который жил несколько месяцев (до оставления нашими войсками Краснодона) на квартире у Кошевых. Интересно свидетельство Говорущенко о том, как глубоко взволновала Олега весть о героическом подвиге и славной смерти Зои Космодемьянской.

Горячий отклик в сердцах читателей найдут все документы, связанные с именами юных подпольщиков,— приказ по штабу партизанского отряда «Молот», подписанный Олегом Кошевым, записка, переданная

из тюрьмы Любой Шевцовой, предсмертное послание Ульяны Громовой, начертанное на стене тюремной камеры... Новые материалы, в частности показания заместителя начальника полиции Краснодона Подтынного, избитого и осужденного в 1959 году, и переводчика полевой комендатуры Ганста показывают, как мужественно вели себя в гестаповских застенках и перед казнью юные герои. Жестоко избитый в ровеньковской камере жандармерии Олег Кошевой бросил в лицо палачам: «Все равно все погибнете, фашистские гады! Наши уже близко!» Во время очной ставки Земнухова и Громовой на вопрос, получала ли она указания от Земнухова, Уля воскликнула: «Да, получала! И очень жалею, что мало сделала!» Стоя на краю глубокой ямы под дулами автоматов, Люба Шевцова сняла пальто и, бросив его одному из полицейских, сказала: «Это тебе на память. А увидишь мою маму, расскажи ей все!» И, пожав руки товарищам, в последние секунды жизни она крикнула: «За нас ответите, гады! Наши подходят! Смерть...» Выстрелы заглушили ее голос.

Казалось бы, что может рассказать школьное сочинение? Оказывается, очень многое. Вот сочинение по русской литературе, написанное в мае 1942 года, незадолго до оккупации гитлеровцами Краснодона, учеником десятого класса, будущим подпольщиком Толей Поповым.

«Весь мир пылает в огне... На необъятных просторах нашей страны захотели обосноваться алчные немецкие варвары... Но Гитлер жестоко просчитался, ибо народ, с которым он затеял войну, непобедим... Советский народ знает цену свободы... и предпочитает умереть стоя, чем жить на коленях. Такова воля моего народа и моя воля, и когда нужно будет принести себя в жертву Родине, я не задумываясь отдам свою жизнь».

А через два месяца после того, как были написаны эти строки, Толя Попов держал перед Родиной суровой экзамен. Достаточно ознакомиться со скупым отчетом командира «Молодой гвардии» Ивана Туркенича, чтобы оценить отвагу и бесстрашие Толи Попова, возглавлявшего группу юных подпольщиков в Первомайском поселке. Туркенич рассказывает, как Толя с друзьями забросал гранатами и обстрелял машину с немецкими офицерами, как освобождал из

лагеря пленных бойцов и командиров, как с риском для жизни выполнял самые дерзкие задания.

Толя Попов писал, что он готов защищать Отечество «до последней капли крови». И через восемь месяцев он был казнен фашистами. Его школьное сочинение звучит теперь как осуществленная святая клятва.

Осенью 1942 года подпольная организация в Краснодоне насчитывала девяносто два человека — от опытных, закаленных еще в битвах гражданской войны большевиков до таких юных антифашистов, как четырнадцатилетний Радик Юркин, выполнявший боевые поручения «Молодой гвардии». Сборник знакомит нас с подпольщиками, которых мы почти не знали, и исправляет ошибочные представления о некоторых молодогвардейцах.

Как известно, совсем недавно, 13 декабря 1960 года, Президиум Верховного Совета СССР наградил орденом Отечественной войны I степени члена штаба «Молодой гвардии» Виктора Третьякевича. О нем подробно рассказывается в сборнике. Мы видим его путь — первого комиссара «Молодой гвардии» — от начала боевых операций до трагической минуты, когда он, стойкий и непреклонный, был сброшен гестаповцами живым в шурф шахты.

Сборник повествует и о тех молодогвардейцах, которым чудом удалось избежать казни. Особенно трогателен рассказ Героя Советского Союза майора С. П. Серых об Иване Туркениче, который перешел у Донца линию фронта, участвовал в освобождении городов Украины и Польши. На Висле старший лейтенант Туркенич был смертельно ранен, здесь и покоится прах отважного молодогвардейца.

В разделе книги «Их знает весь мир» приводятся письма, пришедшие в Краснодон со всех концов земли. И мы воочию видим: не только не иссякает, а ширится слава юных героев, с годами не угасает, а растет восхищение их славными подвигами, величием их духа.

Любовно составленная и хорошо иллюстрированная, будящая глубокие чувства, обогащающая наше представление о легендарной эпопее, книга «Молодая гвардия» заслуживает быть изданной массовым тиражом. Она должна стать достоянием молодежи всей нашей страны.

М. ЦУНЦ.

## ВОСПОМИНАНИЯ СТАРЕЙШИНЫ СОВЕТСКИХ ФИЗИКОВ

**А. Ф. Иоффе. Встречи с физиками. Мои воспоминания о зарубежных физиках.**  
Редактор К. П. Гуров. Физматгиз. М. 1960. 144 стр.

Человек, который написал эту книгу, прожил долгую и в высшей степени плодотворную жизнь. Шестьдесят лет отдал Абрам Федорович Иоффе науке. Они были богаты событиями и творческими свершениями. Как ученый А. Ф. Иоффе сложился и приобрел известность уже в начале нашего века. Но только после Великой Октябрьской революции полностью развернулись могучий талант, выдающиеся организаторские способности ученого. Он стал академиком, Героем Социалистического Труда, коммунистом.

А. Ф. Иоффе много способствовал глубоко проникновению физики в различные отрасли производства. Он был организатором физико-технических институтов в Ленинграде, Харькове, Томске, Свердловске, а также ряда других научно-исследовательских учреждений страны. Многие современные достижения в таких важнейших отраслях науки и техники, как электроника, радиотехника, оказались возможными благодаря исследованиям выдающегося советского физика и его учеников. С именем А. Ф. Иоффе тесно связаны успехи мирового значения в области радиолокации, полупроводников, термоэлектричества, агрофизики.

Важнейшей заслугой А. Ф. Иоффе было создание им многочисленной и разветвленной отечественной научной школы.

А. Ф. Иоффе часто встречался с крупнейшими зарубежными физиками. Воспоминания о них и составили содержание настоящей книги. Она, как говорит сам автор, не является монографией по истории физики. Сведения, имеющиеся в ней, несистематичны, а подчас отрывочны. «Я считал своей задачей,— пишет А. Ф. Иоффе,— рассказать только о том, в чем лично участвовал, и изложить факты со всей точностью, какую сохранила моя память». Но что может быть ярче живых впечатлений, портретов, нарисованных с натуры, метких и точных характеристик собеседника и к тому же коллеги? Какой, пусть самый полный, курс истории физики может заменить живой рассказ о ее творцах? Мы всегда будем благодарны А. Ф. Иоффе за то, что он поведал нам о зачастую известных только ему чер-

тах и черточках биографий великих деятелей науки.

Невелик объем книги, но автору скупыми и в то же время выразительными средствами удалось рассказать о многом. Большое внимание он уделяет организации национальных физических центров, работе международных объединений физиков, в частности так называемых Сольвеевских конгрессов.

Читатель найдет сведения о создателе теории относительности А. Эйнштейне, об одном из создателей квантовой теории М. Планке, корифеях атомной физики Э. Резерфорде, Н. Боре, Э. Ферми, крупнейших ученых В. Рентгене, П. Эренфесте, Г. А. Лоренце, М. Кюри, Ирен и Фредерике Жолио-Кюри, П. Ланжевене, М. Лауэ, А. Зоммерфельде, Р. Милликене, Ч. Рамане, М. Саха и других. Советских читателей интересует не только научная характеристика того или иного представителя зарубежной физики, его облик как ученого — им далеко не безразлична его идеология, его политические взгляды, его чисто человеческие качества. В большинстве случаев в книге эти вопросы не остаются без ответа.

Известно, что многие крупные ученые-естественники в капиталистических странах далеки от позиций диалектического материализма, и это обстоятельство мешает им делать правильные выводы из новых открытий физики, а некоторых подводит к чистейшему идеализму, к агностицизму.

А. Ф. Иоффе приводит интересный, но достаточно печальный пример, связанный с именем знаменитого голландского ученого, «отца теоретической физики», Г. А. Лоренца. Появление квантовой физики, противоречащей привычным представлениям классической физики, внесло сумятицу в мысли этого ученого. «Сегодня, излагая электромагнитную теорию, я утверждаю,— жаловался он Иоффе,— что движущийся по криволинейной орбите электрон излучает энергию, а завтра я в той же аудитории говорю, что электрон, вращаясь вокруг ядра, не теряет энергии. Где же истина, если о ней можно делать взаимно исключающие друг друга утверждения? Способны ли мы вообще узнать истину, и имеет ли смысл за-



ниматься наукой?» Несмотря на все попытки советского ученого объяснить это видимое противоречие с точки зрения материалистической диалектики, Лоренц закончил беседу горьким признанием: «Я потерял уверенность, что моя научная работа вела к объективной истине, и я не знаю, зачем жил; жалею только, что не умер пять лет назад, когда мне еще все представлялось ясным». Это была подлинная трагедия ученого.

Полной противоположностью Лоренцу в этом отношении был французский физик коммунист Поль Ланжевен, о котором автор книги рассказывает с большой теплотой. В докладе на торжественном открытии юбилейного съезда физиков в 1933 году Ланжевен в присутствии членов французского правительства заявил: «Нет другого пути понять ядерную физику, помимо диалектического материализма».

Столь же тепло вспоминает А. Ф. Иоффе о Марии Кюри, активном члене Общества франко-советской дружбы и неизменном друге нашей науки, о ее дочери — прогрессивном ученом Ирен Жолио-Кюри и особенно о Фредерике Жолио-Кюри. «Для всех, кто знал его лично, — пишет автор, — одинаковым было глубокое впечатление, которое производило его лицо с умными, пронизательными глазами, его способность быстро схватывать мысли собеседника, убежденность и принципиальность всех его высказываний. Вы сразу чувствовали, что перед вами большой человек, лучший представитель французской науки и продолжатель дела Коммуны».

В книге нет политической характеристики Эрнеста Резерфорда, но автор подчеркивает, что английский физик охотно принимал в свою лабораторию советских ученых и в то же время категорически отказался принять эмигранта Гамова без согласия Советского правительства.

Автор приводит яркие факты, характеризующие борьбу прогрессивного и реакционного направлений в немецкой физике в двадцатых — сороковых годах нынешнего столетия, показывает недостойное поведение физиков-шовинистов и даже прямых фашистов типа Ленарда. С удовлетворением отмечает А. Ф. Иоффе, что такие крупнейшие немецкие физики, как М. Планк и М. Лауэ, в мрачные годы гитлеризма оставались верными передовой науке, активно

помогали жертвам фашизма, боролись с его сторонниками.

А. Ф. Иоффе высоко отзывается о моральных качествах большинства ученых, с которыми ему приходилось сталкиваться. Но были и исключения, такие, как ярый фашист и националист Ленард, пытавшийся с помощью гитлеровского правительства присвоить себе открытие рентгеновских лучей; немецкий ученый В. Нернст — карьерист, ударившийся в предпринимательскую деятельность. С иронией говорит автор о некоторых американских физиках — носителях «американской психологии».

Книга А. Ф. Иоффе убедительно доказывает, что физики часто бывают настоящими лириками. Мы имеем в виду и то, что сам труд ученого-физика, в особенности экспериментатора, полон романтики и поэзии (кстати, знаменитого немецкого физика Августа Кундта так и называли «художником и поэтом физики»), и то, что многие крупные ученые вовсе не кабинетные затворники, а люди разнообразных талантов и интересов. Поэтому не вызывают удивления страницы книги, посвященные теме «физики и музыка». А. Ф. Иоффе рассказывает, каким прекрасным скрипачом был А. Эйнштейн, какими великолепными концертами из произведений Баха, Бетховена, Брамса «угощал» своих посетителей М. Планк, обладавший высокой техникой и строгой манерой игры; какое большое значение имела музыка в жизни П. Эренфеста, В. Гейзенберга, Э. Вагнера.

Как уже говорилось, объем сведений, сообщаемых автором об отдельных физиках, неодинаков. Некоторым ученым — В. Рентгену, П. Эренфесту, А. Эйнштейну, Н. Бору, индийским физикам Ч. Раману и М. Саха — посвящены специальные главы.

С большой любовью вспоминает А. Ф. Иоффе о своем учителе Вильгельме Конраде Рентгене. Перед читателем возникает живой образ блестящего экспериментатора, ученого, наделенного поразительной физической интуицией, человека необычайной добросовестности и аскетической скромности. Рентген, отказавшись от патента на свое открытие и выгодных предложений различных фирм, безвозмездно передал его человечеству. Он не принимал орденов, не выступал на собраниях, чествованиях, независимо вел себя по отношению к власти имущим. Когда Вильгельм II показывал Рентгену ар-

тиллерийский отдел Немецкого музея в Мюнхене, ученый, не удовлетворенный объяснениями кайзера, заявил ему: «Это знает каждый мальчик, не можете ли вы сообщить что-либо посодержательнее?» В своей книге А. Ф. Иоффе решительно протестует против попыток объяснить выдающееся открытие Рентгена делом случая и указывает, что оно было закономерным результатом эксперимента-горского таланта ученого.

Чувствами искренней дружбы и большого уважения полны воспоминания А. Ф. Иоффе о Пауле Эренфесте, человеке высоко принципиальном, скромном и в то же время общительном и остроумном. В сочетании с глубокими познаниями эти качества сделали Эренфеста «притягательным центром» для крупнейших физиков мира.

В главе об Альберте Эйнштейне наибольший интерес представляет изложение беседы с ним автора в 1926 году. А. Ф. Иоффе пытался уговорить Эйнштейна отказаться от разработки теории единого поля и сосредоточить свою мысль на проблемах теории квантов. Но попытка эта не удалась. Эйнштейн затратил на разработку теории единого поля свыше тридцати лет и не добился успеха. Автор считает, что в этом — трагедия жизни великого ученого. Впрочем, не все физики разделяют подобную точку зрения.

Высоко оценивает А. Ф. Иоффе вдохновителя новых идей в физике, главу знаменитой школы ядерной физики Нильса Бора. Вместе с тем он подчеркивает идеалистический характер теоретических концепций Бора и его учеников.

Хотя, как это видно из подзаголовка книги, она посвящена иностранному ученому, в нее включена глава о физиках России. Здесь можно увидеть известное противоре-

чие, но читатель вряд ли посетует на это. Он найдет интересные сведения о таких выдающихся представителях русской физики, как П. Н. Лебедев, О. Д. Хвольсон, И. И. Боргман, П. П. Лазарев, Д. С. Рождественский, Д. А. Рожанский, П. С. Тартаковский и другие.

Как и каждое мемуарное произведение, «Встречи с физиками» содержат элементы биографии автора. Они образуют канву книги, как бы цементируют отдельные ее части, оживляют изложение, в то же время они обогащают наше представление об авторе как выдающемся ученом и советском патриоте. Читатель узнает, например, что А. Ф. Иоффе неоднократно отклонял предложения, связанные с выездом из Советского Союза, например, предложения завести кафедрой физики в Берлинском и Калифорнийском университетах и ряд других.

Особый интерес, в первую очередь для молодежи, представляют первые главы книги. В них автор рассказывает, как он — ученик реального училища, а затем студент Технологического института — заинтересовался физикой и как нашел свой путь в науку.

В книге помещено большое количество редких фотографий. Написанная доступно, живым языком, книга академика А. Ф. Иоффе, несомненно, привлечет к себе внимание широких кругов советской интеллигенции, молодежи, всех тех, кто интересуется физикой и ее творцами.

Можно надеяться, что хороший почин Физматгиза будет продолжен, и в ближайшее время наш читатель получит книги воспоминаний, принадлежащие перу крупных советских ученых.

**А. ЧЕРНЯК,**

*кандидат исторических наук.*

★

## ШАРПЕВИЛЬСКАЯ БОЙНЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ambrose Reeves. Shooting at Sharpeville. The agony of South Africa. New-York. 1961

(Эмброуз Ривз. Расстрел в Шарпевиле. Агония Южной Африки. Нью-Йорк. 1961).

С восьмого по семнадцатое марта этого года в Лондоне состоялась конференция премьер-министров стран Британского Содружества Наций. Сам по себе факт созыва такой конференции ничем не примечателен. Подобные конференции глав правительств этого пестрого межгосударственного объединения созываются почти ежегодно. Но если раньше на конференциях в основном

произносились дежурные речи, восхваляющие мир и благоволение, якобы царившие в «дружной семье содружества», то эта, десятая после войны, конференция была необычной как по своему характеру, так и по результатам. Из одиннадцати глав правительств, участвовавших в конференции, шесть, то есть большинство, были представителями афро-азиатских стран. Это и яви-

лось решающим фактором, определившим лицо конференции.

Ключевым вопросом повестки дня был вопрос, может ли оставаться в Содружестве Южно-Африканский Союз при сохранении осуществляемой там политики жестокой расовой дискриминации африканского населения страны. Все премьер-министры, за исключением премьер-министра самой метрополии, а также Австралии и Новой Зеландии, резко осудили эту политику. Особенно непримиримую позицию заняли в этом вопросе афро-азиатские страны. Так, премьер-министр Нигерии заявил, что его страна выйдет из Союза, если ЮАС останется в Содружестве Наций и не изменит своей политики.

Британское правительство, и в особенности премьер Макмиллан, приложило огромные усилия, чтобы спасти положение и сохранить ЮАС в Содружестве. Ведь решалась судьба не только престижа союза. Беспокойство охватило и английские деловые круги, чьи капиталовложения в Южной Африке составляют почти девятьсот миллионов фунтов стерлингов. Большая часть их помещена в тяжелую и перерабатывающую промышленность, где вследствие жестокой эксплуатации африканцев выколачиваются очень высокие прибыли. Даже после окончания конференции Макмиллан продолжал предпринимать энергичные усилия, чтобы помешать выходу ЮАС из Содружества Наций.

Но влияние метрополии на страны — члены Содружества уже не то, что было всего два-три года назад. Англии не удастся навязать свою волю этим странам, особенно тем, которые совсем недавно освободились от колониального ига и политика и интересы которых прямо противоположны интересам метрополии. Старая английская дипломатия потерпела жестокое поражение. Южно-Африканский Союз изгнан из Содружества вопреки его воле и, что еще важнее, вопреки воле Англии. То «дыхание нового, веющее над Африкой», о котором говорил сам Макмиллан в прошлом году, выступая в парламенте Южно-Африканского Союза (ирония судьбы!), достигло и стен respectable Ланкастер-хауза, где происходила конференция. И в Великобритании и в других странах все больше и больше людей начинает понимать, что невозможно бесконечно сопротивляться ходу исторического развития. Жизнь дает все новые и новые дока-

зательства того, что крушение колониализма неминуемо.

Бесчеловечная политика апартеида, проводимая правительством ЮАС, уже давно вызывала возмущение мировой общественности. Однако трагическое событие, происшедшее год назад, привело к тому, что от ЮАС отвернулись многие страны мира. Этим событием явилась бойня, устроенная расистами в маленьком южноафриканском городке Шарпевиле, в провинции Трансвааль. Этой трагедии и посвящена книга бывшего епископа иоганнесбургского Эмброуза Ривза «Расстрел в Шарпевиле. Агония Южной Африки».

Белые расисты довели африканское население страны до отчаяния. Как установила недавно международная комиссия юристов, в течение года изучавшая положение в ЮАС, более чем одиннадцатимиллионное коренное население живет в условиях «полного забвения прав человека и крайнего унижения человеческой личности». В парламенте страны нет ни одного депутата-африканца. Местные жители используются только на неквалифицированных работах, главным образом в рудниках, и содержатся в условиях полутюремного режима в лагерях, обнесенных колючей проволокой. Средний годовой заработок белого рабочего составляет шестьсот долларов, а африканца — сорок, то есть в пятнадцать раз меньше. Африканцы лишены права объединяться в профсоюзы. Многочисленные полицейские на бронемашинах разъезжают по городам и селениям, ночью врываются в дома, вытаскивают африканцев из постелей и увозят в тюрьмы, где подвергают нечеловеческим пыткам и истязаниям.

Три миллиона европейцев владеют в ЮАС восемьюдесятью семью процентами территории страны, в то время как на долю коренного населения остается всего тринадцать процентов, и притом самых плохих земель. Граждане страны, недра которой являются настоящей золотой и алмазной кладовой (там сосредоточены три четверти золотых и девять десятых алмазных запасов во всем капиталистическом мире), влчат жалкое существование. Около шестидесяти процентов жителей умирает в возрасте до восемнадцати лет. Средняя продолжительность жизни европейцев в ЮАС равна шестидесяти годам, африканцев — тридцати шести.

Белые могут свободно разъезжать по Южно-Африканскому Союзу, в то время как африканцы не имеют права передвигаться вне резерваций без специальных пропусков. Любой полицейский может в любое время остановить африканца и потребовать у него пропуск; отсутствие его влечет за собой штраф или тюремное заключение. В нарушении закона о пропусках ежегодно обвиняется до полумиллиона африканцев. На этом расисты также греют руки, так как всех арестованных они отправляют работать на своих фабриках, золотых и алмазных рудниках, на фермах. Все в стране четко делится на две части: «для белых» и «для цветных» — вплоть до церквей и кладбищ.

Проводя такую политику, южноафриканское правительство фашиста Фервурда (получившего, кстати сказать, образование и соответствующую «подготовку» в гитлеровской Германии) полностью игнорирует протесты мировой общественности. Вопрос о положении в ЮАС не раз обсуждался в ООН, но власти ЮАС считают, что принятые резолюции ничего не стоят. «Мы выбрасываем их в корзину для ненужных бумаг», — цинично заявил Фервурд.

Шарпевильская бойня — это преступление, чудовищное по своей жестокости и хладнокровию. Полиция расстреляла шестьдесят семь и ранила сто восемьдесят человек. Среди убитых было много женщин и детей.

Епископ Ривз был свидетелем этого побоища и написал книгу на основе личных наблюдений. Она была запрещена правительством ЮАС, а самого Ривза начали подвергать гонениям и за книгу и за то, что он возглавил протесты общественности против политики апартеида. Некоторое время он вынужден был жить в эмиграции.

«Расстрел в Шарпевиле, — пишет Ривз, — всколыхнул все прогрессивное человечество. Совершенно очевидно, что трагедия явилась результатом политики, осуществляемой правительством Южной Африки по отношению к небелому населению, составляющему четыре пятых всего населения страны. Поэтому всякое расследование трагических событий в Шарпевиле должно вестись главным образом не по отношению к полиции, которая явилась непосредственным исполнителем злой воли, а по отношению к тем, кто узаконил политику массового террора».

Система угнетения африканского населения действует без всяких изменений и по

сегодняшний день. Можно сказать, что закон предусмотрел все случаи в жизни африканцев: где они могут работать, какую выполнять работу, какую получать зарплату, в какие школы посылать детей и т. д. и т. п. Наблюдение за выполнением африканцами всех этих правил осуществляет полиция, насчитывающая десятки тысяч человек.

Автор подробно рассказывает об обстоятельствах расстрела в Шарпевиле. Утром 21 марта 1960 года около пяти тысяч африканцев собралось у полицейского участка, чтобы выразить свой мирный протест против существующих расистских законов. Среди них было много женщин и детей. Некоторое время спустя подполковник Пиенэрскомандовал: «Заряжай!» «То, что произошло потом, трудно даже себе представить... Полиция стреляла в самую гущу толпы. Некоторые сразу же бросились бежать, другие даже не в состоянии были сразу понять, что же произошло, и как вкопанные стояли на месте, не веря своим глазам и тому, что полиция могла стрелять боевыми патронами».

В тот день слово «Шарпевиль» не сходило с уст людей во всем мире. Преступление получило огромный международный резонанс. Правительство Фервурда вынуждено было назначить специальную комиссию для расследования. В докладе этой комиссии, в частности, говорится, что семьдесят процентов пострадавших были ранены в спину, так как полиция стреляла в толпу, которая бросилась бежать. Даже после этой ужасной бойни полиция продолжала издеваться над ранеными, предлагая им встать и убраться. Режим госпиталей, куда потом они попали, сильно напоминал тюремный. В книге рассказывается о попытках властей скрыть преступление или же любыми путями оправдать его.

Изгнание ЮАС из Британского Содружества Наций ровно через год после шарпевильской бойни явилось следствием этого злодейского массового убийства. Преступная политика расового изуверства потерпела еще одно серьезное поражение.

Такие книги, как «Расстрел в Шарпевиле», показывают всему миру страшную картину разгула расизма и служат благородному делу борьбы за ликвидацию позорного явления нашего века — колониализма.

**В. МОЛЧАНОВ.**

## ЗАХВАТЧИКИ НА ОКИНАВЕ

**Окинава-о сококу-ни каэсэ (Окинаву — родине! Издание Коммунистической партии Японии. Токио. 1960).**

**Сэнага Камэдзиро. Окинава-кара-но хококу (Камэдзиро Сэнага. Доклад об Окинаве. Издательство «Иванами сэтэн». Токио. 1959).**

Тысячедвухсоткилометровой лентой протянулся между Японией и Тайванем архипелаг Рюкю. В результате второй мировой войны архипелаг, издавна принадлежавший Японии, был захвачен американскими войсками, которые оккупируют его и по сию пору. Крупнейший остров архипелага — Окинава — превращен Соединенными Штатами в самую мощную военную базу на Дальнем Востоке.

В 1854 году на Окинаве побывал И. А. Гончаров. В книге «Фрегат «Паллада» мы находим такие строки об острове: «Да, это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана... Возделанные поля, чистота хижин, сады, груды плодов и овощей, глубокий мир между людьми — все свидетельствовало, что жизнь доведена трудом до крайней степени материального благосостояния...» А сто лет спустя, в апреле 1955 года, японская буржуазная газета «Асахи» писала о положении жителей Окинавы следующее: «Люди, у которых отобрали земля и дома, вынуждены были продать свой скот. Они дошли даже до того, что продают дочерей, и тем не менее еле-еле сводят концы с концами».

Что же произошло на Окинаве? Ответ на этот вопрос дают изданные в Японии книги «Окинаву — родине!» и «Доклад об Окинаве».

В книге «Окинаву — родине!» есть такая выдержка из доклада военной подкомиссии конгресса США, посетившей архипелаг Рюкю:

«После того как мы закрепились на Окинаве, она стала той частью нашей мировой системы обороны, которой нам так не хватало. Существование наших баз в Японии и на Филиппинах зависит от того, будут ли там дружественные нам правительства. На островах же Рюкю — этой ключевой позиции в восточной Азии и на Тихом океане — мы можем планировать использование баз на очень продолжительный срок, поскольку нам принадлежит там политическая власть и нет враждебного националистического движения...»

В том случае, если Соединенные Штаты выведут свои войска из Японии, Окинава

все равно останется нашей военной базой, и ее важность даже в мирное время усилится еще больше. В военное же время стратегическое значение Окинавы невозможно переоценить. Она совершенно идеально расположена, так как контролирует вход в Желтое море и в Японское море. В случае возникновения войны между Тайванем и континентальным Китаем Окинава станет мощной базой поддержки. В Тихом океане мало островов, подобных Окинаве, которую в случае ухудшения нашего положения на фронтах можно очень легко оборонять и удерживать».

Ничего не скажешь, все предельно ясно!

С 1948 по 1959 год Соединенные Штаты израсходовали на военное строительство на Окинаве свыше одного миллиарда долларов. На острове сооружено несколько десятков военно-воздушных баз. Многие из них способны принимать сверхзвуковые бомбардировщики с атомным грузом. В порту главного города Окинавы — Наха — оборудованы стоянки американского Седьмого военно-морского флота, самого крупного в капиталистическом мире. В составе его ста пятидесяти кораблей семь авианосцев, на которых базируются самолеты, вооруженные атомными и водородными бомбами. Седьмому флоту приданы атомные подводные лодки, где установлено оборудование для запуска управляемых снарядов с ядерной боеголовкой.

В марте 1960 года американские власти на Окинаве объявили о строительстве новых восьми площадок для запуска управляемых снарядов «Найк». В 1960—1961 годах к ним добавятся снаряды типа «Хок». Уже сооружаются пусковые площадки для беспилотных самолетов-снарядов с реактивным двигателем «Мэйс».

События последних лет ясно показали, для чего предназначены военные базы на Окинаве. Так, только с 7 сентября 1958 года по 25 мая 1960 года правительство Китайской Народной Республики сделало сто серьезных предупреждений правительству США по поводу многочисленных случаев вторжения в территориальные воды КНР американских военных кораблей и случаев

нарушения воздушного пространства КНР американскими самолетами.

На Окинаве имеется база и для самолетов «Локхид У-2», которые, как известно, специально приспособлены для воздушной разведки. Начальник Управления национальной обороны Японии признавал в парламенте, что самолеты «в случае необходимости» летают до границ Китая и Советского Союза. Это признание пролило свет на то, каким образом американскими военно-воздушными силами в Японии были составлены авиационные стратегические карты советского Дальнего Востока и побережья Китая, случайно попавшие в апреле 1960 года в руки парламентской оппозиции, которая эти карты и обнародовала.

Военным базам на Окинаве отведена и полицейская роль. Об этом ясно сказано в резолюциях VII съезда Коммунистической партии Японии: «Военная база Окинава не только является стратегической базой агрессии американского империализма против Китая и Советского Союза и опорным пунктом для подавления национально-освободительной борьбы японского народа, но все больше и больше возрастает сейчас ее роль как опорной базы для подавления антиимпериалистической и антиколониальной борьбы народов Азии и Африки за свою независимость, для усиления грабежа народов этих районов и господства над ними».

Недавно центральный и токийский комитеты Компартии Японии вновь подчеркнули, что правительство Икэда сотрудничает с США в агрессивных действиях против Лаоса, причем в качестве опорных пунктов США используют остров Окинава и свои базы в Японии.

Окинава — это не только военно-стратегический плацдарм Соединенных Штатов, но и их колония. Об этом свидетельствует захват американцами земли у жителей Окинавы, а также колониальный характер экономики острова, анализ которой дан в книге Камэдзиро Сэнага, бывшего мэра города Наха, «Доклад об Окинаве».

До второй мировой войны сельское хозяйство являлось основной отраслью экономики на Окинаве. Поступления от сельскохозяйственного производства составляли в 1934—1936 годах более половины национального дохода. В результате военных действий, в ходе которых значительное число возделанных участков было испорчено во-

ронками, окопами, траншеями, а также в связи со строительством американских военных объектов пахотная площадь на Окинаве сократилась почти вдвое.

Военные объекты США на Окинаве занимают около двенадцати процентов территории острова; ущерб понесли двести пятьдесят тысяч крестьян.

Почти четверть земельной площади занято американскими военными властями на правах бессрочной аренды, то есть по существу навечно. Арендная плата, размеры которой установили сами американцы, была в семь раз меньше того, что просили владельцы земли. Это было по существу аннексией. Остальная земля арендована на срок от пяти до десяти лет. Арендная плата столь ничтожна, что ее не хватает даже для оплаты проезда из некоторых отдаленных районов острова в столичный банк для ее получения.

Если к тому же принять во внимание, что цены на товары за последние двадцать лет возросли в сто пятьдесят раз, то станет совершенно очевидным обнищание сельского населения. Вот почему в подавляющем большинстве случаев американским военным властям приходится брать у крестьян землю в аренду насильно, часто под угрозой применения оружия.

Сокращение сельскохозяйственного производства, вызванное реквизицией земли для военных объектов США, настолько велико, что поступления от него составляют сейчас менее восемнадцати процентов национального дохода Окинавы.

Ведущей отраслью промышленности Окинавы в довоенные годы являлась сахарная промышленность. В 1939 году на острове было произведено более ста двадцати двух тысяч тонн сахара. В годы войны сахарная промышленность пришла в упадок, заводы по переработке сахарного тростника были разрушены. В результате в 1957 году сахара было произведено только тридцать шесть тысяч тонн.

В книге «Доклад об Окинаве» детально рассматривается вопрос о капиталовложениях США в экономику Окинавы. Почти все крупные компании и банки основаны и существуют только благодаря американскому капиталу. Но не в строительство промышленных предприятий, не в развитие транспорта вложили деньги империалисты США, а в банки, в компании по эксплуатации электростанций, водопровода, жилого

фонда. Только в 1959 году эти капиталовложения принесли около пяти миллионов долларов дохода. Потребитель на Окинаве платит, к примеру, за электричество в три раза больше, а за водоснабжение — в пять раз больше, чем в Токио, и в семь раз больше, чем в Нагоя. Уместно отметить, что «помощь», оказанная Окинаве Соединенными Штатами в том же 1959 году, составила один миллион долларов. Это значит, что США помогают Окинаве за счет средств, выкачанных из нее же. Поистине, «доллар взял, а цент отдал», как очень метко охарактеризовал Н. С. Хрущев подобную «помощь» империалистических стран.

Каково положение трудящихся на Окинаве, попавшей в кабалу к США? Приведем несколько красноречивых цифр, взятых из книги «Доклад об Окинаве». Коренной житель острова за одну и ту же работу получает в шестнадцать раз меньше американца, в десять раз меньше филиппинца и в три раза меньше жителя собственно Японии. Прожиточный минимум семьи на острове определен примерно в сорок долларов в месяц. А наибольшая группа работающих по найму получает месячную заработную плату в размере, не превышающем двадцать семь с половиной долларов. При этом, чтобы их заработать, необходимо трудиться свыше шестидесяти часов в неделю. Высокие налоги еще более сокращают доход трудящихся. Две трети доходной части бюджета составляют прямые и косвенные налоги.

Экономическое порабощение Окинавы дополняет политический гнет, установленный американскими оккупационными властями. С болью и горечью пишет автор книги «Доклад об Окинаве» о фактах произвола, творимого американцами, о созданной ими на острове системе колониального рабства. Конечно, американские власти постарались использовать все атрибуты буржуазной «демократии». Они создали «законодательное собрание» и «правительство», которые,

однако, лишены и законодательной, и административной, и судебной власти. Практически островом управляет командующий американскими вооруженными силами, положение которого, как указывала японская печать, «может быть приравнено к положению автократического правителя в древние времена, абсолютного монарха в средние века или фашистского диктатора в наше время».

Американская администрация лишила рабочих Окинавы всех демократических прав, и в первую очередь права на забастовку, ввела законы, которые фактически запрещают деятельность профсоюзных, молодежных и других массовых организаций, ограничила поездки из Японии на Окинаву и с Окинавы в Японию, даже запретила вывешивать японские флаги.

В середине 1959 года американская администрация опубликовала новый уголовный кодекс. Он предусматривает смертную казнь для лиц иностранного происхождения (а ими считаются и жители собственно Японии) и для самих окинавцев, «совершающих действия, которые угрожают безопасности Окинавы». Иными словами, всякое выступление против реквизиции земли для военных баз, против бесчинств американских солдат, против превращения Окинавы в американскую колонию карается смертью. Даже за критические высказывания в адрес американской военной администрации кодекс устанавливает длительные сроки тюремного заключения.

Однако жители Окинавы никогда не согласятся с колониальным режимом Соединенных Штатов на острове. Лучшие, самые яркие страницы книг «Окинаву — родине!» и «Доклад об Окинаве» — это те, где рассказывается о борьбе народа Окинавы за мир, за вывод с острова американских войск и уничтожение военных баз, за лучшие условия жизни, за воссоединение с Японией.

**В. ЦВЕТОВ.**



# МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

## ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕСНЯ В ЯПОНИИ

Японский народ любит русскую песню. Сейчас по всей Японии распевают «Дубинушку», «Катюшу», «Подмосковные вечера» и много других русских песен, переведенных на японский язык и знакомых миллионам японцев.

Когда же впервые была завезена русская песня в Японию?

Оказывается, это произошло около ста семидесяти лет тому назад — в 1792 году. Это была известная, не забытая до сих пор песня «Ах, скучно мне на чужой стороне!». Ее спел в городе Эдо (теперь Токио) крупному японскому ученому Кацурагава Хосю капитан корабля «Синсё-мару» Дайкокуя Кодаю.

История этой не только первой прозвучавшей в Японии, но и посвященной японцу песни такова.

В 1783 году японский корабль «Синсё-мару» с экипажем в семнадцать человек потерпел крушение и был занесен к Алеутским островам, принадлежавшим тогда России. Русские спасли оставшихся в живых японцев, и некоторые из них поселились в России<sup>1</sup>. Однако Кодаю и два других японца, Коити и Исокити, хотели во что бы то ни стало вернуться на родину. Кодаю удалось даже съездить из Иркутска, где тогда жили потерпевшие кораблекрушение японцы, в Петербург, обратиться лично к Екатерине II с просьбой о возвращении на родину и получить согласие на это.

В то время Япония была уже более полутора столетий закрыта для всех иностранных государств, кроме Китая и Голландии. Последней разрешалось присылать для тор-

<sup>1</sup> Потомок одного из японцев, оставшихся несколько позже в Иркутске, живет сейчас в Новосибирске; это первый советский консул в Цуруге, Дмитрий Дмитриевич Киселев, ему сейчас восемьдесят два года. Он изображен на картине «Ленин беседует с сибирским партизаном», висящей в одном из залов Центрального Дома Советской Армии в Москве.

говли в Японию не более одного корабля в год. Японцам запрещалось покидать Японию, а тем, кто по тем или иным причинам оказался за границей, под страхом смертной казни запрещалось возвращаться на родину. Поэтому японцы, которых до Кодаю заносило бурей к берегам России, не возвращались в Японию, а навсегда оставались в России, крестившись и приняв русские имена и фамилии.

Кодаю и Исокити были первыми японцами, которые, прожив много лет в России, вернулись на родину и рассказали обо всем, что видели и слышали здесь. С их слов японцы впервые узнали правду о своем ближайшем соседе, русском народе, в искренних дружеских чувствах которого к японскому народу Кодаю и Исокити смогли убедиться на собственном опыте. Японское правительство сохранило им жизнь, и хотя и не разрешило вернуться в их родную провинцию Исэ, но обеспечило пожизненной пенсией и оставило жить в Эдо.

По словам Кодаю, песню «Ах, скучно мне на чужой стороне!» сочинила Софья Ивановна Буш, сестра садовника дворцовых садов в Царском Селе Осипа Ивановича Буша, у которого Кодаю жил с мая по июль или август 1791 года в ожидании приема у Екатерины II. Потом эта песня стала модной в Петербурге, распространилась по всей России, переделывалась различными авторами и не забыта до наших дней.

Кодаю рассказывал, что Софья Ивановна Буш, искренне жалея его, хотела в этой песне передать его душевное состояние и тоску по родине. Со слов Кодаю японской слоговой азбукой «катакана» эту песню записал ученый Кацурагава.

Хотя его запись и искажена японской транскрипцией, потому что японский язык не знает звуков «л», «ч», «ы» и других, — в ней можно легко узнать песню:

Ах, скучно мне  
На чужой стороне:  
Все не мило,  
Все постыло,  
Друга милого нет!

Друга милого нет,  
Не глядел бы я на свет!  
Что, бывало,  
Утешало,  
О том плачу я.



Кодаю сам же перевел песню стихами на японский язык. Этот перевод вместе с записью песни по-русски в японской транскрипции приведены Кацурагава Хосю в его рукописной книге «Хокуса монряку» — первом в Японии труде о России, составленном в 1794 году.

В России эта песня впервые была опубликована двумя годами позже, в 1796 году, в книге «Карманный песенник, или собрание самых лучших светских и простонародных песен», составленной Ив. Дмитриевым. Там она начиналась так:

Ах, тошно мне  
На своей стороне;  
Все уныло,  
Все постыло,  
Моей милыя нет!

Автор не указан. В дальнейшем, также без указания автора, песня публиковалась дважды: в 1816 году в «Новейшем полном всеобщем песеннике», СПб., и в 1822 году в «Новейшем полном песеннике для особ обоего пола...», изданном М. Маклаковым в Москве. В обоих случаях текст песни почти полностью совпадает с тем, как его запомнил Кодаю в 1791 году, а именно:

Ах, скучно мне  
На чужой стороне...<sup>1</sup>

Впоследствии эта песня была включена в «Сочинения Нелединского-Мелецкого», изданные в 1850 году А. Смирдиным. Ю. А. Нелединский-Мелецкий, который стал сенатором при Павле I и не был в особенном фаворе при Екатерине II, тем не менее бывал при дворе, мог слышать песенку С. И. Буш в Царском Селе и впоследствии составить свой романс, написав дополнительно девять строк. А может быть, еще до этого песенка С. И. Буш превратилась в на-

<sup>1</sup> В песенниках 1816 г. и 1822 г. имеется также вариант этой песни: «Ах, тошно мне на чужой (своей) стороне, Отъезжает (отъезжаешь), покидает (покидаешь), Мил сердечный друг (меня)...»

родную песню, которой и воспользовался для незначительной переделки Ю. А. Нелединский-Мелецкий, как он это сделал с песней «Выйду ль я на реченьку».

Небезынтересно вспомнить, что К. Рылеев и А. А. Бестужев-Марлинский, переработав тот же текст, написали революционную песню, направленную против крепостничества. Их переработка была опубликована с незначительными разночтениями в 1934 году в «Полном собрании стихотворений» К. Рылеева, под редакцией, с предисловием и примечаниями Ю. Г. Оксмана, и в 1936 году в книге «Русская народная песня», составленной С. Бугославским и Иваном Шишовым. В последней она начинается следующими стихами:

Ах, тошно мне  
На родной стороне:  
Все в неволе,  
В тяжелой доле,  
Видно, век вековать.

Долго ль русский народ  
Будет ружьядью господ,  
И людьми,  
Как скотами,  
Долго ль будут торговать.

И т. д.

Авторство этого варианта установлено показаниями ряда декабристов. В частности, А. А. Бестужев-Марлинский на суде по делу декабристов показал: «Я не знаю, по наущению ли общества сделал сие Рылеев, только однажды в 1822 г., в конце... пригласил он меня написать что-нибудь народным языком либеральное, и песню «Ах, скучно мне» написали мы вместе». Ю. Г. Оксман считает дату, указанную А. А. Бестужевым, ошибочной и относит составление этой песни к началу 1824 года.

Известна также солдатская песня «Ах, скучно мне на родной стороне!»

Можно полагать, что в основе всех этих песен лежат две строфы, составленные Софьей Ивановной Буш и посвященные переживаниям японца Кодаю.

**В. КОНСТАНТИНОВ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ.** Специальный выпуск. Издательство «Известия». М. 1961. 128 стр. Цена 14 к.

В ясный солнечный день 14 апреля, когда столица нашей Родины торжественно встретила славного сына советского народа майора Юрия Гагарина, в московских газетных киосках появилась небольшого формата книжка. На ее обложке — фотография человека, ставшего родным и близким каждому из нас. Эта оперативно выпущенная книжка (она вышла в серии «Библиотека «Известий») весьма содержательна. Она открывается Обращением Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Правительства Советского Союза «К Коммунистической партии и народам Советского Союза! К народам и правительствам всех стран! К всему прогрессивному человечеству!», поздравлением Никиты Сергеевича Хрущева «Советскому космонавту, впервые в мире совершившему космический полет, майору Гагарину Юрию Алексеевичу», приветствием ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров Союза ССР «Всем ученым, инженерам, техникам, рабочим, всем коллективам и организациям, участвовавшим в успешном осуществлении первого в мире космического полета человека на корабле-спутнике «Восток», первому советскому космонавту товарищу Гагарину Юрию Алексеевичу». Затем даны запись разговора по телефону между Н. С. Хрущевым и Ю. А. Гагариным и сообщения ТАСС «О первом в мире полете человека в космическое пространство» и «Об успешном возвращении человека из первого космического полета».

В книжке помещены биография Ю. А. Гагарина, его привет читателям «Правды» и «Известий», репортаж с места приземления, переданный специальным корреспондентом «Известий» Георгием Остроумовым, и его беседа с Ю. Гагариным. Далее помещены статьи: «Свершение века» академика Е. Федорова, «Шаг в новую эру» академика Н. Сисакяна, «День шестой» Владимира Орлова, «Слуги космонавтов» кандидата физико-математических наук М. З. Литвина-Седого. Под заголовком «Гражданин СССР — герой планеты Земля» публикуются письма и телеграммы, поздравляющие тех, кто подготовил и осуществил смелый полет человека в космическое пространство.

Большое место отведено приветствиям из-за границы. Пекин, Варшава, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио, Дели выражают восхищение победой советского народа.

Последний раздел книги — «Страницы биографии, простой и необыкновенной» — включает ряд фотографий Ю. А. Гагарина, относящихся к разным периодам его жизни, начиная со времени, когда он был учеником ремесленного училища. Заканчивается книжка рассказом «В семье героя».

**ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ЕВРОПЫ.** Госполитиздат. М. 1960. 468 стр. Цена 77 к.

Это первый сборник в предпринятой Госполитиздатом серии «Программные документы коммунистических и рабочих партий». В книгу вошли действующие программы, решения конференций, декларации, политические тезисы братских партий Австрии, Великобритании, ФРГ, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Португалии, Финляндии, Франции и Швейцарии.

«...Для народа Британии социализм означает гарантию безопасности внутри страны и за рубежом, а также возможность жить без постоянного страха перед нищетой и войной», — говорится в программе, одобренной XXV съездом компартии Великобритании, состоявшемся в 1957 году. А в разделе программы, озаглавленном «Как достичь социализма?», указывается: «Только государство рабочего класса при полной поддержке трудящихся может осуществить мероприятия, которые откроют путь к социализму».

В решении конференции компартии Германии, происходившей в феврале 1960 года, приведен глубокий анализ положения в Федеративной Республике Германии и поставлены задачи борьбы за мир, демократию и социальное благосостояние немецкого народа. В этом документе подчеркивается необходимость «подвести заключительную черту под второй мировой войной и тем самым ликвидировать угрозу новой войны. Для этого Германии нужен мирный договор».

О путях завоевания демократии и улучшения условий жизни трудящихся говорит-

ся в программах компартий Испании, Португалии, Австрии, Финляндии, партии труда Швейцарии.

Помещенные в книге материалы характеризуют политическое положение в тех странах, к которым они относятся, показывают состояние их экономики, расстановку классовых сил, специфику условий, в которых действуют коммунистические и рабочие партии капиталистических стран Европы.

**ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ СОЦИАЛИЗМА.** Выпуск 1960 года. Госполитиздат. М. 1960. 304 стр. Цена 64 к.

Очередной сборник серии, издаваемой Госполитиздатом (предыдущий вышел в 1959 году, следующий предполагается выпустить в нынешнем году), подготовлен сектором политической экономии социализма Института экономики Академии наук СССР. Статьи различных авторов, составившие сборник, посвящены ряду важнейших вопросов, вставших на современном этапе развития советского общества.

Сложной и еще мало разработанной теме о соотношении общих и специфических экономических законов при социализме посвящена статья А. И. Пашкова. Весторонне исследует проблемы, связанные с использованием закона планового и пропорционального развития народного хозяйства, И. А. Анчишкин. В работе Я. А. Кронрода (под общей редакцией которого издан сборник) дается анализ прибыли, ее особенностей как экономической категории социализма, раскрываются пути повышения ее стимулирующей роли. А. И. Ноткин, В. Г. Венжер, В. М. Батырев, С. А. Хавина в своих статьях остановились на вопросах о сочетании накопления и потребления, о некоторых условиях развития кооперативно-колхозной собственности в период развернутого строительства коммунизма, о роли финансово-кредитной системы в социалистическом воспроизводстве, о методологических основах современных буржуазных и реформистских взглядов на социализм.

В сборнике по-новому ставятся некоторые теоретические проблемы, остро критикуются устаревшие взгляды и представления. Читателя особо привлечет дискуссионная постановка ряда проблем такой молодой науки, какой является политическая экономия социализма.

**А. КОЗЛОВ и Г. ХРОМУШИН.** Что говорят и пишут о советской семилетке ее буржуазные критики. Соцэкгиз. М. 1960. 104 стр. Цена 13 к.

Авторы книги задались целью ознакомить читателя с принципиальными сторонами буржуазных комментариев семилетнего плана, выявить главные направления обстрела, показать банкротство реакционных «теоретиков», рисующих желательные для них перспективы соревнования двух систем. Поэтому книга насыщена цифровым материалом, сопоставлениями, аналитическими обобщениями.

Прислужники монополий всячески пытаются ослабить могучее воздействие успехов нашего государства на умы людей во всем мире. Начисто отрицать реальность советских планов ныне стало уже невозможным «Только глупец может смеяться сейчас над этими планами. За ними скрываются уже достигнутые гигантские успехи», — трезво рассуждает лондонская газета «Рейнольдс Ньюс». Поэтому теоретики капитализма ринулись на поиски всевозможных «роковых проблем» для советской экономики. Так на белый свет появились клеветнические «доказательства» якобы перенапряженности семилетки и преувеличенной оценки ее практических возможностей, «теория затухания темпов», «проблема нехватки трудовых ресурсов» и другие домыслы ученых «провидцев».

Конкретные факты советской действительности, научно обоснованные расчеты помогают авторам книги вскрыть полную несостоятельность всех этих измышлений буржуазных идеологов. В книге показаны и те неприглядные приемы буржуазной пропаганды, посредством которых защитники капитализма стараются замаскировать вопиющие расхождения между своими утверждениями и фактами советской жизни.

**ИВАН ЛОГИНОВ.** Степь бороздят автома- ты. (Записал и литературно обработал Л. Давыдов). Профиздат. М. 1960. 168 стр. Цена 22 к.

Вместе с десятками тысяч молодых строителей коммунизма горячо откликнулся на призыв партии об освоении новых земель Иван Логинов. Имя этого тракториста-целинника, изобретателя трактора-автомата, известно всей стране. Читатель узнает о его неутомимой деятельности — от первых, робких шагов до зрелого, подлинного мастерства. «Длинный путь, — пишет автор, — от замыслов и вариантов до законченной схемы и чертежа. Еще дальше он от чертежа до построенного, опробованного и освоенного механизма. Надо не только заботиться о правильном росте и развитии конструкции, необходимо, как живого ребенка, поставить ее на ноги, научить ходить. Все это подчас занимает годы». Эти мысли автора хорошо иллюстрирует книга. Хотя она в основном посвящена техническим проблемам, но рассказывает о них популярно, доступным языком. Читатель, не имеющий специальной подготовки, с интересом следит за тем, как талант и настойчивость автора преодолевали одно за другим серьезные препятствия на трудном пути изобретателя.

В заключении книги автор пишет: «Мы совершенствуем технику земледелия ради превращения крестьянского труда в подлинное наслаждение. Мы хотим его во всем приравнять к работе заводского рабочего, у которого становится все короче рабочая смена и все больше времени остается свободным для учебы, отдыха, веселья, песни».

**И. Н. БОНДАРЕНКО. Большевики Киева в первой русской революции (1905—1907 гг.).** Издательство Киевского университета. 1960. 284 стр. Цена 1 р. 6 к.

История киевской партийной организации — одной из крупнейших на Украине — еще мало изучена. Книга И. Н. Бондаренко — серьезная попытка исследовать деятельность киевских большевиков в конце XIX и начале XX века.

На основе многочисленных архивных источников и некоторых впервые публикуемых документальных свидетельств, автор знакомит с огромной работой, которую партийная организация вела среди рабочих и крестьян на всех этапах первой русской революции. Подробно показано, как она боролась за реализацию решений III съезда РСДРП.

Особенно интересен раздел книги, рисующий киевских большевиков в период революционного подъема в стране в октябре — декабре 1905 года. Мы видим, как в совместной борьбе закалялась дружба русского и украинского пролетариата.

Автор дает также представление о работе большевиков в общепартийных центрах (Русское Бюро, Южное и Южно-Техническое Бюро ЦК РСДРП), находившихся в тот период в Киеве, и о видных деятелях партии, участниках революционных событий в Киеве, — Г. М. Кржижановском, А. Г. Шлихтере, М. М. Литвинове, Ф. В. Ленгнике и других.

**ПОЛИТИКА США НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ (США и страны СЕНТО).** Издательство восточной литературы. М. 1960. 344 стр. Цена 1 р. 40 к.

СЕНТО — «Организация центрального договора» — агрессивная военная группировка на Ближнем и Среднем Востоке, имеющая антисоветскую направленность. До выхода из нее Иракской республики (1959 год) эта группировка носила название Багдадского пакта. Официально членами СЕНТО являются Англия, Иран, Пакистан и Турция. Однако США также принимают участие в важнейших комитетах СЕНТО. Так, например, представитель США является постоянным заместителем начальника штаба объединенного военного планирования СЕНТО.

Повышенный интерес империалистов США к Ближнему и Среднему Востоку объясняется исключительно большим стратегическим значением района, находящегося на стыке трех континентов — Европы, Азии и Африки, близ границ Советского Союза.

Основное содержание книги составляют главы, посвященные Турции, Ирану и Пакистану. Обширный материал сборника в значительной части впервые систематизирован и подвергнут научному анализу. О некоторых фактах читатель узнает впервые, о других получает более полное представление.

Большое место в книге отведено «помощи», которую оказывают США своим якобы полноправным партнерам. Эта «помощь» преследует далеко идущие планы — политические, военные и социальные. Одна из основных целей послевоенной внешней политики США — сколачивание агрессивных блоков и организация военных баз на территориях других стран.

**ОТЦЫ ТЬМЫ.** Детгиз. М. 1960. 510 стр. Цена 95 к.

Эта книга, направленная против католической церкви, против «отцов тьмы», писалась, как говорится в предисловии, много столетий. В книге с большой тщательностью подобраны отрывки из прозаических, драматических, поэтических произведений различных писателей начиная со времени средневековья и до наших дней. Джордано Бруно, Петрарка, Данте, Ульрих фон Гуттен, Чосер, Леонардо да Винчи, Вольтер, Гюго, Гейне, Писарев, Герцен, Чернышевский, Стендаль, Золя, Гашек, Галан и многие, многие другие — вот авторы книги. Составитель и комментатор текста Е. Г. Эткинд отобрал яркие, впечатляющие страницы, чтобы показать реакционную сущность католицизма и папства, на протяжении веков бывших опорой вначале феодального, затем капиталистического угнетения, а ныне являющихся слугой империалистических монополий и злейшим врагом всякого прогресса. В соответствии с этим книга разделена на три большие части: «Опора феодального угнетения»; «На страже интересов капитала» и «Духовные слуги империализма».

Книга вышла в серии «Школьная библиотека», но ее с большим интересом прочтет взрослый читатель и сможет использовать для научно-атеистической пропаганды.

Хорошо написанные и доступные читателю примечания и пояснения текста облегчают пользование сборником.

Книга создавалась под редакцией покойного В. Д. Бонч-Бруевича.

**ЛИТЕРАТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ.** Статьи 1959—1960 годов. Гослитиздат. М. 1960. 504 стр. Цена 1 р. 25 к.

В сборник «Литература и современность», составленный по инициативе Московского отделения Союза писателей, вошли статьи московских критиков, опубликованные в 1959—1960 годах на страницах периодической печати. Многие статьи подверглись серьезной переработке и существенно обогатились по сравнению со своими журнальными вариантами.

В сборнике нашли отражение основные проблемы, стоящие сегодня в центре внимания нашей литературной критики. В статье В. Щербиня анализируются основные тенденции развития современной советской литературы. И. Анисимов исследует процессы, происходящие сегодня в зарубежной литературе. Г. Ломидзе рассказывает о творческом взаимодействии брат-

ских литератур нашей страны. К. Зелинский размышляет о соотношении науки и искусства в наши дни.

В. Озеров, Вл. Баскаков, Я. Эльсберг и Г. Бровман сосредоточили свое внимание на проблемах изображения характера современного героя и авторской позиции писателя. Вопросам развития современного романа, поэзии, очерка, научно-фантастической литературной критики посвящены статьи М. Кузнецова, В. Панкова, В. Рослякова, Ю. Рюрикова и В. Иванова.

В статьях Л. Якименко, И. Козлова, Е. Стариковой детально анализируются «Поднятая целина» Михаила Шолохова, «Живые и мертвые» Константина Симонова и «За бегущим днем» Владимира Тендрякова.

**НИКОЛАЙ УЛЫБИН.** Буян. Читинское книжное издательство. 1960. 30 стр. Цена 5 к.

Сборник «Буян» — не первая книга сибирского писателя Николая Улыбина. Читатели могли ознакомиться с его повестью «Нетронутые снега», вышедшей ранее в Читинском издательстве. Однако мало кто знает о судьбе этого человека. На фронте он был тяжело ранен. И вот уже много лет Н. Улыбин прикован к постели. Но желание трудиться, быть полезным людям взяло верх над тяжелым недугом. Он стал писать и в этом нашел свое призвание.

Книжка «Буян» посвящена детям. В рассказе «Таткино счастье» говорится о тяжелом, безрадостном детстве крестьянских ребят в далеком прошлом. Как о недостижимом, мечтают маленькие герои, сбившись в кучу на холодной печи, о книжке с картинками и куске сахара. В других рассказах сборника показано наше время. Герои их — юные сибиряки, которые в борьбе с суровой природой вырабатывают в себе черты мужественных охотников («Буян», «Деточка»), стремятся быть полезными членами общества, людьми честными и справедливыми («Убитая ласточка», «Находка»).

**М. КУПРИНА-ИОРДАНСКАЯ.** Годы молодости. «Советский писатель». М. 1960. 240 стр. Цена 46 к.

Воспоминания Марии Карловны Куприной-Иорданской — жены и близкого друга А. И. Куприна — относятся к тем далеким годам, когда в жизни Куприна после нужды, лишений, поисков службы в провинции наступил резкий перелом. В Петербурге, куда он переехал в 1901 году по приглашению издателя «Журнала для всех» В. С. Миролубова, Куприн оказался в кругу прогрессивных литературных сил, обрел новых друзей среди русских писателей.

Здесь он вскоре женился, и здесь же началась его большая творческая работа над лучшими своими произведениями. Наступила пора большого успеха у читателей.

Об этом периоде жизни писателя — с 1901 до 1908 года, когда Мария Карловна рассталась с Куприным, — и рассказывает она в своей книге.

Страницы книги воссоздают не только живой образ писателя, не только рассказывают о росте его таланта, о его творчестве, знакомят с историей создания многих его произведений, но и передают интересные эпизоды литературной жизни начала нынешнего века. Ведь М. К. Куприна-Иорданская, издательница и член редакции журнала «Мир божий» (с 1906 года он выходил под названием «Современный мир»), постоянно общалась с выдающимися писателями, произведения которых печатались в журнале. Она знала Чехова, Бунина, Горького, Л. Андреева, Мамина-Сибиряка и многих других.

Из книги читатель узнает о том, как самоотверженно собирал Горький литературные силы вокруг сборника «Знание», об отношениях Куприна и Чехова, о начале творческого пути Леонида Андреева и о многих других фактах прошлого.

**ПЛОД НЕСЧАСТЬЯ.** Современная персидская новелла. Перевод с персидского. Гослитиздат. М. 1960. 287 стр. Цена 59 к.

Сборник знакомит нашего читателя с лучшими образцами прозы современного Ирана. Почти все вошедшие в него рассказы и новеллы созданы в сороковых — пятидесятых годах. Рассказ, новелла — это основные жанры современной персидской прозы. Конечно, в Иране есть и немало модных «романистов», но они настолько подражают дурным образцам Запада, настолько оторваны от национальной почвы, что не идут в счет.

Имена Бозорга Аляви, Мохаммеда Али Джемаль-заде, Ахмада Садека уже известны советскому читателю — отдельные их произведения еще раньше были переведены на русский язык. Творчество этих и других писателей, представленных в сборнике, — свидетельство того, что в персидской литературе за последнее время заметно окрепло критико-реалистическое направление. Написанные в самой различной манере, с помощью различных изобразительных средств, рассказы, собранные в этой книжке — а их в ней около трех десятков, — рисуют картину жизни почти всех слоев иранского общества.

Тут и печальные рассказы о трагической судьбе бедняков: служанки Рены («Почему она умерла?»), крестьянина Баба Бахрама («Легенда о Баба Бахраме»), садовника Мешеди Хосейна Али («Дизашуб»), мальчика Саида («Серебряные деньги»), батрака («Зар-Сафър») и других. Они жертвы корыстолюбцев, карьеристов, мошенников.

Тут и полные злой насмешки, сатирического разоблачения рассказы о «хозяевах жизни» — спекулянте Али Габи («Али Габи»), мошеннике Доросткаре («Позор»).

Тут и лирические миниатюры, скорее даже стихотворения в прозе, полные веры в человека, в лучшее будущее.

**В. Е. ГУСЕВ.** Марксизм и русская фольклористика конца XIX — начала XX века. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1961. 180 стр. Цена 79 к.

Роль марксизма в развитии русского фольклора до сих пор остается малоизученной. В книге делается попытка восполнить этот существенный пробоел.

С распространением и развитием марксизма в России на смену различным теориям народного творчества пришла новая научная методология с ее конкретно-историческим, диалектическим подходом к фактам, с ее трезвыми оценками противоречивых явлений в области фольклора, с ее историческим оптимизмом.

Автор книги показывает, что русские исследователи-марксисты творчески развили марксистскую эстетику применительно к творчеству народных масс. Это относится как к проблеме происхождения искусств и первобытного фольклора, так и к проблеме пролетарского искусства. Даже в тех случаях, когда Ленин, Плеханов, Луначарский, Горький и другие марксисты не касались непосредственно собственно фольклористических проблем, их научная и литературно-критическая деятельность имела огромное значение для изучения фольклора.

Развитие марксистской фольклористики у нас проходило в жестокой борьбе с буржуазной эстетикой. Борьба Ленина и партии против различных извращений марксистской теории в немалой степени способствовала установлению подлинно научного подхода и к проблемам народного творчества.

Советская фольклористика исходит, как справедливо пишет автор, из ленинского завета изучать художественное творчество народных масс «под социально-политическим углом зрения». Развитие разнообразных форм социалистической культуры, новые формы художественного творчества народа определяют и новые проблемы советской фольклористики.

**Г. БЕЛЫХ и Л. ПАНТЕЛЕЕВ.** Республика Шкид. «Советский писатель». Л. 1960, 443 стр. Цена 73 к.

Люди старшего поколения берут эту книгу с доброй улыбкой, с какой встречают старых хороших знакомых, молодые — с интересом и удивлением: такой ведь республики нет, кажется, ни на одной карте мира!

После долгих лет перерыва снова на книжных полках появилась увлекательная повесть Белых и Пантелеева. Авторы описали свои юные годы — детство мальчишек-беспризорников, которым молодая Советская республика дала путевку в жизнь — определила в «Школу социально-индивидуального воспитания им. Достоевского». Длинное и ученое название беспокойные обитатели школы переделали в краткое и

звучное «Шкид», прибавив к своему слову солидное — «республика».

Сегодня книга эта, потеряв прямую злободневность, стала своеобразным педагогическим документом первых лет Советской власти и интересным свидетельством становления и воспитания молодых советских граждан в двадцатые годы.

Сразу же после появления повести — в 1927 году — Максим Горький писал о ней:

«Для меня эта книга — праздник, она подтверждает мою веру в человека, самое удивительное, самое великое, что есть на земле нашей».

Книга выдержала испытание временем. Ничуть не поблек сочный и соленый юмор «шкидов», не устарело радостное восприятие чудесности бытия в молодой Советской республике.

Один из авторов — Григорий Белых — безвременно погиб в конце тридцатых годов; другой — Л. Пантелеев — стал видным советским писателем. Он-то и подготовил печати данное издание, внес некоторые изменения и поправки, сохранив в неприкосновенности молодой почерк книги.

Замечательное предисловие к ней написано сейчас С. Я. Маршаком, принимавшим активное участие в редакции «Республики Шкид» более тридцати лет назад.

**А. ШТЕФАНЕСКУ.** Не бегай один под дождем. Перевод с румынского. «Молодая гвардия». 1961. 303 стр. Цена 60 к.

«Не бегай один под дождем» — это рассказ о горькой жизни румынских мальчуганов, попавших в лапы безжалостного эксплуататора-хозяинчика. События повести развертываются в годы второй мировой войны. Владелец бубличной Постолаке не только наживает на людской беде, деря втридорога за свои бублики — ведь хлеба по карточкам дают очень мало, но и нещадно обирает бедных мальчуганов — продавцов бубликов. Их гонят из деревни в столицу голод и нужда. Они рассчитывают обрести здесь райскую жизнь. Но находят тот же голод да к тому же еще издевательства и колотушки. Кто послабее здоровьем, как Енаке, не выдерживает и умирает на жалкой соломенной подстилке на чердаке — обиталище босоногих «крестников» Постолаке.

Другие, как Марин, пытаются вырваться из лап ненавистного хозяина. Жандармы снова возвращают его к хозяину Тот подвергает мальчика жестокой экзекуции. Жизнь кажется ребятам беспросветной. Но вот в стране происходит антифашистский переворот, устанавливается власть народно-демократического фронта. Мальчишки, почувствовав свободу, разбегаются. Они начинают новую жизнь.

Эта книга о подростках написана так, что ее с интересом прочитают и взрослые и молодежь.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. 10—18 января 1961 г. Стенографический отчет. 648 стр. Цена 1 р. 10 к.

Борьба КПСС за завершение строительства социализма (1953—1958 годы). Документы и материалы. 696 стр. Цена 1 р. 10 к.

Партия в борьбе за восстановление народного хозяйства (1921—1925 гг.). Документы и материалы. 620 стр. Цена 1 р. 6 к.

Издание и распространение произведений В. И. Ленина. Сборник статей и материалов. 352 стр. Цена 80 к.

Д. Н. Айдит. Уроки истории Коммунистической партии Индонезии. 36 стр. Цена 4 к.

М. А. Власов. Коллективная оплата труда за продукцию. 144 стр. Цена 16 к.

Д. Вольский. Патрис Лумумба — герой Африки. 32 стр. Цена 2 к.

XII съезд Коммунистической партии Финляндии (Хельсинки, 15—18 апреля 1960 г.). 160 стр. Цена 20 к.

Н. Иноземцев. Внешняя политика США в эпоху империализма. 760 стр. Цена 1 р. 70 к.

М. М. Карпов. Наука и развитие общества. 120 стр. Цена 14 к.

Б. М. Кедров. Как изучать книгу В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», 168 стр. Цена 20 к.

Ким Ир Сен. Торжество идей Великого Октября. 68 стр. Цена 7 к.

Вл. Немцов. Волнения, радости, надежды. Мысли о воспитании. Из серии о коммунистической морали. 320 стр. Цена 35 к.

Проблемы политической экономии социализма. Выпуск 1960 г. 304 стр. Цена 64 к.

СССР — США (Цифры и факты). 136 стр. Цена 20 к.

П. Тольятти. За демократическое обновление итальянского общества, за продвижение к социализму. — Задачи Итальянской коммунистической партии в избирательной кампании по выборам органов местного самоуправления. — Коммунистическую партию поддерживают миллионы людей. 136 стр. Цена 16 к.

III съезд Румынской рабочей партии (Бухарест. 20—25 июня 1960 года). 240 стр. Цена 50 к.

И. Т. Фролов. О причинности и целесообразности в живой природе (Философский очерк). 184 стр. Цена 23 к.

Хрестоматия по марксистско-ленинской философии. Том 1. 772 стр. Цена 1 р. 19 к. Том 2. 760 стр. Цена 1 р. 10 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Ансенов. Коллеги. Повесть. 208 стр. Цена 41 к.

М. Арази. Повести и рассказы. Перевод с армянского. 144 стр. Цена 29 к.

В. Ардаматский. Звезды в полдень. Повесть. 324 стр. Цена 57 к.

И. Бунин. Стихотворения. 512 стр. Цена 49 к.

А. Вергелис. Вторая встреча. Стихи. Перевод с еврейского. 152 стр. Цена 16 к.

Е. Герасимов. Игорь Петухов. Повесть. 240 стр. Цена 46 к.

С. Данилов. Счастье орла. Стихи. Перевод с якутского. 84 стр. Цена 12 к.

Е. Долматовский. Все только начинается. Стихи и песни о светлой Африке, о любви, о фантазерах и строителях. 176 стр. Цена 22 к.

А. Дроздов. Ночь позади. Роман, повести, рассказы. 404 стр. Цена 68 к.

А. Зорич. Самое главное. Рассказы. Очерки. Фельетоны. 256 стр. Цена 46 к.

А. Иващенко. Заметки о современном реализме. 204 стр. Цена 55 к.

И. Клейнер. Драматургия Сухово-Кобылина. 416 стр. Цена 1 р. 1 к.

Е. Кригер. Небо в алмазах. Очерки. 320 стр. Цена 53 к.

И. Лисашвили. Верность. Роман. Перевод с грузинского. 540 стр. Цена 97 к.

П. Лукницкий. Ленинград действует. Фронтовые дневники (22 июня 1941 — март 1942 года). 716 стр. Цена 1 р. 16 к.

А. Метченко. Творчество Маяковского. 1925—1930 гг. 652 стр. Цена 1 р. 29 к.

И. Муратов. Жила на свете вдова. Повесть. Перевод с украинского. 212 стр. Цена 40 к.

В. Огнев. Поэзия и современность. Сборник статей. 356 стр. Цена 76 к.

Л. Сейфуллина в воспоминаниях современников. 296 стр. Цена 77 к.

П. Симонов. Железные деревья. Стихи. 108 стр. Цена 19 к.

О. Челидзе. Неожиданная встреча. Стихи, баллады и поэма. Перевод с грузинского. 84 стр. Цена 13 к.

В. Шаламов. Огниво. Стихи. 136 стр. Цена 10 к.

К. Эльгар. Солнце над Дзалаукой. Стихи. Перевод с кабардинского. 64 стр. Цена 10 к.

В. Ян. Загадка озера Кара-нор. Рассказы. 192 стр. Цена 27 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

Маргарита Алигер. Стихотворения. Зоя. Поэма. 239 стр. Цена 46 к.

Михаил Лунонин. Стихотворения. 207 стр. Цена 41 к.

Кристофер Марло. Сочинения. Перевод с английского. 663 стр. Цена 92 к.

С. М. Петров. И. С. Тургенев. Творческий путь. 591 стр. Цена 1 р. 46 к.

Г. И. Успенский в русской критике. 524 стр. Цена 83 к.

Тарас Шевченко. Гайдамаки. Поэма. Перевод с украинского. 127 стр. Цена 1 р. 10 к.

Тарас Шевченко. Лирика. Перевод с украинского. 307 стр. Цена 1 р. 75 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Э. Барат. Парламентер. Повесть. Перевод с венгерского. 112 стр. Цена 23 к.

А. Безыменский. О всемогущем, что зря воспет, о вездесущем, которого нет. Поэма. 24 стр. Цена 6 к.

Галина Ганейзер. Загадка Ирвы. Повесть. 258 стр. Цена 53 к.

**И. Ганзелка, М. Зикмунд.** Меж двух океанов. Перевод с чешского. 392 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Георгий Гуревич.** Прохождение Немезиды. Научно-фантастическая повесть и рассказы. 239 стр. Цена 50 к.

**Борис Дубровин.** Цветение. Документальная повесть. 127 стр. Цена 19 к.

**Джалол Икрами.** Признаю себя виновным... Роман. Перевод с таджикского. 191 стр. Цена 43 к.

**Н. Киселев, И. Мельников, П. Михалев.** Дороги ведут в Рим. Очерки. 255 стр. Цена 42 к.

**Иван Мельниченко.** Пока ты молод. Роман. 191 стр. Цена 43 к.

**Эмиль Офин.** Узелок. Рассказы. 336 стр. Цена 64 к.

**Хосе Солер Пунг.** «Вертильон 166». Роман. Перевод с испанского. 141 стр. Цена 27 к.

## ДЕТГИЗ

**И. Артемьев.** Будни радиолокации. 288 стр. Цена 56 к.

**М. Барышев.** Выстрел в камышах. Рассказы. 112 стр. Цена 29 к.

**А. Гессен.** Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина. 256 стр. Цена 74 к.

**Г. Гребнев.** Пропавшее сокровище. Мир иной. Повести. 256 стр. Цена 65 к.

**В. Литвинов.** Ал. Алтаев. Критико-биографический очерк. 80 стр. Цена 16 к.

**М. Максимов.** Лично известен. Повесть о товарище Камо. 160 стр. Цена 31 к.

**М. Пархомов.** Выше голову, сынок! Рассказы. 136 стр. Цена 29 к.

**Е. Симонов.** По следам умолкших голосов. 238 стр. Цена 60 к.

**К. Симонов.** Во имя дружбы. Избранные стихотворения. 144 стр. Цена 36 к.

**А. Шаров.** Ручей старого обора. Повесть. 112 стр. Цена 26 к.

**Е. Штейнберг.** Утренняя звезда. Исторический роман. 304 стр. Цена 58 к.

**Э. Форбс.** Джонни Тремейн. Повесть. Перевод с английского. 272 стр. Цена 52 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Аграрно-крестьянский вопрос в суверенных слаборазвитых странах Азии (Индия, Бирма, Индонезия).** 356 стр. Цена 1 р. 20 к.

**И. В. Бестужев.** Борьба в России по вопросам внешней политики. 1906—1910. 407 стр. Цена 1 р. 42 к.

**А. М. Бутлеров.** Научная и педагогическая деятельность. Сборник документов. 416 стр. Цена 2 р. 42 к.

**Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике.** 256 стр. Цена 92 к.

**Е. М. Голдовский.** От немого кино к панорамному. 150 стр. Цена 20 к.

**А. А. Григорьев.** Развитие физико-географической мысли в России (XIX — начало XX в.). Краткий очерк. 92 стр. Цена 34 к.

**А. М. Деборин.** Философия и политика. 748 стр. Цена 3 р. 20 к.

**М. М. Карлинер.** Рабочее движение в Англии в годы первой мировой войны (1914—1918). 488 стр. Цена 1 р. 83 к.

**Б. А. Киселев.** Стеклопласты — материал будущего. 64 стр. Цена 10 к.

**А. Е. Кобринский.** Числа управляют станками. 192 стр. Цена 30 к.

**Б. П. Козьмин.** Из истории революционной мысли в России. Избранные труды. 766 стр. Цена 2 р. 68 к.

**М. И. Новиков.** Общественно-политические и философские взгляды Т. Г. Шевченко. 280 стр. Цена 1 р. 27 к.

**Парижская коммуна 1871 г.** Том 1. 556 стр. Цена 3 р.

**А. М. Терпигоров.** Рассказ о черном великане. 116 стр. Цена 20 к.

**Толстой-художник.** Сборник статей. 461 стр. Цена 1 р. 50 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**Былые походы.** Воспоминания словацких красноармейцев — участников Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны в СССР. Перевод со словацкого. 255 стр. Цена 58 к.

**М. Водопьянов.** Киреевы. Роман. 355 стр. Цена 72 к.

**Я. М. Горелик.** Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников. Краткий очерк жизни и деятельности. 108 стр. Цена 17 к.

**А. Гусев.** Малиновый просвет. Роман. 316 стр. Цена 66 к.

**Доблесть, слава, любовь.** Стихи. 224 стр. Цена 51 к.

**А. И. Еременко.** Сталинград. (Записки командующего фронтом.) 504 стр. и альбом схем. Цена 1 р. 45 к.

**А. Кожевников.** Записки истребителя. 231 стр. Цена 47 к.

**Н. Мамин.** Знамя 9-го полка. Повесть. 286 стр. Цена 39 к.

**А. Маковский, Б. Радченко.** Каспийская Краснознаменная. Исторический очерк. 192 стр. Цена 40 к.

**А. Михале.** Тревожные ночи. Военные рассказы. Перевод с румынского. 398 стр. Цена 1 р. 22 к.

**Г. Мирошинченко.** Сыны Отечества. 158 стр. Цена 40 к.

**А. Розен.** Полк продолжает путь. Повести и рассказы. 261 стр. Цена 57 к.

**Б. Четвериков.** Кочовский. Роман. 607 стр. Цена 1 р. 17 к.

## ГЕОГРАФИЗ

**И. П. Герасимов, М. А. Глазговская.** Основы почвоведения и география почв. 490 стр. Цена 2 р. 7 к.

**А. Казанцев.** Лунная дорога. 168 стр. Цена 27 к.

**Коллектив авторов.** Карманная книга натуралиста и краеведа. 258 стр. Цена 71 к.

**Е. Л. Любимова.** Камчатка. 190 стр. Цена 72 к.

**О. Р. Назаревский.** Алма-Ата. 108 стр. Цена 17 к.

**М. Г. Равич.** Отогретая земля. 200 стр. Цена 32 к.

**О. Г. Чистовский.** Мечта Розы Мамета. 104 стр. Цена 16 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Китай, Япония. История и филология.** К семидесятилетию академика Н. И. Конрада. 330 стр. Цена 2 р.

**С. И. Кузнецова.** Установление советско-турецких отношений. 84 стр. Цена 30 к.

**Л. И. Мирошников.** Английская экспансия в Иране. 228 стр. Цена 70 к.

**М. Чабб.** Здесь жила Нефертити. Перевод с английского. 142 стр. Цена 35 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Паоло Алатри.** Происхождение фашизма. Перевод с итальянского. 460 стр. Цена 1 р. 76 к.

**Г. Аптекер.** О сущности свободы. Перевод с английского. 53 стр. Цена 10 к.

**Франтишек Гечко.** Святая тьма. Роман. Перевод со словацкого. 206 стр. Цена 56 к.

**Суад Дервиш.** Анкарский узник. Роман. Перевод с турецкого. 130 стр. Цена 35 к.

**Анна Зегерс.** Решение. Роман. Перевод с немецкого. 650 стр. Цена 1 р. 71 к.

**Исмаил Кадарэ.** Лирника. Перевод с албанского. 118 стр. Цена 18 к.

**Йозеф Лендьел.** Беспokoйная жизнь Ференца Пренна. Роман. Перевод с венгерского. 300 стр. Цена 84 к.

**Пьер Лепроон.** Современные французские кинорежиссеры. Перевод с французского. 480 стр. Цена 1 р. 90 к.



**Монополистический капитал современной Японии.** Перевод с японского. 322 стр. Цена 1 р. 86 к.

**Морис Понс.** Башмачник Аристотель. Роман. Перевод с французского. 240 стр. Цена 64 к.

**Раджендра Прасад.** Автобиография. Перевод с английского. 622 стр. Цена 2 р. 31 к.

**Ева Пристер.** Алжир в борьбе. Перевод с немецкого. 286 стр. Цена 45 к.

**Фредерик Харпер.** Земля гончаров. Роман. Перевод с английского. 285 стр. Цена 93 к.

**Э. Хемингуэй.** За рекой, в тени деревьев. Роман. Перевод с английского. 212 стр. Цена 57 к.

**Эрнесто Че Гевара.** Партизанская война. Перевод с испанского. 134 стр. Цена 26 к.

**П. А. Штейнгер.** Западный Берлин. Перевод с немецкого. 348 стр. Цена 82 к.

#### ПРОФИЗДАТ

**В. Вавилкин.** Как подготовить и провести профсоюзное собрание. 64 стр. Цена 8 к.

**В. Загорюльин, П. Менью, Д. Перепелкин.** Постоянно действующие производственные совещания. 64 стр. Цена 8 к.

**В. Никитинский, А. Ставцева.** Права фабричных, заводских и местных комитетов профсоюзов. 128 стр. Цена 16 к.

**В. Сыров.** Общественный контроль за деятельностью торговых организаций. 80 стр. Цена 9 к.

#### СЕЛЬХОЗГИЗ

**Н. Г. Андреев.** Луговоеводство. 567 стр. Цена 92 к.

**Д. Зуев.** Дары русского леса. Грибы и ягоды. 255 стр. Цена 45 к.

**Коллектив авторов.** Себестоимость продукции и рентабельность производства в колхозах. 295 стр. Цена 57 к.

**Коллектив авторов.** Система ведения сельского хозяйства в центрально-черноземной полосе. 470 стр. Цена 81 к.

**Коллектив авторов.** Справочник лесничего. 894 стр. Цена 1 р. 74 к.

**Коллектив авторов.** Справочник по кормопроизводству. 508 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Е. Ф. Лискун.** Избранные труды. 532 стр. Цена 1 р. 66 к.

**А. П. Юрмалиат.** Выращивание молодняка крупного рогатого скота. 150 стр. Цена 20 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 25/III 1961 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 21/IV 1961 г.  
А 04839. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 86600.  
Зак 596.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

В Издательстве Академии наук СССР вышла из печати книга:

**АНТОН ЧЕХОВ**  
**(«Литературное наследство»,**  
**том 68)**

Настоящий том «Литературного наследства» подготовлен в связи со столетием со дня рождения А. П. Чехова. Том содержит новые материалы и исследования о жизни и творчестве писателя. Среди них — новонайденные рукописи и письма, ранее не известные юмористические произведения, а также сообщения об отысканных автографах «Юбилея» и «Попрыгуньи», о неизвестных фрагментах рукописей «Дамы с собачкой» и «Вишневого сада». Помещено 147 писем А. П. Чехова, не вошедших в Полное собрание его сочинений и писем.

В томе опубликован ряд писем, являющихся ценным источником для исследования биографии и творчества Чехова, а также литературной и художественной жизни конца XIX — начала XX в. Впервые публикуются 36 писем А. Н. Плещеева, напечатаны письма к Чехову А. И. Куприна, И. А. Бунина, В. Э. Мейерхольда.

В томе помещены стрывки из дневников современников А. П. Чехова: записи из неопубликованных дневников В. Г. Короленко и отрывки из дневника В. А. Теляковского. В книге большое место занимают воспоминания, отражающие различные этапы жизни Чехова — от детства до последних лет жизни. В томе помещены отрывки из незавершенной книги о Чехове И. А. Бунина, опубликованной посмертно его вдовой.

В разделе «Чехов за рубежом» приведены различные оценки творчества Чехова зарубежными критиками.

Заканчивается том рядом документальных сообщений о Чехове и аннотированной библиографией воспоминаний о писателе.

В томе помещено свыше двухсот иллюстраций, большая часть которых до сих пор в печати не воспроизводилась.

Объем тома — 974 стр. Цена 5 руб.

Книга продается в магазинах книготоргов и «Академкнига».

**Для получения книги почтой заказ направляйте по адресу:**

*Москва, Центр, Б. Черкасский пер., 2/10.*

**Контора «Академкнига», отдел «Книга — почтой»  
или в ближайший магазин «Академкнига».**

**Адреса магазинов «Академкнига»:**

Москва, ул. Горького, 6 (магазин № 1); Москва, 1-й Академический проезд, 55/5 (магазин № 2); Ленинград, Литейный проспект, 57; Свердловск, ул. Белинского, 71-в; Киев, ул. Ленина, 42; Харьков, Горяиновский пер., 4/6; Алма-Ата, ул. Фурманова, 129; Ташкент, ул. Карла Маркса, 29; Бану, ул. Джапаридзе, 13.

**«АКАДЕМКНИГА»**